

М. Ильин, Е. Сегал

Александр Порфирьевич БОРОДИН



М. Ильин, Е. Сегал
Александр Порфирьевич
БОРОДИН

М. Ильин, Е. Сегал

Александр Порфирьевич БОРОДИН

1833–1887



ПИСЬМА

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ПРАВДА"
1989

84 Р 7
И 46

*Составление писем,
музыкальное редактирование и примечания
Л. Ю. Шкляревской*

*Иллюстрации
В. В. Гамаюнова*

И $\frac{4702010200-1850}{080(02)-89}$ 1850—89

ОТ АВТОРОВ

Восстанавливая жизненный путь Александра Порфирьевича Бородина, мы должны были вместе с ним переходить от химии к музыке, с заседания Русского химического общества нам приходилось попадать на концерт Бесплатной музыкальной школы или на конференцию Медико-хирургической академии. Мы едва поспевали за своим героем, который умел переключаться с одного дела на другое.

Оттого и в нашем рассказе о жизни Бородина так часто одна тема сменяется другой.

Можно было бы поступить иначе: в одной главе рассказать о Бородине-ученом, в другой — о Бородине-композиторе, в третьей — о Бородине-педагоге, в четвертой — о Бородине общественном деятеле.

Такое построение хорошо в научном исследовании, ставящем своей целью не синтез, а анализ. Но у этой книги другая задача: дать цельный образ живого Бородина, каким его знали друзья и соратники, показать того Бородина, который одновременно был и композитором, и химиком, и общественным деятелем — членом балакиревского кружка и членом Русского химического общества, автором романсов на слова, написанные им самим, и редактором научно-популярного журнала.

Для этого недостаточно было письменных источников, хотелось и устных рассказов людей, которые знали самого Александра Порфирьевича или хотя бы кого-нибудь из его друзей. К сожалению, таких людей немного.

В начале нашей работы над книгой беседа с Михаилом Николаевичем и Владимиром Николаевичем Римскими-Корсаковыми помогла нам яснее представить себе обаятельный облик Бородина. Мы с признательностью вспоминаем об этой беседе.

Выражаем глубокую благодарность за ценные указания Сергею Александровичу Дианину, который не только дал нам возможность ознакомиться с его научной монографией о Бородине и работой «А. П. Бородин в селе Давыдове» до их опубликования, но и много интересного рассказал нам со слов ближайшего ученика Бородина профессора А. П. Дианина и Е. Г. Дианиной.

Приносим также искреннюю благодарность за советы и критические замечания профессору И. Ф. Бэлзе и профессору Н. А. Фигуровскому, взявшим на себя труд прочесть книгу в рукописи.

Александр
Порфирьевич
БОРОДИН

Да здравствуют музы, да здравствует разум!
Ты, солнце святое, гори!

А. С. Пушкин

ВСТУПЛЕНИЕ

«Первоклассный химик, которому многим обязана химия...»

«Равно могуч и талантлив как в симфонии, так и в опере, и в романсе...»

«Основатель, охранитель, поборник женских врачебных курсов, опора и друг учащихся...»

Так говорили современники, Д. И. Менделеев, В. В. Стасов и первые русские женщины-врачи об одном и том же человеке — об Александре Порфирьевиче Бородине, который был и гениальным композитором, и одним из создателей органической химии, и выдающимся педагогом, и передовым общественным деятелем.

Две страсти владели Бородиным с детских лет: страсть к химии и страсть к музыке.

Химики жаловались, что музыка отвлекает Бородина от науки, а товарищи по искусству сетовали на то, что наука не дает ему заниматься музыкой:

«Множество дел по профессуре и женским медицинским курсам вечно мешали ему» (Р и м с к и й-К о р с а к о в).

«К несчастью, академическая служба, комитеты и лаборатория, а отчасти и домашние дела страшно отвлекали Бородина от его великого дела» (С т а с о в).

«Бородин стоял бы еще выше по химии, принес бы еще более пользы науке, если бы музыка не отвлекала его слишком много от химии» (М е н д е л е е в).

И все-таки как много он сделал!

Сорок две научные работы, среди которых немало выдающихся, ряд впервые полученных химических соединений, прогремевшая на весь мир опера «Князь Игорь», могучие симфонии, большое число камерно-инструментальных и фортепианных произведений, романсы и песни, нередко на слова самого Бородина (он был и поэтом!), блестящие статьи о музыке и о музыкантах — это неполный список того, что создал Бородин.

В старой сказке к колыбели ребенка приходят волшебницы, и каждая приносит ему дар.

Эта сказка вспоминается, когда думаешь о судьбе Бородина.

Сколько ему досталось даров: и могучий разум ученого, и гений композитора, и литературное дарование. Ни одного таланта он не зарыл в землю, все развил и отдал своему народу, человечеству.

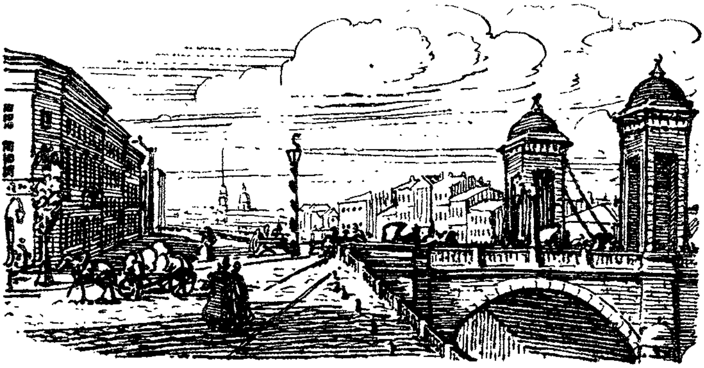
Он был красив, добр, остроумен, всегда полон жизни и энергии.

Он много сделал, но он мог бы сделать еще больше, если бы ему хватило времени и если бы он жил в другое время.

Но этого ни одна волшебница не могла ему дать.

Бородин совмещал в себе то, что обычно считают несовместимым. Невольно возникает вопрос: как мог он быть одновременно химиком и композитором? Ведь это такие разные, далекие одна от другой области.

Но так ли они далеки, как кажется? Солнце творческого разума освещает дорогу и науке и искусству, когда они ищут правду жизни.



Глава первая

ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ С МУЗЫКОЙ

Место действия — Петербург гоголевских времен, с будочниками у полосатых будок, с масляными фонарями, с разноголосыми криками разносчиков во дворах, с хриплым пением шарманки.

Во двор дома номер 13/15 по Глазовской улице входит старик шарманщик. Он снимает с плеча потертый ремень, на котором носит свой видавший виды инструмент. Маленькая девочка, его постоянная спутница, может быть внучка, поднимает над головой бубен.

При первых же звуках шарманки со всех сторон сбегаются дети, словно стадо на зов пастуха. Разинув рты, смотрят они на таинственный ящик, из которого старик каким-то чудом извлекает настоящую музыку, то веселую, плясовую, то такую жалобную, что хоть плачь.

Дети в восторге, но шарманщику нет до них дела. Ведь это все бесплатные слушатели: что с них возьмешь? Задрав голову, старик оглядывает окна. Оттуда летят завернутые в бумажку медяки и падают около шарманки на булыжник, покрытый грязью.

Среди маленьких слушателей нам легко представить себе и Сашу Бородина, который живет в этом доме.

Пусть старенькая шарманка похожа на инвалида с деревяшкой вместо ноги, пусть ее хриплое пение то и дело прерывается чем-то вроде кашля,— чуткое ухо маленького Саши ухитряется различить в ее дребезжании и скрипении, в мерных ударах бубна все оттенки мелодии и ритма.

Шарманщик давно уже ушел, но Саша о нем не забыл. К великому удовольствию домашних, он «представляет» шарманщика.

Но музыка не всегда появлялась перед Сашей в таком убогом обличье. Она манила его к себе звонкими голосами сверкающих медных труб, которым так весело и благодушно вторили мощные удары турецкого барабана.

Самый тусклый день начинал казаться солнечным, когда обыденный уличный шум покрывали звуки победного марша.

Саша тянул за руку свою бонну Луизу, потому что его самого тянула к себе музыка, доносившаяся с Семеновского плаца, где играл оркестр.

Бородин не оставил нам воспоминаний о своем первом знакомстве с музыкой. Мы с трудом находим в записках его родных скупые упоминания о том, что он «любил представлять шарманщика», что восьми лет от роду он в сопровождении бонны Луизы непременно отправлялся слушать музыку, когда поблизости от их дома — на Семеновском плацу — играл военный оркестр.

О чем думал он, что чувствовал в такие минуты?..

У его современника, И. Е. Репина, мы находим несколько строк, которые так хорошо выражают чувства одаренного ребенка, впервые услышавшего оркестр, что здесь сто̀ит привести этот отрывок:

«Наша улица вдруг вся преобразилась: и хата, и лес за Донцом, и все люди, и мальчишки, бежавшие быстро на нашу улицу, все как будто осветилось ярче. Далеко, в конце улицы, сквозь пыль, поднятую высоко, заблестели медные трубы полковых трубачей на белых лошадях; в одну ленту колыхались солдаты над лошадьми, а над ними сверху трепетали, как птички, над целым полком в воздухе султанчики пик. Все слышнее доносился лязг сабель, храп и особенно яркое ржание коней. Все ближе и яснее блестели сбруи и запенившиеся рогатые удила сквозь пыль снизу.

И вдруг все это как будто разом подпрыгнуло вверх всей улицы и покатилось по всему небу: грянули звучно трубы!

Радостно понеслись эти звуки по Донцу, за Малиновский лес, и отразились во всех садах Пристена. Веселье понеслось широкою волною, и даже за Гридину-гору — до города; хотелось скакать, кричать, смеяться и плакать, безумно катаясь по дороге. О музыка! Она всегда проникала меня до костей».

Будущего художника поразила не только музыка, но и самый облик трубачей на белых конях. Когда читаешь эти строчки, кажется, как будто видишь перед собой еще не найденную [illegible] картину.

Но Бородину предстояло стать не художником, а композитором — творцом необычайных по яркости произведений для оркестра. Эта любовь к оркестру, с его безграничным разнообразием красок и оттенков, пробудилась в Бородине с детских лет.

Шарманка во дворе, военный оркестр на плацу, фортепиано, под звуки которого танцевали, когда в доме собирались гости, гитара, на которой играла мать Бородина Авдотья Константиновна,— вот что чаще всего приходилось слышать будущему композитору в дни его детства.

В те времена гитара — «подруга семиструнная», как называл ее поэт Аполлон Григорьев,— была еще в почете. Ее стали считать «плебейским» инструментом позже, во второй половине века. Под гитару пели романсы Варламова и Гурилева, близкие к тем песням, которые распевал народ. Недаром романс Варламова на слова Цыганова «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан» принимали за подлинную народную песню.

Так в звуках «чувствительного» романса доходили и до жителей столицы отзвуки народных напевов.

Бородин родился не в деревенской усадьбе, среди полей и лесов, а в городе. Ему не приходилось слышать в юношеские годы крестьянских девушек, с песнями ведущих хоровод, или слепцов, распевающих на сельской ярмарке духовные стихи. И все же до него и тогда доходили русские песни в их первоначальном звучании. Между Петербургом и всей огромной страной шел постоянный обмен: романсы, сочиненные в городе, пелись в деревне, а деревенские песни добирались до города вместе с ямщиками почтовых троек, с артелями плотников, с обозами, которые везли припасы из поместий. Деревенскую песню можно было услышать в девичьей дворянского дома. Песни распевала прачка, полощущая белье, их напевала вполголоса портниха, склонившаяся над шитьем при неровном свете оплывающей сальной свечи. Случалось, что композиторы записывали народные напевы со слов деревенских девушек, которые, поступая «в услужение», приносили с собой не только бедный узелок с пожитками, но и невидимый, драгоценный клад— прекрасные песни своих родных мест. Об этих песнях Гер-

цен говорил, что они для народа «выход из голодной, холодной жизни, душной тоски и тяжелой работы».

Римский-Корсаков рассказывает, что он «записывал песни от прислуги, бывшей родом из дальних от Петербурга губерний». «Однажды (это было у Бородина) я долго бился, сидя до поздней ночи, чтобы записать необыкновенно капризную ритмически, но естественно лившуюся свадебную песню («Звон-колокол») от его прислуги Дуняши Виноградовой, уроженки одной из приволжских губерний».

Где-нибудь в деревне в приволжской губернии можно было слышать только приволжские песни, а в Петербург песни шли отовсюду, через все заставы.

В своей биографии Бородина В. В. Стасов пишет: «Казалось бы, сами обстоятельства жизни влекли к национальному элементу и творчеству Балакирева, Мусоргского и Римского-Корсакова. Все они родились вне Петербурга и объевропеенных центров; они родились и провели всю молодость свою в глубине России, в коренной национальной среде, в деревне... С Бородиным дело произошло иначе: он родился в Петербурге и здесь же провел всю свою жизнь. Лишь в зрелых летах случалось ему жить подолгу внутри России, в губерниях Московской, Владимирской, Костромской. И, несмотря на это, национальный элемент составляет самую могучую ноту в творчестве Бородина: в правдивости и глубине русского склада своих высших созданий он не уступает ни Глинке, ни своим товарищам в новой русской музыкальной школе. Каким образом случилось это изумительное превращение, вот психологическая тайна, которую не объяснит, конечно, никто».

Стасов прав: это действительно тайна. Развитие души художника не так-то легко и просто проследить. И все же мы можем догадываться о тех впечатлениях, которыми питалась эта развивающаяся, растущая душа.

Чиновный сумрачный Петербург, в котором рос Бородин, не был отделен глухой стеной от остальной России. Страна была океаном песен, которые захлестывали и городские улицы.

И нет сомнения, что необычайно одаренный ребенок безотчетно выискивал и отбирал из этого материала то, что ему было нужно. Так растение находит в почве даже самые редкие элементы, если они ему необходимы.

День за днем музыка все больше и больше завоевывала воображение мальчика. Дело началось как будто совсем с небольшого. Не он один любил слушать военную музыку.



Не ему одному нравились народные песни. Для большинства этим дело и кончалось, но для Саши это было лишь началом.

Маленькому Саше хотелось знать, как называется каждый инструмент, как на нем играют, какой у него голос.

На плацу он не оставался только слушателем. Несмотря на то, что он был еще очень мал и застенчив, он старался поближе подойти к музыкантам, чтобы как следует рассмотреть инструменты. Саша, не отрывая глаз, следил за пальцами, перебегающими по флейте, за рукой, входящей в раструб валторны, за палками, бьющими по коже барабана.

«А дома,— рассказывает Е. С. Бородина,— садился за фортепиано и по слуху наигрывал, что слышал. Видя такую его любовь и способность к музыке, мать устроила для него уроки на флейте. Солдатик из военного оркестра Семеновского полка приходил учить его по полтиннику за урок».

Есть пословица: «Коготок увяз, всей птичке пропасть». Так случилось и с Сашей. Он уже не только подбирал по слуху — он пробовал и сам сочинять.

Список произведений Бородина начинается с польки, которую он написал, когда ему было всего только девять лет. Он назвал ее «Полька Элен», в честь молодой девушки, которая снисходила до того, что танцевала с ним, хотя была гораздо старше его и выше ростом.

В те времена полька была у нас еще новинкой и пользовалась большим успехом. В этом чешском народном танце было гораздо больше огня и веселья, чем в каком-нибудь чопорном менуэте или другом придворном танце.

Бородин записал свою польку, когда ему уже было лет тринадцать-четырнадцать. В ней чувствуется не только знакомство с классическими западноевропейскими образцами, но и влияние глинкинских восточных мелодий. Сквозь детское шаловливое веселье пробивается мягкая, лирическая грусть.

В этой грациозной вещице уже видна та четкость и ясность формы, которая отличает все произведения Бородина.

Полька дошла до нас. Она теперь издана, и ее играют дети в наших музыкальных школах. А сколько вещей, сочиненных маленьким Бородиным, не было записано и пропало, не оставив следа?!

Должно быть, их было немало.

По своей художественной натуре Бородин был импровизатором. И он не всегда записывал то, что сочинял.

В годы детства он, вероятно, еще реже заносил на бумагу свои импровизации.

Такой музыкальный ребенок, да еще с необыкновенно сильным воображением, не мог не фантазировать и не импровизировать, как только удавалось улучить подходящую для этого минуту.

Способность фантазировать была у него поразительная.

Вместе с Сашей воспитывалась его маленькая двоюродная сестра — Мари Готовцева. Они были очень дружны и играли вместе. Мари тоже была не прочь пофантазировать, но за Сашей угнаться было нелегко.

Е. С. Бородина рассказывает, что «Саша любил предаваться мечтаниям и улетать куда-то в сказочный мир. Толчком к таким путешествиям в тридесятое царство было все: и купидоны, намалеванные на потолке, и излюбленный уголок на печке. Очень любил Саша этот уголок. Оттуда ему виднелось какое-то окошечко и через него часть сада, именно с печки представлявшегося ему чем-то волшебным. Саша часто влезал на печку и видел там необыкновенные вещи. Намечтавшись вдоволь, он слезал к своей Мари и делился с ней впечатлениями. «У меня,— говорил он,— большой дворец, и там я живу. Дворец высокий-высокий — до неба». Мари не отставала: у нее оказывался дворец еще выше — «до неба, да еще с эту комнату...»

По играм детей, по их любимым развлечениям уже можно нередко судить и об их склонностях.

Маленький Саша любил вместе с Мари «устраивать театр». В этом театре он был не только актером, но и режиссером и драматургом. Публика была немногочисленная, но очень доброжелательная: Авдотья Константиновна и бонна Луиза. «Прекрасная Астраханка» и другие пьесы шли с неизменным успехом.

Так автор «Князя Игоря» еще в детские годы проявил склонность не только к музыке, но и к театру и даже пробовал сам сочинять пьесы.

Конечно, трудно найти ребенка, который никогда не воображал себя актером или героем прочитанных сказок. Игра воображения — непременная спутница всякой игры.

Но только настоящий художник до седых волос сохраняет эту детскую способность создавать сказочные миры и уноситься мыслью в небывалые края.

Римский-Корсаков рассказывает о Бородине, что его фантазии достигали остроты зрительных галлюцинаций: ему, например, стоило только закрыть глаза, чтобы увидеть во всех подробностях восточное шествие.

Эти образы он с удивительной силой умел претворять в звуки. И сейчас, когда мы слушаем такие его вещи, как музыкальная картина «В Средней Азии», мы сами заражаемся способностью видеть недоступное нашим глазам. Словно мираж, возникает перед нами беспредельная пустыня. От тишины звенит в ушах. Но вот из этого звона тишины начинает вырастать русская песня. Это казаки, сопровождающие караван, стараются разогнать тишину и тоску пустыни песней своей родины. Тяжело переваливаясь с боку на бок и погромыхивая поклажей, шагают один за другим верблюды. С русским напевом сплетается восточная мелодия — протяжная песня погонщика верблюдов.

«Молчание пустыни? — писал Горький.— Оно очень красноречиво выражено русским композитором Бородиным».

Бородин никогда не бывал в Средней Азии и все-таки сумел вообразить и изобразить пустыню так, как будто вырос среди песков.

Эта способность мыслить не только зрительными, но и музыкальными образами не могла в нем развиться внезапно. Она должна была расти и крепнуть с детских лет.

Сколько чудесных часов провел маленький Саша за фортепиано!

Когда ребенок начинает читать, перед ним раскрывается в строчках книг новый, еще не виданный им мир. Ребенку, овладевающему музыкальной грамотой, черные и белые кружки нот тоже говорят о мире, которого он прежде не знал.

Эти черные и белые кружки, словно бегущие по нотным линейкам, складываются в слова, из слов составляются фразы. Из прихотливого узора значков возникает то волшебная сказка, то мрачная баллада, то веселый, шутливый рассказ. Так же как в книге, здесь есть и разговоры: какие-то голоса спрашивают и отвечают, жалуются, негодуют, спорят и перебивают друг друга.

На первых порах маленький Бородин был одинок на своем пути к чудесному миру музыки. Кругом были слушатели, которые восхищались его способностями, но спутника не было. Такой спутник появился у Бородина, когда ему уже пошел тринадцатый год. Это был его сверст-

ник Миша Щиглев, сын преподавателя Царскосельского лицея.

Миша Щиглев тоже был страстным любителем музыки. Он играл на фортепиано по слуху лет с пяти. К моменту знакомства с Бородиным он уже брал уроки музыки.

При первой же встрече мальчики вцепились друг другу в волосы и принялись кататься по полу. Но вражда продолжалась недолго. Музыка очень скоро превратила их в друзей.

«Считая себя уже музыкантом,— вспоминал потом Щиглев,— я положительно спасовал перед новым моим гостем, который поразил меня своими необыкновенными музыкальными способностями».

Саше шел тринадцатый год. Уже давно пора было серьезно засесть за учение. Заботы о Сашином будущем не давали покоя Авдотье Константиновне. Она не только горячо любила сына,— она понимала, что он у нее какой-то особенный. Всех кругом поражали его необыкновенные способности, его понятливость, его феноменальная память. Такого мальчика не учить как следует было бы грешно.

Одно было плохо: он был ребенок слабый, худенький. Приходилось вечно дрожать за его здоровье. А тут еще родственники уговаривали Авдотью Константиновну не очень-то учить сына. «У него,— говорили они,— должно быть, чахотка, все равно он недолго проживет».

Авдотья Константиновна и слушать не хотела таких мрачных советчиков. Она верила, что ее Саша будет жить.

С кем ей было посоветоваться? Сама она была женщина малообразованная, но она была твердо убеждена в том, что мальчик должен получить самое лучшее образование. С раннего детства он занимался языками: свободно говорил по-французски и по-немецки. Пора было ему взяться и за другие предметы гимназического курса.

Вот тогда-то и познакомились Саша и его мать с семейством Щиглевых. Роман Петрович Щиглев был опытным педагогом. Лучшего руководителя в сложном деле образования и воспитания Авдотье Константиновне трудно было бы найти.

Мишу Щиглева собирались отдать в Первую гимназию, которая находилась на Ивановской, поблизости от дома Авдотьи Константиновны. Было решено, что он переедет из Царского Села в Петербург — к Саше, чтобы было

близко ходить в гимназию, а пока что они будут вместе готовиться по всем предметам.

Программа занятий была тщательно продумана. Отдельно для каждого предмета были приглашены учителя. Ничто не было забыто. Мальчиков учили не только русскому языку, истории, географии, математике, рисованию, черчению, но и иностранным языкам, танцам и музыке.

Учителем музыки был немец Порман. Щиглев вспоминал впоследствии, что человек он был «очень методический и терпеливый, но преподаватель немудрый».

Вероятно, преподаватель Порман был вполне на своем месте, когда имел дело с обыкновенными учениками. Но не так-то легко учить музыке такого мальчика, как Саша Бородин! Да и его товарищ тоже отличался незаурядными способностями. Щиглев вспоминал потом:

«Мы оба бойко играли и свободно читали ноты, и на первый же год переиграли в четыре руки и знали чуть не наизусть все симфонии Бетховена и Гайдна, но в особенности заигрывались Мендельсоном».

Видно, еще до начала систематических занятий с учителем и Саша Бородин и Миша Щиглев уже успели самостоятельно переиграть немало вещей, если в тринадцать лет они уже знали наизусть симфонии Бетховена и Гайдна.

Вот в эти-то годы Бородин закладывал прочный фундамент своего музыкального образования. Он начал с классиков — с Гайдна, Бетховена — и к новой музыке пришел, уже хорошо зная старую.

Часто бывает, что, перечитывая книгу, которую мы любили в детстве, мы находим в ней много нового и относимся к ней по-новому. Книга не меняется, но меняемся мы сами. Одни книги не выдерживают даже второго чтения, а есть и такие, которые можно перечитывать без конца и каждый раз открывать в них новые глубины.

Бородину на всем протяжении его музыкальной жизни приходилось несчетное число раз «перечитывать» произведения композиторов прошлого. Просматривая его письма и статьи, мы видим, как менялось его отношение к этим композиторам. Чем старше он становился, тем больше любил Бетховена, Глинку.

Он писал в 1869 году: «Третья симфония Бетховена принадлежит к колоссальным памятникам искусства и далеко опередила свое время. Первые две симфонии Бетховена — как это было уже много раз высказано критикою — относятся еще к эпохе Моцарта и Гайдна; третья симфо-

ния не имеет ничего общего с ними. Здесь все ново: и мысль, и развитие ее, и краски оркестра; все дышит таким своеобразием и свежестью, что симфония эта должна быть рассматриваема как родоначальница современной симфонической музыки. Несмотря на то, что симфония написана с лишком шестьдесят лет тому назад, она до сих пор еще почти ни в чем не утратила своей свежести и уступает в силе и глубине разве только лучшим из самых последних творений Бетховена».

А вот к Мендельсону, которым Бородин заигрывался в юности, он стал с годами относиться критически.

В 1868 году он писал:

«Замечательно, что ни одно направление не породило столько бездарных подражателей, как именно эта мендельсоновская рутина. Скажу более, ни одно направление не испортило так музыкального вкуса, как именно эта внешне страстная, внешне красивая, условная, чистенькая, гладенькая и форменная, буржуазная музыка. Она отдалила надолго распространение сильной, трезвой и глубокой по содержанию музыки Шумана, отодвинула даже Бетховена, не говоря уже о Глинке, Шуберте, Листе и других».

Бородину в зрелом возрасте нравились далеко не все произведения Мендельсона, а в детстве ему было трудно отличить внешне красивое от подлинной красоты.

Между тем годы шли. Миша Щиглев поступил, как и предполагалось, в гимназию.

Теперь друзья встречались только по праздникам. Они ждали с нетерпением наступления дней, отмеченных в календаре красной краской. Эти дни они проводили вместе и, как прежде, с утра до вечера занимались музыкой.

Почему же Саша не поступил вместе со своим другом в гимназию?

Авдотье Константиновне страшно было отдавать своего нервного, впечатлительного, болезненного мальчика в казенное учебное заведение, с его казарменным духом, с карцером и розгой, с дикими обычаями и нравами, которые роднили гимназию и кадетский корпус с бурсой. Но возможно, что дело было не только в этом.

В правилах для поступающих в Первую гимназию было сказано:

«При прошении представляются свидетельства: 1) метрическое, консисторией удостоверенное, о рождении и крещении, 2) родовом или личном дворянстве...»

Саша был сыном дворянина из старого княжеского рода. По родословным книгам, его отец, князь Лука Степанович Гедианов, происходил по прямой линии от князя Гедея, который еще при Иване Грозном «из Орды прииде честно со свои татары на Русь» и при крещении был наречен Николаем.

Отец умер, когда Саше было десять лет. Саша хорошо помнил его. Он любил копировать отца, зачесывая волосы на лоб и на виски и надменно выпячивая нижнюю губу. Запомнились ему и рассказы о предках, о боях и осадных сидениях, в которых князья Гедиановы бились, не щадя живота своего, с врагами Русского государства.

Есть основания предполагать, что по женской линии Лука Степанович происходил от князей Имеретинских: не то бабка, не то прабабка Бородина была царевной Имеретинской.

И все же, несмотря на знатность своих предков, Саша не мог представить в гимназию свидетельства о дворянстве.

В его метрическом свидетельстве было сказано, что он сын Порфирия Ионовича Бородина, дворового человека князя Гедианова. Когда Саша родился, его записали сыном княжеского камердинера.

С детства Бородин привык видеть у себя дома на стене два портрета, писанных масляными красками. На одном из них был изображен важный старик в синем фраке, с маленьким Евангелием в руках. По чертам его лица сразу можно было угадать его восточное происхождение. А на другом портрете была изображена необыкновенно красивая молодая женщина в декольтированном платье. Это была мать Саши, Авдотья Константиновна Антонова.

На портрете отца было написано: «Родился в 1772 году». А на портрете матери: «Родилась в 1809 году».

Судя по документам, Л. С. Гедианов родился не в 1772, а в 1774 году. Значит, в год рождения Бородина его отцу было пятьдесят девять лет, а матери только двадцать четыре года.

При каких же обстоятельствах встретился старый князь с молодой и красивой девушкой, которая ни по возрасту, ни по общественному кругу не была ему парой?

Ее отец тоже, как и князь Гедианов, воевал за родину, тоже носил мундир. Но это был мундир не офицера, а солдата.

Когда князь Гедианов встретился с Авдотьей Константиновной, ее, вероятно, еще не величали по имени-от-

честву, а называли просто Дуней. Князю легко было приметить хорошенькую девушку: она жила в соседнем доме на той же Гагаринской улице у брата, служившего вахтером в Зимнем дворце.

А дальше все пошло так, как тогда водилось. Князю вспомнились молодые годы, когда он был еще лихим поручиком и волочился за красавицами.

Скоро Дуня очутилась в его доме. О браке и речи быть не могло: старый князь был женат, хотя и жил врозь с женой. Да если бы он и был холост или вдов, он не счел бы для себя подходящей женой дочь простого солдата.

Князь Гедианов по-своему крепко полюбил Дуню. Ревность его доходила до того, что он приказывал держать ворота на замке. И Дуне, чтобы повидаться с братом, приходилось перелезать через забор.

Несколько лет прожила она в квартире князя, в доме, выходящем на Гагаринскую, Сергиевскую и Косой переулок. В этом доме и родился у нее 31 октября (12 ноября нового стиля) 1833 года сын Александр. Там он провел свое раннее детство.

Товарищами его первых игр были племянники — дети сестры, урожденной княжны Гедиановой.

Князь заботился об Авдотье Константиновне: он купил для нее четырехэтажный каменный дом в Измайловском полку, чтобы она могла жить безбедно. Этот дом она потом продала и купила другой на Глазовской. Чтобы создать ей «приличное общественное положение», князь незадолго до своей смерти выдал ее замуж за старого военного врача Христиана Ивановича Клейнеке и отпустил на волю своего крепостного сына. Доктор Клейнеке недолго прожил, и Авдотья Константиновна осталась вдовой.

«Незаконное» происхождение Саши приходилось скрывать. Он считался племянником Авдотьи Константиновны и всегда называл ее «тетушкой», хотя и знал, что она его мать.

Так случилось, что сын князя Гедианова не смог поступить в гимназию и должен был продолжать учиться дома. Для его будущего это было совсем не так плохо. Если бы он считался законным сыном князя, его судьба могла бы сложиться иначе. Уже будучи взрослым, Бородин как-то встретился со своей племянницей со стороны отца, Елизаветой Николаевной Лукаш. Между ними зашел разговор о воспитании, которое получили она и ее братья — внуки князя Гедианова.

«Лизавета Николаевна,— писал Бородин матери,— очень жалеет, что им всем дали такое глупое воспитание, не учили ничему дельному, что братья были в дурацкой гвардейской школе, откуда вышли олухами и ни на что не годны и ничего не знают».

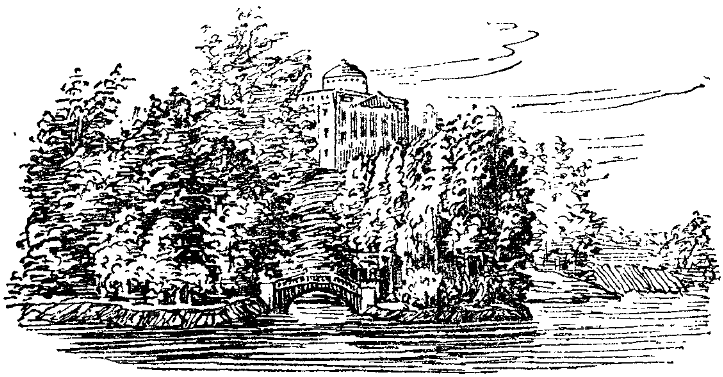
Конечно, такой одаренный человек, как Бородин, пробился бы к искусству и науке, несмотря на гвардейскую школу и «глупое воспитание». Ведь стал же композитором гвардейский офицер Мусоргский!

Но сколько лишних сил и лишнего времени пришлось бы Бородину затратить на такой обходный путь!

Он никогда не жалел о том, что он не князь, а такой же разночинец, как и большинство его друзей — передовых людей той эпохи.

Воспитываясь дома, а не в закрытом военном учебном заведении, он мог гораздо больше времени уделять самообразованию, чтению научных книг, музыке.

Но, кроме музыки, было и еще одно дело, которое увлекало его не меньше.



Глава вторая

ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ С ХИМИЕЙ

Когда Миша Щиглев переехал к Саше Бородину, он сразу же заметил, что страсть к музыке не единственная страсть его товарища. Бывало, они часами играли в четыре руки. Но случалось и другое: Сашу нельзя было дозваться. Он, забывая все на свете, возился с какими-то банками, склянками, солями и кислотами.

Мальчики были очень дружны. Но тут их пути расходились. И, должно быть, Миша Щиглев был первым среди тех музыкантов, которые на протяжении всей жизни Бородина ревновали его к химии.

Саша с увлечением рисовал, раскрашивал акварелью картинки, лепил. Он сам составлял и делал краски и даже пробовал гравировать. Он вообще «не любил быть без занятий», как пишет его первый биограф и любимый ученик — химик А. П. Дианин. Но серьезно соперничать с музыкой могла только химия.

Дело и тут началось с забавы — с фокусов, с фейерверков. Кто из детей не приходит в восторг, когда маленькая невзрачная свечка начинает с шипеньем раскидывать вокруг себя искры? А ракеты! Как не залюбоваться ими, когда они взлетают в небо и рассыпают там разноцветные звезды!

Но мало кто из детей берется сам за изготовление ракеты или состава для бенгальских огней. Саша Бородин принадлежал к числу этих немногих. Ему недостаточно было любоваться готовеньким — ему хотелось само-

му проникнуть в ту волшебную кухню, где готовятся чудеса.

Вероятно, со слов самого Бородина профессор А. П. Дианин рассказывает: «В свободное от занятий время он охотно делал экскурсии в область алхимии, то есть занимался приготовлением фейерверков и разного рода фокусами с помощью соляных растворов».

Так химия впервые явилась к Саше Бородину в облике веселой волшебницы — затейливой участницы детских праздников.

Но дело не ограничилось забавами. Пытливый ум мальчика стремился поглубже вникнуть в суть явлений. Один опыт вел за собой другой. Волшебница химия все дальше увлекала Сашу в страну необычайных превращений.

Друг его детства Щиглев вспоминал потом: «Не только его собственная комната, но чуть ли не вся квартира была наполнена банками, ретортами и всякими химическими снадобьями. Везде на окнах стояли банки с разнообразными кристаллическими растворами. И Сашу Бородина даже немножко за это преследовали: во-первых, весь дом провонял его химическими препаратами, а во-вторых, боялись пожара».

Нет ничего удивительного в том, что Авдотья Константиновна без особенного восторга относилась к опытам маленького химика. Она так заботливо охраняла его ото всего, что могло ему хоть сколько-нибудь повредить. Ее попечения о нем доходили до того, что она, боясь, как бы его на улице не раздавили лошади, переводила его за руку через дорогу, даже когда ему шел пятнадцатый год.

К тому же она была недостаточно образованна для того, чтобы знать, чем могут окончиться эти опыты, которые то наполняли комнату едким дымом, то пугали всех обитателей квартиры неожиданными взрывами.

В «Детстве» Льва Николаевича Толстого гувернантка Мими топчет ногами невинную охотничью дробь для того, чтобы она не взорвалась, да еще при этом чувствует себя героиней. Авдотья Константиновна вряд ли имела более ясное представление о химии, чем Мими.

Но если бы даже Сашу Бородина и сильнее преследовали за химические опыты, он все равно не отказался бы от них. Когда человеком овладевает настоящая страсть к науке, его уж не заставишь свернуть с избранного пути.

Примерно в те же годы или, вернее, немного раньше стал заниматься химией другой мальчик — Саша Бутлеров. Их пути потом встретились, они стали ближайшими учениками одного и того же учителя. Бородин жил в детстве дома, а Бутлерова отдали в пансион восьми лет. Его наказывали, когда видели, что он возится со склянками и воронками. И все-таки он ухитрялся втихомолку заниматься химией на кухне.

Вот что рассказывает об этом один из товарищей Бутлерова по пансиону:

«Он усердно возился с какими-то склянками, банками, воронками, что-то таинственно переливал из одного пузырька в другой. Ему всячески мешал неугомонный воспитатель Роланд, зачастую отбирал склянки и пузырьки, ставил в угол или оставлял без обеда непрошеного химика, но тот не унимался, пользуясь покровительством учителя физики. В конце концов в углу, возле кровати Бутлерова, появился крошечный, всегда запертый шкафчик, наполненный какими-то снадобьями и характерной посудой.

В один прекрасный весенний вечер, когда воспитанники мирно и весело играли в лапту на просторном дворе, а «неистовый Роланд» дремал на солнечном припеке, в кухне раздался оглушительный взрыв... Все ахнули, а Роланд прыжком тигра очутился в подвальном этаже, где помещалась кухня. Затем перед нами снова показался «тигр», безжалостно влачивший Бутлерова с опаленными волосами и бровями, а за ним, понурив голову, шел дядька, привлеченный в качестве сообщника, тайно доставлявшего материалы, необходимые для производства опытов.

К чести пансиона Топорнина следует заметить, что розги никогда не употреблялись в этом заведении, но так как преступление Бутлерова выходило из ряда вон, то наши педагоги на общем совете придумали новое, небывалое наказание. Раза два или три «преступника» выводили из темного карцера в общую обеденную залу с черной доской на груди; на доске крупными белыми буквами красовалось: «Великий химик».

Педагоги никак не подозревали, что эта насмешка окажется со временем совершенно точным и правдивым определением того, чем стал их маленький воспитанник...»

Когда изучаешь жизнь замечательных людей, очень часто наталкиваешься на одно и то же препятствие: зрелые годы, когда человек уже определился, хорошо освещены воспоминаниями современников, а годы детства видны как

бы сквозь густой туман. В таких случаях одна биография помогает понять другую.

В записках Репина, в воспоминаниях о Бутлерове мы находим черты, которые восполняют то, чего не дают скудные и неполные данные о детстве Бородина.

Первые музыкальные впечатления Бородина были, конечно, не менее яркими, чем у Репина. И первые химические опыты увлекали его с не меньшей силой, чем Бутлерова. То, что приводило в ужас старших, было радостью для маленьких химиков.

Да и как не почувствовать себя чародеем, когда у тебя в фарфоровой ступке взрывается от удара пестика скромный белый порошок, похожий на обыкновенную соль! И разве не может показаться чудом то, что две жидкости, такие тихие с виду, вдруг бурно вскипают, когда одну приливают к другой? Но, может быть, еще интереснее следить за тем, как на дне стеклянной банки с прозрачным раствором возникают и растут кристаллы. Кажется, что какие-то невидимые руки строят их по чертежу,— с такой точностью, всегда под теми же углами пересекаются их грани. В этой незримой ювелирной работе угадывается действие строгих, непреложных законов природы. И для каждого вещества есть свой особенный чертеж: синие кристаллы медного купороса не похожи по форме на бесцветные кристаллы квасцов.

С детских лет Бородин пристрастился кипятить, фильтровать, выпаривать. Его руки учились все с большим искусством сгибать на огне паяльной лампы стеклянные трубки, складывать гармоникой фильтровальную бумагу.

Все эти разнообразные занятия требовали много времени, но Саша Бородин ухитрялся все успевать. С уроками, которые задавали учителя, он справлялся быстро: память у него была феноменальная. Хорошие способности не всегда сочетаются с прилежанием, но Бородин отличался и тем и другим.

Впрочем, можно ли назвать словом «прилежание» ту ненасытную жадность к труду, к творчеству, к познанию, которые всегда были свойственны Бородину? Ему было много дано, и он был не из тех, кто зарывает свой талант в землю. Он никогда не читал пустых, развлекательных романов, потому что у него едва хватало времени на музыку, химию, на чтение серьезных книг,— на все, что он так любил. Каждое дело требовало, казалось, чтобы он отдавался ему целиком. Музыка спорила с химией, химия — с рисованием.

Время серьезных решений, время выбора еще не настало.

Как часто люди «убивают время», забывая, что жизнь не так уж велика и что убивать свое время — значит убивать самого себя. Бородин и в детстве был не из таких. Он умел ценить время и пользовался каждой минутой, чтобы чему-нибудь научиться. Ему мало было фортепиано и флейты. Он стал играть и на виолончели.

Он и его товарищ Миша Щиглев не упускали случая, чтобы послушать произведения любимых композиторов в хорошем исполнении.

Десять раз в году в университете давались симфонические концерты под управлением дирижера Карла Шуберта. И эти десять воскресений были самыми праздничными днями в жизни мальчиков. Они ждали этих концертов с нетерпением, а потом во всех подробностях вспоминали и обсуждали то, что слышали.

До университета было далеко. Не только трамваев, но и конок тогда еще не было, а извозчики были юным любителям музыки не по карману. Но расстояния их не смущали. Они и дальше пошли бы пешком в любую погоду — и в дождь, и в метель,— лишь бы послушать хорошую музыку.

Билеты здесь были недорогие, доступные для учащейся молодежи. В дни концертов большой университетский зал бывал переполнен публикой: студентами, гимназистами, учителями, всяким служащим людом. Эта публика совсем не была похожа на завсегдатаев благотворительных концертов, которые обычно давались в великий пост, когда театры были закрыты.

Программа тоже была другая: тут не стремились развлечь публику сладеньким пением заезжей итальянской «дивы» или почти жонглерской техникой какого-нибудь скрипача-сверхвиртуоза.

Публика могла послушать в университете «истинную музыку» — произведения классиков, новые вещи русских и западных композиторов.

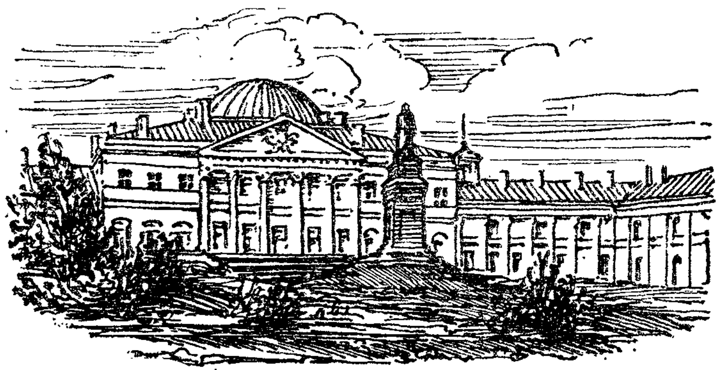
Ездили два друга и в Павловск по Царскосельской железной дороге, которая была построена незадолго до этого. Должно быть, мальчиков немало удивляли паровозы с трубами, длинными, как шея жирафа, чугунные колеса, громыхающие по рельсам, шипенье пара, свистки и звонки. Но все это забывалось, когда они попадали на Павловский вокзал, где играл оркестр.

Каждый хороший концерт вызывал в Саше Бородине прилив просыпающихся творческих сил, желание сочинять. Музыка так захватывала его, что все вокруг как бы переставало существовать. «Если он чем-нибудь увлекался,— рассказывал потом его брат,— или просто был занят, то надо было повторить несколько раз вопрос, прежде чем он на него ответит».

Эту способность все забывать во время творческой работы он сохранил на всю жизнь. О его рассеянности рассказывали анекдоты. Но эта рассеянность была проявлением огромной внутренней сосредоточенности.

Четырнадцати лет он сочинил концерт для флейты с фортепиано. Партию флейты исполнял он сам, а аккомпанировал на фортепиано Миша Щиглев.

В следующем году Бородин написал трио для двух скрипок и виолончели на темы из «Роберта Дьявола» Мейербера. По словам Стасова, это сочинение занимало всего одну страницу, но замечательно было тем, что маленький Бородин написал его без партитуры — прямо на голоса.



Глава третья

БОРОДИН-СТУДЕНТ

В жизни каждого молодого человека наступает такое время, когда он начинает задумываться о том, какой путь избрать. Школьные учебники, потрепанные и забрызганные чернилами, отложены в сторону. Все задачи решены, теоремы доказаны, все хронологические даты еще свежи в памяти. Пора подумать и о том, что делать дальше.

Наступило такое время и в жизни Саши Бородина. Ему уже шел семнадцатый год. Правда, решающий голос в вопросе о будущем принадлежал не ему. Для Авдотьи Константиновны этот стройный, красивый юноша был все еще ребенком, которого можно было отдать или не отдать в университет. Но она не могла не считаться с его способностями и стремлениями.

Саша больше всего интересовался естественными науками, и все говорило за то, что ему следует поступить в университет, на отделение математических и естественных наук философского факультета.

О том, чтобы ему стать профессиональным музыкантом, не было и речи. В глазах всех окружающих занятия музыкой были развлечением, забавой, но не серьезным делом, не профессией, которая может прокормить. Да Саша и сам не думал о том, чтобы стать настоящим музыкантом.

В доме все чаще и чаще заходил разговор о предстоящем экзамене, который надо было сдать, чтобы поступить в университет.

Бывая на университетских концертах, Саша Бородин, должно быть, не раз думал о том времени, когда и для него станет родным домом торжественное здание Двенадцати коллегий, протянувшееся чуть ли не на версту от набережной Невы в глубь Васильевского острова. Там по светлому коридору, длинному, как улица, прогуливались студенты, горячо обсуждая только что прослушанную лекцию или прочитанную статью. Каждая дверь из коридора вела не просто в аудиторию, а в науку.

Но Бородину не суждено было попасть в университет. Его брат вспоминал потом, что в университете как раз к этому времени случились какие-то беспорядки, и мать «отдумала» отдавать туда Сашу.

В жизни университетов это действительно была тревожная пора.

И. М. Сеченов, который был в те годы студентом Московского университета, рассказывает в своих «Автобиографических записках»:

«Известно, что, когда революционное движение 48-го и 49-го годов приблизилось к нашим границам в Пруссии и Австрии, император Николай нашел нужным принять экстренные меры против проникновения к нам вредных идей с Запада, и одною из таких мер явилось сокращение в Московском университете (была ли эта мера распространена и на другие университеты, я не знаю) числа студентов...»

А вот что рассказывает об этой поре в жизни русских университетов доктор Н. А. Белоголовый:

«Университеты переживали в конце царствования императора Николая I, как известно, тяжелые годы; мы же как раз попали в этот печальный период их истории, а именно, поступили в августе 1850 г. и кончили в апреле 1855 г., то есть с небольшим месяц спустя после смерти императора Николая, когда перемена царствования еще не успела обнаружиться в стенах университета более мягким отношением к рассадникам высшего образования в России. Сугубая внешняя формалистика господствовала во всех мелочах, и мы почувствовали ее на первых же шагах. Лишь только мы облеклись в студенческую форму: мундир, шпагу и крайне неудобную треуголку, инспектор собрал всех поступивших на 1-й курс в большую актовую залу, прочел наставление об обязательных для студентов правилах благонравия, распушив многих за противозаконную длину волос, подробнее всего остановился на том, как мы должны

отдавать честь на улицах своему начальству и военным генералам, а именно, как, не доходя до них на 3 шага, становиться во фронт и прикладывать руку к шляпе, и в заключение заставил нас каждого, вызывая по списку, пройти мимо него и отдать ему честь; тот, кто проделывал это неправильно, без достаточной грации и военной ловкости, должен был возвращаться назад и до тех пор повторять свое церемониальное прохождение мимо инспектора, пока не заслуживал его полного одобрения. Это была, можно сказать, первая наша лекция в университете».

Николай I заблуждался, когда думал, что «вредные идеи» можно уничтожить военной муштрой и административными мерами. Не только в университетах, но и в гимназиях, семинариях и кадетских корпусах молодежь зачитывалась статьями Белинского и Герцена. Из рук в руки передавали письмо Белинского к Гоголю, хотя за это можно было поплатиться свободой и даже жизнью...

Как бы там ни было, двери университета закрылись перед многими из тех, кто пламенно туда стремился. И прежде всего перед людьми не дворянского происхождения.

По словам Герцена, «до 1848 года устройство наших университетов было чисто демократическое. Двери их были открыты всякому, кто мог выдержать экзамен и не был ни крепостным, ни крестьянином, не уволенным своей общиной. Николай... ограничил прием студентов, увеличил плату своекоштных и дозволил избавлять от нее только бедных *дворян*».

Поступить в университет! Саше Бородину, числившемуся сыном крепостного, об этом нечего было и мечтать.

Проще было поступить в Медико-хирургическую академию. Туда и устремились все те, кто не попал в университет и хотел изучать естественные науки. Число вольнослушателей в академии сразу выросло втрое. В 1849 году было принято 60 вольнослушателей, а в следующем году — 180. Среди вольнослушателей приема 1850 года был и Бородин.

Правда, и тут не обошлось без хлопот: чтобы попасть в академию, нужно было принадлежать к свободному сословию.

Авдотья Константиновна с присущей ей энергией принялась за дело. Было пущено в ход обычное по тем временам средство. За соответствующую «мзду» вольноотпущенный князя Луки Степановича Гедианова дворовый че-

ловек Саратовской губернии Балашовского уезда сельца Новоселок Александр Порфирьевич Бородин был записан Тверской казенной палатой в Новоторжское третьей гильдии купечество.

Но этого было еще недостаточно.

Для поступления в академию нужна была и протекция.

Через знакомых нашли «ход» к инспектору академии.

И, наконец, наступил торжественный день, когда Авдотья Константиновна повезла своего Сашу на Выборгскую сторону держать экзамен.

Бородин не оставил нам воспоминаний о своих первых впечатлениях в академии.

Вероятно, он не без волнения поднимался по ступеням старинного здания с шестью высокими колоннами и плоским куполом над фронтоном. Но он еще сильнее ощутил бы торжественность минуты, если бы знал, что отныне не только годы учения, но вся его жизнь до последней минуты будет связана с академией.

Читая рассказы одного из его современников и товарищей — писателя Н. В. Успенского, мы можем живо представить себе шумную толпу молодежи, заполнявшую коридоры и аудитории в дни приемных экзаменов.

Впрочем, оживление царило в такие дни не только в самом здании академии, но и на подъезде и во дворе.

Лица, еще не потерявшие деревенского румянца, доморощенные сюртуки и фраки, явно стеснявшие движения их владельцев, шляпы и фуражки, лет на двадцать отставшие от моды,— все это сразу вызывало в представлении тихие провинциальные улицы с лавочками у ворот, с сиренью за заборами.

Прислушавшись к разговорам, можно было уловить самые различные оттенки русского говора.

Из каких только губерний и уездов не приехали сюда на наружных местах дилижансов, на почтовых и долгих, а то и просто с крестьянским обозом эти сыновья священников, лекарей, мелких чиновников!..

Среди них были и такие, которые прошли сотни верст пешком с котомкой за плечами по пыльным проселкам и трактам для того, чтобы добраться до храма науки. И вот усталый странник на пороге этого храма, который он уже столько раз видел в своих мечтах. Но его радость омрачают заботы: где найти ночлег в этом огромном чужом городе, в котором даже дома смотрят свысока на провинциалов? И на какие средства добывать себе хлеб насущный? На-

долго ли хватит этих нескольких рублей, которые мать так долго копила для того, чтобы вручить их сыну в виде существенного приложения к родительским благословениям и увещаниям? И будущий врач принимает твердое решение: героически переносить все невзгоды и питаться главным образом наукой.

У Саши Бородина таких забот не было. Не где-то за тысячу верст, а тут же, рядом с ним, была заботливая мать.

Он блестяще выдержал экзамен и был принят в академию вольнослушателем, то есть своекоштным студентом. Чтобы ему было ближе ходить на лекции, заботливая Авдотья Константиновна сняла квартиру на Выборгской стороне, на Бочарной улице, напротив Артиллерийского училища.

И вот Бородин — студент. Первые дни студенчества! Они запоминаются на всю жизнь. Сколько чувств волнует юношу, когда он впервые занимает место на одной из длинных скамей в аудитории! Тут и вера в богатство и щедрость науки, в то, что она способна ответить на все вопросы и разрешить все загадки. Тут и гордость: «Я уже не ребенок, не школьник — я взрослый. Наука, которую я буду изучать, это не школьная наука, приспособленная к детскому пониманию, не «краткий элементарный курс», а настоящая «взрослая» наука. Она роднит и этого седого профессора, имя которого знает вся страна, и студентов-первокурсников, которые слушают его затаив дыхание. Все они члены одной семьи, недаром они называют свою академию или свой университет матерью-кормилицей — «alma mater».

Эти чувства знает каждый, кто был студентом. А Бородин должен был их испытывать с особенной силой,— ведь он до этого учился дома и никогда не сидел на одной скамье с товарищами-школьниками. Правда, у него был друг — Миша Щиглев. Когда они играли в четыре руки, они были как бы одним существом. Но в своем увлечении химией и другими естественными науками Саша Бородин чувствовал себя одиноким.

И вот у него есть не только спутники и товарищи на пути к науке, но и мудрые, опытные учителя.

Медико-хирургическая академия вправе была гордиться такими профессорами, как Николай Иванович Пирогов, читавший хирургию и прикладную анатомию. Всем известны были имена академика Брандта, преподававшего зоологию

и сравнительную анатомию, и Николая Николаевича Зинина, профессора химии.

Заходя в физический кабинет, новички с удивлением останавливались около громадного вольтова столба высотой в два человеческих роста. Им рассказывали: здесь работал знаменитый физик Василий Владимирович Петров. Этот столб из тысяч медных и цинковых кружков он построил собственными руками. В этой комнате впервые загорелась вольтова дуга.

На первых курсах главное место занимали в программе естественные науки.

Профессор А. П. Дианин рассказывает: «Со всем юношеским жаром, со свойственным ему увлечением юный Бородин отдался изучению ботаники, зоологии, кристаллографии и анатомии; этими предметами Александр Порфирьевич владел вполне основательно, а ботанику он не оставлял до самой смерти, усердно ботанизируя каждое лето, что составляло для него самое приятное препровождение дачного времени».

Людям, которым случалось видеть Бородина за роялем, трудно было, должно быть, представить себе, что этот юноша, с таким волнением и так проникновенно играющий произведения великих композиторов, всего только за какой-нибудь час перед этим с таким же увлечением работал в большом зале анатомического театра у стола, покрытого свинцом.

Но это был один и тот же человек, который с одинаковой жадностью старался проникнуть и в тайну гармонии звуков и в тайну жизни.

Было время, когда разгадку жизни, причину здоровья и болезни врачи-метафизики искали не в изучении природы организма, а в схоластических теориях. Правду жизни заменяли, по выражению одного из врачей середины прошлого века, какой-то «сумасшедшей игрой слов без определенных понятий и смысла». Некоторые доходили до того, что воскрешали давно отвергнутые наукой астрологические представления. Во время холерной эпидемии в Медико-хирургическую академию было представлено сочинение, в котором доказывалось, что и холеру и политические события в Европе вызвало раздражающее влияние на нервную систему людей какого-то сочетания Луны, Марса и других планет. Автор добавлял, что это «не иначе, как только в электромагнетическом отношении понять можно».

Но в начале пятидесятых годов, когда Бородин учился в Медико-хирургической академии, такие рассуждения уже были предметом насмешек. Правда, студентам все еще приходилось заучивать наизусть произвольную классификацию, которая делила болезни, словно растения, на классы, порядки, роды и виды. Еще в ходу были старые учебники, в которых немало было метафизических абстракций. Но реальное направление уже явно брало верх. Главой этого направления был знаменитый ученый Пирогов. По его мысли и его стараниями в академии был учрежден анатомический институт, где студенты могли основательно изучать устройство человеческого тела. Для института было построено новое, хорошо оборудованное здание.

Вот в этом-то здании и проводил Бородин столько времени, что его одежда пропитывалась запахом препаровочной. Его домашним это доставляло мало удовольствия. Но с неприятным запахом еще можно было мириться,— гораздо страшнее было то, что работа над трупами была связана с опасностью для жизни.

Вот что рассказывает в своих воспоминаниях брат Бородина: «На втором курсе ему пришлось однажды препарировать труп, у которого прогнили позвонки. Брат просунул в отверстие средний палец, чтоб исследовать, насколько глубоко болезнь проела хребет. При этом какая-то тонкая кость впилась ему в палец под ноготь; от этого у него сделалось трупное заражение, от которого он слег и поправился лишь благодаря усилиям профессора Бессера».

Можно себе представить, сколько бессонных ночей провела Авдотья Константиновна и сколько слез ей стоило то время, когда жизнь ее любимого сына висела на волоске! Ведь она всегда дрожала за его здоровье, а он так мало себя щадил. Должно быть, ее сердце было спокойно только тогда, когда, вернувшись из академии и сняв с себя темно-зеленый форменный сюртук, он облекался в домашний халат, надевал туфли и усаживался в кресле у окна, чтобы почитать книгу. Положив ноги на невысокий подоконник, он перелистывал новые журналы или углублялся в чтение книг. Его любимыми писателями были Пушкин, Лермонтов, Гоголь. Он увлекался Белинским, как и вся передовая молодежь того времени. По словам Щиглева, он с большим интересом читал философские статьи в журналах.

О каких философских статьях пишет Шиглев?

Мы знаем, что молодежь в те времена зачитывалась статьями Герцена, которые появились в середине сороковых годов в «Отечественных записках». Сам Герцен говорит в «Былом и думах»:

«Молодежь не только в университете и лицее сильно читала мои статьи о «Дилетантизме в науке» и «Письма об изучении природы», но и в духовных учебных заведениях. О последнем я узнал от графа С. Строганова, которому жаловался на это Филарет, грозивший принять душеоборонительные меры против такой вредоносной яствы... Философское направление студентов я мог видеть ближе. Весь курс 1845 года ходил я на лекции сравнительной анатомии. В аудитории и в анатомическом театре я познакомился с новым поколением юношей. Направление занимавшихся было совершенно реалистическое, т. е. положительно научное...»

А вот что рассказывает в своих «Записках бурсака» доктор С. И. Сычугов:

«Особенно сильное, неотразимое обаяние произвели на меня статьи Белинского и письма об изучении природы Герцена; «Отечественные записки», в которых они были напечатаны, и «Современник» (тогда отдельного издания Белинского еще не было) стали моими настольными книгами, из-за них я ограничивался пятью часами сна. Никогда уже, ни прежде, ни после, я не испытывал такого воодушевления, такого неудержимого стремления к саморазвитию, какое пробуждали во мне сочинения этих авторов».

Под влиянием таких книг «бурсак» Сычугов не захотел служить молебны и панихиды. По окончании семинарии он пошел в университет на филологический факультет. Но филология не пришлась ему по вкусу, и он той же осенью перебрался на медицинский.

Это течение, которое влекло молодежь к положительным знаниям, к естественным наукам, к медицине, дало себя знать уже в пятидесятые годы. «Отцы и дети» еще не были написаны, но время Базаровых близилось. На медицинский факультет Московского университета и в Петербургскую медико-хирургическую академию шли не только дети лекарей и дьячков, но и юноши из дворянского круга, которые легко могли бы сделать военную или чиновничью карьеру.

В 1850 году молодой офицер И. М. Сеченов оставляет военную службу и поступает на медицинский факультет. В том же году берется за изучение медицины С. П. Боткин, происходивший из состоятельной купеческой семьи. Эти студенты-медики пятидесятых годов в следующем десятилетии становятся учеными, двигающими вперед русскую науку.

А. П. Дианин пишет: «Конец пятидесятых годов составляет эпоху в истории точных знаний у нас в России. До того времени масса молодых сил устремлялась на историко-филологические факультеты и особенно в Московский университет, где тогда еще живы были традиции Грановского; почти все талантливое, все ищущее света поглощалось историей, филологией, эстетикой и метафизикой. В пятидесятых годах общее настроение изменяется, мысль получает иное направление — пробуждается стремление к естествознанию».

Стремление к естествознанию владело и Бородиным.

И можно с уверенностью сказать, что так же, как его сверстники, он не мог пройти равнодушно мимо философских статей Герцена. Бородина влекла к себе наука. А Герцен говорил каждому вступающему на этот путь, что наукой можно заниматься по-разному. Есть истинно ученые, для которых ничто человеческое не чуждо. И есть «цеховые ученые», которым все чуждо, кроме избранного ими предмета.

Истинный ученый похож на мыслителей древней Греции, которые были прежде всего гражданами — людьми жизни, людьми общественного совета. А цеховой ученый «это — вечный недоросль между людьми; он только не смешон в своей лаборатории... Ученый теряет даже первый признак, отличающий человека от животного,— общественность: он конфузится, боится людей; он отвык от живого слова; он трепещет перед опасностью; он не умеет одеться; в нем что-то жалкое и дикое».

«Педантизм, распадение с жизнью, ничтожные занятия... какой-то призрачный труд, труд занимающий, а в сущности пустой; далее, искусственные построения, неприлагаемые теории, неведение практики и надменное самодовольство — вот условия, под которыми развилось бледнолистое дерево цеховой учености».

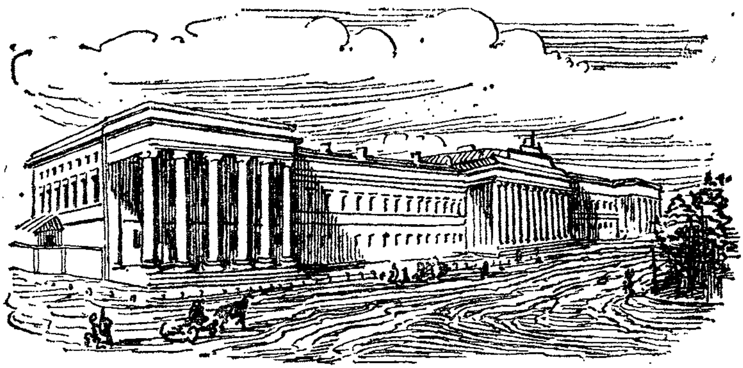
Осмеивая ученых-схоластов, Герцен доказывал, что будущее принадлежит такой науке, которая будет доступна

всем людям и потребует голоса во всех делах жизни. И он высказывал надежду, что именно русским ученым суждено будет стать «представителями действительного единства науки и жизни, слова и дела».

Знал ли Герцен, когда писал это, что предсказанное им время уже совсем близко, что среди его читателей уже есть эти ученые будущего, что в университетах и академиях уже растет новое поколение деятелей науки, которые будут не только специалистами, но прежде всего людьми и гражданами?

Таким ученым-гражданином стал и Бородин. В нем гармонически сочетались исследователь, художник, общественный деятель. Недаром его духовными воспитателями были Белинский и Герцен, так страстно боровшиеся против отпадения науки и искусства от жизни.

Но как ни велико влияние на молодую душу любимых писателей и мыслителей, она всегда нуждается в живом примере, в непосредственном общении с учителем. Таким учителем стал для Бородина Николай Николаевич Зинин.



Глава четвертая

УЧИТЕЛЬ

Еще задолго до того, как Бородин стал студентом, он увлекался химией. Но если бы даже он раньше никогда не интересовался ею, он пристрастился бы к ней сейчас. Первые же лекции Зинина произвели на него огромное впечатление. Как не похож был Зинин на тех профессоров, которые сухо и монотонно из года в год читали по тетрадке все тот же курс, написанный ими в первые годы их профессорства!.. К тому же еще читали не по-русски, а по-латыни. Для мертвых теорий ничто так не подходило, как мертвый язык. «Это была не наука, а катехизис»,— говорил учившийся в Московском университете сверстник и друг Бородина С. П. Боткин.

Еще резче отзывался о профессорах-схоластах доктор Белоголовый, товарищ Боткина по университету.

Не таким был профессор Медико-хирургической академии Николай Николаевич Зинин.

Когда Зинин, веселый, энергичный, переполненный новыми мыслями, входил в аудиторию и начинал лекцию, с ним вместе, казалось, входила сама жизнь. Профессора-педанты учили тому, чему учили их самих. А этот сам шел вперед и вел за собой своих слушателей. Его кафедра была не просто кафедрой — она была «трибуной нового направления в науке», как писал потом Бородин.

До того как Зинин стал профессором Медико-хирургической академии, химия и физика считались там второстепенными, вспомогательными предметами. Основой медици-

ны была, по установившемуся мнению, анатомия. Изучение живого человека подменялось изучением трупа. И врача считали сделавшим свое дело, если при вскрытии диагноз подтверждался.

Ясное дело, что нельзя стать врачом без знания анатомии и что правильно поставленный диагноз дело необходимое, но больного мало интересует, что покажет вскрытие. Ему важно, чтобы его вылечили и чтобы дело до вскрытия не дошло.

О том, что больной — живой человек, забывали нередко профессора-педанты.

Зинин не был врачом, но он больше, чем иные врачи, помнил, что цель медицины — вылечить больного. А для этого надо знать не только строение человеческого тела, но и все сложные процессы, происходящие в здоровом и больном организме. Ключ к пониманию этих процессов дают физика и химия. Эти науки, по мысли Зинина, и должны стать основой медицинского образования. Поэтому он читал химию студентам-медикам так же подробно, как если бы им предстояло стать специалистами-химиками.

Раньше физику и химию преподавал один и тот же профессор. Зинин настоял на том, чтобы эти два предмета разделили между двумя профессорами. Химию он взялся преподавать сам. На первом курсе он читал неорганическую и аналитическую химию, а на втором — химию органических тел с применением ее к физиологии и патологии.

И студенты сразу же оценили нового профессора. Он не стремился загромоздить их память бесконечным количеством фактов и сведений, которые так легко забываются на другое утро после экзамена. Его главной целью было научить их мыслить. Он считал, что если они будут уметь мыслить, будут знать приемы и методы исследования, они сумеют самостоятельно разобраться в самых запутанных и сложных фактах.

По словам Бородина, Зинин «неуклонно проводил идею, что медицина как наука представляет только приложение естествознания к вопросу о сохранении и восстановлении здоровья».

Эти идеи были новыми в те времена, и за них приходилось бороться. А Зинин был прирожденным борцом. Со всей страстностью и прямотой своей натуры он разоблачал рутину и невежество, не считаясь ни с какими авторитетами. Его едкие, остроумные насмешки попадали в цель

без промаха. Ученые-педанты боялись его и мстили ему, как могли.

Эта борьба за науку и ее права была в то же время борьбой за автономию и достоинство русской науки. Когда Зинин из Казани перевелся в Петербург, он уже застал в академии два враждебных лагеря, две партии. Одну из них называли «немецкой», другую — «русской».

Говоря о борьбе этих партий, было бы неправильно считать, что причиной розни было различие в национальности. Русские ученые относились с большим уважением к такому немцу, как профессор Грубер, который был глубоким знатоком анатомии и обучил ей не одно поколение русских врачей.

Дело было в другом.

В николаевские времена трудно было найти более верных «слуг престола» и более ярых реакционеров, чем прибалтийские бароны с их крепостническими обычаями и нравами. Недаром шефом жандармов Николай назначил одного из таких своих верных слуг — Бенкендорфа.

В Дерптском университете даже и в XIX веке господствовали в среде студентов-немцев средневековые традиции и связанный с этим консервативный дух. Врачи, выходившие из этого университета, за немногими исключениями, сохраняли и дальше консервативные традиции.

Диплом доктора медицины там было гораздо легче получить, чем в Петербурге или в Москве. И очень часто случалось, что талантливый русский врач, окончивший курс со званием лекаря, оказывался в подчиненном положении у менее образованного доктора медицины — немца.

Все это не могло не обострять розни.

Враждебные отношения установились и в Медико-хирургической академии — между русскими профессорами и выходцами из немецких университетов. Раскол начался с тех пор, как в академию вступил профессор Э. Э. Эйхвальд, ставший ученым секретарем. Эйхвальд старался, как тогда говорили, «возвыситься в глазах начальства», выставляя свои заслуги перед наукой в противоположность «безыменным в научном отношении профессорам академии». По словам историка Военно-медицинской академии, «стремление стать выше других, явное предпочтение всего иностранного, немецкого, и презрительное отношение к старым деятелям русской школы, естественно, должны были вызвать неудовольствие и энергический отпор».

Чем дальше, тем непримиримее становилась вражда этих двух партий. На одной стороне были консервативные взгляды и кастовая, цеховая ограниченность; на другой стороне — демократизм, горячий интерес к жизни, любовь к России.

Естественно, что передовое студенчество не долго выбирало, к кому примкнуть. В глазах студентов Зинин был и большим ученым и борцом за прогресс. Все в нем пленяло молодежь. Он был не только блестящим лектором и передовым общественным деятелем, но и обаятельным человеком. С первых же встреч Бородин был очарован Зининым. И это не было преходящим увлечением. Через много лет, когда Бородин уже был немолодым профессором, он и Бутлеров написали для «Журнала Русского физико-химического общества» статью об их общем учителе, который незадолго перед тем умер.

Посылая Бутлерову свою рукопись, Бородин писал:

«Можете быть спокойны, что все, о чем я пишу, вполне верно, и с моей стороны увлечения и пристрастия к любимому мной человеку нет. Если бы Вы нашли удобным сохранить в статье мелкие частности обстановки его лаборатории, домашней жизни и отношений, о которых я упоминаю, то было бы очень приятно, так как подробности эти очень характерны и оригинальны. Так, по крайней мере, мне думается. К сожалению, не могу касаться многих других вещей,— чтобы не раздразнить гусей, которых очень много в живых и которые не прочь заклевать покойного даже после смерти».

Совершенно ясно, кого Бородин называет «гусями»,— это профессора-реакционеры, с которыми приходилось воевать Зинину.

Больше всего Бородин ценил в людях человечность, отзывчивость. И именно эти черты он особенно подчеркивал, характеризуя Зинина.

Вот что он писал в своей статье: «В высшей степени добрый, гуманный, доступный для всех и каждого, всегда готовый помочь и словом и делом — Н. Н. никогда никому не отказывал. Его теплое участье к людям, желание и умение помочь каждому, принести возможную пользу, его крайняя простота в обращении, приветливость, радушие скоро сделали его имя одним из самых популярных в Медико-хирургической академии. Он удивительно умел внушать доверие, любовь и уважение».

Когда читаешь воспоминание Бородина о Зинине, кажется, что он рисует не портрет своего учителя, а свой собственный портрет. И это сходство не случайно. Когда учитель становится для ученика образцом человека, примером для подражания, сходство появляется неизбежно.

По словам профессора А. П. Дианина, Зинин «стал для Бородина постоянным наставником, другом и руководителем не только в химии, но и во всем, что касалось лично Бородина,— включительно до его туалета».

Так только отец может относиться к сыну.

Бородин нашел, наконец, отца, которого его лишила судьба. Ведь родной его отец, на которого он был очень похож наружностью, не был и не мог быть для него воспитателем и руководителем. Да и умер он, когда Бородин еще был ребенком. Авдотья Константиновна была заботливой матерью, но и она не могла ему дать того, чего лишена была сама: широкого кругозора, настоящего понимания науки и жизни. Все это получил Бородин от своего отца не по плоти, а по духу — Зинина.

Но это сближение произошло не сразу. История отношений ученика и учителя похожа на настоящий роман.

Юный Бородин был очень застенчив и долго не решался заговорить с любимым профессором. Целых два года прошло, прежде чем он решился пойти к Зинину и сказать, что хотел бы работать в лаборатории под его руководством. Работать в настоящей лаборатории было для него пределом мечтаний.

В те времена только избранные студенты допускались к практическим занятиям. Большинству приходилось довольствоваться ролью зрителей. Лекции сопровождались демонстрацией опытов. Но одно дело смотреть на опыты, а другое дело производить их самому, собственными руками.

Правда, предмет его мечтаний — академическая лаборатория не имела с виду ничего заманчивого.

Вот как через много лет описывал ее сам Бородин: «Лаборатория академии представляла две грязные мрачные комнаты со сводами, каменным полом, несколькими столами и пустыми шкафами. За неименьем тяговых шкафов, перегонки, выпаривание и пр. зачастую приходилось делать на дворе, даже зимой. Об организованных практических занятиях не могло быть и речи. Но и при этих условиях у Н. Н. находились всегда охотники ра-

ботать. Человек пять-шесть всегда работало, частью на собственные средства, частью на личные средства Н. Н-ча».

Этими охотниками были по большей части начинающие ученые и студенты последних курсов. Как же мог решиться первокурсник Бородин заявить о своем желании попасть в это избранное общество?

Но он слишком любил химию, чтобы удовлетворяться слушанием лекций. Он не стал терять даром времени и у себя дома не только свою комнату, но и всю квартиру превратил в лабораторию к ужасу остальных членов семьи.

А. П. Дианин рассказывает, что «на окнах, столах и под столами, словом,— везде, где можно было что-нибудь поставить, находились стаканы с растворами, реторты, всякая посуда и химические материалы. Впрочем, с сероводородом и кислотами он работал в отхожем месте, которое, таким образом, заменяло ему и тяговый шкаф и вообще черную лабораторию. Впоследствии он с большой гордостью показывал гликолевую кислоту, приготовленную им в этой примитивной лаборатории».

Мы не знаем, каким способом получил он гликолевую кислоту: пришлось ли ему для этого сначала превратить уксусную кислоту в хлоруксусную, а от нее уже перейти к гликолевой. Или же он воспользовался способом, который незадолго до этого — в 1851 году — был найден русским химиком Соколовым и шел не от хлоруксусной, а от аминоуксусной кислоты — гликокола. Одно можно сказать с уверенностью: он должен был почувствовать себя счастливым, когда увидел выпадающие из раствора мелкие бесцветные иголочки новорожденной гликолевой кислоты, которую он сам вызвал к жизни. Радость созидания вознаградила его за все трудности, с которыми ему пришлось иметь дело.

Ведь не так-то легко выполнять такие сложные работы без руководителя.

Бородин был уже на третьем курсе, когда, наконец, набрался смелости и подошел к Зинину.

Вот что рассказывает об этом Стасов в своей книге «Александр Порфирьевич Бородин»: «Зинин встретил его насмешками, не веря, чтобы студент его курса стал серьезно заниматься таким предметом: таких примеров еще не бывало. Но вскоре Зинину пришлось убедиться в том, что недоверие было напрасно».



К своему удивлению, Зинин увидел, что этот застенчивый, так легко краснеющий юноша не только хочет, но и умеет работать. Руки у новичка были умелые и ловкие. Он обращался с приборами и реактивами, как со старыми знакомыми.

Академическая лаборатория по своему оборудованию была немногим лучше домашней лаборатории Бородина. За неимением посуды приходилось иной раз работать в битых черепочках и в самодельных приборах. На химию ассигновывалось в год рублей тридцать с правом требовать еще столько же в течение года. Много ли можно было купить на такие деньги? Но даже имея деньги, было трудно иной раз найти в магазинах самую обыкновенную пробирку или каучуковую трубку.

Но не приборы делают лабораторию, а ее руководитель. Где ученики группируются вокруг большого ученого, там и с небогатым оборудованием можно многого добиться. Здесь, в этих неказистых, мрачных комнатах, росла и крепла молодая русская химия.

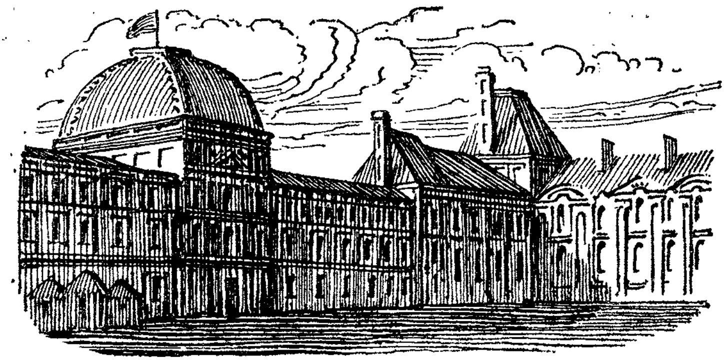
Бородин вспоминал потом: «Это была пора синтеза горчичного масла, *«пропилениловых»* соединений самого хозяина лаборатории и патриархальных дружеских отношений между учителем и учениками. Мне живо вспоминается, как, бывало, Н. Н. приносил в лабораторию йодистый *«пропиленил»* и... десяток яблоков, купленных мимоходом на Самсониевском мосту и тщательно завязанных в платочек: дружеское угощение студенту за помощь в работе — *«чтобы не скучно было»*. Мне живо помнятся его веселые, чисто товарищеские и большею частью всегда поучительные беседы со студентами; дружеские побранки и даже колотушки — когда кто-нибудь зазевается во время работы, напортит что-нибудь или скажет какую-нибудь глупость. Верный преданиям казанского студенчества своего времени, он любил помериться своей, действительно громадной, физической силой — схватиться с каким-нибудь дюжим студентом или доктором и побороться с ним».

Здесь, в лаборатории Зинина, начинали свою работу выдающиеся ученые Н. Н. Бекетов, В. Ф. Петрушевский. Сюда приходили и молодые химики для того, чтобы рассказать Зинину о результатах своих работ, посоветоваться с ним о своих идеях, планах, намерениях. «Лаборатория превращалась в миниатюрный химический клуб, в импровизированное заседание химического общества, где жизнь

молодой русской химии кипела ключом, где велись горячие споры, где хозяин, увлекаясь сам и увлекая своих гостей, громко, высоким тенором, с жаром развивал новые идеи и, за неимением мела и доски, писал пальцем на пыльном столе уравнения тех реакций, которым впоследствии было отведено почетное место в химической литературе».

О каких новых идеях говорит здесь Бородин? О чем велись горячие споры в «химическом клубе»?

Чтобы это узнать, надо перелистать страницы истории химии. Для нас эта история — прошлое, давно пройденная ступень. А для Зинина, для его учеников и современников это была сама жизнь, которая то и дело сталкивала противоположные взгляды и иной раз требовала немедленного пересмотра установившихся представлений.



Глава пятая

БОРЬБА В НАУКЕ

В истории науки бывают спокойные времена, когда копятся факты и каждый новый факт находит себе удобное место в уже готовых схемах, в ячейках давно построенного прочного здания теории.

Но бывают и другие времена,— когда здание теории становится тесным для новых фактов. Все очевиднее делается необходимость перестроить это старое здание, которое больше уже не помогает, а мешает росту науки.

Так начинается борьба между тем, что отжило свой век, и тем, что идет на смену. Эта борьба вновь и вновь проверяет прочность старого и силу нового.

Сторонники старого стараются приспособить свои теории к новым фактам. Но это не всегда решает вопрос.

И наступает момент, когда передовые идеи, окрепшие в борьбе, сметают, наконец, все преграды. На месте старой теории возникает новая,— словно более просторное и удобное здание, вмещающее то, чего не могло вместить прежнее.

В такие революционные времена начинал свою работу Бородин. Он сразу, еще студентом, попал в самую гущу схватки.

На лекциях Зинина, в спорах, то и дело вспыхивавших в «химическом клубе», не раз повторялись имена сторонников нового и старого направления в химии. Раздавались голоса «за» и «против». И молодому химику надо было решить, под чьи знамена встать. Под знамена Берцелиуса,

который на протяжении десятилетий был чуть ли не единовластным законодателем химии? Или же примкнуть к его противникам — Лорану и Жерару, поднявшим восстание против старой теории?

Впрочем, то «новое направление», которое отстаивали Лоран и Жерар, было в действительности совсем не новым в науке.

Спор шел об основных понятиях химии — о молекулах и атомах. Но еще в середине XVIII века Ломоносов ясно представлял себе различие между «корпускулой», то есть молекулой, и «элементами», то есть атомами, ее составляющими.

В 1741 году он писал в «Элементах математической химии», что «корпускулы однородны, если состоят из одинакового числа одних и тех же элементов, соединенных одинаковым образом. Корпускулы разнородны, когда элементы их различны и соединены различным образом или в различном числе; от этого зависит бесконечное разнообразие тел».

Опережая на столетие своих современников, Ломоносов верил, что «острое исследователей око» проникнет со временем во внутреннее строение «нечувствительных частиц» — молекул.

«Ежели когда-нибудь сие таинство откроется,— писал он в «Слове о пользе химии»,— то подлинно химия тому первая предводительница будет, первая откроет завесу внутреннейшего сего святилища натуры».

А в рассуждении «О твердости и жидкости тел» он говорил: «Во тьме должны обращаться физики, а особливо химики, не зная внутреннего нечувствительных частиц строения».

Ярким светом пронизывало эту тьму учение Ломоносова, указывая исследователям путь в глубь вещества. Но прошло больше ста лет, прежде чем цель была достигнута и внутреннее строение молекул стало доступным изучению.

Путь оказался таким долгим не только потому, что для дальнейшего развития химии нужно было сначала накопить большой материал, проделать множество опытов. Движение вперед было затруднено еще и тем, что химики не скоро приняли атомно-молекулярное учение во всей его полноте.

Признав существование атомов и сделав из этого важные выводы, виднейшие химики первой половины XIX ве-

ка Дальтон и Берцелиус попытались обойтись без понятия о молекуле.

Они, например, говорили не о молекуле воды, а об ее «сложном атоме», не видя глубокого различия между атомами и молекулой. Они считали, что простые тела состоят не из молекул, а из свободных атомов, и это было ошибкой, которая дорого стоила химии.

Основатель научной химии — Ломоносов, многогранный и глубокий мыслитель, умел охватывать взором всю природу как единое целое. Он понимал, что нельзя отрывать химию от физики, исследование атомов от исследования молекул.

У Дальтона и Берцелиуса не было такого широкого кругозора. Они видели перед собой только одну химическую сторону явлений. Они старались все явления объяснить с помощью одних и тех же атомов, не понимая, что «сложные атомы» это уже не атомы, а молекулы, то есть другая ступень развития материи, подчиняющаяся своим законам.

Но и в таком половинчатом виде атомное учение много дало химии. Из него были выведены и подтверждены опытом важные следствия: закон постоянства состава, закон кратных отношений. Химики обозначили особыми знаками атом каждого элемента и стали изображать химические соединения в виде формул.

Появилось и представление об относительном весе атомов. Но эти первые атомные веса и первые формулы были еще очень произвольны.

Дальтон, например, считал, что в «сложном атоме» воды — один атом кислорода и один атом водорода. При этом атомный вес водорода принимался равным единице, а атомный вес кислорода равным восьми. Основанием для выбора формулы служил химический анализ, который показывал, что в воде на одну весовую часть водорода приходится восемь весовых частей кислорода. Но тем же результатам анализа не противоречила бы и формула H_2O, если принять атомный вес кислорода равным 16, и формула H_4O, если считать атомный вес кислорода равным 32.

Почему же из множества возможных формул Дальтон выбрал формулу HO?

Он сделал это, основываясь не на опыте, а на произвольном умозрительном допущении, что в природе все должно быть устроено просто.

К произвольным допущениям прибегал при выборе формул и Берцелиус.

В условии задачи не хватало данных, и их приходилось выдумывать.

Химический анализ давал только весовые отношения, в которых соединены элементы. Чтобы решить задачу об атомном составе вещества, об его истинной формуле, этого было недостаточно.

Тут на помощь химии могла бы прийти физика,— ведь она тоже со своей стороны искала пути в мир атомов и молекул.

Никто и никогда еще не видал молекулы и атомы, и даже существование их многим казалось в те времена спорным. Но если нельзя было увидеть, выловить отдельный атом или отдельную молекулу, то об их множестве уже можно было судить, как можно судить издали о толпе, не различая отдельных людей.

Было уже известно, что «толпа» молекул водорода или «толпа» молекул любого другого газа ведет себя совершенно одинаково, хотя молекулы сами по себе различны. От сжатия или нагревания эти «толпы» одинаково сжимаются или расширяются. Это можно было объяснить только тем, что молекулы в разных газах или парах одинаково отстоят одна от другой.

Но раз от молекулы до молекулы всегда при одних и тех же условиях одно и то же расстояние, значит в одинаковых объемах помещается одинаковое число молекул любого газа или пара.

Такой вывод и сделал итальянский физик Авогадро.

А если так, то, взвесив равные об'ьемы двух разных газов, можно было узнать, во сколько раз молекула одного из них весит больше, чем молекула другого.

Но закон Авогадро давал не только это.

Хотя молекулы и атомы оставались по-прежнему «нечувствительными» — недоступными глазу, химик мог теперь судить о том, что происходит с этими невидимками, когда они соединяются во время химических реакций.

Вот объем водорода и такой же объем хлора. Соединяясь, они дают два объема хлористого водорода. С помощью закона Авогадро результат этого опыта можно было перевести с языка объемов на язык молекул: молекула водорода и молекула хлора образовали две молекулы хлористого водорода. Но для этого они должны были сначала раздвоиться, распасться пополам на составляющие их атомы.

Значит, в молекуле водорода и молекуле хлора по крайней мере по два атома.

Другой опыт: из двух молекул водорода и одной молекулы кислорода образовались две молекулы воды.

Значит, на каждую молекулу воды пошла молекула водорода, то есть два его атома, и полмолекулы кислорода, то есть один его атом.

Теперь уже не на основании произвольных допущений, а на основании опыта можно было утверждать, что истинная формула воды H_2O.

Закон Авогадро открывал также и путь к определению истинных атомных весов. Молекула кислорода в шестнадцать раз тяжелее молекулы водорода. Но в той и другой молекуле по два атома. Следовательно, если принять атомный вес водорода равным единице, атомный вес кислорода должен быть равен 16.

Так начало исполняться то, что предвидел Ломоносов: приоткрылся краешек завесы, скрывавшей внутреннее строение молекулы. Еще неизвестно было, как в молекуле воды расположены атомы, как они связаны между собой, но уже можно было сказать, что в ней два атома водорода и один атом кислорода.

В наше время каждому школьнику, только что принявшемуся за изучение химии, формула H_2O кажется такой же простой и очевидной, как дважды два — четыре. А с каким трудом далась ученым эта простота! За краткой формулой — десятилетия ожесточенной борьбы между людьми и научными школами. Как много тут было удач и неудач, побед и поражений!

Казалось бы, химики должны были с радостью воспользоваться помощью, которую предлагали им физики.

Но случилось другое. Дальтон и Берцелиус не приняли руку, которая была им протянута.

Чтобы согласиться с Авогадро, Дальтону пришлось бы отказаться от убеждения, что простые тела состоят не из молекул, а из атомов. А для Берцелиуса это означало к тому же крушение теории, которую он создавал в течение многих лет и которая, как он думал, хорошо объясняла множество фактов.

Эту теорию называли «дуалистической», потому что в каждом химическом соединении она видела две части.

Еще в конце XVIII века химики стали представлять себе кислоту, состоящей из кислорода и «радикала», то есть вещества, способного соединяться с кислородом. Соль считали соединением двух начал — кислоты и основания.

Такой взгляд, казалось, подтвердился на опыте, когда и соли, и кислоты, и даже простую воду удалось разложить электрическим током на две части.

Берцелиус сделал отсюда вывод, что в каждом химическом соединении две части, из которых одна заряжена положительно, а другая — отрицательно. У любого атома, говорил он, два полюса. У атомов металла более развит положительный полюс, у атомов неметалла — отрицательный. Оттого они друг к другу и притягиваются. Кислород и водород соединяются и образуют воду именно потому, что атом кислорода заряжен отрицательно, а атом водорода положительно.

Все это было яснее и научнее, чем прежние туманные рассуждения о «сродстве», «симпатии», «любви», которые будто бы сближают разнородные элементы.

Электрохимическая теория, казалось, так хорошо объясняла факты, что Берцелиус не захотел от нее отказаться, когда появилась работа Авогадро.

Авогадро говорил, что газ водород состоит не из простых атомов, а из молекул. В каждой его молекуле два атома. С точки зрения Берцелиуса это было невозможно. Два одинаково заряженных атома не могли бы притянуться друг к другу. Они должны были бы отталкиваться.

Разрыв между учением о молекулах и учением об атомах продолжался. И это не могло не привести к полнейшему хаосу в химии.

Какие атомные веса и какие формулы считать правильными? В этом между учеными не было согласия. В книгах по химии одно и то же соединение разные авторы выражали разными формулами. Для воды, например, было в ходу четыре формулы. Редактор одного химического журнала считал, что к каждой работе надо, как в музыке, прилагать особый ключ.

Дело кончилось тем, что некоторые химики усомнились в правильности атомной теории и стали говорить, что «надо изъять из обращения слово атом».

Герцен писал по этому поводу, что естествоиспытатели сами «предают атомы и соглашаются, что может быть вещество не из атомов». И он с негодованием называл это «цинизмом в науке».

Так, отвергнув молекулу, химики дошли до того, что готовы были отвергнуть и атом.

А между тем работа накопления фактов продолжалась. И все чаще оказывалось, что новые факты противоречат старым теориям.

Особенно быстро развивалась во второй четверти XIX века органическая химия. Мы сейчас считаем ее химией углерода, а в те времена ее считали химией веществ, образующихся в живых организмах. Оттого-то ее и назвали органической.

Каждый год приносил новые открытия в этой области. Все быстрее росло число органических соединений, известных ученым. И эти соединения были совсем не похожи на то, с чем ученые раньше привыкли иметь дело.

Обнаружилось, например, немало таких веществ, которые обладают разными свойствами при одинаковом составе. Берцелиус дал этому явлению название «изомерия», но он не смог его объяснить. Химики говорили об «игре изомерии», как когда-то говорили об «игре природы».

Было еще много другого, что непонятным образом отличало органическую химию от неорганической. Электрохимическая теория, которая одержала столько побед, казалась здесь трудно приложимой хотя бы по той причине, что очень многие органические вещества вообще нельзя разложить электрическим током.

Чтобы объяснить образование и своеобразие органических веществ, Берцелиусу пришлось призвать на помощь таинственную «жизненную силу». Это она создает органические вещества в телах растений и животных. А в лаборатории таких соединений получить нельзя.

Но что такое «жизненная сила»? Этого мы не знаем, говорил Берцелиус, и никогда не узнаем.

В истории науки так бывало не раз: не найдя объяснения фактам, люди начинали считать, что факты необъяснимы. И тогда в естественной истории снова появлялись сверхъестественные силы, словно привидения в темных углах.

Так расширялась пропасть между теорией Берцелиуса, созданной при изучении минеральных веществ, и фактами, которые принесло изучение веществ органических.

Особенно сильный удар получила эта теория после одного незначительного случая, который с виду не имел никакого отношения к вопросу о том, правильна она или неправильна.

Случай произошел даже не в химической лаборатории, а на балу в королевском дворце в Париже.

Как всегда, в залах дворца Тюильри собрались придворные кавалеры и дамы. Как всегда, были зажжены сотни восковых свечей. Свечи эти с виду ничем не отличались

от обычных. Но странное дело: они горели сильно коптящим пламенем и распространяли удушливые пары, которые разогнали танцующих.

Было произведено расследование. Известному химику Дюма поручили сделать анализ свечей. Дюма сразу же понял, в чем дело: ведь это по его совету воск для свечей на этот раз белили хлором. Анализ показал, что при белении воск поглотил какое-то количество хлора. Когда свечи горели, выделялись пары хлористого водорода.

Казалось бы, самый незначительный эпизод. Он был бы забыт, если бы из него не были сделаны выводы, которые касались не одного только свечного производства, а всей химии в целом. Выводы эти сделал Дюма. Он объяснил дело тем, что в воске хлор заместил часть водорода.

Один из учеников Дюма — Лоран — попробовал заместить хлором водород в нафталине. Оказалось, что и здесь хлор становится на место водорода.

Надо сказать, что еще в конце XVIII века русский академик Товий Егорович Ловиц получил таким способом из уксусной кислоты трихлоруксусную. Но тогда это открытие прошло незамеченным. И только через полвека Дюма снова произвел эту реакцию и объяснил ее характер.

Хлор способен вытеснять и заменять водород. Берцелиус никак не мог и не хотел с этим согласиться. Факты были против него, и он отказывался верить фактам. Ведь тут получалось, что электроотрицательный хлор становится на место электроположительного водорода. С точки зрения электрохимической теории это было невозможно. Берцелиус и его сторонники яростно напали на Дюма и Лорана.

А тут еще Дюма, как назло, допустил возможность замещения там, где его и быть не могло. Один из учеников Дюма сделал в работе ошибку, которая давала повод думать, что хлором можно замещать не только водород, но и углерод. Дюма, не проверив, опубликовал эту работу.

Оплошностью Дюма поспешили воспользоваться сторонники Берцелиуса. Они только и ждали случая найти брешь в укреплениях противника. В одном из химических журналов появилось письмо из Лондона, в котором говорилось, что английским химикам удалось заместить хлором все атомы уксуснокислого марганца и что при белении тканей тоже происходит замещение всех атомов хлором. Письмо было подписано — S. Ch. Windler. Догадливые люди

сразу сообразили, что S. Ch. Windler — это Schwindler — обманщик.

Недруги Дюма и Лорана покатывались со смеху, читая эту заметку.

Но оскорбления и насмешки не могли остановить движение науки вперед. Напрасно Берцелиус предлагал все новые гипотезы, чтобы спасти свою теорию от полного крушения. Число фактов замещения все увеличивалось.

Опираясь на эти факты, Дюма предложил считать все соединения получившимися из немногих типов путем замещения.

Другой французский химик, Жерар, развил эту теорию и приложил ее к органической химии.

Как только не честили противники теорию замещения: «несчастная теория замещения», «туманная химия», «ложное воззрение, появившееся на свет, словно те уроды и калеки, которые погибают, едва успев родиться».

Сторонников теории замещения обвиняли в «научном обмане», в «дерзком произволе», в «бесчинстве».

Лоран писал потом, что он готов простить «дуалистам» все оскорбления, но никогда не простит им неверия.

Был момент, когда сам Дюма поколебался и готов был предать и свое собственное учение и своих учеников. Ему, члену Академии, «бессмертному», не хотелось выступать в роли «ниспровергателя основ». Но эти колебания продолжались недолго.

Для нас все это — далекое прошлое. А в те годы борьба между «дуалистами» и их противниками была в полном разгаре. Каждый номер научного журнала прочитывался с волнением, точно сводка с поля боя. Иногда думают, что наука — это ледяное царство рассудка, что в ней нет места человеческим чувствам. Но могут ли оставаться спокойными и невозмутимыми те, кто наносит удары или их получает!

Оружием в этом бою были факты. Они не только убеждали сомневающихся и побеждали противников — они помогали науке наступать, пробиваться вперед.

Овладев законами замещения, химики нашли новый способ строить сложные органические вещества из простых. Ведь достаточно было заместить в простом соединении атом или группу атомов другим атомом или другой группой, чтобы получить новое, более сложное соединение.

«Этот ключ,— писал потом Менделеев,— открыл двери того таинственного здания строения сложных органиче-

ских соединений, к которому до тех пор боялись приступиться, полагая, что только под влиянием таинственной силы, действующей в организмах, сочетаются углеводородные элементы, иначе не сочетаемые».

В лабораториях химиков, в стеклянных колбах, а не в живых организмах, одно за другим рождались органические вещества без всякого участия жизненной силы. Химик сам стал этой жизненной силой.

Учебники еще были полны латинскими названиями растений и животных, из которых будто бы только и могут добываться многие лекарства и краски, а ученые уже могли перечислить немало таких же лекарств и красок, полученных искусственно из элементов неживой природы.

На химиков всего мира огромное впечатление произвела реакция получения анилина, открытая Зининым.

Известный химик Гофман писал: «Все мы уже тогда чувствовали, что речь здесь идет о реакции необычайной важности». И действительно, от открытия Зинина лежал путь к синтезу многих веществ, которые раньше находили только в природе или совсем не знали.

На долю жизненной силы оставалось все меньше и меньше работы. И все больше было людей, осмеливавшихся утверждать, что настанет время, когда не будет такого органического вещества, которое нельзя было бы получить искусственно.

Отступая, сторонники «жизненной силы» и других отживших теорий уже готовы были признать, что не следует насильственно применять законы неорганической химии к органической: пусть каждая живет по своим законам.

Но положение было серьезнее, чем они думали.

Колония уже не довольствовалась дарованной ей автономией. Она хотела навести свои порядки и в метрополии.

Лоран подверг жестокой критике взгляды Берцелиуса. А Жерар выдвинул взамен старой дуалистической теории новую — «унитарную».

Жерар утверждал, что неправильно представлять себе вещество как сумму из двух слагаемых, как соединение двух противоположных частей. Каждая частица вещества есть единое целое, атомы которого подчинены законам замещения. И свойства этого целого определяются тем, из каких элементов, из каких атомов частица построена.

«Мы рассматриваем всякое тело,— писал Жерар,— простое и сложное, как одно здание, как единую систему, образовавшуюся путем соединения в определенном, но не

известном нам, порядке бесконечно малых частиц, называемых атомами. Эта система называется молекулой тела».

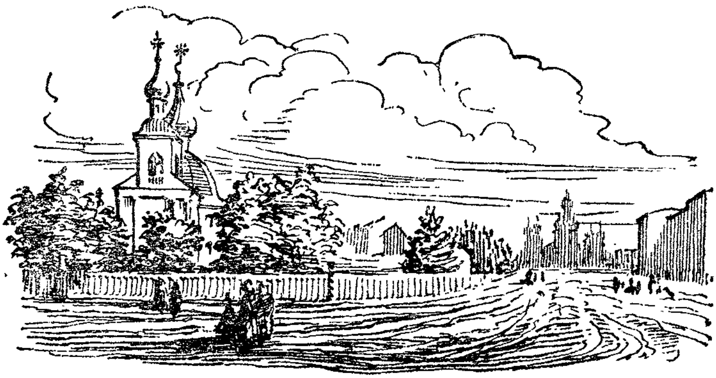
Но именно это впервые сказано было, и притом с большей точностью, Ломоносовым, который называл частицы, составляющие тела, не «бесконечно малыми», а «нечувствительными», то есть недоступными нашему зрению.

Унитарная теория снова возвращала химию на тот путь, который был ей гениально предуказан Ломоносовым.

Приняв существование молекул и опираясь на закон Авогадро, химики могли, наконец, воспользоваться помощью физики для определения атомных весов и правильных формул не на основе произвольных допущений, а на основе опыта.

Так учение о молекулах и учение об атомах, которые долго были искусственно разобщены, снова образовали гармоническое единство.

Унитарная теория не сразу завоевала себе признание. Жерар на каждом шагу убеждался в том, как труден путь революционера в науке. Ему приходилось голодать, отказывать себе в самом необходимом, чтобы покупать приборы и реактивы для опытов. Лоран тоже жил в бедности. Но оба они мужественно переносили лишения, отдавая все силы любимому делу, которое было им дороже, чем карьера и деньги. Они верили в торжество этого дела, и оно с каждым годом приобретало все больше сторонников.



Глава шестая

О НОВЫХ СТОРОННИКАХ НОВЫХ ВЗГЛЯДОВ

Самых горячих последователей новые взгляды нашли на родине Ломоносова, создателя атомно-молекулярного учения.

Ведь именно здесь, в России, Ловиц впервые заместил водородом хлор в уксусной кислоте. Здесь Зинин получил анилин без какой бы то ни было помощи «жизненной силы» и положил этим начало добыванию красящих веществ не из растений, а из угля, из материала неживой природы. На своих лекциях и в беседах с учениками Зинин с увлечением рассказывал о перипетиях борьбы химических теорий, которая все еще продолжалась с неослабевающей силой.

С жадным вниманием слушала студенческая молодежь — и Бородин в том числе — рассказы учителя о научных битвах.

Их увлекал пример самоотверженных людей, бесстрашно боровшихся за научную истину, не считаясь ни с какими трудностями. История химических формул и атомных весов захватывала их сильнее, чем любой роман с приключениями, любая пьеса с запутанной интригой. Какой романист мог бы придумать такой сложный сюжет? Здесь были свои положительные и свои отрицательные персонажи.

И главное, Бородин и его товарищи чувствовали себя не просто зрителями, а действующими лицами, готовящимися к выходу на сцену.

Перед ними на кафедре был один из главных героев этой драмы, которая разыгрывалась в науке.

Молодежь склонна была идти за тем, кто звал вперед. А за таким вождем и трудно было не пойти,— так страстно и убежденно отстаивал Зинин то, что считал правильным.

«Живой, как ртуть, нервный, как самая нервная женщина, рьяный до споров, в которых громит противника блестящей речью и громадным знанием»,— так отзывался о Зинине его современник, доктор Белоголовый.

По словам Белоголового, Зинин при первой же встрече решительно ослепил его своими разнообразными познаниями:

«Не было предмета, о котором заходила речь, где бы он не был дома. Химия, минералогия, ботаника, биология, астрономия, физиология и пр.,— со всем этим он был знаком весьма, казалось, фундаментально; при этом живость характера, страстность, блеск речи, наконец, изумительная память (он, например, как двенадцатилетний гимназист старого времени, в состоянии был, не запнувшись, перечислить все города какой-нибудь губернии, цитировал целые страницы Хераскова, Шиллера — на немецком и в переводе Жуковского — и пр.) произвели на меня глубокое впечатление. Я положительно не встречал до сих пор в такой мере даровитого человека».

Зинин завоевывал себе последователей с первого же натиска. Вот как он сделал своим союзником Бутлерова.

Бутлеров учился у него в Казани. Но Зинин уехал, и его ученику поневоле пришлось заканчивать химическое образование под руководством сторонника старых взглядов, профессора Клауса. Больше учиться там было не у кого.

И вот Бутлеров — уже не студент, а преподаватель Казанского университета — попадает на короткое время в Петербург. Разумеется, он первым делом спешит к Зинину, в Медико-хирургическую академию. Зинин рад увидеться с талантливым молодым химиком.

Но пусть лучше Бутлеров сам расскажет об этой встрече:

«Непродолжительных бесед с Н. Н. Зининым за это мое пребывание в Петербурге было достаточно, чтобы время это стало эпохой в моем научном развитии. Н. Н. указал мне на значение учения Лорана и Жерара, на только что появившиеся «Метод химии» первого и «Руководство

по органической химии» второго; он добавил к этому указания на значение различного характера водорода в органических соединениях и советовал руководиться в преподавании системой Жерара. Я последовал этим советам, и они двинули меня настолько по научному пути, что пребывание мое за границей в 1857—1858 году могло уже вполне довершить мое превращение из ученика в ученого».

Встреча Бородина с Бутлеровым в лаборатории Медико-хирургической академии была для них началом долгой, многолетней дружбы.

Оба они были любимыми учениками Зинина, можно сказать, братьями по науке. Во многом Бутлеров напоминал своего учителя.

Это был такой же богатырь не только по силе умственной, но и по физической силе. Он подбрасывал пудовые гири, как мячи. Как-то, придя к товарищу в гости, Бутлеров не застал его дома. Окинув взглядом комнату, он нашел кочергу и в один миг согнул ее в виде буквы «Б». Увидев такую «визитную карточку», можно было уже не сомневаться в том, кем она оставлена.

Бутлеров при своем крепком сложении и высоком росте казался неуклюжим, тяжелым. Но как ловко управлялся он с тончайшими стеклянными приборами! И как искусно он их сам делал! Когда он садился за паяльный стол и принимался выдувать какую-нибудь мудреную часть нового прибора, его всегда окружали зрители, которые с восхищением следили за его работой.

Добродушный, простой в обращении, отзывчивый, он не мог не понравиться Бородину.

К тому же еще новый товарищ Бородина страстно любил музыку, особенно вокальную, и это тоже должно было их сблизить.

Да и судьба у них была сходная. Так же, как Бутлерова, Зинин сумел и Бородина в необыкновенно короткий срок превратить из ученика в ученого.

Со всей страстью полюбил Бородин, который тоже не принадлежал к холодным, спокойным натурам, и своего молодого учителя и свою молодую, так бурно растущую науку. Не химию вообще, а именно органическую химию избрал он своей специальностью. По словам Бутлерова, молодые химики того времени занимались органической химией, «как наиболее интересной и наиболее обещающей для теории».

Впоследствии многим музыкантам было непонятно, как мог такой замечательный композитор, как Бородин, тратить большую часть своего времени на науку, которая казалась им сухой и малоинтересной.

И в самом деле, что заставляло Бородина забывать за лабораторным столом не только об отдыхе, но и о другой любимой работе — о музыке? Неужели ему не скучно было часами следить за тем, как кипит жидкость в колбе и как падают из конца холодильника капли, сгустившиеся из пара?

Постороннему зрителю такая работа и в самом деле может показаться скучной.

Но химику не скучно. Даже когда в лаборатории нет никого, с кем он мог бы перемолвиться словом, он не один. Он ведет разговор с самым интересным, хотя и молчаливым, собеседником — с природой. Он задает вопросы, а она отвечает, и отвечает только в том случае, если вопрос правильно поставлен.

Сосредоточенным взглядом окидывает химик ряды банок с реактивами, стоящих на полках над длинным лабораторным столом. Он ищет помощника, который заставит только что родившееся, неизвестное еще, не имеющее имени вещество рассказать все о себе. Какого оно рода и племени, к какой семье принадлежит, каким характером отличается?

Каждому понятно, что увлекает геолога, когда он разыскивает в горах прячущиеся от человеческих глаз руды. Снежные вершины над головой, темные пропасти под ногами — как тут не почувствовать себя лицом к лицу с природой!

Увлекательность работы химика, романтика химии не так бросается в глаза. Немного жидкости за стеклом колбы или нежный осадок кристаллов в пробирке — это не горный пейзаж, поражающий воображение, не ширь океана, не усеянное звездами ночное небо. Но химик видит и здесь природу во всем ее величии, во всей ее мощи. Он знает: в одной капле заключена целая вселенная, бесчисленные миры атомов.

Всякий труд — это процесс, происходящий между человеком и природой. Когда столяр выпиливает из куска дерева книжную полку или спинку кресла, он заставляет дерево жить новой жизнью. Первая жизнь дерева кончилась. Ни одного годового кольца не прибавится к тем, которые уже есть, не будет больше у дерева листьев весной, не бу-

дет больше плодов осенью. Но руки человека дали ему новый смысл, новое назначение. Человек вложил в него частицу себя — свой план, свою мысль.

Труд художника — это тоже «очеловечиванье» природы.

Краски, звуки, глина, мрамор принимают такие формы, образуют такие сочетания, какие мог создать лишь человеческий разум. Мы называем все это словом «творчество». И это слово одинаково подходит и к труду резчика по дереву, и к труду скульптора, и к тому, чем живет музыкант, и к тому, что заставляет химика проводить долгие часы в лаборатории.

Скучно ли коротать часы с возлюбленной? Для ученого, для художника природа та же возлюбленная. Когда она отвечает, каждое ее слово наполняет радостью сердце. Недаром еще Ломоносов в «Слове о пользе химии» сравнивал природу с невестой, а ученого — с женихом.

Искусство и наука не так различны, как кажутся. Наряду с чертами различия есть и черты сходства. Разными путями, разными средствами наука и искусство исследуют действительность, ищут правду жизни.

Чтобы произведение было художественным, оно должно воздействовать не только на разум, но и на чувство. Его нельзя создать без воображения, без больших эмоций.

И науку тоже творит не одна только логика.

Ленин говорил: «...без «человеческих эмоций» никогда не бывало, нет и быть не может человеческого *искания* истины» [1]. И он подчеркивал, что «фантазия есть качество величайшей ценности...» [2].

В противоположности науки и искусства есть и единство. И это особенно ярко проявляется, когда в одном человеке сочетается ученый и художник. Таких людей не так мало.

Говоря на одной из «павловских сред» о том, что умственный тип человека отличается от художественного типа, И. П. Павлов замечает: «Конечно, имеется масса людей маленьких и больших, которые законно это совмещают. Это совмещали и высокие люди, как Менделеев, Бородин, Гете и другие» [3].

---

[1] В. И. Ленин. Сочинения, т. 20. С. 237.

[2] Там же, т. 33. С. 284.

[3] «Павловские среды», изд. Академи наук СССР, М.— Л., 1949, т. III. С. 109.

Не во всякую эпоху поднимаются во весь рост такие «высокие», по выражению Павлова, такие многогранно одаренные люди, как Бородин.

Для этого нужны времена большого общественного подъема.

Можно ли считать случайностью то, что появление разносторонних людей, совмещающих в себе ученых и поэтов, ученых и художников, обычно совпадает с эпохами больших общественных сдвигов? Великие поэты-философы, поэты-физики древности жили и творили во времена становления и расцвета рабовладельческого строя, когда еще он был прогрессивным. Леонардо да Винчи был человеком того мощного века, о котором Энгельс говорил, что «это был величайший прогрессивный переворот, пережитый до того человечеством». Гениальный ученый, поэт и художник Ломоносов — это «птенец гнезда Петрова», сын той молодой России, которая «в бореньях силы напрягая, мужала с гением Петра». Поэт и ученый Гете был современником Французской революции.

Расцвет научного и музыкального творчества Бородина совпадает с общественным подъемом в России, когда передовые демократические идеи захватывают многих русских людей, когда и материалистическая наука и реалистическое искусство становятся орудием борьбы за лучшее будущее народа.

Думая обо всем этом, начинаешь понимать, что не было двух Бородиных, не было внутренней раздвоенности. Бородин-ученый и Бородин-композитор — это один и тот же человек, великий силой своего творческого духа. Не в раздвоенности была его беда, а в том, что одному человеку дается только одна жизнь и что в сутках только двадцать четыре часа. Но говорить об этом — значит опережать события. В этой главе Бородин еще только студент, а не ученый, любитель музыки, а не настоящий композитор.

С каждым днем отношения между студентом и профессором делались все более товарищескими. Много ли времени прошло с тех пор, как Бородин, преодолев свою застенчивость, с бьющимся сердцем впервые решился обратиться к Зинину с просьбой разрешить ему работать в академической лаборатории? А теперь он уже был своим человеком в этой лаборатории, постоянным членом «химического клуба».

Из гостя Бородин скоро превратился в хозяина. У Зинина было бесконечное количество всяких дел. Много

времени проводить в лаборатории ему не удавалось. Но когда он забегал туда по пути из аудитории в канцелярию или в зал заседаний, для участия в Конференции,— он всегда заставал своего молодого ученика за перегонкой, выпариванием, фильтрованием.

Наконец наступил тот день, когда Бородин был приглашен «в святилище науки» — в домашнюю лабораторию Зинина, о которой он до того знал только понаслышке. Бородин оставил нам живое и красочное описание зининской лаборатории:

«Это была крохотная комнатка при его частной квартире на Петербургской стороне. Уставленная разнокалиберными простыми столиками, она была загромождена сверху донизу. Чего только тут не было! Все углы, пол, столы, окна завалены были, по обыкновению, книгами, журналами, образцами товаров, минералами, бутылями, кирпичами, битыми оконными стеклами, канцелярскими бумагами и пр. Все столы были уставлены сплошь примитивной химической посудой всякого рода, с обрывочками цедильной бумаги под нею; на таких обрывочках покойный имел обыкновение записывать карандашом свои заметки и результаты опытов. Тут же стояли разные самодельные приборы, составленные из всевозможных трубочек, шнурочков, пробочек, аптекарских баночек и коробочек,— импровизированные штативы, и, как контраст, необходимые предметы научной роскоши: Эртлинговские весы, микроскоп Шика, спиртовая печь Гесса для органического анализа, эолипил, заменявший собою паяльный стол. Тут же были банки с мелкими животными в спирту, восковые ванночки, инструменты для препарирования — свидетели, что в Н. Н. не остыла еще страсть к сравнительной анатомии, которой он по временам отдавал свои досуги и мимоходом учил своих учеников. Роль тягового шкафа исполняла обыкновенная голландская печь и, нужно сказать правду, исполняла плохо».

«Казалось, на столах не было места, куда приткнуть маленькую пробирку; тем не менее, по воле хозяина, всегда отыскивалось место еще для новых подобных приборов и банок».

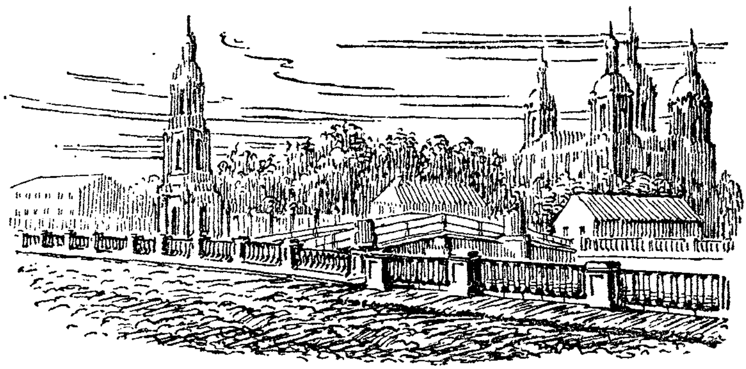
«Ничья рука не имела права нарушать порядка в этом беспорядке. И в такой-то архаической обстановке покойный делал те изящные и поразительно точные исследования, которые открыли ему с почетом двери в европейские ака-

демии и поставили его имя наряду с крупнейшими именами западных химиков!»

«В это святилище науки допускались, впрочем, ученики, когда им нужно было делать сжигания, точные определения и т. д. Прийти к Н. Н. делать анализ, значило по-приятельски пообедать с ним, напиться чаю и, кроме драгоценных указаний касательно анализа, вынести мимоходом кучу сведений по химии, физике, зоологии, сравнительной анатомии, математике и т. д.— сведений, которых порой нельзя было почерпнуть ни в одном из учебников».

Зинин был человек проницательный. Он очень скоро понял, что ученик его отличается необыкновенными способностями и что химия для него не случайное увлечение, а дело жизни. Сама судьба послала ему этого юношу, в котором он все больше привыкал видеть своего будущего преемника, своего духовного сына и наследника.

Но где любовь, там редко обходится без ревности. А у Зинина были основания ревновать своего юного ученика и друга.



Глава седьмая

О МУЗЫКЕ И О ДВУХ ЗАЙЦАХ

Заходя в лабораторию, Зинин все чаще, к великому огорчению своему, убеждался в том, что ученика его нет на месте. Черный лак стола покрывала серым налетом пыль. Собранные для опыта приборы, казалось, говорили: «Мы забыты».

Давно ли студент Александр Бородин впервые пришел в эту лабораторию и, краснея, как девушка, попросил разрешения здесь работать? И вот уже без него в лаборатории пусто и неуютно.

А Бородин в это время шагает через весь город с Выборгской стороны в Коломну, неся с собой виолончель или флейту. Рядом с ним его неизменный спутник Миша Щиглев со скрипкой под мышкой.

Вот как вспоминал об этом Щиглев:

«Мы не упускали никакого случая поиграть трио или квартет где бы то ни было и с кем бы то ни было. Ни непогода, ни дождь, ни слякоть — ничто нас не удерживало; и я со скрипкой под мышкой, а Бородин с виолончелью в байковом мешке на спине делали иногда громадные концы пешком, например, с Выборгской в Коломну, так как денег у нас не было ни гроша».

А Стасов рассказывает:

«Из этого периода жизни Бородина близкие ему люди помнят немало очень характерных анекдотов. Так, например, возвращался однажды Бородин со своим другом Щиглевым ночью домой. Темень была страшная, фонари еле-

еле мерцали по Петербургской стороне, лишь кое-где. Вдруг Щиглева поразил какой-то неопределенный шум, и шаги Бородина, шедшего впереди, перестали раздаваться. Но вслед за тем он услыхал у себя под ногами звуки флейты. Оказалось, что Бородин слетел в подвал лавки и, испугавшись за свою флейту, которая вылетела из ящика, бывшего у него под мышкой, мгновенно поднял ее и начал пробовать, цела ли она».

Чаще всего музыкальные собрания происходили у Ивана Ивановича Гаврушкевича, страстного любителя камерной музыки. В маленьком деревянном домике на Артиллерийском плацу встречались по вечерам профессиональные скрипачи и виолончелисты из оперного оркестра и такие же дилетанты, как Бородин.

Через тридцать лет Бородин с большой любовью вспоминал об этих вечерах. Он писал своему старому другу Гаврушкевичу:

«Душевно благодарен Вам за добрую память о Вашем покорном слуге, который много виноват перед Вами, что так поздно откликается на Ваше милое письмо. Не мало радует меня, что Вы нисколько не изменяетесь, сохранили Вашу свежесть, юмор, горячую любовь к музыке и даже силы играть на виолончели, что дело не легкое! Я давно бросил играть: во-первых, потому что всегда играл пакостно и Вы только по милому благодушию Вашему терпели меня в ансамбле,— что правда, то правда! — во-вторых, потому, что отвлечен был другими занятиями, даже на поприще музыкальном, где оказался пригоднее в качестве композитора».

Дальше Бородин пишет о своей работе на композиторском поприще и заканчивает письмо так:

«Я очень часто и весьма тепло вспоминаю Вас, уважаемый Иван Иванович, о Ваших вечерах, которые я так любил и которые были для меня серьезной и хорошей школой, как всегда бывает серьезная камерная музыка! С благодарностью вспоминаю я о Ваших вечерах и с удовольствием вспоминаю о Ваших пельменях, которые мы запивали «епископом», как Вы оригинально обозвали бишоп [1]». И Бородин подписывает письмо: «Неизменно душевно преданный Вам — скверный Violoncello secondo [2]».

А вот как вспоминал об этих вечерах сам Гаврушкевич:

---

[1] Бишоп — портвейн с лимонным соком, сахаром и теплой водой.
[2] Вторая виолончель (*ит.*).

«Бородин только слушал, а если не было виолончелиста Дробиша, то участвовал в квинтетах, в партии второй виолончели. Он слабо владел виолончельною техникой, но был тверд в темпе и живо схватывал красоты гармонические и мелодические. С любопытством и юношескою впечатлительностью слушал А. П. Бородин квинтеты Боккерини, с удивлением — Онслова, с любовью — Гебеля. У Гебеля он находил влияние русской Москвы. Немцы не любили этого немца за то, что от него пахло Русью. На моих собраниях А. П. Бородин являлся благодушнейшим юмористом, человеком сдержанным, сосредоточенным...»

Читая эти воспоминания и письма, легко представить себе маленький деревянный домик, в котором собирались по вечерам музыканты.

С каким воодушевлением они, должно быть, играли! Профессионалы наслаждались тем, что могли выбирать вещи по своему вкусу, а не повторять в сотый раз все ту же «Травиату» или «Роберта». Да и обстановка здесь была совсем не та, что в театре. В театре между зрительным залом и оркестром был барьер, который разделял на два лагеря играющих и слушающих. А здесь все были одновременно и ценителями и участниками игры. Когда на пюпитрах закрывались ноты, начинался живой и всегда интересный разговор о только что исполненном произведении. Иной раз завязывались горячие споры, которые продолжались и тогда, когда радушный хозяин приглашал всех из гостиной в столовую.

Особенно жаркими и интересными бывали эти споры, когда в них участвовал композитор Серов. Остроумный, блестяще образованный, увлекающийся и умеющий увлекать других, он сразу становился центром внимания. Сама его внешность не могла не производить впечатления. Было что-то львиное в его живописно развевающихся волосах. Его серые глаза горели, когда он воодушевлялся. Во всем был виден художник «божией милостью». Казалось, он сам сознавал свое обаяние и пользовался им, но от этого обаяние не делалось меньше.

Мы и сейчас с интересом читаем статьи Серова о музыке. Серов горячо доказывает, что красота в искусстве немыслима без правды, без близости к жизни. Высокую мудрость и простоту народных песен он противопоставляет тепличной искусственной музыке, которую создают педанты по школьным правилам, по заученным образцам.

Когда Бородин слушал горячие речи Серова, он не мог оставаться равнодушным: такие мысли были ему близки, находили в нем живой отклик.

Казалось, начинался прилив, великий подъем творческих сил народа. Этот прилив чувствовался везде: и в музыке, и в науке, и в литературе. Везде шла борьба нового со старым, живого и самобытного с отмирающим, с навязанным извне.

Разговоры в маленьком домике у Гаврушкевича странным образом напоминали те разговоры, которые велись в «химическом клубе» — у Зинина. Тут речь шла о новой русской музыке, там — о молодой русской науке.

Особенно жаркий спор возник из-за «Арагонской хоты» Глинки. Гаврушкевич переложил ее для струнного октета. После того как вещь была исполнена, началось, как всегда, ее обсуждение. Защитники «школьной премудрости», музыканты «немецкого» направления, только пожимали плечами. Эта полная блеска и фантазии вещь, основанная на народных мелодиях, не могла нравиться людям, которые привыкли ко всему прикладывать одну и ту же мерку, все сравнивать с признанными западными образцами.

Этим судьям, которые считали себя непогрешимыми, были гораздо больше по душе октеты Шпора и Гаде, квинтеты Фейта.

Стасов рассказывает, что Серов с жаром защищал против немецких музыкантов «Хоту» Глинки, говоря, что напрасно они не хотят признавать ничего и никого, кроме «немецкого». «Бородин с ним соглашался»,— добавляет Стасов.

Каждый такой разговор несомненно оставлял глубокий след во впечатлительной душе Бородина. Споры, которые еще звучали в его ушах, требовали какого-то разрешения. Он с детства любил народные песни, его восхищали произведения Глинки, но он не хотел отказаться и от того, чему его научили Бетховен, Гайдн и Бах.

И вот под этим двойным влиянием возникают его еще незрелые, но уже полные очарования произведения. Он пишет трио «Чем тебя я огорчила», про которое Стасов говорил потом, что эта вещь написана «немного по-немецки, но под влиянием «Ивана Сусанина». Он пишет скерцо си-бемоль минор для фортепиано. Здесь тоже сказалось влияние западной музыки, но и в этой пьесе чувствуется «русский пошиб» — по выражению Щиглева.

В своей краткой автобиографии, написанной для немецкого музыкального словаря, Бородин говорит, что «музыкальным образованием, если не считать некоторого обучения игре на фортепиано, флейте и виолончели, обязан почти исключительно самому себе...»

Его юношеские рукописи это подтверждают. Он перекладывает отрывки из опер для исполнения на фортепиано с виолончелью или с флейтой. По словам брата Бородина, Александр Порфирьевич одно время увлекался сочинением фуг.

В ранних рукописях Бородина среди тщательно переписанных чужих произведений есть и его собственные вещи.

Вот романс «Слушайте, подруженьки, песенку мою», написанный для голоса, фортепиано и виолончели.

Для того чтобы написать такую вещь, Бородин должен был хорошо разобраться в особенностях русской песни.

Русская песенная основа чувствуется и в трио «Чем тебя я огорчила».

Бородину часто приходилось бывать в певческом кружке, где пелись романсы Варламова и Гурилева, но где еще чаще можно было услышать арии из модных итальянских опер.

Для одной певицы-любительницы Бородин написал романс «Красавица-рыбачка». Тут он потерпел полное фиаско: певица любила одну только итальянскую музыку и этого романса петь не стала.

Но романсы принесли Бородину и другие, гораздо более серьезные огорчения. Каким-то образом о них проведал Зинин.

И вот однажды, когда Бородин помогал своему профессору ставить на лекции опыты, тот сказал ему:

— Господин Бородин, поменьше занимайтесь романсами. На вас я возлагаю все свои надежды, чтоб приготовить заместителя своего, а вы все думаете о музыке и о двух зайцах.

Вероятно, эти слова заставили Бородина сильно призадуматься. Он не мог не чувствовать, что музыка стала занимать слишком много места в его жизни. Ведь бывали случаи, когда музыкальные собрания затягивались на целые сутки: с вечера одного дня до вечера следующего. Это было похоже на запой или на азарт, который заставляет картежников проводить бессонные ночи. Приходя после такого «запоя» в лабораторию, Бородин брался со всей ретивостью за химические опыты. Но мелодии против его воли сами рождались в его душе.

«За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь», говорит пословица. Но что же было делать, если он не мог отказаться ни от одного, ни от другого! Он любил и химию, и музыку одинаково сильно. И в то же время он сознавал, что его настоящий путь — путь ученого, что в музыке он только дилетант. Играет он «пакостно». Ведь только по своему благодушию Гаврушкевич поручает ему роль второй виолончели! Надо держать в узде страсть к музыке, отдавая ей только часы отдыха.

Зинин мог быть доволен. Его ученик снова целые дни проводил в лаборатории. Но когда наступал вечер очередного музыкального собрания, ученика опять тянуло все туда же — в маленький деревянный домик на Артиллерийском плацу.

Как-то, оставшись наедине с Гаврушкевичем, Бородин признался ему, что пробует свои силы в композиции.

Гаврушкевич давно уже присматривался к этому красивому и скромному юноше, который так хорошо умел слушать и понимать музыку. Признание Бородина его сильно заинтриговало, и ему захотелось прослушать произведения молодого композитора. Но тот не захотел показать свои опыты.

— Я начал с романсов,— сказал Бородин смущенно,— так как я люблю и пение, но перед квартетами и квинтетами — все пустяки...

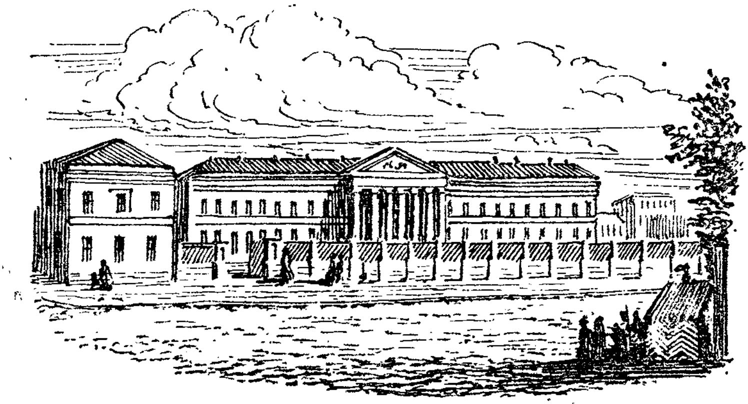
— Посоветовались бы вы с Гунке,— предложил Гаврушкевич,— да и написали бы квинтет с двумя виолончелями.

Иосиф Карлович Гунке, чех по происхождению, был опытным руководителем композиции. Он преподавал музыку и играл в оперном оркестре. Серов одно время был его учеником.

Но Бородин не решился взяться за сочинение квинтета.

— Это очень трудно,— сказал он.— Ведь здесь две примы, а я не в состоянии написать виолончельную партию, чтобы она была красива и в натуре инструмента. Да к тому же вы знаете, с каким недоверием встречают даже артисты дилетанта, чиновника, имеющего другую профессию. Притом мне стыдно будет перед Зининым...

И Бородин передал Гаврушкевичу слова Зинина о музыке и о двух зайцах.



Глава восьмая

ТРЕТЬЯ ДОРОГА

В то время как музыка и химия вели между собой спор, кому из них должен принадлежать Бородин, Медико-хирургическая академия делала свое дело. А дело это состояло в том, чтобы провести студента через все многочисленные аудитории, лаборатории и клиники, через все дебри анатомии, физиологии, патологии, терапии, хирургии, фармакогнозии, фармации. Каждый год академия, как огромная машина, вбирала в себя толпу безусых юношей и каждый год выпускала очередной отряд молодых лекарей, напичканных всевозможной премудростью. В их головах, словно на полках библиотеки, каким-то чудом помещались сотни фолиантов, наполненных несчетным количеством латинских названий, обозначающих кости, связки, мышцы, болезни, лекарственные вещества.

Они могли перечислить по пунктам все симптомы той или другой болезни, могли сказать, против каких симптомов maxime laudetur, то есть больше всего рекомендуется то или другое лекарство, умели по всем правилам науки сделать сложнейшую операцию на трупе. Но лечить живых людей они еще не умели.

Для практики молодых лекарей рассылали в разные города по военным госпиталям, а оттуда через год направляли в полки и команды.

Тех, которые хотели защитить диссертацию на степень доктора медицины, прикомандировывали ко Второму воен-

но-сухопутному госпиталю, находившемуся рядом с академией и в ее ведении. В этот же госпиталь назначали ординаторами лучших воспитанников, оставленных при академии для подготовки к профессуре.

К таким лучшим воспитанникам принадлежал и Бородин. Из года в год он первым переходил на следующий курс. Только один раз ему не повезло: на экзамене по «закону божьему» он вздумал по-своему толковать текст священного писания. Наказанием за эту дерзость была неудовлетворительная отметка.

По всем другим предметам он шел блестяще, профессора не могли не заметить его необыкновенных способностей.

Еще за полгода до выпускных экзаменов профессор общей патологии Здекауер обратился к конференции академии с просьбой назначить к нему ассистентом лекаря Бородина, отличающегося «особенной любовью к наукам при отличных дарованиях».

В декабре 1855 года Бородину был вручен на акте диплом лекаря «cum eximia laude» — с отличием. У Авдотьи Константиновны были все основания гордиться своим Сашей. Он получил бы золотую медаль, если бы не злополучная история с «законом божьим». В марте следующего года он был назначен ординатором Второго военно-сухопутного госпиталя с прикомандированием к кафедре общей терапии, патологии и клинической диагностики.

Так, почти помимо воли самого Бородина, перед ним открылась третья дорога — не к музыке, не к химии, а к медицине.

Каждое утро ему полагалось являться в госпиталь в свою палату и начинать обход больных. Он прилежно выслушивал и выстукивал, щупал животы, заставлял высовывать языки. Затем следовала скучная канцелярская работа — составление «скорбных листов», как тогда называли историю болезни.

Это и в самом деле были скорбные листы. Врачи во всех подробностях регистрировали страдания больного, но им редко удавалось облегчить эти страдания. Излечение же приходилось большей частью предоставлять самой природе.

Мрачное впечатление производил госпиталь на каждого, кто входил в его двери. По обеим сторонам полутемно-

го коридора, мощенного каменными плитами, открывались двери в огромные палаты, вмещавшие по сто и больше коек. В палатах было сыро, из коридора тянуло вонью.

Писатель Н. В. Успенский, который сам был студентом Медико-хирургической академии, оставил нам описание этого госпиталя в одном из своих рассказов:

«Глушь и скука царствовали в больнице; везде почти был один разговор про доктора и больничный суп, который был обкладываем самыми едкими сарказмами; всякий сердился и по нескольку часов лежал, не раскрывая рта; всякий думал об одном, как бы скорее на вольный воздух. Выписавшийся вон наводил на всех уныние. Больница очень походила на тюрьму с преступниками, денно и нощно занятыми своим освобождением».

Невесело было больным в этой больнице, похожей на тюрьму. Невесело, вероятно, было и молодому врачу. Если бы он знал, как помочь всем этим людям, которые метались в жару, бредили, стонали, жаловались на свои недуги,— он мог бы, пожалуй, пристраститься к своему новому делу. Ведь сердце у него было доброе, отзывчивое. С годами пришел бы и опыт. Где не хватало теоретических знаний, там опытному врачу помогало какое-то чутье, которое выводило на правильный путь. Врач в те времена пробирался нередко ощупью, точно с завязанными глазами. Но Бородину с его научным складом мышления не по душе была такая наука.

Ему не могли не вспоминаться слова Зинина о том, что подлинная медицина должна быть приложением естественных наук к лечению болезней. Значит, надо было и тут начинать с начала, с естественных наук — с физики, химии, физиологии.

Такие мысли и сомнения не давали покоя и другому молодому врачу — Ивану Михайловичу Сеченову, который только что окончил Московский университет. Он вспоминал потом в своих «Автобиографических записках»:

«Болезни, по их загадочности, не возбуждали во мне ни малейшего интереса, так как ключа к пониманию их смысла не было, а вкус вдумываться в эти загадки, с целью различенья в них существенного от побочного — эту главную приманку истинных любителей медицины,— развиться еще не мог... Всеми этими качествами обладал в высшей степени С. П. Боткин, который уже был профессором. Для него здоровых людей не существовало, и всякий прибли-

жавшийся к нему человек интересовал его едва ли не прежде всего как больной. Он присматривался к походке и к движениям лица, прислушивался, я думаю, даже к разговору. Тонкая диагностика была его страстью, и в приобретении способов к ней он упражнялся столько же, как артисты вроде Ант. Рубинштейна упражняются в своем искусстве перед концертами. Раз, в начале своей профессорской карьеры, он брал меня оценщиком его умения различать звуки молоточка по плессиметру. Становясь посередине большой комнаты с зажмуренными глазами, он велел обертывать себя вокруг продольной оси несколько раз, чтобы не знать положения, в котором остановился, и затем, стуча молотком по плессиметру, узнавал, обращен ли плессиметр к сплошной стене, стене с окнами, к открытой двери в другую комнату и даже к печке с открытой заслонкой».

Сергей Петрович Боткин был не только большим ученым, но и виртуозом в искусстве врачевания. Бородин был тоже человеком искусства, но другого. И другая наука влекла его к себе.

С первых же дней работы в госпитале ему должно было стать ясно, что он здесь не на месте. Можно представить себе, как тоскливо и неуютно ему было во время ночных дежурств. Хотя стрелки часов в дежурной комнате двигались с положенной им скоростью, казалось, что они еле ползут. Разве так шло время, когда он сидел за фортепиано или работал в лаборатории? Тогда оно не шло, а летело. Ночь, бывало, уже близилась к рассвету, а спать совсем не хотелось. А здесь, на дежурстве в госпитале, приходилось неустанно бороться с дремотой.

Вот он покидает опостылевший ему кожаный диванчик в дежурной комнате и по пустынным коридорам обходит госпиталь. Огромные палаты, тускло освещенные ночником, кажутся еще больше. Здесь и ночью нет тишины, нет покоя. Над этими ровными рядами кроватей словно реют темные призраки кошмаров, которые заставляют больных стонать и вскрикивать во сне, сбрасывать с себя одеяло. Где-нибудь в углу раздается слабый голос: «Пить!» Этот зов повторяется не раз, пока, наконец, сонная сиделка не поднимается со своего места и не подает больному кружку с тепловатой, пахнущей жестью водой.

Мрачный, возвращается молодой врач в дежурную комнату. И снова начинается убивание времени, прерывающийся зевками разговор со случайным товарищем по де-

журству. Госпиталь — военный, и, кроме врача, каждую ночь дежурит также и офицер.

Один из случайных товарищей по дежурству в госпитале стал впоследствии близким другом Бородина. Незначительная встреча запомнилась на всю жизнь, потому что за ней последовали другие, все более значительные.

«Первая встреча моя с Модестом Петровичем,— рассказывал потом Бородин,— была в 1856 году (кажется осенью, в сентябре или октябре). Я был свежеиспеченным военным медиком и состоял ординатором при 2-м сухопутном госпитале; Модест Петрович был офицером Преображенского полка, только что вылупившимся из яйца. Первая встреча наша была в госпитале, в дежурной комнате. Я был дежурным врачом, он — дежурным офицером. Комната была общая; скучно было на дежурстве обоим. Экспансивны мы были оба; понятно, что мы разговорились и очень скоро сошлись.

Вечером того же дня мы были оба приглашены на вечер к главному доктору госпиталя — Попову, у которого имелась взрослая дочь, ради которой часто давались вечера, на которые обязательно приглашались дежурные врачи и офицеры. Это была любезность главного доктора.

Мусоргский был в то время совсем мальчонком, очень изящным, точно нарисованным офицериком: мундирчик с иголочки, в обтяжку; ножки вывороченные, волоса приглажены, припомажены, ногти точно выточенные, руки выхоленные, совсем барские. Манеры изящные, аристократические; разговор такой же, немножко сквозь зубы, пересыпанный французскими фразами, несколько вычурными. Некоторый оттенок фатоватости, но очень умеренный. Вежливость и благовоспитанность — необычайные. Дамы ухаживали за ним. Он сидел за фортепианами и, вскидывая кокетливо ручками, играл весьма сладко, грациозно и пр. отрывки из Travatore, Traviata[1], и т. д. и кругом его жужжали хором: «charmant», «delicieux»[2] и пр.»

Как обманчиво бывает иногда первое впечатление о человеке! Судьба свела двух юношей, которым предстояло со временем рука об руку бороться за великое дело создания новой русской музыки. Но они не сразу узнали друг друга.

---

[1] «Трубадур», «Травиата» (*ит.*).

[2] «Очаровательно», «прелестно» (*фр.*).

Для Бородина Мусоргский был только гвардейским «офицериком», для Мусоргского Бородин был только молодым военным врачом. И все-таки их что-то потянуло друг к другу, у них нашлись темы для интересного разговора, хотя настоящая дружба была еще впереди.

Но не все ночи на дежурстве проходили так безмятежно.

Как-то раз в госпиталь привезли совсем не таких больных, как обычно. Это были не офицеры и не солдаты, а крепостные крестьяне. Их было шесть человек.

В страшном виде их привезли. Кожа на окровавленных спинах болталась лоскутьями. У двоих виднелись даже кости. Мы не знаем, какая причина заболевания была проставлена в «скорбном листе». Но истинная причина была в том, что этих шесть человек прогнали сквозь строй.

За что же так беспощадно расправились с этими людьми?

Их помещик много лет жестоко обращался с ними и с другими крестьянами. Они долго терпели, так же как терпели их отцы и деды. За малейшую провинность крепостных пороли на конюшне. А если кто осмеливался перечить, тем «брили лбы» — отдавали в солдаты.

И вот пришло время, когда крестьянам невмоготу стало больше терпеть. Нашлось шесть смельчаков, которые решили проучить своего мучителя. Они заманили его на конюшню и поступили с ним так, как он много раз приказывал поступать с ними: высекли его кнутом. Высечь помещика, да еще полковника,— это значило совершить неслыханное преступление. Это было даже больше, чем преступление, это был бунт!

Крестьян судили и приговорили, чтобы другим не было повадно, к наказанию шпицрутенами. Чтобы понять, что это было за наказание, надо прочесть рассказ офицера того времени о том, как прогоняли сквозь строй осужденного военным судом солдата.

«Выстраивали в два ряда тысячу солдат, вооруженных палками, толщиной в мизинец (они сохранили свое немецкое название — шпицрутены). Осужденного проволакивали сквозь строй три, четыре, пять и семь раз, причем каждый солдат отпускал каждый раз по удару. Унтер-офицеры следили за тем, чтобы солдаты били изо всех сил. После одной или двух тысяч палок харкающую кровью жертву уносили в госпиталь, где ее лечили только для того, чтоб на-

казание могло быть доведено до конца, как только солдат немного оправится. Если он умирал под палками, окончание приговора производилось над трупом».

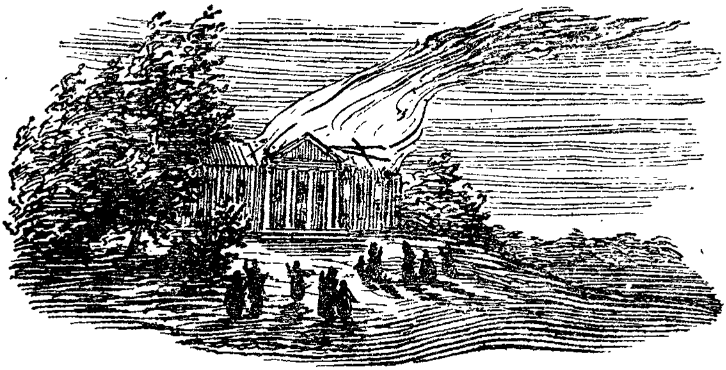
Такому истязанию были подвергнуты и те крепостные, которых привезли во Второй военно-сухопутный госпиталь.

И вот результат: тела, просеченные до костей,

Каково было впечатлительному, нервному Бородину видеть это! А ему приходилось не только видеть эти окровавленные спины, но и вытаскивать из них занозы. Ведь удары были так сильны, что прутья раскалывались и их обломки оставались в обнаженном мясе.

Бородину было нестерпимо жалко этих несчастных. Все его существо восставало против чудовищной расправы, которая именовалась правосудием.

По словам его брата, с Бородиным «три раза делался обморок при виде болтающихся клочьями лоскутов кожи».



Глава девятая

НОВЫЕ ВЕЯНИЯ

Жизнь отдельных людей не проходит обособленно от жизни общества, сознают они эту связь или не сознают. Биография человека оказывается частицей биографии народа.

Случай с шестью крепостными, прогнанными сквозь строй, не был случайностью. Десятки губерний были охвачены крестьянскими восстаниями. Дело нередко принимало такой серьезный оборот, что для усмирения восставших правительству приходилось посылать целые полки с пушками.

Крепостной строй доживал свой век, и это особенно явным стало во время Севастопольской кампании. Героическая оборона Севастополя отчетливо показала всем не только стойкость народа, но и слабость строя.

И вот кончилось николаевское царствование, казавшееся нескончаемым.

Один из людей того времени рассказывает в своих воспоминаниях о том, какое впечатление произвела на всех весть о смерти царя:

«Передавалось, что народ на базаре держит себя крайне подозрительно и не только не выражает сожаления, но, напротив, высказывает опасные мнения. Взрослые разговаривали не иначе, как шепотом, а мачеха твердила постоянно: «ах, не говорите при людях!» Слуги, в свою очередь, шептались про «волю», которую дадут скоро. Помещики ждали ежеминутно бунта крепостных, новую пугачевщину.

В это время на улицах в Петербурге интеллигентные люди обнимались, сообщая друг другу приятную новость».

Все были напряжены, все ждали чего-то — одни со страхом, другие с надеждой.

По словам Ленина, «после тридцатилетия николаевского режима, никто не мог еще предвидеть дальнейшего хода событий, никто не мог определить действительной силы сопротивления у правительства, действительной силы народного возмущения» [1].

Вероятно, и Бородин, так же как все передовые люди его времени, с волнением следил за борьбой этих двух сил.

Этим людям, измученным жестокой зимой николаевского царствования, даже мелкие уступки правительства казались признаками наступающей весны.

Дозволено было, наконец, выпустить в свет сочинения «вольнодумца» Пушкина, не издававшиеся с 1841 года. В печати стали открыто упоминать Белинского. А ведь при Николае I ни один цензор не пропустил бы этого имени. Давно ли вместо «Белинский» писали «автор статьи о Пушкине» или еще туманнее: «человек, который был органом критики гоголевского периода»!

И вот Добролюбов с радостью сообщил читателям: «В литературе нашей не может быть новости отраднее той, которая теперь явилась к нам из Москвы. Наконец, сочинения Белинского издаются. Первый том уже напечатан и получен в Петербурге; следующие, говорят, не замедлят. Наконец-то! Наконец-то!»

Казалось, тяжкий гнет, который давил столько лет, начал ослабевать. Вернулись из ссылки Салтыков-Щедрин, Шевченко. Один за другим приезжали из Сибири уцелевшие декабристы.

Новый царь, испуганный крестьянскими восстаниями, обратился к московскому дворянству с речью, которую закончил словами: «Лучше, господа, чтобы освобождение пришло сверху, чем ждать, покуда оно придет снизу».

Как ни противились освобождению крестьян реакционеры-крепостники, царю пришлось учредить комитеты для выработки положения о реформе. Цензура строго следила за тем, чтобы печать не обсуждала в подробностях этого вопроса. Но заткнуть рты было уже невозможно.

О предстоящей «воле» говорили в каждой деревенской избе и в каждой петербургской гостиной. О «воле» пи-

---

[1] В. И. Ленин. Сочинения, т. 5. С. 26.

сал и Герцен в «Колоколе» и Чернышевский в «Современнике».

Голос Чернышевского звучал все громче, пробуждая в молодежи любовь к свободе, ненависть к рабству, стремление перестроить всю жизнь на новых, разумных началах. Вспоминая Петербург того времени, известный географ и геолог П. А. Кропоткин писал, что это был «Петербург Чернышевского»,— так популярен был Чернышевский не только среди революционно настроенных людей, но и среди новоиспеченных либералов, которых тогда можно было встретить даже в высшем свете.

Каждая книжка «Современника» со статьей Чернышевского или Добролюбова, со стихами Некрасова или сатирическим очерком Салтыкова-Щедрина прочитывалась с жадностью.

Новые веяния проникли и в обветшалые здания Медико-хирургической академии.

Во главе академии был поставлен президент, который энергично принялся за ее преобразование.

Рассказывали, что он был сыном одного из самых богатых русских помещиков, которого Николай I приказал заточить в монастырь за «еретический образ мыслей». Молодой Дубовицкий тоже оказался человеком «со странностями»: вопреки обычаям своего круга, он пошел в лекаря, как какой-нибудь разночинец. Так случилось, что владелец обширнейших поместий стал хирургом, а потом профессором Медико-хирургической академии. Служил он «из чести»: все свое жалованье жертвовал на студенческие стипендии. На заседаниях Конференции был ярым противником реакционной «немецкой партии».

Став президентом академии, он с таким же рвением и жаром принялся наводить в ней новые порядки, с каким хозяйничал у себя в рязанском имении. Сам он больше хлопотал о постройке новых зданий, об ассигновках и субсидиях, а по научной части взял себе в помощники профессора химии Зинина и профессора физиологии Глебова.

Естественные науки наконец-то заняли в академии то почетное место, какое им полагалось по праву.

Было решено построить для химических и физических лабораторий большое здание, создать естественно-исторический институт, который ни в чем не уступал бы знаменитейшим институтам Германии и Франции. Это требовало крупных затрат. Но для Дубовицкого не было ничего невозможного при его энергии и связях.

Все эти события должны были отразиться и на судьбе Бородина. Наступило время, когда Зинин мог, наконец, официально сделать его своим ближайшим помощником, своей правой рукой. Ученик был вознагражден за верность учителю.

Ведь и в те дни, когда служба в госпитале считалась главным делом Бородина, он пользовался каждой свободной минутой, чтобы поработать в химической лаборатории.

Тема, которую он избрал для своей докторской диссертации, была больше химической, чем медицинской: аналогия между мышьяковой и фосфорной кислотами в их химических свойствах и в их действии на организм.

На первый взгляд это была узкая, специальная тема. На самом же деле речь тут шла о больших и важных проблемах, которые не могли не волновать химиков в те времена восстания против старых взглядов.

В первой же своей работе Бородин смело выступил против Берцелиуса и заявил, что считает единственно правильным учение Жерара и Лорана. Так молодой ученый, только недавно овладевший оружием науки, сразу же бросился в бой за новое, против того, что мешало движению вперед.

Впоследствии Бородин с улыбкой вспоминал о молодой запальчивости, с которой он защищал когда-то учение Жерара в спорах с противниками и скептиками.

В бумагах Бородина сохранился набросок речи, которую он произнес в 1880 году на юбилее вице-президента академии профессора И. Г. Глебова. В этой речи, как всегда остроумной и блестящей, Бородин предложил тост за Глебова, как за своего ученика. Должно быть, это немало озадачило собравшихся. Ведь почтенный юбиляр годился Бородину скорее в учителя, чем в ученики, да и был к тому же физиологом, а не химиком. Чтобы объяснить свой тост, Бородин рассказал, как лет двадцать с лишком тому назад Глебов спросил его однажды, что такое учение Жерара.

«Я в то время только что, так сказать, вылупился из яйца; только что покинул студенческую скамью и состоял ассистентом... И вот в маленьком кабинете Ивана Тимофеевича, на Выборгской стороне, мы просиживали, бывало, целые вечера, иногда до двух часов ночи в беседах с высокоуважаемым юбиляром, и я посвящал его во все тайны нового учения. Ученик мой интересовался каждой подробностью, вникал даже в самые мелочные обстоятельства

и в скором времени усвоил себе сущность учения. Когда миссия моя в этом отношении была окончена, ученик мой поблагодарил меня, но тут же начал мне высказывать свои возражения против теории Жерара... Я немало изумился, скажу прямо, такой дерзости моего ученика и, как горячий поклонник идей Жерара, немало возмутился скептическим отношением к новому учению. Приписывая это непониманию и незнанию моего ученика, я пустился в объяснения. Завязался горячий спор... На моей стороне был запас фактического знания и страстное увлечение идеями Жерара. На стороне моего противника — сила логики и привычная строгость критических приемов. Спор, разумеется, кончился ничем; каждый остался при своем мнении...

Пользуюсь настоящим случаем, чтобы заявить запоздалое сожаление о том, что я когда-то так горячо оспаривал почтенного юбиляра, и — поднять бокал за того маститого ученика, который был тогда дальновиднее своего юного учителя».

В 1880 году, когда Бородин произносил этот тост, он уже знал, что в учении Жерара есть свои слабые стороны. Но в главном он оставался верен духу унитарного учения. Он писал как-то Стасову:

«Я терпеть не могу дуализма — ни в виде дуалистической теории в химии, ни в биологических учениях, ни в философии и психологии, ни в Австрийской Империи». В диссертации молодого Бородина критика дуализма звучала еще свежо и смело.

Но была в этой диссертации и другая особенность, которая отличала ее от всех прочих.

Вопреки всем традициям, освященным веками, написана она была не на мертвом языке ученой касты, не по-латыни, а по-русски. Это был первый такой случай в академии. И это лишний раз говорило о том, что в русской науке совершаются какие-то большие сдвиги, какой-то поворот от старых, застывших форм к новой жизни.

Весна 1858 года была в жизни Бородина особенной. Защита диссертации прошла блестяще. Он получил звание доктора медицины и с этого же дня перестал заниматься медициной: продолжая числиться ординатором госпиталя, он вел работу ассистента при кафедре химии.

Врач только по имени, он со всей страстью взялся за химию.

Работая над диссертацией, Бородин изучал сравнительно простые химические соединения. В фосфорной кислоте

всего только восемь атомов. Но следующая его работа была посвящена гораздо более сложной атомной постройке: в амарине, исследованием которого он занялся,— тридцать один атом. Эмпирическая формула амарина показывала, сколько в нем атомов водорода, углерода и азота. Но это так же мало говорило о строении молекулы, как мало говорит об архитектуре здания список материалов, употребленных на его постройку. А Бородина интересовала как раз эта внутренняя связь атомов в веществе.

Сейчас каждый, кто изучал органическую химию, может легко изобразить на бумаге, как построены сложнейшие из органических соединений. Это помогает химику создавать самые причудливые атомные постройки и превращать одну постройку в другую. Химик стал поистине творцом новой, «второй» природы.

Но в те времена, когда Бородин впервые попробовал проникнуть в глубь сложного органического соединения, еще не было ясного понимания того, что такое архитектура молекулы. Берцелиус представлял себе «сложный атом» состоящим из двух частей, связанных электрическим притяжением. Эта теория оказалась неверной, но, отбросив ее, Жерар и его последователи отказались от всякого поползновения понять, как молекула построена.

Так часто бывало в истории науки: наткнувшись на препятствие, люди начинали утверждать, что это препятствие непреодолимо.

Странно подумать, что это говорилось и писалось в те самые годы, когда Бутлеров уже создавал свою теорию строения вещества.

Бутлеровская теория стала тем компасом, который и сейчас помогает химикам находить дорогу в самых сложных и запутанных лабиринтах молекул. Но в 1858 году, когда Бородин занимался исследованием амарина, этого компаса еще не было. И все же ему не хотелось отказаться от попытки понять связь атомов в молекуле.

Чтобы получить амарин, Бородин нагревал кристаллы другого органического вещества — гидробензамида. По составу амарин ничем не отличался от гидробензамида, в нем было ровно столько же атомов водорода, углерода и азота. Но, несмотря на это, свойства у них были разные. Значит, при нагревании в молекуле гидробензамида происходила какая-то перестройка, атомы меняли свое место. Что же это была за перестройка?

Не имея в руках компаса — теории строения, найти ответ на этот вопрос было не так-то легко. И Бородин был доволен, когда ему удалось хоть частично решить задачу. Он доказал, что в амарине из восемнадцати атомов водорода два атома ведут себя не так, как остальные. Это был, как тогда говорили, «сочетательный водород»: его можно было замещать другими элементами.

В марте 1858 года Н. Н. Зинин сделал в Академии наук сообщение об исследовании своего ученика. На этом дело пока остановилось. Но Бородин не забыл загадки, которую задал ему амарин. Через много лет — в 1875 году — он вернулся к этому таинственному веществу. Теперь он был уже лучше вооружен. Бутлеровская теория строения вещества стала к этому времени достоянием науки. И загадку удалось разрешить. Оказалось, что при превращении гидробензамида в амарин два атома водорода покидают свои обычные места, отрываются от атомов углерода и связываются с атомами азота.

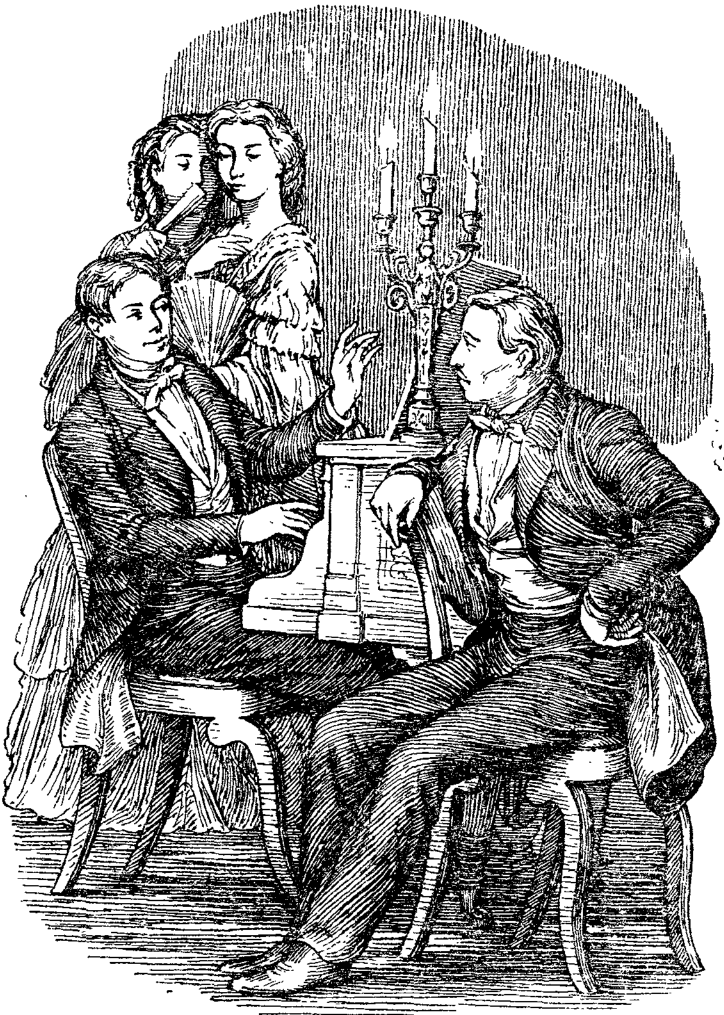
В Бюллетене Академии наук была напечатана сначала работа Бородина об амарине, а потом и другая. Это были совершенно самостоятельные исследования в области органической химии. В научных кругах о Бородине говорили как о молодом, подающем большие надежды химике.

А музыка? Неужели она была совсем забыта?..

Нет, забыть ее он не мог. Но занимала она теперь в его жизни очень скромное место. До поры до времени страсть к музыке таилась где-то в самой глубине его души. Только изредка, после целого дня, проведенного в лаборатории, совсем уже усталый, весь пропахший химическими реактивами, он все-таки садился за фортепиано, и его руки химика, обожженные кислотами, как-то несмело бродили по клавишам, словно прося у них прощения. Проходил час, другой, в доме уже давно спали, но клавиши не отпускали его рук, как будто боясь, что он вернется не скоро.

А на другое утро он уже опять был у себя за лабораторным столом. И опять ему казалось несомненным, что музыка в его жизни может занимать только часы досуга, которых было так немного...

И вдруг он встретился с человеком, который совсем иначе решил для себя вопрос о том, какое место музыка должна занимать в его жизни.



Этим человеком был Мусоргский, тот самый молодой гвардейский офицер, с которым Бородин провел как-то ночь на дежурстве в госпитале.

Их вторая встреча произошла осенью 1859 года у общего знакомого — профессора Ивановского. Бородин с интересом вглядывался в Мусоргского. Он и узнавал и не узнавал его.

«Мусоргский был уже в отставке,— вспоминал потом Бородин.— Он порядочно уже возмужал, начал полнеть, офицерского пошиба уже не было. Изящество в одежде, в манерах и пр. были те же, но оттенка фатовства уже не было ни малейшего.

Нас представили друг другу; мы, впрочем, сразу узнали один другого и вспомнили первое знакомство у Попова. Мусоргский объявил, что он вышел в отставку, потому что «специально занимается музыкой, а соединить военную службу с искусством — дело мудреное» и т. д. Разговор невольно перешел на музыку. Я был еще ярым мендельсонистом, в то же время Шумана не знал почти вовсе — Мусоргский был уже знаком с Балакиревым, понюхал всяких новшеств музыкальных, о которых я не имел и понятия. Ивановские, видя, что мы нашли общую почву для разговора — музыку, предложили нам сыграть в четыре руки. Нам предложили ля минорную симфонию Мендельсона. Модест Петрович немножко сморщился и сказал, что очень рад, только чтобы его «уволили от Andante, которое совсем не симфоническое, а одна из «Lieder ohne Worte»[1], переложенная на оркестр» или что-то вроде этого. Мы сыграли первую часть и скерцо. После этого Мусоргский начал с восторгом говорить о симфониях Шумана, которых я тогда еще не знал вовсе. Начал наигрывать мне кусочки из ми-бемоль мажорной симфонии Шумана; дойдя до средней части, он бросил, сказав «ну, теперь начинается музыкальная математика». Все это мне было ново, понравилось. Видя, что я интересуюсь очень, он еще кое-что поиграл мне новое для меня. Между прочим я узнал, что он пишет сам музыку. Я заинтересовался, разумеется, и он мне начал наигрывать какое-то свое скерцо (чуть ли не си-бемоль мажорное); дойдя до трио, он процедил сквозь зубы «ну, это восточное!» И я был ужасно изумлен небывалыми, новыми для меня элементами музыки. Не скажу, чтобы они мне даже особенно по-

---

[1] «Песни без слов» (*нем.*).

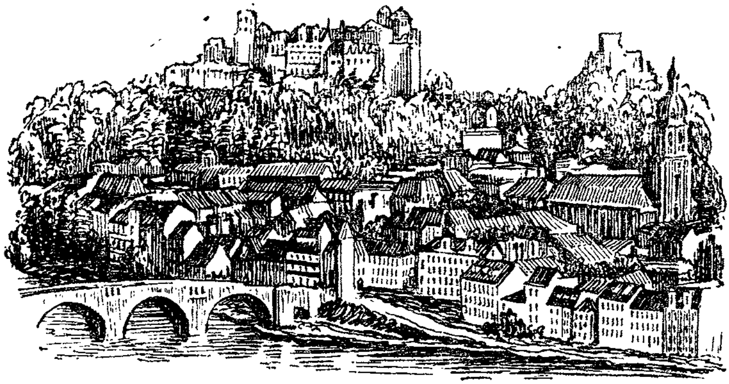
нравились сразу; они скорее как-то озадачили меня новизною. Вслушавшись немного, я начал гутировать[1] понемногу. Признаюсь, заявление его, что он хочет посвятить себя серьезно музыке, сначала было встречено мною с недоверием и показалось маленьким хвастовством; внутренно я подсмеивался немножко над этим, но, познакомившись с его «скерцо», я призадумался: «верить или не верить?»

Так музыка снова властно напомнила о себе Бородину. Но его путь уже был избран, менять было поздно, да и стоило ли? Мусоргскому легко было расстаться с военной службой, ведь она для него была только помехой. А Бородин любил свою химию. И чем дальше, тем крепче становились узы с любимой наукой и любимым учителем.

Что же ему оставалось? Радоваться успеху Мусоргского и с невольной грустью смотреть ему вслед — на ту дорогу, по которой и он сам мог бы идти.

---

[1] Входить во вкус.



Глава десятая

В ЧУЖИЕ КРАЯ

Шестерка лошадей, натягивая до отказа постромки, тащит в гору тяжелую почтовую карету. Длинный кнут ямщика гуляет без всякой пощады по взмокшим спинам двух передних лошадей. Но и четырем задним тоже достается положенный им паек. Тут все предусмотрено: длинный кнут откладывается в сторону, и ему на смену появляется кнут покороче. А кнутам еще помогает гиканье ямщика, которое, впрочем, больше беспокоит дремлющих пассажиров, чем давно привыкших к нему лошадей.

Не легкое дело трястись день и ночь в громоздкой колымаге, в особенности когда сидишь не внутри, а «вне почтового экипажа», как сказано в проездном билете. Ноги затекают, бока болят от толчков. Холодный ветер продувает насквозь, не обращая внимания на кожаную занавесочку, которой полагается ограждать от стихий пассажиров, сидящих на наружных местах.

«Одно неудобство наружного места: сидеть тесно,— писал Бородин матери с дороги.— Если бы мой сосед был бы немного потолще, то не знаю, как бы мы уместились на такой узенькой скамеечке. Другое неудобство заключается в том, что возле, за тоненькой перегородкой, сидит кондуктор, который немилосердно трубит над самым ухом и вдобавок трубит крайне фальшиво. Ночь была лунная, и я смотрел с удовольствием, как мы проезжали мимо триумфальных ворот по Петергофской дороге; проехали Стрельну, Петергоф. Кондуктор в скором времени угомо-

нился и не трубил больше... Мне не спалось, я глядел чрез маленькое овальное окошечко, сделанное в кожаной занавеске, на пустые поля, мелкие сосны и березняк, слушал гиканье ямщика, топот лошадей и мелодическое сопение моего соседа, спавшего крепким сном».

С каждым часом все дальше уходил назад родной дом. Впереди была новая глава жизни; чужие края, чужие люди.

Почтовая карета должна была доставить Бородина до Таурогена, на прусской границе. А дальше путь лежал через всю Германию — в герцогство Баденское, в маленький городок Гейдельберг.

Это была вторая его поездка за границу. Первый раз он отправился туда на Международный конгресс офтальмологов в качестве ассистента профессора-окулиста И. И. Кабата. Быстро пролетели тогда несколько недель в Париже и Брюсселе. Бородин и там интересовался химией больше, чем медициной. Ему не удалось повидаться с известным химиком Бертело, с которым он хотел поговорить, но он успел осмотреть его лабораторию.

Чего же ради отправился Бородин теперь в чужие края?

Гейдельберг был знаменит своим старинным университетом, где преподавали прославленные на весь мир ученые Бунзен и Кирхгоф. Из разных стран съезжались туда молодые химики, чтобы послушать лекции этих ученых, поработать под их руководством.

Но Бородину незачем было искать себе новых руководителей. Ведь имя его наставника Николая Николаевича Зинина звучало не менее громко, чем имена самых знаменитых иноземных ученых. Были в Петербурге и другие замечательные химики. Достаточно назвать хотя бы такого ученого, как Александр Абрамович Воскресенский, профессор Петербургского педагогического института. Он уже вырастил немало талантливых химиков. Его учениками были Менделеев, Бекетов, Меншуткин.

Чего же не хватало в Петербурге молодым ученым?

Прежде всего не хватало средств и времени для научной работы, а заграничная командировка давала им и то и другое.

К тому же в Петербурге тогда еще мало было хорошо оборудованных лабораторий и нелегко было иной раз достать самые необходимые реактивы и приборы.

Россия была страной передовой химии и отсталой химической промышленности.

Мудрено ли, что молодые русские химики радовались возможности поработать в хорошо оборудованной лаборатории, даже если она была за тридевять земель от их родного города?

Правда, можно было надеяться, что и в России в скором времени станет легче заниматься химией. Бородин уезжал в заграничную командировку с надеждой на то, что к его возвращению будет уже построен новый естественно-исторический институт. Перед его отъездом Зинин поручил ему купить в Германии кое-какие приборы для этого института, посетить лучшие лаборатории, побывать на химических заводах и на рудниках.

Давая этот наказ доктору медицины Бородину, Зинин думал не только об интересах врачебной науки. Он хотел, чтобы его ученик и преемник посмотрел за границей все, что может быть полезно для русской химии и русской промышленности...

Почтовая карета продолжала катиться по дорогам, то с горы, то в гору, переправляться на паромах через реки, останавливаться на станционных дворах, где ямщики запрягали свежих лошадей, а пассажиры раскрывали свои походные погребцы и подкреплялись закуской и горячим чаем.

На одной из станций—в Дерпте — появился новый пассажир. Сначала Бородин принял его за дерптского студиозуса, но он оказался русским.

«Это был,— писал Бородин,— некто Борщов, бывший товарищ Коли Щиглева по лицею; он ехал за границу с целью серьезно заниматься естественными науками. Борщов, с которым я потом познакомился короче, оказался очень симпатичным юношей, умным, толковым и многосторонне образованным. Он уже специально занимался ботаникою (напечатал несколько работ) и геогнозиею, провел два года в киргизских степях с Северцевым около Аральского моря и т. д. Кроме того, он оказался очень хорошим музыкантом, с *«нашим»* направлением в музыке. Я очень обрадовался этой встрече».

Когда встречаются два молодых человека, увлекающихся музыкой, поэзией, живописью, у них чуть ли не с первых же слов начинаются расспросы: «А кого из композиторов, поэтов, художников вы больше всего любите?» Без этого и знакомство не знакомство. А знакомство быстро

переходит в дружбу, если вкусы и направления совпадают.

Для Бородина таким решающим вопросом было: любит ли его новый знакомый Глинку? Это он и считал «нашим» направлением в музыке. И он рад был услышать, что Борщов — рьяный поклонник Глинки и знает оперы его наизусть от доски до доски.

Глинка, так же как Пушкин, как Белинский, был знаменем передовой молодежи. Недаром его не любили реакционеры.

Писатель пятидесятых — шесятидесятых годов П. М. Ковалевский рассказывает, что великий князь Михаил Павлович — грубый и невежественный солдафон — наказывал офицеров за провинности тем, что посылал их не на гауптвахту, а в Большой театр послушать «Руслана и Людмилу».

А для передовой молодежи «Руслан» был символом веры.

В Кенигсберге путники распростились, наконец, с надоевшей им почтовой каретой, от которой у них давно уже болели бока. Дальше они поехали по железной дороге.

В Берлин прибыли рано утром. Бородин с трудом дождался открытия магазинов. В этот день у Гофмана и Эбергардта он был одним из первых покупателей.

Он приобрел для лаборатории академии воздушный насос и сразу же распорядился отправить его Зинину.

Вечером Бородин и Борщов были уже снова в пути. Когда на следующее утро пассажиры, ехавшие в поезде, проснулись и выглянули в окна вагонов, они увидели, что пейзаж переменился. За окнами вместо однообразной равнины поднимались невысокие округлые горы, покрытые виноградниками. Кое-где на вершинах гор виднелись одетые плющом развалины замков. Внизу в долинах алели черепичные крыши и остроконечные башни маленьких, словно игрушечных, городков. В раскрытые окна врывался ароматный, совсем летний ветер. А ведь когда Бородин уезжал из Петербурга, уже давал себя знать мороз.

Один из этих маленьких городков оказался Гейдельбергом. Приветливо встретили приезжих чистенькие, только что вымытые улицы. Поражало, что все ходят в летних пальто и что ограды увиты цветущими розами, хотя на дворе уже стоял ноябрь.

«Остановившись в *Badischer Hof* [1],— писал Бородин,— мы как раз попали в отель, где обедают все наши русские, живущие в Гейдельберге. За табльдотом я увиделся с Менделеевым, Сеченовым и многими другими. После обеда мы отправились все к Менделееву; у него очень миленькая лаборатория, чистенькая и даже снабженная газом».

Менделеев пробовал сначала работать у Бунзена. «Папаша» Бунзен, как его все называли, был очень мил и любезен, но работать в его лаборатории оказалось совершенно невозможно.

— Известный вам Кариус,— рассказывал Менделеев друзьям-химикам,— так вонял своими сернистыми продуктами, что у меня голова и грудь заболели. Мне пришлось стоять около него. Потом я увидел, что ничего-то мне необходимого нет в этой лаборатории. Даже весы, и те куда как плоховаты, а главное — нет чистого, покойного уголка, где можно было бы заниматься такими деликатными опытами, как капиллярные... Все интересы этой лаборатории, увы, самые школьные: масса работающих — начинающие...

Вот Менделеев и решил устроить все у себя дома. Одну комнату он превратил в лабораторию, в другой делал наблюдения.

Менделеев с гордостью показывал приборы, которые он купил в Париже. Он там совсем разорился, потратил больше тысячи рублей из тех денег, которые были ему отпущены на командировку. Но зато приобрел много хорошего. А в Гейдельберге ему почти ничего достать не удалось.

У себя дома он мог работать когда угодно и как угодно, ни от кого не завися. И в самом деле, не Менделееву было становиться за один лабораторный стол с учениками Бунзена, начинающими химиками.

Бородин и сам предполагал вначале поработать у Бунзена. Но разговор с Менделеевым заставил его призадуматься.

В тот же день вечером Бородин и Борщов решили, по русскому обычаю, отправиться в баню, чтобы помыться с дороги. Но так как они были не в России, а в Германии, то пошли они не в баню, а в ванное заведение. Заведение это удивило их своей универсальностью: здесь можно было и принять ванну, и купить туалетные принадлеж-

[1] Название гостиницы — «Баденское подворье» (*нем.*).

ности, и — что самое странное — тут же продавались ноты и музыкальные инструменты. На ловца, как говорят, и зверь бежит.

Пока в ванны наливалась вода, страстные любители музыки уселись, с разрешения хозяйки, за фортепиано и сыграли в четыре руки наизусть увертюру из «Ивана Сусанина».

Перед тем как уйти домой, Бородин решился спросить хозяйку, не даст ли она ему напрокат фисгармонию. Хозяйка с удовольствием согласилась и назначила такую дешевую цену, что Бородин только ахнул: «Дешевле пареной репы!»

День этот был на редкость удачным: в чужом краю Бородин сразу же нашел земляков, да притом еще товарищей по науке, поговорил с Менделеевым о химических делах, поиграл в четыре руки с Борщовым и в довершение всего обзавелся музыкальным инструментом.

Так началась его заграничная жизнь.

Больше всего места в этой жизни занимала работа. Но сложилась она не так, как он думал, уезжая из Петербурга.

В лаборатории Гейдельбергского университета было так много народу, что у весов и печей выстраивались очереди. Приборы по большей части были недостаточно хороши для серьезной научной работы, требующей точности. Да к тому же еще в университете можно было работать только до пяти часов вечера. По субботам и воскресеньям занятий вовсе не было. А Бородин приехал сюда совсем не для того, чтобы отдыхать. Он и прежде не любил сидеть без дела, а теперь он только о том и думал, как бы с головой уйти в работу.

Кончилось тем, что он устроился в другой лаборатории, у молодого приват-доцента Эрленмейера. Там ему пришлось платить двойную цену, но зато у него была отдельная комната, в которой он мог работать совершенно независимо, в любое время дня и ночи. Из лаборатории его можно было выгнать только тогда, когда шла предпраздничная уборка, когда по комнатам принимались гулять мокрые тряпки, швабры и щетки.

Над чем же работал с таким увлечением Бородин?

В своем отчете о заграничной поездке он пишет, что решил «попробовать найти рациональный способ получения целого ряда новых кислот».

Для этого он наметил такой план: взять какую-нибудь существующую органическую кислоту, заместить в ней водород хлором или бромом, а потом хлор или бром, в свою очередь, заместить «углеводородным радикалом», то есть группой связанных между собой атомов углерода и водорода.

Таким способом он надеялся получить из известных кислот новые, неизвестные.

Осуществляя этот план, Бородин пробовал действовать парами брома на серебряные соли валериановой и масляной кислот.

Работать с бромом нелегко. Его красноватые, тяжелые пары вызывают кашель, вредно действуют на легкие. Приходится вести опыт под тягой, но и тяга не всегда спасает химика от вдыхания ядовитых паров.

Эта вредная для здоровья работа была выполнена Бородиным не напрасно: ему удалось получить из масляной и валериановой кислот новые интересные соединения.

Сообщение об этой работе появилось скоро в Бюллетене Парижского химического общества.

Но Бородин не сразу разобрался в природе соединений, которые оказались у него в руках. В те времена еще не были известны вещества, которые получаются из органических кислот при замещении водорода бромом и хлором.

Через много лет, рассказывая о Бородине в статье для энциклопедического словаря, его ученик М. Ю. Гольдштейн написал: «Как только Бородин начал разбираться в этом вопросе, появилась подробная работа Шютценбергера о подобных же соединениях хлорноватистой кислоты, вследствие чего Бородин оставил свою работу, предоставив дальнейшее исследование этого вопроса Шютценбергеру».

Так с тех пор и стали считать эти соединения «ангидридами Шютценбергера», хотя их правильнее было бы называть ангидридами Бородина.

Но это было только одно из открытий, сделанных Бородиным на пути к неизвестным кислотам.

Чтобы найти способ вводить в молекулу новые группы атомов, он взял себе на помощь реактив с необыкновенными свойствами — цинкэтил.

Несведущему человеку цинкэтил показался бы волшебным эликсиром алхимиков. Если его вылить на стол, он воспламеняется и горит ярким пламенем, оставляя на столе налет окиси цинка.

Получали его сложным способом: нагревая исходный материал двенадцать часов подряд в запаянной стеклянной трубке. Чтобы трубку можно было нагревать безопасно, ее приходилось помещать в железный футляр: если ее разрывало, мелкие, как песок, осколки не разлетались по комнате, а оставались в футляре.

Чтобы не доводить дела до взрыва, нужно было искусно запаять трубку, выгнав из нее сначала воздух.

Большим мастером этого дела был Менделеев. Он гордился тем, что у него из десяти трубок разрывались только три.

Получив таким сложным способом цинкэтил, Бородин попробовал его нагревать, опять-таки в запаянной трубке, с этиловым эфиром бензойной кислоты. Произошла реакция, при которой образовался углеводород бутан.

Не прошло и нескольких лет, как эта реакция Бородина заняла свое место в учебниках органической химии.

Он не достиг на этот раз намеченной цели: ему не удалось получить то, что он искал — новые, еще неизвестные кислоты. Но можно ли было это считать неудачей? Ведь по пути он сделал два интересных открытия.



Глава одиннадцатая

РУССКИЙ ОСТРОВОК В ЧУЖОМ КРАЮ

Работа писателя, стремящегося воссоздать давно отшумевшую жизнь, во многом напоминает работу археолога.

Археолог видит перед собой полузасыпанные песком плиты фундамента, обломки колонн, куски карниза; и по этим скудным остаткам он силой воображения, опирающегося на знание, восстанавливает облик дворца или храма, разрушенного много веков тому назад.

С какими же обломками имеет дело историк человеческой жизни?

Хорошо, если сохранились дневники или мемуары, в которых человек сам рассказал о себе. Но если их нет, приходится довольствоваться дневниками и мемуарами современников, письмами, служебными документами, каждым клочком бумаги, который может хоть что-нибудь рассказать или объяснить.

Перебирая архивные материалы, биограф невольно переносится в другую эпоху. Правда, эти листки уже не те, какими они были когда-то: бумага приобрела мертвенно-желтый оттенок, чернила побледнели, потеряли свой первоначальный цвет. Другое теперь правописание, по-другому пишутся некоторые буквы. Все говорит о том, что этим листкам уже много лет, что они пережили тех, кому они когда-то служили.

И все же, держа такой листок в руках, снова видишь перед собой тех, кого уже нет. Кажется, что сто́ит только

как следует всмотреться и прислушаться, чтобы увидеть и услышать жизнь такой, какой она была когда-то.

Вот листочки почтовой бумаги с гравюрами наверху, на которых изображен замок в Гейдельберге и его окрестности. Листки сверху донизу заполнены тонким твердым почерком. Это письма Бородина к матери.

Вот письмо-наказ профессора Зинина с пометкой: «писано доктору Бородину 13 ноября 1859 года». А это письмо Бородина президенту Медико-хирургической академии Дубовицкому, рассказывающее о первых месяцах работы и о планах на будущее.

От того же времени сохранились фотографии. На одной из них Бородин изображен в обществе своих молодых друзей-химиков. Он здесь снят рядом с Менделеевым. У обоих напряженные позы. Бородин кажется очень низкорослым, потому что фотограф поставил его позади помоста, на котором сидит на стуле Менделеев. Все здесь обличает детские годы фотографического искусства. И все же этот снимок дает представление о том, какими были в молодости Менделеев и Бородин. У Бородина — тонкие черты лица несколько восточного типа. Рядом с мощным, большеголовым Менделеевым он производит впечатление человека не очень крепкого сложения.

К этим документам можно было бы присоединить «билет, данный из Санктпетербургского отделения почтовых карет для г. Менделеева на место вне почтового экипажа спереди». Такой же билет получил в свое время и Бородин.

То, о чем не пишет он сам, можно прочесть в письмах Менделеева к родным и друзьям, в «Автобиографических записках» Сеченова, в воспоминаниях их гейдельбергских знакомых.

И все это вместе взятое понемногу воссоздает перед нами те годы, которые Бородин провел за границей, тот русский островок в чужом краю, который скрасил для него пребывание вдали от родины.

Одно из первых своих писем к матери Бородин заканчивает словами: «Думаю, что без особого повода долго не напишу Вам, ибо жизнь моя теперь сосредоточится в лаборатории». А через несколько месяцев он сообщает ей: «Работаю много и со вкусом, наслаждаюсь».

В письме к президенту Медико-хирургической академии Дубовицкому он сообщает, что ездил за материалами в Дармштадт, а за приборами в Париж и что в Париже

побывал у Бертело, который снабдил его формами и моделями, нужными для заказов некоторых приборов. Пишет, что лекций никаких не посещает, так как они читаются слишком элементарно, и что занят исключительно своей лабораторной работой.

Бородин не очень любил делиться в письмах, даже с близкими друзьями, тем, что его больше всего занимало. О своих работах он всегда писал очень скромно и с некоторым юмором: «Закончил одну работишку, получил коекакие телишки».

Конечные результаты его работ сохранились в сжатых, лаконичных отчетах, которые он помещал в специальных журналах. Но как мало говорят эти скупые строки о долгих поисках правильного пути, о смене удач и неудач, о том волнении, которое Бородин испытывал, когда подсчитывал результаты многонедельных опытов!

В письмах его друзей-химиков тоже только изредка попадаются отдельные фразы, говорящие об этой стороне его жизни.

«Здесь теперь и Бородин,— пишет Менделеев в Петербург химику Шишкову,— стал работать у Эрленмейера, там в самом деле удобнее для собственных работ».

«Жалею, что Бородину не совсем повезло в предпринятой им работе»,— пишет Менделееву Савич, с которым Бородин одно время жил вместе в Париже.

Но все это только слабые отзвуки того, чем была наполнена его жизнь и в чем он находил главный смысл своего существования в первые годы самостоятельной научной работы.

К лабораторному столу Бородина приковывало не только увлечение химией, но и стремление заглушить работой тоску, которая чем дальше, тем становилась сильнее. При всей своей нелюбви к излияниям и к «жалким словам» он не мог скрыть эту тоску от матери, от друзей.

Все вокруг было так красиво: теплое южное небо над горами, покрытыми виноградниками, хорошенькие домики у подножия этих гор. Но это была какая-то чуждая красота. Она не согревала сердце. И эти уютные домики, крытые черепицей, только издали казались уютными. От всего уклада жизни гейдельбергских обывателей веяло чем-то затхлым, мещанским.

Бородин писал матери, что местное немецкое общество «невыносимо до крайности, чопорность, сплетни ужасные,— если вы два-три дня сряду были в доме, где есть

взрослые дочки, и, чего боже сохрани, играли с ними в четыре руки,— поверьте, что на другой же день о вас будут говорить, как о *женихе...*»

Так же критически отзывался о гейдельбергских обывателях и Менделеев в письмах, которые он писал на родину: «Здесь ведь не водится, чтобы мужчина провел вечер в семье — все в пивной, кто не так делает, сейчас наврут что-нибудь. Здесь скажи два слова с девушкой,— «жених», закричат немцы хором. Один русский «предложил руку» одной немке, чтобы перевести ее через грязь,—а она пришла домой, да и разгласила, что русский, дескать, посватался за нее, на другой день весь город и поздравляет его».

Так же, как и Бородин, Менделеев часто испытывал чувство тоски и одиночества.

«Без работы,— жаловался он,— право, иногда такая чепуха лезет в голову — не дай бог».

А в другом письме он говорит: «Тепло здесь, и удобно, и дешево, и захотел в Неаполь или Лондон — поехал, захотел — работай с утра до ночи, а все кажется, что будь в Сибири, еще бы теплее стало. Уж мираж такой, что ли, находит? Недаром рвешься в Швейцарию,— видно снегато сродни, а пурга да метели нигде не занесут теплого угла. Бросивши метафоры, в действительности среди холода нигде не найдете вы столь теплого уголка, как у нас. Право, у нас теплее».

Менделеев и Бородин, вероятно, не раз вместе вспоминали русские снега, не раз говорили, что на родном севере теплее, чем в этом благодатном, но чужом краю.

После утомительного дня, проведенного в лаборатории, хотелось хоть вечером побыть в кругу людей, близких по вкусам и интересам.

К счастью, в чужом краю они нашли соотечественников.

«Русских здесь много,— писал Бородин матери,— между ними даже две литераторши — Марко Вовчок и еще какая-то барынька, пописывающая статейки. Есть даже русские литературные вечера. Русские разделяются на две группы: ничего не делающие, т. е. аристократы Голицыны, Олсуфьевы и пр. и пр., и делающие что-нибудь, т. е. штудирующие; эти держатся все вместе и сходятся за обедами и по вечерам. Я короче всех сошелся, конечно, с Мен-

делеевым и Сеченовым — отличным господином, чрезвычайно простым и очень дельным».

Чаще всего русская «штудирующая» молодежь собиралась у Татьяны Петровны Пассек, двоюродной сестры Герцена. Это та самая «корчевская кузина», о которой Герцен с такой любовью вспоминает в «Былом и думах». Когда он был еще ребенком, она поддерживала в нем вольнолюбивые мечты и пророчила ему необыкновенную будущность.

В гостеприимном доме Татьяны Петровны молодежь чувствовала себя как в родной семье. Когда, бывало, по вечерам за чайным столом начинались шумные споры о новых русских книгах, о русских делах, казалось, что за стеной не черепичные кровли и остроконечные шпили чужого города, а петербургские улицы, мощенные булыжником, и чугунные решетки каналов.

Споры прерывались воспоминаниями о родине, рассказами, шутками. Сколько было смеха, когда речь заходила о нелепых обычаях немецких студентов, об их дуэлях и шрамах.

Рядом на столе лежали русские журналы и томики стихов и романов русских писателей. Тут были и новинки, только что прибывшие с последней почтой, и старые, испытанные друзья, с которыми не расстаешься и на чужбине. Кто-нибудь брал в руки Пушкина или Герцена и читал любимые места.

Каждая новая статья Герцена, каждый новый номер «Колокола» и «Полярной звезды» сразу же прочитывались и обсуждались в доме Татьяны Петровны.

Герцен, хоть и был далеко от России, внимательно следил за всем, что там делалось. «Колокол» не умолкал, следуя своему девизу: «Vivos voco» — «Зову живых».

Рассматривая старые журналы и читая воспоминания современников, легко можно представить себе, о чем велись шумные споры у Татьяны Петровны Пассек, когда собиралась молодежь.

«Русские дела» не могли не волновать русских, где бы они ни находились. А дела эти не радовали. Партия крепостников явно брала верх над либеральными сторонниками реформы. Комитеты, составлявшие проект положения об освобождении крестьян, были распущены. Новые комитеты, пересматривавшие проект, делали все, чтобы уменьшить крестьянские наделы, увеличить выкупные платежи, сохранить зависимость крестьян от помещи-

ков. Ничего другого нельзя было и ждать от «реформы», которую проводили крепостники в интересах крепостников.

На мысли о судьбах России наводили молодежь не только политические статьи в журналах и газетах, но и новые произведения русских писателей.

Каждый новый роман Тургенева, Гончарова, Достоевского сразу же прочитывался здесь и обсуждался. Одно время в Гейдельберге существовал даже русский литературный кружок «Арзамас».

Сеченов рассказывает в своих записках, что «в квартире Менделеева читался громко вышедший в это время «Обрыв» Гончарова и что публика слушала его с жадностью».

А сам Менделеев в переписке с невестой подробно обсуждает «Обломова».

Как не похожи были Менделеев, Бородин и другие молодые ученые, работавшие с утра до ночи в лабораториях, на Илью Ильича, сонного и бездеятельного героя гончаровского романа!

Гончаров мог бы противопоставить Обломову не только дельца Штольца, но и молодых русских ученых.

В романе Гончарова, в «Рудине» и «Дворянском гнезде» Тургенева были хорошо изображены «лишние люди». Но «Отцы и дети» Тургенева и «Что делать?» Чернышевского не были еще написаны. В литературу не вошли еще герои нового времени — демократы и просветители шестидесятых годов.

Блестящую характеристику просветителям дал В. И. Ленин. Он писал, что они были одушевлены «горячей враждой к крепостному праву и *всем его* порождениям в экономической, социальной и юридической области», что второй их общей чертой была «горячая защита просвещения, самоуправления, свободы», что «третья характерная черта «просветителя» это — отстаивание интересов народных масс, главным образом крестьян... искренняя вера в то, что отмена крепостного права и его остатков принесет с собой общее благосостояние, и искреннее желание содействовать этому» [1].

Эта характеристика удивительно подходит и к молодым русским ученым шестидесятых годов, к таким, как Бородин, Сеченов, Менделеев.

[1] В. И. Ленин. Сочинения, т. 2. С. 472.

Они горячо любили свой народ и были убеждены, что без просвещения и науки народу не выйти на путь прогресса и благосостояния.

Когда они читали «Обломова», они верили, что вместе с крепостным правом уйдет безвозвратно в прошлое и его порождение — обломовщина.

Обломов не знал, куда время девать. Спать, видеть сны и потом толковать об этих снах — вот чем любили заниматься в Обломовке.

А молодым русским ученым и спать-то было некогда. У них каждая минута была на счету: надо было и поработать в лаборатории, и почитать, и побродить по окрестностям, и послушать музыку.

С Менделеевым и с Сеченовым Бородина сближала не только любовь к науке, но и любовь к музыке.

Менделеева даже прозвали Леонорой за то, что он любил напевать увертюру из «Леоноры» Бетховена. Одно из своих писем к Менделееву Бородин заканчивает шутливыми словами: «Прощай, Леонора!»

Но ни Сеченов, ни Менделеев не подозревали, что Бородин — композитор, что музыка для него не простое развлечение в часы отдыха, как это было для них, а неодолимая потребность в творчестве.

Сеченов рассказывает в своих «Автобиографических записках»:

«Помню, что А. П. Бородин, имея в своей квартире пианино, угощал иногда публику музыкой, тщательно скрывая, что он серьезный музыкант, потому что никогда не играл ничего серьезного, а только по желанию слушателей какие-либо песни или любимые арии из итальянских опер. Так, узнав, что я страстно люблю «Севильского цирюльника», он угостил меня всеми главными ариями этой оперы; и вообще очень удивлял всех нас тем, что умел играть все, что мы требовали, без нот, на память».

Для друзей-химиков Бородин был только химиком. Да и сам он так думал о себе в те годы. Но как бы сильно ни занимала его мысли химия, его жизнь не могла идти без музыкального сопровождения, которое звучало то глуше, то громче.

В письмах к матери Бородин то и дело возвращается к музыке.

Он пишет, что одна москвичка — Анна Павловна Бруггер — играет с ним в четыре руки, или же он играет на

виолончели, а она на фортепиано. «У меня сегодня струнный квартет вечером, вообще в неделю раз мы играем»,— сообщает он в другом письме. «Я раз в неделю аккуратно играю квартеты и квинтеты... У нас в Музее, коего я член, бывают музыкальные вечера и плясы. На первых я бываю, на вторых, разумеется, нет». «Три раза в неделю и даже чаще играю в четыре руки и виолончельные дуэты с некоею мадам Штуцман, русскою дамою, живущею постоянно в Гейдельберге. Она очень хорошо играет. Завтра буду играть на двух фортепиано в восемь рук с нею и с двумя англичанками...»

Он даже взялся было за сочинение секстета для двух скрипок, двух альтов и двух виолончелей. Написал две части, но закончить эту вещь ему так и не удалось.

Композиторство требовало от Бородина гораздо больше внимания и времени, чем он мог ему уделить. Ведь он проводил почти весь день в лаборатории. Да, кроме того, были у него и другие заботы, которые иной раз оттесняли на второй план даже химию. Бородин готов был все отдать, чтобы выручить товарища из беды. И это не на словах, а на деле.

Был случай, когда во время путешествия в Италию он отдал земляку все деньги, которые у него были, и должен был сам занять сто франков, чтобы добраться до Гейдельберга.

В его письмах к матери то и дело попадаются имена соотечественников, с которыми он еще недавно не был и знаком. Но эти люди попали в беду, и этого было достаточно, чтобы он заботился о них, как о родных.

Когда один русский умер в Гейдельберге от чахотки, Бородин принял самое горячее участие в судьбе его жены и маленьких детей.

«Несчастная жена Барановского,— писал он,— совсем убита горем. Я бываю у нее теперь каждый день».

Чтобы помочь Барановской расплатиться с долгами и выехать в Петербург, Бородин бегал по всему городу и раздобывал для нее деньги.

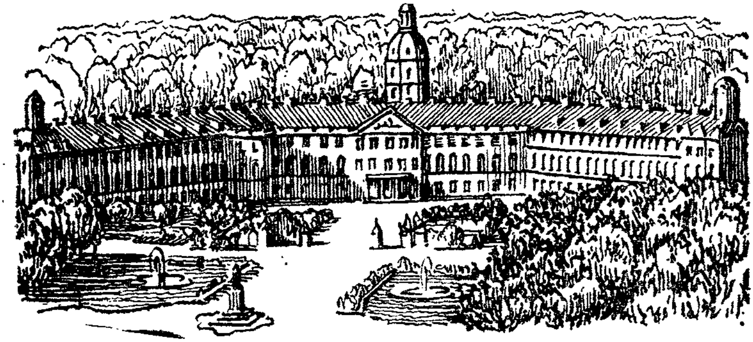
А с какой тревогой он писал матери о болезни Анны Павловны Бруггер, у которой он и Менделеев часто бывали. Это была добрая женщина, которая относилась к молодым людям с чисто материнской заботливостью. На эти заботы Бородин и Менделеев отвечали самой горячей привязанностью. Когда она тяжело заболела, они не жалели

труда и времени, чтобы хоть чем-нибудь облегчить ее страдания. А когда она умерла, Бородин писал матери: «Мы осиротели совсем, тоска на нас напала такая, что ужас».

Русский кружок в Гейдельберге был для Бородина не только приятным обществом, в котором можно было, не скучая, проводить вечера,— он смотрел на этот кружок, как на большую семью.

«Наш русский кружок,— пишет Бородин,— жил здесь истинно по-товарищески, дружно, одолжая друг друга взаимно, чем кто мог. Такого тесного и дружеского кружка вряд ли найдешь в другом месте...» «Наше маленькое общество живет душа в душу, и если у одного кого-нибудь нет денег, то другие снабдят. Люди все милые».

Но новые привязанности не вытеснили из сердца Бородина любовь к старым друзьям, среди которых первое место занимал его учитель. И для Бородина было огромной радостью, когда в Гейдельберг приехал Зинин.



Глава двенадцатая

КОНЕЦ «СМУТНОГО ВРЕМЕНИ»

С приездом Николая Николаевича сразу стало веселее. Учитель и ученик были неразлучны. Они так давно не видались, что им целого дня не хватало на разговоры. Бородин рассказал Зинину о своих химических делах, о результатах исследования производных бензидина. Эта работа особенно интересовала Зинина, потому что была продолжением его собственной,— ведь бензидин был впервые создан его руками.

Зинин советовал поторопиться с напечатанием этой работы, так как он слышал, что в том же направлении ведет исследование Гофман в Лондоне.

В этих беседах не раз принимал участие и Менделеев. Больше всего толковали о предстоящем конгрессе химиков в Карлсруэ. От конгресса ждали многого. Надеялись, что он положит конец «смутному времени» в химии.

А время действительно было смутное.

Ученые, словно строители легендарной Вавилонской башни, говорили на разных языках и не могли столковаться друг с другом.

Сторонники Берцелиуса писали формулу воды: HO (H — это водород с атомным весом 1; O — это кислород с атомным весом 8).

А сторонники Жерара писали формулу воды так, как пишем мы ее сейчас: H_2O. Здесь у водорода атомный вес 1, а у кислорода не 8, а 16.

По Берцелиусу серную кислоту обозначали формулой, состоящей из двух полярно противоположных частей $HO+SO_3$.

А по Жерару надо было писать: H_2SO_4.

Доходило до того, что каломель путали с сулемой, метан с этиленом, воду с перекисью водорода.

К тому же еще существовала невероятная путаница в самых основных понятиях химии. Одни говорили о молекуле воды, другие — о ее «сложном атоме».

Кроме атомных весов Берцелиуса и Жерара, были в ходу атомные веса Гмелина, еще более произвольные, чем берцелиусовские.

Многие ученые вообще отказались от понятия «атом». В формулах, которые они составляли, знаки H, C, S и т. д. обозначали не атом, а «эквивалент», то есть количество элемента, соединяющееся с десятью весовыми частями кислорода.

К любой химической статье надо было предпосылать объяснение, как понимать термины и как читать формулы.

С каждым годом рос и усложнялся материал науки, и разлад делался все больше.

Чтобы не было разногласий, нужно было устранить разноязычие. Нужно было точно разграничить понятия и найти способ выбирать из разных формул одного и того же вещества единственно правильную.

Такой способ уже был найден Жераром. Он нашел его в соседней науке — в физике, в учении о молекулах.

Жерар умер в бедности, так и не дождавшись признания. Все силы свои он отдал на то, чтоб заменить порядком хаос, царивший в химии.

Конгресс в Карлсруэ должен был собраться без него. А как радовался бы он, если б знал, что виднейшие химики съедутся из разных стран, с разных материков для того, чтобы найти, наконец, общий язык.

В приглашении, под которым стояли среди других также и подписи русских ученых — Зинина, Бекетова, Соколова, Энгельгардта, Фрицше, говорилось:

«Химия пришла к тому положению, что нижеподписавшиеся считают целесообразным проложить путь к единению по некоторым из важнейших пунктов путем встречи возможно большего числа химиков, занятых этой наукой и преподающих ее.

Поэтому нижеподписавшиеся позволяют себе пригласить на международный съезд всех своих коллег, имею-

щих право, благодаря своему положению и работам, на подачу голоса в нашей науке.

Подобное собрание не будет, по мнению нижеподписавшихся, в состоянии принять обязывающие всех решения, но путем обсуждения можно будет устранить некоторые недоразумения и облегчить согласование следующих пунктов:

более точное определение понятий, обозначаемых: атом, молекула, эквивалентность, атомность, основность и т. д., исследование истинного эквивалента тел и их формул, установление единообразных обозначений и более рациональной номенклатуры.

Хотя нельзя ожидать, что собранию, которое мы намерены призвать к жизни, удастся привести различные взгляды к полному единению, однако нижеподписавшиеся глубоко убеждены, что таким путем возможно будет подготовить давно желанное согласование, хотя по важнейшим вопросам».

Такое приглашение получили и молодые русские химики — Менделеев, Бородин, Савич. Несмотря на свою молодость, они уже достаточно зарекомендовали себя как самостоятельные ученые, имеющие право голоса в науке «благодаря своему положению и работам».

Конгресс был назначен на 3 сентября 1860 года.

От Гейдельберга до Карлсруэ было недалеко. Но Зинин, Менделеев и Бородин решили отправиться туда кружным путем и к тому же еще самым трудным — через Швейцарию. Хотелось после напряженной работы побродить по горным тропинкам, полазать по крутым склонам, полюбоваться суровым величием Альп, их белыми вершинами и сверкающими ледниками.

Лето в тот год было дождливое. А тут, как только выехали из Гейдельберга, установилась, как будто по заказу, чудесная погода.

Тысячи приезжих каждый год переполняли отели и дилижансы Швейцарии. Но эти трое русских путешественников были совсем не похожи на тех туристов, которые с красной книжечкой Бедекера в руках, задыхаясь и в поту, словно выполняя тяжелый профессиональный долг, озабоченно осматривали одну за другой все достопримечательности, упомянутые в путеводителе. Неписаной заповедью для туристов было: ничем особенно не восхищаясь в душе, восклицать время от времени: «Ах, как красиво!»; не сворачивать в сторону от предписанного мар-

шрута; любоваться закатом там, где это принято, и побывать везде, где все бывают, для того чтобы иметь право сказать потом у себя в Лондоне или в Чикаго: «И мы там были».

Трое русских не принадлежали к этому уже ставшему стандартным типу туристов. С юношеской восторженностью и любознательностью они карабкались, пока хватало сил, туда, куда никто и не думал взбираться; они добирались до таких мест, о которых у Бедекера не было и упоминаний; они способны были исцарапать руки и колени в кровь, чтобы сорвать редкостный альпийский цветок со скалы, нависшей над пропастью; пожилой Зинин не отставал от своих молодых товарищей.

«Грех сидеть среди таких мест, пока есть силы»,— говорил Менделеев. И сразу же после обеда он увлекал своих спутников в новое путешествие на какой-нибудь ледник, который сверкал вдали среди зеленых альпийских лугов, среди гор, поросших елями и соснами.

В одном из швейцарских городков наши путешественники долго стояли, рассматривая висячий мост из проволоки, смело перекинутый с одного горного склона на другой. Этот мост вошел потом в «Основы химии» Менделеева: «Науки давно уже умеют, как висячие мосты строить, опираясь на совокупность хорошо укрепленных тонких нитей, каждую из которых легко разорвать, и этим способом проходят пропасти, казавшиеся непроходимыми».

В том же городке Бородин и его друзья с наслаждением слушали игру органиста в старом соборе.

Эти люди науки умели чувствовать и любить прекрасное во всех его проявлениях: в природе, в искусстве, в созданиях человеческого труда.

О том, как волновала Бородина природа, можно судить по письму, которое он написал матери:

«Господи, сколько наслажденья! Что за чудная природа! Что за строгие, смелые пейзажи! — особенно хорошо восхождение по старой дороге до Андерматта, с гор бегут ручьи каскадами, под ногами ревет Рейсса, клубясь и пенясь, как море, грозные, черные утесы, вершины которых теряются в облаках, поднимаются над головою, вдали ледники и снеговые вершины ослепительной белизны... Чудо!»

Здесь художник чувствуется в каждой строчке.

Для человека искусства не пропадает ни одно яркое впечатление. Все идет в дело, преображаясь иной раз до неузнаваемости.

В музыкальных произведениях Бородина нелегко было бы различить эхо горных водопадов или отзвуки бури, звучавшей под сводами старого собора, когда гремел орган. Одно можно твердо сказать: такие впечатления не могли проходить бесследно, не оказав влияния на растущее дарование художника, который сам в те годы еще не знал своей мощи.

Но пора было путникам вспомнить и о науке, о цели путешествия. Приближался день открытия конгресса. Надо было спешить обратно в Германию, в Карлсруэ.

С любопытством оглядывал Бородин лица ученых, собравшихся утром 3 сентября на первое заседание конгресса. Судя по печатному списку, который был роздан присутствовавшим, здесь было около полутораста человек. Против фамилий в списке стояли названия стран и городов: Петербург, Оксфорд, Париж, Гейдельберг, Варшава, Мадрид, Генуя, Мексико,— каких только городов тут не было!

Заседание еще не открылось, и в зале стоял многоязычный и многоголосый говор.

Было что-то волнующее в этом зрелище множества людей, съехавшихся со всех концов мира для того, чтобы найти общий язык.

Тут были представители разных научных партий. Рядом со сторонниками старых взглядов можно было увидеть горячих последователей новых. Были и такие, которые стремились найти компромисс, чтобы примирить обе партии.

Здесь можно было увидеть убеленных сединами старцев, которые давно почили на лаврах.

Эти всеми признанные знаменитости уже сделали достаточно много открытий на своем веку. Они теперь не особенно хлопотали о том, чтобы добывать новые факты, и довольствовались той добычей, которая сама попадала им в руки. Что касается теории, они любили повторять слова Либиха: «занятия теорией хороши для молодых людей».

Были здесь и совсем еще не знаменитые химики, имена которых лишь недавно появились на страницах научных журналов. Эти-то как раз и считали своим главным делом не только находить факты, но и обобщать их, создавать новые гипотезы, опровергать старые.

То здесь, то там мелькала фигура Кекуле, одного из устроителей конгресса. Он был любезен со всеми, всем пожимал руки. В нем сразу виден был умелый дипломат.

— Зачем,— говорил он друзьям с глазу на глаз,— избирать постоянного президента? Если избрать кого-нибудь из важных господ, непременно обидятся другие, такие же важные. Если предпочесть Либиху Дюма, довольны будут французы, но немцы будут возмущены. Пусть на каждом заседании избирается свой президент. Тогда мы никого из высоких особ не обойдем. А по существу дело будет в руках молодых секретарей — из химиков нового направления.

С Кекуле трудно было не согласиться: «президент на час», конечно, был безопаснее постоянного, за свое короткое президентство ему было бы невозможно направить дело по неверному пути.

Этим ловким ходом были заранее обезврежены увенчанные лаврами, консервативно настроенные старцы.

Было избрано пять секретарей разных национальностей. Из русских в секретариат попал Шишков.

Кекуле предложил на рассмотрение конгресса длинный ряд вопросов. После продолжительных прений решено было оставить только два самых важных: о различии атома и молекулы и о величине атомных весов. Ведь именно в этом был главный пункт расхождения между старым и новым направлениями.

Избрали комитет, который должен был сформулировать эти вопросы так, чтобы их можно было поставить на голосование.

Менделеев тут же на своем списке участников конгресса отметил черточками членов комитета. Список этот сохранился. Черточки стоят перед именами тридцати человек. Среди них Зинин, Шишков, Менделеев, Савич, Бородин.

Если бы Бородин обладал хотя бы небольшой долей тщеславия, он мог бы возгордиться: мало того, что он, еще совсем молодой химик, был приглашен на международный конгресс — его избрали в комитет, на который возложена была ответственная задача.

Надолго должны были запомниться ему и его друзьям эти три дня, когда заседания конгресса чередовались с заседаниями комитета, а промежутки заполнялись оживленными беседами с новыми знакомыми, которые, в сущности, были старыми знакомыми: ведь все они знали друг друга по научным работам.

Особенно большое впечатление произвели не только на Бородина, но и на всех присутствующих выступления генуэзского профессора Канниццаро. И своей внешностью

и всей своей биографией Канниццаро совсем не был похож на профессора, на кабинетного ученого.

Широкоплечий, с мужественным, обветренным лицом, с бородой, не закрывающей подбородок, а окаймляющей его снизу,— он скорее напоминал отважного мореплавателя. Бурную жизнь, полную борьбы и самоотречения, прожил этот человек, которому труды исследователя не помешали принять самое деятельное участие в революционном движении итальянского народа против австрийских угнетателей.

Когда революция 1848 года была подавлена, Канниццаро пришлось бежать в Париж. Но и там — в химических лабораториях, на заседаниях ученых обществ — он продолжал воевать,— на этот раз не за молодую Италию, а за молодую химию, обновленную Жераром. Ему удалось развить учение Жерара, устранив слабые места, которые мешали этому учению добиться общего признания.

И вот теперь, на международном конгрессе, он горячо отстаивал и в комитете и на общих заседаниях то, что считал истиной.

В письме к своему учителю Воскресенскому Менделеев писал о выступлении Канниццаро:

«Я не могу, конечно, передать Вам того воодушевления, той здравой энергии, вполне сложившегося убеждения, которые так могущественно действовали на слушателей».

Общее одобрение вызвала и речь французского ученого Буссенго. Члены конгресса встретили рукоплесканиями его слова:

— Вопрос не о новой или старой науке. Наука не стареет — стареем мы.

Самый напряженный момент был, когда секретари один за другим поднялись со своих мест и — каждый на своем языке — прочли те предложения, которые ставились на голосование.

«Предлагается принять различие понятий о частице и атоме, считая частицею количество тела, вступающее в реакции и определяющее физические свойства, и считая атомом наименьшее количество тела, заключающееся в частицах».

Это был главный вопрос, ради решения которого и собрался конгресс.

Бородин и его друзья могли радоваться: в зале поднялся целый лес рук.

Тогда президент спросил: «Кто против?»

Поднялась было одна рука, но и та сейчас же сконфуженно опустилась.

Такого единодушия не ожидал никто. Атомно-молекулярное учение одержало, наконец, победу.

Перед самым закрытием заседания в зале появился Дюма, только что приехавший из Парижа. Его встретили аплодисментами: ведь ему принадлежали немалые заслуги в деле создания новой химии.

Но речь, которую он произнес под занавес, когда конгресс собрался на свое заключительное заседание, многих разочаровала.

Дюма воздал должное обеим партиям — старой и новой — и предпринял последнюю попытку их примирить.

— Первая партия,— сказал он,— сделала все для минеральной химии; в органической она до сих пор бессильна, потому что здесь химия еще немногое может создать из элементов. Вторая партия, несомненно сильно двинувшая органическую химию, ничего не сделала для минеральной. Оставим же тем и другим действовать своими путями, они должны сами сойтись. А для того чтобы достичь согласия в обозначениях, можно взять новые атомные веса для органических тел и оставить старые для минеральных.

Но партия-победительница не хотела идти на компромисс. Канниццаро вновь взял слово.

— Мы,— заявил он,— приняли новое понятие о частице. А если так, то мы уже не можем удержать старые, берцелиусовские выводы относительно атомных весов. Новые атомные веса уже не такая новость в практике науки, чтобы они могли встретить большое сопротивление. Работающие в новом направлении — в Англии, Франции, России, Германии и Италии,— всё чаще употребляют атомные веса Жерара, так как они основаны на твердом, непроизвольном начале. Исправим только некоторые ошибки Жерара, и мы достигнем последовательности в обозначениях.

Снова было произведено голосование, и конгресс высказался за новые атомные веса.

Так потерпели неудачу старания Дюма найти компромиссное решение. Особенно довольны были русские хими-

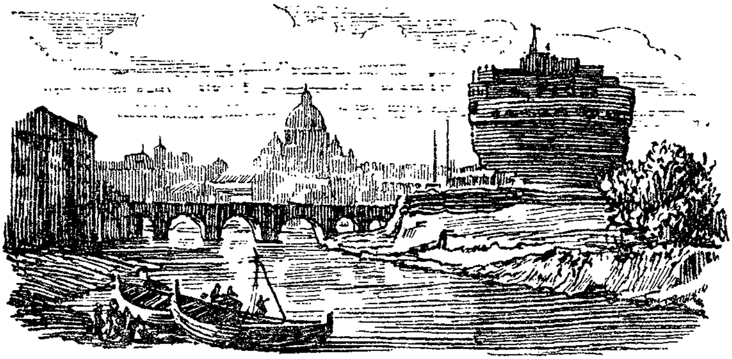
ки: ведь для них этот вопрос был решен уже давно. Менделеев писал своим друзьям в Россию:

«На конгрессе приятно было видеть то, что новые начала, которым все молодые русские химики давно следуют, взяли сильный верх над рутинными понятиями, господствующими в массе химиков».

На всю жизнь сохранил Менделеев воспоминание об этих трех днях. Через тридцать лет, выступая на «Фарадеевских чтениях» в Лондоне, он сказал:

«Многие из присутствующих, вероятно, помнят, сколь напрасно было желание достичь конкордата и сколько почвы выиграли на этом съезде последователи унитарного учения, блестящим представителем которых явился Канниццаро. Я живо помню впечатление от его речей, в которых не было компромиссов, но слышалась сама истина».

Теперь, когда химики ясно договорились об основах, можно было смело двигаться вперед — к периодическому закону Менделеева и к учению Бутлерова о строении молекулы.



Глава тринадцатая

ПОСЛЕ КОНГРЕССА

Прошел всего только год, и на съезде немецких врачей и натуралистов в Шпейере Бутлеров сделал доклад о химическом строении вещества.

Это было началом новой эпохи в науке.

Давно ли химики обсуждали вопрос о том, что считать атомом и молекулой? И вот уже первый яркий луч света проник в глубину вещества, казавшуюся недоступной. Русский химик смело раскрыл перед учеными, собравшимися на съезде, тайну пространственного расположения атомов в молекуле.

Казалось бы, съезд должен был наградить рукоплесканиями и овациями ученого, совершившего такой подвиг. Но этого не произошло.

Доклад Бутлерова был встречен весьма холодно, если не враждебно. Влиятельным западным ученым не понравилась, должно быть, дерзость этого молодого человека, явившегося откуда-то издалека, из Казани, чуть ли не из Азии, учить их уму-разуму. Многие немецкие ученые, собравшиеся в Шпейере, просто не в состоянии были освоиться с мыслью, что разум человеческий уже сделал познаваемым то, что они поторопились объявить непознаваемым.

Повторилась старая история: реакционеры в науке сделали еще одну попытку не дать ходу новым идеям, расширяющим круг известного.

Через десять лет после съезда в Шпейере знаменитый химик Кольбе продолжал утверждать, что «пространствен-

ное расположение атомов в химических соединениях останется навсегда скрытым от нашего телесного и духовного взора». Структурные формулы Кольбе презрительно называл «игрой для химических детей», «бумажной химией».

К теории Бутлерова враждебно отнесся и Кекуле — тот самый Кекуле, который впоследствии попытался присвоить себе эту теорию.

Ловкий и изворотливый, он всегда был не прочь схватить на лету чужую мысль и присоединить ее к своей коллекции других таких же нахватанных чужих мыслей, даже если они противоречили друг другу. Это то, что на научном языке вежливо называют «эклектизмом» и что правильнее было бы назвать беспринципностью.

Химики вспоминали потом, как яростно спорили Бутлеров и Кекуле о самых главных, основных вопросах химии. Оба все больше возвышали голос. Спор делался настолько «оживленным», что их приходилось разнимать. А поспорить было о чем.

Во время съезда в Шпейере Кекуле считал, что о настоящей теории в химии не может быть и речи. Взгляды химиков постоянно меняются, говорил он. В одно и то же время различные химики могут придерживаться различных взглядов. «Все так называемые теоретические соображения являются соображениями, основанными на вероятности и целесообразности».

Одним словом: нет истины, обязательной для всех. Так влиятельный ученый отказывался от того, что составляет силу науки,— от убеждения, что истина только одна и что человек может и должен стремиться познавать ее все точнее и лучше.

Мог ли согласиться с этим Бутлеров! Его спор с Кекуле был спором между наукой материалистической и идеалистической.

И нет сомнения, что Бородин, участвовавший в работах съезда, был всецело на стороне своего друга и брата по химии — Бутлерова. Достаточно просмотреть письма Бородина или научно-популярный журнал «Знание», который он одно время редактировал, чтобы убедиться в его материалистических взглядах. Он высоко ценил Дарвина и ученого-материалиста Геккеля. «Тузовая личность,— говорил он о Геккеле,— стоящая Дарвина».

Теория Бутлерова открывала перед Бородиным далекие перспективы. Опираясь на эту теорию, он мог смелее создавать те сложные атомные постройки, архитектором которых он потом стал.

Но в ту осень 1860 года, когда Бородин и Менделеев возвращались в Гейдельберг из Карлсруэ, с конгресса, будущее еще было подернуто туманом и неясно для них самих.

Оба они были еще молоды и сами не знали своей силы. А сила была большая, и расточать ее было радостно. Хотелось и работать с утра до ночи, и путешествовать, и веселиться.

Внезапно им пришло в голову, что неплохо было бы побродить по Италии. Уж очень хороша была их совместная прогулка по Швейцарии. Денег было мало, тем более, что Бородин, по своему обыкновению, отдал почти все, что у него было, одному приятелю, которому до зарезу нужны были деньги. Но недостававшую сумму удалось призанять, и оба друга в прекрасном настроении пустились в путь.

Вот как вспоминал позднее Менделеев о том, как они с Бородиным странствовали по свету:

«Пускались мы в дорогу с самым маленьким багажом,— с одним миниатюрным саквояжем на двоих. Ехали мы в одних блузах, чтоб совсем походить на художников, что очень выгодно в Италии — для дешевизны; даже почти вовсе не брали с собою рубашек, покупали новые, когда нужда была, а потом отдавали кельнерам в гостиницах вместо на чай. Весной 1860 года мы побывали в Венеции, Вероне и Милане, осенью того же года — в Генуе и Риме, после чего Бородин поехал на короткое время в Париж. В первую поездку с нами случилось курьезное происшествие на железной дороге. Около Вероны наш вагон стала осматривать и обыскивать австрийская полиция: ей дано было знать, что тут в поезде должен находиться один политический преступник, итальянец, только что бежавший из заключения. Бородина, по южному складу его физиономии, приняли сразу именно за этого преступника, обшарили весь наш скудный багаж, допрашивали нас, хотели арестовать, но скоро потом убедились, что мы действительно русские студенты,— и оставили нас в покое. Каково было наше изумление, когда, проехав тогдашнюю австрийскую границу и въехав в Сардинию, мы сделались предметом целого торжества, всё в вагоне же: нас обнимали, целовали, кричали «виват!», пели во все горло. Дело в том, что в нашем вагоне все время просидел политический беглец, только его не заметили, и он благополучно ушел от австрийских когтей. Италией мы пользовались вполне нараспашку после душной, замкнутой жизни в Гейдельберге. Бегали мы

весь день по улицам, заглядывали в церкви, музеи, но всего более любили народные маленькие театрики, восхищавшие нас живостью, веселостью, типичностью и беспредельным комизмом истинно народных представлений».

Своим друзьям Менделеев несколько подробнее рассказывал об этом забавном случае на австрийской границе:

«Нас задержали и отправили в особую комнату. Почему, зачем, мы ничего не понимали. Меня оставили в покое, а Бородину велели раздеться донага. Не предвидя ничего серьезного, Александр Порфирьевич быстро разделся, да еще ногами этакое антраша выкинул. Его подробно осмотрели и потом нас отпустили».

Вряд ли австрийскому жандарму понравилась по меньшей мере непочтительная выходка Бородина. Но итальянцы были в восторге и от того, что удалось спасти товарища, и от того, что «русские студенты» оказались такими молодцами и весельчаками. Откуда-то появилось вино и закрепило дружбу между свободолюбивыми итальянцами и не менее свободолюбивыми русскими.

Бородин с восхищением писал своей матери об итальянцах:

«Народ здесь великолепный: вежливость и услужливость удивительная. Меня особенно поразили пьемонтские солдаты, с которыми я ехал через Lago Maggiore;[1] в них столько порядочности и такое отсутствие казарменного элемента, что кажется, как будто это не в самом деле солдаты, а на театре. Сколько в них непринужденности, грации, благовоспитанности. Обращение с офицерами совершенно непринужденное, простое... Мы, как подобает истинным демократам, едем, разумеется, во втором классе, и, разумеется, мы в выгоде: у нас очень веселое общество».

В этих нескольких строчках ясно выражены политические взгляды Бородина и Менделеева: они действительно были истинными демократами. С живым сочувствием относились они к борьбе итальянцев за свободу, против австрийских жандармов, против солдат Наполеона III, против римского папы. К тому, что писал матери Бородин, можно добавить несколько строк из письма, которое примерно тогда же было послано в Россию Менделеевым:

«Дней восемь, проведенных там, не забудешь никогда, потому что невозможно и непростительно забыть общий вид этого города, между невысокими холмами которого те-

[1] Лаго Маджиоре — озеро у южного подножья Альп.

чет быстрый, бурный Тибр, где совершилось столько важных для мира событий, где видел лучшие памятники искусства, где, наконец, жил среди живого, изящного, хотя и бедного народа, страдающего под игом пап и не могущего сломить это иго, потому что 30 тысяч французских солдат готовы защищать его, готовы с форта св. Ангела громить город».

Выехав из Рима, друзья расстались: Менделеев вернулся в Гейдельберг и оттуда в Россию, а Бородин поехал в Париж.

До нас дошло несколько листков голубой почтовой бумаги, исписанных твердым и тонким почерком Бородина. Эти письма, полученные из Парижа, были бережно сохранены Менделеевым, которому они были адресованы. Дружба продолжалась и после разлуки.

В этих письмах, как в зеркале, отражается весь Бородин с его жизнерадостностью, с его жадностью ко всем ярким впечатлениям жизни. Весело рассказывает он о карнавале на улицах Парижа, о бале в Опере. Но в то же время он не забывает рассказать другу о самом главном — о своих научных работах.

Он пишет Менделееву:

«...Мне нужно расположить время так, чтобы везде успеть побывать, работы большой я, наверное, здесь уже не начну, а оставлю до России. Теперь занимался немного полярископом, слушал Реньо, Бернара etc. Читаю в библиотеке некоторые вещи, которые нужно прочесть, дую стекло etc., etc.».

Даже во время болезни, которая была для него вынужденным отдыхом, он весь был поглощен мыслями о химии.

Лежа на диване в своей комнате, загроможденной книгами и приборами, он мечтал о том, как по возвращении в Петербург заведет у себя домашнюю лабораторию, хотя бы самую крошечную. Для этого придется «раскутиться» —приобрести в Париже платиновую реторту, микроскоп, воздушный насос. А как хорошо будет, если удастся установить в домашней лаборатории газометр. И он просит Менделеева навести справки: можно ли это устроить, и во что это обойдется.

Для Бородина «кутить», сорить деньгами —значило тратить их на научные приборы.

В соседнем номере жил химик Савич. Они очень подружились. В письмах к Менделееву Бородин сообщал об ус-

пехах Савича гораздо подробнее, чем о своих собственных.

Он радуется тому, что его приятелю удалось сделать важное открытие: найти новый способ получения ацетилена. Одновременно с Савичем новый способ получения ацетилена нашел Мясников, ученик Бутлерова. Бородин рассказывает, как все были поражены, когда в одной и той же книжке французского химического журнала появились работы двух русских химиков, из которых один работал в Казани, а другой в Париже и которые разными способами получили одно и то же вещество.

Проведя зиму в Париже, Бородин через Италию вернулся в Гейдельберг. Он писал Менделееву:

«Гейдельберг меня сильно обрадовал, в нем все так же, все то же. Если про Помпею говорят, что «кажется, как будто жители вышли только на минуту и сейчас воротятся», то и подавно можно сказать это про Вашу квартиру, мне все так и кажется, что Вы войдете сейчас, и я опять услышу знакомое «рататам, чим-чим, чим» или «Леонору». Русских здесь видимо-невидимо; большей частью все молодежь, есть люди дельные, особенно по зоологии. Это дело хорошее. По субботам составляются литературные вечера. Здесь основывается химическое общество».

Все мысли Бородина в это время заняты химией. Письмо пестрит химическими формулами, но о музыке ни слова, если не считать этого шутливого упоминания о «Леоноре».

Химия, казалось, окончательно вытеснила музыку из его души. Но это только казалось. Как раз в это лето 1861 года у музыки неожиданно появилась мощная союзница.



Глава четырнадцатая

МУЗЫКА И ЕЕ СОЮЗНИЦА

В те годы был в Гейдельберге пансион Гофмана. Хозяина пансиона соседи почтительно называли «господин профессор», хотя давно уже миновало то время, когда он разъяснял студентам Московского университета тонкости греческой грамматики.

Его жена — Софья Петровна — была москвичкой и любила общество своих земляков. Собираясь в Гейдельберг, молодые химики, зоологи, врачи еще в Москве или в Петербурге заносили в свою записную книжку среди других необходимых адресов и адрес Гофмана — Bergheimerstrase, 14. А те, которые останавливались по приезде в каком-либо другом пансионе или отеле, очень скоро находили дорогу в гостеприимный и уютный домик на окраине города.

Один из современников Бородина, А. В. Романович-Славатинский, рассказывает в своих записках:

«Поздно вечером мы приехали в Гейдельберг —и прямо в дом Гофмана. Да это настоящая Россия, думалось нам: только и слышится русская речь, только и видятся русские лица; даже чай подали не в чашках, а в стаканах,—совсем как в Москве».

И вот однажды в теплый майский день, когда окна были настежь раскрыты и из сада долетал вместе с ветром запах роз, за табльдотом разнеслась весть: в пансионе остановилась только что приехавшая из Москвы замечательная пианистка. Софья Петровна успела уже узнать,

что вновь прибывшую зовут Екатериной Сергеевной Протопоповой и что она приехала лечиться на деньги, вырученные от концерта, данного в Москве.

Бородину, должно быть, еще больше, чем другим, хотелось поскорее познакомиться с приезжей пианисткой. Тот, кто страстно любит музыку, испытывает в ней неодолимую, почти физическую потребность.

Народ собрался молодой и не очень долго раздумывающий о том, что принято и что не принято. Решено было немедленно отправить к Екатерине Сергеевне депутацию, с тем чтобы просить ее познакомиться с ними и играть им. В числе депутатов был, разумеется, и Бородин, едва ли не зачинщик всей этой затеи.

Постучавшись и войдя в комнату приезжей, Бородин и его друзья увидели молодую девушку с гладко причесанными на пробор волосами, с чистым белым лбом, с детски простодушным и в то же время серьезным выражением лица. Ее прекрасные глаза под округлыми бровями удивленно смотрели на ввалившуюся к ней компанию. К радости депутатов, она отнеслась к их просьбе просто, без всякого жеманства. Не заставляя долго умолять себя, она — во главе процессии — направилась к залу, села за фортепиано и начала играть фантазию фа минор Шопена.

Но прежде чем говорить о том, что произошло дальше, надо рассказать подробнее об этой девушке, встреча с которой во многом повлияла на судьбу Бородина.

Кем была эта молодая пианистка, которая с таким увлечением и с таким тонким пониманием играла Шопена маленькому кружку, собравшемуся в зале гофмановского пансиона?

Бородин не слыхал о ней раньше, хотя один из его друзей, Сеченов, мог бы ему о ней рассказать,— ведь он хорошо знал Екатерину Сергеевну, еще когда был студентом Московского университета.

В своих «Автобиографических записках» Сеченов посвящает несколько страничек одному невымышленному роману, главной героиней которого была не сама Екатерина Сергеевна, а ее близкая подруга и ученица —Леонида Визар.

Действие происходило в Замоскворечье. А действующими лицами были люди, имена которых не забыты до сих пор. В Леониду Визар был страстно влюблен поэт и критик Аполлон Григорьев. К тому же кружку принадлежа-

ли драматург Островский, собиратель народных песен Тертий Филиппов, замечательный актер Пров Садовский. Всех их объединяло преклонение перед творческой силой народа и горячее убеждение в том, что народность должна быть основой искусства. Они часто встречались в домике Визаров у Донского монастыря или у Аполлона Григорьева на Большой Полянке.

Сеченов с теплым чувством вспоминает воскресные вечера у Визаров. Много оживления вносил в эти вечера живой, нервный, увлекающийся в спорах Григорьев. «Музыка,— по словам Сеченова,—была представлена в доме учительницей старшей сестры госпожой Протопоповой, очень хорошей музыкантшей».

Имя Екатерины Сергеевны встречается не только в записках Сеченова. Про нее говорил Фет, что «ее нельзя не любить». О ней писал Стасов, что она «была очень образованная и даровитая пианистка, ученица сперва некоего Константинова (ученика Фильда), потом Рейнхарта, потом еще Шульгофа —этот при первой же встрече сказал про нее «Mais elle chante» [1],— наконец она училась у Шпаковского, ученика Листа. Она была хорошо знакома с фортепианными сочинениями Бетховена, Шумана, Листа и страстно любила их».

Надо сказать, что учитель Екатерины Сергеевны, выдающийся чешский пианист Шульгоф, был учеником Шопена, так что она приходилась в музыке как бы внучкой двум великим композиторам — Шопену и Листу. В устах чешского музыканта слова «она поет» были высшей похвалой для пианистки: певучесть была одной из национальных особенностей славянских музыкальных школ. Сестра Леониды Визар вспоминала потом, что Екатерина Сергеевна очень гордилась тем, что была ученицей Шульгофа. «Катеньке,— пишет она,— все давали уроки бесплатно, так как она в самом деле была очень талантлива».

Если бы не эти бесплатные уроки, Екатерина Сергеевна вряд ли могла бы иметь таких учителей. Отец ее, врач Голицынской больницы, умер, когда она была еще ребенком. Ее матери, жившей на скромную пенсию, нелегко было растить и учить детей. Хорошо еще, что их оставили хоть и в тесной, но бесплатной квартирке при больнице.

В письмах к Екатерине Сергеевне Аполлон Григорьев говорит о ее необычайной музыкальности, одаренности:

---

[1] Но она поет! (*фр.*)

«Радуюсь Вашим успехам, друг мой, но не удивляюсь им. Вы у меня умная, добрая, даровитая».

Он говорит о «глубоком и нежном уважении», которое она внушает всем, кто способен ее понять. Но при этом он отмечает и ее недостатки. Давая ее характеристику, он пишет о ее «артистической, немножко эгоистической, немножко слишком самообладающей натуре».

Но пора уже вернуться после этого затянувшегося отступления к тому моменту, когда Екатерина Сергеевна только что познакомилась с Александром Порфирьевичем и играет ему и его приятелям свои любимые вещи.

«Пока я играла,— рассказывает в своих воспоминаниях Екатерина Сергеевна,— Бородин стоял у фортепиано и весь превратился в слух. Он тогда еще почти вовсе не знал Шумана, а Шопена разве немного больше. Он себя в первый же день нашего знакомства отрекомендовал «ярым мендельсонистом». Как вам сказать, какое он на меня сразу произвел впечатление? Красив он был действительно, и еще лучше, чем на карточке у г-жи К. Несомненно мне было, что и умен он очень; непринужденное же остроумие так и било у него ключом. Понравилось мне его любовное отношение к музыке, а я ее боготворила. Мне было отрадно, что я заставила ярого мендельсониста так упиваться дорогими для меня Шопеном и Шуманом. Но что-то предвзятое, помимо моей воли еще в Москве сложившееся против Бородина вследствие рассказов К., отталкивало меня от него».

В пояснение надо сказать, что в то время, как Бородин еще ничего не знал о Екатерине Сергеевне, она уже слышала о нем от жены профессора химии Киттары. Г-жа Киттары была неравнодушна к Бородину. Он нравился женщинам, так как был красив, умен и остроумен. Но, по словам его брата, сам он «мало обращал внимания на женщин». Вернувшись из-за границы в Москву, г-жа Киттары много наговорила Екатерине Сергеевне о встрече с Бородиным на рейнском пароходе, о том, как он «красив, интересен, симпатичен». На Екатерину Сергеевну все эти неумеренные похвалы произвели совершенно обратное впечатление. Ей, по-видимому, представилось, что Бородин присяжный сердцеед, и это заставило ее сразу насторожиться.

Екатерина Сергеевна рассказывает:

«...У нас музицирование не прекращалось; нашлись в нашем обществе и смычки, и это позволило нам приняться за камерную музыку. Я продолжала свою пропаганду

Шумана. После его «Humoresque» [1] и квинтета Бородин совсем «очумел» (по его собственным словам) от восторга. Мы часто бывали вместе. День его устраивался так: с 5-ти часов утра до 5-ти вечера — химическая лаборатория; с 5-ти до 8-ми—наши с ним прогулки по горам. Какие хорошие это были прогулки, чего только мы с ним не переговорили тогда! Он все больше и больше начинал мне нравиться, а руки я все-таки ему не подавала и по горам карабкаться старалась без его помощи. С 8-ми или 9-ти часов вечера до 12-ти — музыка в зале гофманского пансиона. Но вот прошло 6 дней. Бородин мне и говорит: «Знаете, матушка Катерина Сергеевна, ведь вы мне с вашим Шуманом спать не даете. И у вас-то он какой хороший выходит». А когда мы в тот день прощались, он спросил, улыбнувшись: «Когда же, наконец, вы мне дадите свою ручку?» Я точно дожидалась этих слов. Я уже больше ничего не чувствовала против Бородина... С тех пор Бородин стал мне братом. Уже тогда начались нежные его заботы обо мне, всю жизнь его затем не прекращавшиеся... А. П. просто трогал меня своей заботливостью о моем здоровье, леченье, даже о моих денежных средствах. Мы с моей знакомой Р. зачастили как-то в Баден-Баден и страсть было как наглупили, увлекшись рулеткой. Бородин испугался за нас, но даже виду не показал. Он разыграл целую комедию, будто крайне нуждается в деньгах, и попросил у меня взаймы почти все деньги, какие у меня тогда были. Отказать ему я была не в силах, но потом с оставшимися своими грошами должна была забыть про рулетку. Уже только гораздо позже узнала я, что А. П. спасал меня.

Однажды поехала я с Бородиным в Баден-Баден на музыку. Там ведь нечто вроде Павловска. Пока оркестр играл какую-то пьесу, я обратилась к А. П.: «Как,— говорю я,— хорош переход из такой-то тональности в такую!» Я видела, как изумился Бородин. «Как! Вы так слышите абсолютную тональность? Да ведь это такая редкость!» — воскликнул он и погрузился в какие-то думы, а лицо его и глаза его в то же время были такие ясные, счастливые. Я тогда не поняла, что с ним творится; мне странно было его удивление, я ничего такого важного не находила в этой особенности музыкального слуха. А между тем, как мне потом рассказывал Александр, в этот самый вечер,

[1] Юмореска.

именно после четырех этих моих слов, для него стало несомненно, что он меня крепко, бесповоротно, на всю жизнь любит. И действительно, с этого вечера мы знали уже наверное, каждый сам про себя, что мы любим друг друга... Ну, а там скоро и объяснились».

Зарождение любви, ее первые радости — это то, о чем обычно знают только двое любящих. Но воспоминания Екатерины Сергеевны и письма Александра Порфирьевича сохранили для нас благоуханье этого романа.

В 1877 году Бородин снова побывал в Гейдельберге и написал ей оттуда о своих впечатлениях. Еще по дороге на него нахлынули воспоминания. За окном вагона проносились знакомые берега Рейна, все те места, мимо которых они столько раз ездили вдвоем с Екатериной Сергеевной. Он пожирал глазами каждую горку, дорожку, каждый домик, деревушку — все напоминало ему счастливые времена.

Соседи по купе, должно быть, с недоумением смотрели на этого уже немолодого, седеющего пассажира, который с таким волнением всматривался в окружающий пейзаж, словно что-то разыскивал у полотна железной дороги.

Если бы дело происходило в России, Бородин давно познакомился бы с соседями и, быть может, рассказал им, что эти места связаны для него с лучшими воспоминаниями молодости. Ведь у нас знакомство, а то и дружба между пассажирами завязывается без долгих предисловий. Едва успев проехать две-три станции, они уже нередко делятся друг с другом и дорожными припасами, и воспоминаниями, и планами на будущее.

Но чопорные немцы, с которыми ехал Бородин, вряд ли располагали к дружеской беседе. Такие соседи могут целые сутки проехать с вами рядом на одной скамейке и не сказать вам ни слова.

Чтобы скрыть от посторонних взглядов свое волнение, Бородин высовывался в окно гораздо дальше, чем это было принято.

С замиранием сердца всматривался он в пробегавшие мимо домики с черепичными кровлями, ограды, увитые розами, маленькие садики. Он старался не пропустить домик Гофманов. В садике, прилегавшем к этому дому, у самой железной дороги, они с Екатериной Сергеевной встретились на другой день после того, как объяснились.

«Укараулил-таки!! Узнал его сразу!! Почуял его!!» — писал он Екатерине Сергеевне, сопровождая каждую фразу двумя восклицательными знаками. «Без сомнения, тебе случалось видеть во сне места, которые ты как будто давно когда-то знала; места, где ты наперед знаешь, что будет впереди, где ты спешишь осмотреть каждый уголок и уверена, что все тебе знакомо. В таком состоянии был я».

И вот Бородин в Гейдельберге. Все до мельчайших подробностей воскресало в его памяти, словно не было этих семнадцати лет, словно он опять был молод и жизнь была впереди. Он не вытерпел и забежал в чужой двор, чтобы взглянуть на окна лаборатории, где он провел когда-то за работой столько хороших часов. Оказалось, что лаборатории в этом доме уже нет.

Ему хотелось побывать и на своей прежней квартире, где Екатерина Сергеевна была у него в первый раз. Но, зная гейдельбергские нравы, он убоялся старой немки, которая вязала чулок у окна, и не решился войти.

«Мне все не верилось,— пишет он,— что я наяву вижу все это, что я наяву хожу по этим знакомым местам: я трогал стены домов рукою, прикасался к ручке двери знакомых подъездов; словом, вел себя, как человек не совсем в своем уме».

«Чего я не перечувствовал, пробегая те дорожки, те галереи, где мы бродили с тобою в первую пору счастья! Как бы я дорого дал в эту минуту, чтобы ты была со мною! Вот и та глухая, мрачная, тенистая аллея, те нависшие каменные своды, под которыми мы пробирались с тобою как-то ночью. Помнишь, ты уцепилась за меня от страха?..»

Но особенно не терпелось ему побывать около замка и в Вольфсбрунне у фонтана — в тех местах, которые он шутя называл то своей Меккой, то Мединой, то Иерусалимом. Ведь там были сказаны слова, которые связали на всю жизнь его и Екатерину Сергеевну!

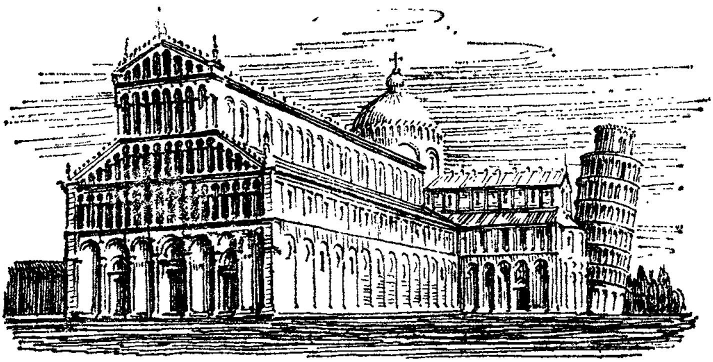
В этом письме сочетались два разных момента жизни, разделенных промежутком более чем в полтора десятилетия.

Письмо продиктовано глубокими душевными переживаниями: в нем много чувства, но совсем нет сентиментов. Оттого-то в нем то и дело искрится юмор сквозь печаль о неповторимом прошлом.

Не все сложилось так, как им обоим мечталось в первую пору любви. Но они еще ближе стали друг другу за эти годы, которые не могли не принести с собой и седых волос и горечи разочарования.

«Никогда еще я так далеко не уезжал от тебя, и, кажется, никогда ты мне не была так близка, как теперь».

Бородин вспоминает в своем письме только о начале их романа. Чтобы узнать, каково было продолжение, надо снова обратиться к воспоминаниям Екатерины Сергеевны, которые она незадолго до своей смерти продиктовала одному из друзей и почитателей мужа. Она уже не в силах была писать сама, но ей не хотелось, чтобы вместе с ней исчезла память о дорогих для нее событиях. Несмотря на мучительные страданья и на душевное потрясение после недавней смерти мужа, Екатерина Сергеевна сумела передать в своих воспоминаниях счастье, которым она жила в те годы.



Глава пятнадцатая

О ЛЮБВИ, МУЗЫКЕ И ХИМИИ

Как голоса в многоголосом музыкальном произведении, переплетаются в жизни Бородина, наука, искусство, любовь.

Эти дни, когда он встретился с Екатериной Сергеевной, были не только знаменательным моментом в его личной жизни, но и новой узловой точкой его музыкального развития.

Не случайно он именно тогда понял, что любит ее, когда она произнесла те слова о переходе одной тональности в другую, которые так его поразили.

Необыкновенная музыкальность этой девушки была для него главным ее очарованием. Любовь к ней и любовь к музыке слились в его душе неразрывно. «Вы мне со своим Шуманом спать не даете»,— сказал он ей.

Екатерина Сергеевна помогла ему войти в мир новой музыки, о котором он впервые услышал от Мусоргского, но который еще плохо знал.

А быть может, еще важнее, что общение с Екатериной Сергеевной снова разбудило в нем жажду творчества, заставило его вспомнить, что и он сам может быть одним из создателей этой новой музыки.

За годы, проведенные за границей до знакомства с Екатериной Сергеевной, Бородин сочинил только одну вещь, если не считать нескольких переложений юношеских произведений. Это был секстет для двух скрипок, двух альтов и двух виолончелей. Бородин не любил эту вещь,

написанную в мендельсоновском стиле. Он никогда не показывал ее друзьям.

После встречи с Екатериной Сергеевной он снова начинает сочинять: пишет квинтет для двух скрипок, двух альтов и виолончели, а также тарантеллу для фортепиано в четыре руки.

В этих новых его вещах еще чувствуются разные струи. Стасов говорит, что квинтет написан «à la Глинка», а пьеса для фортепиано в четыре руки «à la Мендельсон».

Вновь вместе с любовью овладела Бородиным стихия музыки. Он и Екатерина Сергеевна играют в четыре руки, говорят о музыке, не пропускают ни одного интересного концерта или оперы.

Екатерина Сергеевна вспоминает:

«По праздникам мы ездили, иногда всей гофманской компанией, в Маннгейм, где особенно тщательно ставились и с прекрасным ансамблем исполнялись некоторые немецкие оперы. Там мы с Александром в истинном значении слова любовались красотами «Фрейшюца», впервые слышали на сцене Вагнеровых: «Тангейзера», «Моряка-Скитальца», «Лоэнгрина». Массивность, яркость и блеск Вагнеровой оркестровки просто ослепляли нас в чудесном исполнении маннгеймского оркестра. Раньше мы из Вагнера только разбирали кое-что по фортепианному переложению».

Тогда же, летом 1861 года, Екатерина Сергеевна часто играла дуэты с известным чешским скрипачом Фердинандом Лаубом.

Послушав произведения Бородина, он сказал:

— Знаете ли вы, барышня, этот Бородин станет в свое время великим музыкантом!

Лауб оказался пророком...

Дни шли, и каждый день казался праздником. Но рядом с этой мажорной темой все чаще стала слышаться минорная. Любовь принесла с собой Бородину не одни лишь радости.

Любуясь своей невестой, он с болью замечал, что она день ото дня становится бледнее. Лето кончилось, все холоднее были ночи, все пасмурнее дни. И это приметно сказалось на состоянии здоровья Екатерины Сергеевны. Ведь она приехала из Москвы совсем больная. Неожиданное счастье подняло ее силы, заставило на время забыть

о болезни. Но оно не могло принести ей полного выздоровления.

И вот любовь подвергается своим первым серьезным испытаниям, минорная тема стремится победить мажорную.

«С наступлением осени и холодов,— пишет Екатерина Сергеевна,— мне, отдышавшейся за лето, снова стало хуже. Я усиленно стала кашлять, кровь пошла горлом. Грудь ломило, я побледнела, похудела, краше в гроб кладут. Бородин и Сорокин повезли меня к гейдельбергской знаменитости профессору Фридрейху. Тот, видно, не особенно любил с больными церемониться, прямо так и хватил: «И месяца не проживет, если сейчас же не уедет в теплый климат. Пусть едет в Италию, в Пизу, там тепло теперь». Что ж делать! Мы тронулись на юг вдвоем. А. П. оставил на несколько дней гейдельбергскую лабораторию, чтобы меня проводить и устроить в Пизе. Там встретил нас итальянский октябрь, не чета германскому: жара, комары, лето совершенное. Мне сразу стало легче дышать; на меня снова повеяло жизнью. А жизни мне хотелось тогда более, чем когда-нибудь. Но дни бежали. Пришел последний час, Александру нельзя было со мной оставаться. Нравственная пытка настала для нас обоих. На меня напал какой-то панический страх остаться одной, совсем одной, без любимого существа, в чужом городе, среди чужих людей, не понимающих моей французской и немецкой речи. Александр уложил свои вещи, в последнюю минуту пошел с официальным визитом к двум известным пизанским химикам: Лука и Тассинари. Я осталась одна. Сказать нельзя, как мне было больно. Я бросилась на постель и заливалась слезами. Вдруг, ушам не верю, слышу голос Александра: «Катя, вообрази себе, что случилось! Я не еду в Гейдельберг, я останусь здесь с тобой все время. Лука и Тассинари приняли меня любезнейшим образом. Лаборатория у них превосходная, светлая, удобная; они мне ее предложили в полное мое распоряжение. И как ведь хорошо это вышло: фтористые соединения, к которым я теперь приступаю, требуют опытов на воздухе; в Гейдельберге холодно слишком для этого, здесь же я могу этим заниматься всю зиму...» Это было блаженство. Снова полились обильные слезы, но они уже другое значили. И как быстро я поправляться начала!

Итальянскому языку мы оба выучились очень скоро. Через $1^1/_2$ месяца мы бегло болтали по-итальянски».



Так неожиданно сплелась история химического открытия Бородина с историей его любви.

Бородину было не так просто объяснить друзьям, и в особенности начальству, какой ветер занес его из Гейдельберга в Пизу — к профессору Де-Лука.

Вот несколько строк из его письма к Менделееву:

«Итак без подробностей: поехал в Италию через Милан и Болонью, проводил в Пизу одну барыню, ехавшую туда для здоровья и заболевшую у меня на руках. Как было бросить ее — я остался, истратил все деньги, что были у меня. От скуки и безденежья пошел шляться, зашел к De Luca, тот предложил к моим услугам лабораторию со всеми средствами и даром; что,— думаю себе,— работать можно везде, а по крайней мере времени не теряешь. Ну и остался. Климат великолепнейший, работаю на террасе, выходящей в сад, перед террасою стоит дерево апельсиновое, покрытое листьями и плодами. Жизнь вдвое дешевле гейдельбергской, лаборатория монтирована великолепно, все есть: материалы, инструменты, посуда, даже аппараты, совсем готовые, собранные».

Бородин давно не писал Менделееву. Чтобы объяснить свое молчание, он ссылается на проклятую «обломовщину». Это он-то Обломов! Он, который способен был работать без удержу в лаборатории с пяти часов утра до пяти часов вечера, да потом еще три часа бродить по горам, да потом еще до полуночи заниматься музыкой! Ссылка на «обломовщину» понадобилась Бородину просто потому, что ему не хотелось вдаваться в подробности: было трудно открыть даже близкому другу все, что было пережито и что делалось в душе. При всей прямоте своего характера Бородин был человеком внутренне сдержанным, стыдливым, прячущим под веселой шуткой глубокие чувства и переживания. Оттого в тех строчках письма, где идет речь о «заболевшей барыне», чувствуется смущение, которое, должно быть, не укрылось и от Менделеева.

А вот как объяснил он свой неожиданный переезд в Италию в отчете, представленном начальству:

«В октябре в вакационное время я поехал снова в Италию и в этот раз исключительно для Канниццаро, идеи и работы которого произвели громадную реформу в химии развитием молекулярной теории и установлением точного понятия о весе химической частицы. Обстоятельство совершенно непредвиденное — а именно: задержание прусскою почтою высланных мне казенных денег,— заставило

меня пробыть в Пизе гораздо долее, нежели я рассчитывал. Чтобы не терять времени, я начал заниматься в университетской лаборатории. Будучи, подобно всем нам, предупрежден против итальянских университетов, я рассчитывал остаться в Пизе только до получения денег и потому заняться лишь небольшими аналитическими работами, которые бы можно было оставить во всякое время. Но с первых же дней я увидел, что пизанская лаборатория представляла мне неизмеримые выгоды против других лабораторий. Лаборатория эта не публичная и потому не устроена на тех меркантильно-коммерческих основаниях, как германские лаборатории. Пириа и Бертаньини, сделавшие почти все свои открытия в этой лаборатории, успели обогатить ее множеством приборов и других учебных пособий. Итальянские ученые не привыкли еще к наплыву иностранцев, приезжающих с целью заниматься, и, будучи поставлены совсем иначе, нежели германские ученые, не привыкли к этой системе эксплуатации. Понятно, следовательно, что профессора Пизанского университета Де-Лука и Тассинари не только приняли меня в высшей степени любезно, но сейчас же предложили мне пользоваться всеми средствами лаборатории. Найдя там редкий запас платиновой посуды, я тотчас же бросил аналитические работы и, пользуясь таким счастливым случаем, предпринял серьезную работу с фтористыми соединениями, которыми я никогда еще не занимался по недостатку средств. Соединения эти, в высшей степени интересные, очень мало изучены. Причина этого находится в особенном свойстве фтористых соединений вступать в реакцию почти со всеми веществами, вследствие чего они разъедают стеклянную и фарфоровую посуду, образуют на каждом шагу двойные соединения, затрудняющие в высшей степени очищение и анализ фтористых продуктов. Работы этого рода можно производить только в платиновой посуде, приобретение которой обходится очень дорого и доступно немногим. Все это взятое вместе объясняет, почему фтористые соединения до сих пор так мало изучены, несмотря на то, что изучение их представляет огромный интерес для науки. Отсутствие всякого рода развлечений в Пизе, доступность средств к учению, богатые музеи, кабинеты, библиотеки, наконец, дешевизна жизни и хороший климат — все это располагало в высшей степени к занятиям и, смело скажу, что в Пизе я сделал для науки и для образования больше, чем где бы то ни было. У меня оставалось много времени и на заня-

тия другими науками, особенно физикою у известного ученого Фелиги. Кроме работы с фтористыми соединениями, я еще сделал две оригинальные работы с бензилом и хлорйодоформом. Публиковав все это в майской книжке «Il nuovo Cimento», я простился с Италиею и отправился на север — в Германию».

Читая этот отчет, просматривая химические статьи Бородина, опубликованные в это время, поражаешься тем, как много он успел сделать. Он был первым химиком, получившим органическое соединение, содержащее фтор.

Любовь влила в него новые силы, и он торопился вкладывать их в работу. Все спорилось под его руками и за лабораторным столом и за фортепиано. В лаборатории он проводил иной раз целые дни и очень подружился с ее хозяином —химиком Тассинари.

«Химия,—рассказывает Екатерина Сергеевна,— не мешала Александру отдавать некоторое время и музыке. Он, например, играл на виолончели в оркестре пизанского театра, где все более давались оперы Доницетти.

В Пизе мы познакомились с директором тамошней музыкальной школы, синьором Менокки. Это был любезный человек, но музыкант не особенный. Помню, как-то при нем Александр не более как в какой-нибудь час набросал фугу. Нужно было видеть изумление signor professore [1]. С тех пор стал он смотреть на А. П. как на музыкальное чудо, хотя та фуга была совсем детская и обыденная. По его протекции нам было дозволено играть иногда на огромном органе пизанского собора. У этого органа была двойная клавиатура, и требовалось 10 человек, чтоб приводить в движение его мехи. Мы играли там Баха, Бетховена, особенно же, помню, угодила я публике, когда раз, во время Offertorium [2], сыграла «Силы небесные» Бортнянского».

С. А. Дианин пишет в своей монографии о Бородине:

«Пользуясь теплой итальянской весной, Александр Порфирьевич и Екатерина Сергеевна часто гуляли ночью по городу, слушая народные песни, а иногда сами принимали участие в таких импровизированных хорах».

Очень интересны выдержки из записной книжки Екатерины Сергеевны, которые приводит в своей книге С. А. Дианин.

---

[1] Господина профессора (*ит.*).

[2] Часть церковной службы (*лат.*).

Эти краткие записи живо рисуют то время, когда жизнь Бородина была так полна работой, музыкой, молодой любовью.

Екатерина Сергеевна записывает, как однажды теплым июньским вечером они вдвоем бродили по улицам Пизы. Город был освещен по случаю праздника объединения Италии. В трех местах играла музыка. Толпа неистово кричала: «Да здравствует Гарибальди!»

Александр Порфирьевич был так взволнован, что у него «градом катились слезы, он должен был отворачиваться, чтобы не заметили их».

Необыкновенно впечатлительная душа его горячо отзывалась на все, что его окружало. Он умел жить одной жизнью с простым, бесхитростным людом.

Ему по сердцу были и сказки, которые так хорошо умела рассказывать старая Барбара, и песни уличных певцов.

Бородин всегда с жадностью прислушивался и у себя на родине и в чужих краях к народным песням. Он и сам охотно распевал эти песни.

Жизнь его была полна песнями, музыкой. Случалось, что Бородин с утра садился за фортепиано и сочинял до поздней ночи. Тогда уж его трудно было вытащить из дому. День за днем Екатерина Сергеевна отмечала в своем дневнике: «Саша все играет и пишет квинтет», «Саша все пишет квинтет».

Бывало и так, что он целый день отдавал химии, а вечером они с Екатериной Сергеевной отправлялись к старику Менокки и играли с ним втроем произведения Бетховена и других любимых композиторов.

Когда перелистываешь письма Бородина, во многих из них находишь отголоски этих светлых дней:

«Я тебя недавно поминал, во вторник,— пишет он жене в Москву из Петербурга в октябре 1871 года.— Слушал квинтет Шумана на квартетном вечере! Сколько мне он напомнил из былого! j'étais ému fortement!» [1]

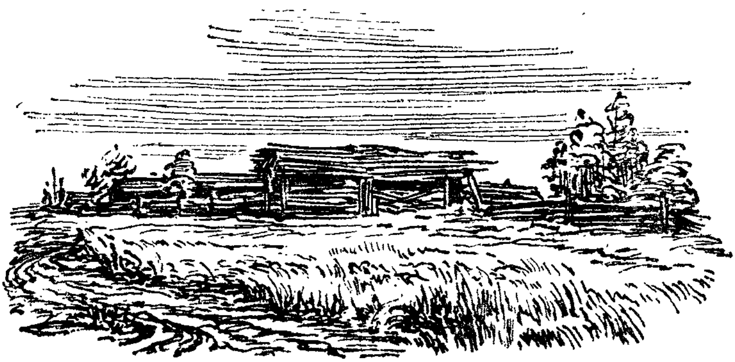
Речь тут идет о квинтете Шумана, который когда-то в Гейдельберге привел в такой восторг Бородина.

В другом письме он рассказывает о том, как был в гостях у певицы Хвостовой и ее сестры, которые обе были горячими почитательницами новой русской музыки, и как там зашла речь об Италии:

---

[1] Я был глубоко тронут! (*фр.*)

«Мы провели очень приятный вечер, чаировали, музицировали и болтали, причем много говорили об Италии. Это возбудило во мне ряд самых теплых, самых светлых и дорогих воспоминаний о нашем итальянском житье-бытье; так что мне ужасно захотелось видеть тебя и быть с тобою. За невозможностью выполнить этого, я поневоле ограничился тем, что много рассказывал Хвостовым о тебе, об Италии, о Пизе, о Чентони, включительно до Аннунциаты и Джижането. Разумеется, самого-то интересного о тебе и обо мне я не рассказал; т. е. того именно, что служило солнцем, освещавшим и согревавшим весь итальянский пейзаж. Впрочем, увлечение, с которым я говорил, было так велико, что возбудило и в моих собеседницах ряд самых приятных и светлых представлений. Дело дошло до того, что, в ознаменование итальянских воспоминаний, Хвостовы пригласили меня в субботу к себе обедать по-итальянски: ризотто, стуффато и макароны, настоящие итальянские, сделанные по-итальянски. Пойду и буду кушать физически с Хвостовыми — духовно с тобой».



Глава шестнадцатая

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

Один за другим возвращались на родину молодые русские ученые, составлявшие за границей тесный дружеский кружок. Уехали Сеченов и Менделеев, пора было думать о возвращении и Бородину.

Странные, противоречивые чувства испытывали все они, когда собирались в Россию.

Не раз, быть может, под ярким небом Италии, среди рощ и садов, не знающих, что такое листопад, вспоминалось им осеннее золото березовой рощи, проселок среди ржи, дымок над овином. Как уроженцу Петербурга не вспомнить в конце мая белые ночи над Невой, ее гранитные набережные и чугунные решетки? И может ли москвич забыть зубчатые стены Кремля над зелеными берегами Москвы-реки?

Их должны были радовать звуки родного языка, когда, возвращаясь на родину, они выходили из дилижанса на первой русской станции. Казалось бы, что может быть естественнее того, что в России все говорят по-русски?! Но для тех, кто несколько лет провел в чужих краях, это словно долгожданный и неожиданный подарок. Каждый ямщик, перепрягающий лошадей, точно старый друг, с которым хочется сразу же вступить в разговор. Ямщик весело и словоохотливо отвечает на вопросы, рассказывает о своем житье-бытье. Ему пора бы привыкнуть к таким встречам. Но и его заражает возбужденно-радостное, праздничное настроение проезжающих. Для них он не про-

сто ямщик, а один из тех людей, которые все вместе составляют многомиллионный русский народ — тот народ, с которым они так долго были в разлуке.

Живя за границей, молодые русские ученые не переставали чувствовать, что это только эпизод в их жизни, что настоящая жизнь, настоящая работа начнутся дома. Они столько лет готовили себя к тому, чтобы послужить родине своими знаниями, силами, дарованиями. Пора было, наконец, перестать жить пока что, снова стать не постояльцами в чужих отелях и пансионах, а хозяевами у себя дома.

Но ко всем этим мыслям и чувствам примешивались и другие.

Из дому доходили невеселые вести.

Вот что писал Менделееву один из его знакомых: «Про Россию не скажу Вам ничего нового, все тот же крестьянский вопрос, те же акции, облигации. Брань взяточников, чиновников. Мало дела».

В этих нескольких строчках много сказано.

Крестьянский вопрос так и остался «вопросом», несмотря на «освобождение» крестьян.

Это «освобождение» совсем было непохоже на то, о чем крестьяне мечтали веками.

Оставленные без покосов, без выгонов, без своего леса, на нищенских наделах, за которые еще надо было платить, крестьяне опять неминуемо попадали в новую, нередко еще худшую кабалу.

Во многих губерниях их с помощью военной силы принуждали к тому, чтобы они принимали «освобождение» на условиях, которые им были продиктованы.

Обеспокоенное недовольством крестьян, брожением в Польше и в Финляндии, студенческими беспорядками, революционными прокламациями, статьями Чернышевского, все растущим влиянием «Колокола», правительство делало все, что было в его силах, чтобы отстоять основы существующего строя.

«...Подобное правительство,— пишет Ленин,— *не могло поступать иначе,* как беспощадно истребляя отдельных лиц, сознательных и непреклонных врагов тирании и эксплуатации... запугивать и подкупать небольшими уступками массу недовольных» [1].

---

[1] В. И. Ленин. Сочинения, т. 5. С. 27.

Каторга — одним, безвредные для самодержавия и для эксплуататорских классов реформы — другим,— такова была политика правителей России.

В официальных речах, говоря о «великом освобождении», сановники не прочь были щегольнуть «либерализмом». А на деле эти господа хлопотали только о чинах, о наградах, о собственном обогащении.

По свидетельству одного из общественных деятелей того времени, «повсеместно в министерствах, а в особенности при постройке железных дорог и при всякого рода подрядах грабеж шел на большую ногу. Таким путем составлялись колоссальные состояния. Флот, как сказал сам Александр II одному из своих сыновей, находился «в карманах такого-то». Постройка гарантированных правительством железных дорог обходилась баснословно дорого. Всем было известно, что невозможно добиться утверждения акционерного предприятия, если различным чиновникам в различных министерствах не будет обещан известный процент с дивиденда. Один мой знакомый захотел основать в Петербурге одно коммерческое предприятие и обратился за разрешением, куда следовало. Ему прямо сказали в министерстве внутренних дел, что 25% чистой прибыли нужно дать одному чиновнику этого министерства, 15% — одному служащему в министерстве финансов, 10% — другому чиновнику того же министерства и 5% — еще одному. Такого рода сделки совершались открыто».

Какой же должна была быть эта «чистая» по названию, но нечистая на деле прибыль, если за вычетом таких расходов на взятки она все же обогащала предпринимателей!

Нельзя сказать, чтобы либеральная печать не занималась обличением взяточников. Об этом-то и писал Менделееву его друг: «брань взяточников, чиновников».

Но либералы «бранили» только мелких воров, не решаясь тронуть крупных. А уж о том, чтобы критиковать строй, допускающий такое ограбление народа, не было и речи.

Цензура опять принялась свирепствовать, как в николаевские времена. Красные чернила цензора кровавыми пятнами испещряли гранки журналов, пытавшихся обличать не мелких чиновников, а строй и правительство.

В университете были запрещены сходки и отменено освобождение от платы бедных студентов. Это вызвало студенческие волнения.

Осенью 1861 года, после уличных столкновений с жандармами, несколько сот студентов было арестовано и посажено в Петропавловскую крепость и тюрьмы.

По распоряжению правительства Петербургский университет был закрыт.

Редактор «Русского слова» Г. Е. Благосветлов писал в октябре 1861 года:

«Университет закрыт; двери его заперты, солдаты расставлены в коридорах, на улицах снуют жандармы и пожарная команда для восстановления общественного спокойствия... Собираются разные адреса, говорится много-много, а делается так мало, что сегодня начнут трагедией, а завтра окончат мелодрамой. А полиция, полиция-то оберегает спокойствие города, да и как оберегает! В крепости места нет; сегодня я был по начальству и получил строгий выговор за распространение зловредных идей».

Московские студенты поддержали своих петербургских товарищей. Они собрались у дома генерал-губернатора, чтобы подать ему письменное обращение на имя министра.

Но их уже там поджидали. Из ворот окружающих домов внезапно появились отряды конных и пеших жандармов и городовых. Засверкали шашки, засвистели нагайки. Многие студенты были ранены. Многих арестовали.

И, наконец, правительство нанесло самый тяжелый удар по «крамольникам». В июле 1862 года был арестован вождь революционных демократов Н. Г. Чернышевский.

Арест Чернышевского был только началом. Каждого, кто осмеливался критиковать в печати действия правительства, заключали в каземат. А давно ли многим казалось, что после жестокой зимы николаевского царствования наступает весна?

Так обстояли дела накануне возвращения Бородина на родину.

Бородин всегда отличался демократическими взглядами. Это бросается в глаза, когда читаешь его письма. Он презрительно отзывается о дворянско-помещичьей среде: «гнилое болото все это, барчуки проклятые, по выражению Базарова». Он пишет о своих племянниках со стороны от-

ца, что им всем дали глупое воспитание, не учили ничему дельному. Он противопоставляет «делающих что-нибудь» «ничего не делающим» аристократам — Голицыным, Олсуфьевым и прочим.

За границей он поддерживает дружеские отношения с демократически настроенными соотечественниками.

Его невеста — горячая почитательница Герцена.

В те времена это было первым признаком революционного настроения. С тех пор как в России усилилась реакция, не только почитателей, но и просто читателей Герцена стали считать опасными людьми.

Товарищ Бородина химик Алексеев едет в Лондон, чтобы повидаться с Герценом, хотя за это можно было серьезно поплатиться.

Когда Боткин вернулся в Россию, его подвергли строжайшему допросу: жандармы допытывались, не встречался ли он с Герценом.

Собираясь домой из заграничной командировки, молодые ученые представляли себе не только знакомый русский пейзаж, но и знакомую фигуру жандарма на первом плане. Они не могли не понимать, как трудно им будет в России «делать дело»,— служить своему народу и своей науке. Оттого-то в их письмах того времени отражаются противоречивые чувства: они и рады и не рады возвращению домой. По приезде они убеждались с первых же шагов в том, что их опасения не были напрасны. Боткину, например, пришлось выдержать в Медико-хирургической академии нелегкую борьбу с реакционной партией, прежде чем ему удалось стать профессором и получить клинику. А Сеченова произвели в «проповедника распущенных нравов и философа нигилизма», когда он написал книгу «Рефлексы головного мозга».

И все-таки, несмотря на все старания, реакционерам не удавалось остановить тот мощный прилив творческих сил, который в те годы испытало передовое русское общество.

Вот что писал об этом, уже будучи стариком,— в мрачные годы реакции — один из «шестидесятников», доктор Сычугов: «Какой громадный и величавый подъем охватил в конце пятидесятых и начале шестидесятых годов интеллигентную молодежь! Какие чудеса делали эти годы! Да, то светлое, радостное время непохоже было на теперешние осенние сумерки. Эх, если бы можно было хоть один еще денек пожить тогдашней вдохновенной жизнью, тогда и умирать-то было бы легче!»

Этот подъем сказывался и в литературе, и в живописи, и в науке. Словно новые звезды, внезапно загорающиеся на небе, то там, то здесь вспыхивали новые таланты, как бы для того, чтобы показать, как велики дарования народа.

Как-то, беседуя с Зининым после приезда из-за границы, Сеченов и Боткин начали жаловаться на «некоторые стороны русской жизни».

— Эх, молодежь, молодежь! — сказал Зинин.— Знаете ли вы, что Россия единственная страна, где все можно сделать!

Этим оптимизмом, этой верой в народ, который в самых тяжелых условиях создает великие ценности, отличался всегда и ученик Зинина — Бородин.

Когда Бородин ехал домой, его будущее простиралось перед ним прямой и четкой дорогой. Впереди была академия, лаборатория, та работа, к которой он готовил себя столько лет. Его ждал на родине любимый учитель, видевший в нем свою опору, своего преемника. Его ждали ученики, которых он еще не знал, но о которых не раз думал, когда в Париже ходил на лекции известных ученых, чтобы присмотреться к тому, как они преподают.

Ему предстояло работать в новом здании естественно-исторического факультета, которое уже строилось на Выборгской стороне, на берегу Невы.

На постройку этого здания энергичному и хлопотливому Дубовицкому удалось получить немалые деньги — 220 тысяч рублей. Но никакими цифрами нельзя было бы выразить тех забот и того труда, которые вложил в это дело и продолжал вкладывать Зинин. Ведь он для того и за границу приезжал, чтобы посмотреть, как устроены иностранные лаборатории. Он хотел, чтобы лаборатория академии была лучше лучших. Довольно русским химикам ютиться в жалких комнатушках, где нет даже вытяжных шкафов, где труднейшие исследования приходится вести в аптечных пузырьках, в черепках.

На конгрессе в Карлсруэ русским химикам удалось занять почетное место и завоевать уважение со стороны ученых всего мира. Но в соревновании с западными учеными русские были в невыгодном положении. Подумать только, соду, и ту везли в Россию из-за границы, а уж о более сложных химических реактивах нечего и говорить! Не легко науке идти вперед, когда она не находит применения в промышленности, в жизни народа!

И вот начал намечаться какой-то перелом, появилась надежда на то, что в России, наконец, появятся и хорошо оборудованные лаборатории и химические заводы.

Все это связывалось и с планами личной жизни. Бородину ясно было, что жизнь должна перемениться. Он станет профессором, у них с Екатериной Сергеевной будет квартира в том же здании — рядом с лабораторией. Они будут, наконец, «совсем вдвоем», будут каждую свободную минуту проводить вместе, обзаведутся роялем, чтобы вволю музицировать.

Так представлялось будущее Бородину, когда он ехал домой. Но приезд в Петербург принес ему немалое разочарование.

Здание института не было готово. Все оборудование еще лежало в ящиках. Большое каменное двухэтажное здание, с окнами вдвое выше обычных, производило внушительное впечатление. Но надо было еще немало работать, хлопотать, воевать с подрядчиками и инженерами, чтобы забрызганные штукатуркой пустые комнаты превратились в те лаборатории, которые так хорошо представлял себе Бородин.

О переезде на новую квартиру в здание института тоже еще нечего было и думать.

Было и другое огорчение: выяснилось, что, став адъюнкт-профессором академии, Бородин будет получать только 700 рублей в год, в то время как прежде он получал 900 рублей, числясь ординатором госпиталя. Нужно было думать о дополнительном заработке.

Все это усложняло жизнь, заставляло менять планы. По возвращении в Россию Бородину пришлось временно расстаться с Екатериной Сергеевной. Она осталась у матери в Москве, а он поехал в Петербург. Эта первая длительная разлука в их жизни оказалась более длительной, чем они думали. Свадьба была отложена до весны. А пока что Бородин с головой ушел в работу. Препятствия удвоили энергию, с которой он принялся строить свое будущее.

Плохо было с деньгами,— Бородин взялся за перевод иностранных научных книг для Вольфа и других издательств.

Помог Менделеев, доставивший ему заказ на перевод книги Жерара и Шанселя. Чтоб пополнить свой заработок, Бородин начал читать лекции не только медикам, но и в Лесной академии.

Медленно шло устройство лаборатории в новом здании,— Бородин вмешался в это дело, стал помогать Зинину воевать с подрядчиками и инженерами, которые возмущали его своей недобросовестностью, своими сделками и проделками. Он жаловался в письме к Бутлерову на «бездну неприятностей с инженерами». «Спасибо еще Зинину, с которым вместе мы могли кое-что придумать и устроить для обеспечения занятий в лаборатории».

Сохранилось письмо к Екатерине Сергеевне, в котором Бородин делится с ней своими заботами, тревогами и надеждами:

«Я все это время сильно был занят: писал и считал всю неделю, так что даже противно стало глядеть на цифры. Работа эта состояла в заказе лабораторных вещей за границей. Зато выйдет страшно выгодно: теперь каждый студент получит полный набор химических чашек и стаканов...»

«В ожидании тебя я начал одну химическую работишку,— что выйдет, еще не знаю».

«Скажу тебе по секрету приятную надежду: кажется, нам прибавят жалование, так что профессор будет получать до 3 000 р. Дело об этом уже у министра финансов. Это была бы славная штука! Тогда и Лесную академию и Вольфа — все можно к черту бросить и жить в свое удовольствие. Впрочем, это дудки еще, казна на безденежье и, может быть, ничего не дадут. На следующий год, по-видимому, Николай Николаевич возьмет на себя руководство практическими работами, а мне поручит чтение лекций».

Когда Бородин стал профессором, ему было поручено читать органическую химию студентам второго курса, а неорганическую химию Зинин оставил себе. Для академии это было большим шагом вперед,— ведь еще не так давно один и тот же профессор читал не только оба эти предмета, но еще и физику, и геологию, и минералогию.

Один из учеников Бородина, ставший потом его близким другом, А. П. Доброславин, рассказывает о впечатлении, которое произвело на студентов появление нового профессора:

«Как теперь помню я ту минуту, когда мы, студенты второго курса, увидели его в первый раз в аудитории. Молодой человек, красивый, в летнем статском пальто, нескорою, немного валкою походкой пробирался в кабинет

к профессору Зинину. Вскоре разнеслось по аудитории, что это Бородин, только что вернувшийся из-за границы. Все студенты, близко стоявшие к Зинину, часто слыхали от него о скором возвращении любимого его ученика. У такой экспансивной натуры, как Зинин, отношения ко всем слушателям его были вообще самые сердечные, но к Бородину они были еще сердечнее: он считал его своим духовным сыном, да и Бородин, со своей стороны, считал его своим вторым отцом. Не было научной мысли, не было приема в работе, о которых не поговорили бы и не посоветовались бы взаимно учитель с учеником. Студенты отнеслись с большим интересом к лекции Бородина, читавшего органическую химию».

Так все шло своим ходом: студент Медико-хирургической академии Бородин стал ассистентом, ассистент превратился в профессора. Но как раз в это время в жизнь профессора Бородина ворвались события, которые произвели перелом и в нем самом и во всей его дальнейшей судьбе.



Глава семнадцатая

ВТОРОЕ ПРИЗВАНИЕ

Дело началось с одной, как будто случайной встречи.

Как-то осенью 1862 года Бородин отправился в гости к своему товарищу по академии профессору Сергею Петровичу Боткину, с которым он подружился еще за границей.

У Боткина по субботам собиралось за столом большое общество. Приходили к девяти часам вечера, а засиживались иной раз до четырех часов утра. Тут были и товарищи хозяина по академии, и писатели, и артисты, и музыканты. Надо сказать, что знаменитый врач и ученый Боткин был не только врачом и ученым. Так же как у Бородина, у него была и вторая страсть — музыка. Весь день он проводил в клинике или принимал больных у себя дома. А в двенадцать часов ночи к нему являлся учитель музыки — виолончелист. Они усаживались за пюпитры и принимались играть.

В те дни, когда не приходил учитель, Боткин играл на виолончели один, а жена аккомпанировала ему на фортепиано. Уже час ночи, тут бы и отдохнуть после трудного дня, но игра на виолончели была для Боткина лучшим отдыхом. Куда бы он ни уезжал, он брал с собой чемодан с книгами и футляр с виолончелью. Его даже приняли однажды на заграничном курорте за странствующего музыканта.

Неудивительно, что на «боткинских субботах» бывали

люди из музыкального мира Бывал там и композитор Милий Алексеевич Балакирев.

Подобно многим другим, он сначала попал к Боткину как больной. Ну, а там нетрудно было от разговоров о болезнях перейти и к разговорам о музыке.

Балакирев писал Стасову:

«На меня он (Боткин) произвел очень приятное впечатление. Он очень неуклюж, совершенный медведь, ноги у него каждая толщиною со столетний дуб... Во время его расспросов, когда он начинает соображать, у него делается в лице что-то хорошее, артистическое. В его приемной все как-то ласково смотрит, начиная с его сторожа и оканчивая последним больным. Только и слышишь слова вроде следующих: «Я десять лет лечилась, и все тщетно, а теперь в один месяц поправилась, дай бог ему здоровья».

На одной из «боткинских суббот» Бородин познакомился с Балакиревым.

В своих воспоминаниях о Мусоргском Бородин пишет:

«Вскоре я уехал за границу, откуда воротился в 1862 году осенью. Тут я познакомился с Балакиревым, и третья встреча моя с Мусоргским была у Балакирева, когда тот жил на Офицерской, в доме Хилькевича. Мы снова узнали друг друга сразу, вспомнили обе первые встречи. Мусоргский тут уже сильно вырос музыкально. Балакирев хотел меня познакомить с музыкою его кружка, и прежде всего с симфонией *«отсутствующего»* (это был Н. А. Римский-Корсаков). Тут Мусоргский сел с Балакиревым за фортепиано (Мусоргский на primo [1], Балакирев на secondo [2]). Игра была уже не та, что в первые две встречи. Я был поражен — блеском, осмысленностью, энергией исполнения и красотою вещи. Они сыграли финал симфонии. Тут Мусоргский узнал, что и я имею кое-какие поползновения писать музыку, стал просить, чтоб я показал что-нибудь. Мне было ужасно совестно, и я наотрез отказался».

В этой лаконической записи ничего не говорится о том, какое впечатление произвел на Бородина его новый знакомый. А впечатление это не могло не быть сильным. Яркий портрет Балакирева набросал несколькими штрихами

[1] Первый (*ит.*).
[2] Второй (*ит.*).

Римский-Корсаков в книге «Летопись моей музыкальной жизни»:

«...Обаяние его личности было страшно велико. Молодой, с чудесными, подвижными, огненными глазами, с красивой бородой, говорящий решительно, авторитетно и прямо; каждую минуту готовый к прекрасной импровизации за фортепиано, помнящий каждый известный ему такт, запоминающий мгновенно играемые ему сочинения, он должен был производить это обаяние, как никто другой. Ценя малейший признак таланта в другом, он не мог, однако, не чувствовать своей высоты над ним, и этот другой тоже чувствовал его превосходство над собой. Влияние его на окружающих было безгранично и похоже на какую-то магнетическую или спиритическую силу».

За первыми встречами последовали и другие. Собирались за чайным столом. Кто-нибудь садился за фортепиано и играл свое новое сочинение. Балакирев делал замечания: «первые четыре такта превосходны, следующие восемь слабы, дальнейшая мелодия никуда не годится, а переход от нее к следующей фразе прекрасен», и так далее в том же роде. В обсуждении принимали участие и другие.

Это не было обычным «музицированием» для услаждения слуха,— это была работа, горячая и упорная работа над каждой музыкальной мыслью и фразой.

Если бы на таком собрании очутился посторонний человек, он был бы весьма удивлен всем тем, что увидел и услышал. Музыкальные произведения играли тут нередко вразбивку, в отрывках, сперва конец, потом начало, потом какой-нибудь отрывок из середины. Случалось, что разбирали по косточкам произведение, которое еще не было написано, которое существовало только в виде первых нескольких тактов.

Еще больше удивился бы посторонний наблюдатель, если бы узнал, что из присутствующих только один хозяин был профессиональным музыкантом. Кюи был военным инженером, Мусоргский — отставным гвардейским офицером, Бородин — профессором химии. Никто из них не готовил себя прежде к деятельности композитора, и все-таки они сочиняли и во всех подробностях разбирали музыкальные произведения, да еще с какой смелостью!

Среди членов кружка был один, который ничего не

сочинял, его и за роялем трудно было увидеть, а между тем он-то и задавал вместе с Балакиревым тон всей музыке. Он больше всех неистовствовал и горячился. Он обрушивал громы на то, что считал слабым, ложным, рутинным. И он готов был душить в своих могучих объятиях того, кто был, по его убеждению, на правильном пути.

Владимир Васильевич Стасов — так звали этого самого неспокойного из участников балакиревского кружка. Это был высокий, статный, широкоплечий человек с большой бородой, с громким голосом — настоящий русский богатырь.

Его судьба могла бы показаться трагичной. Он страстно любил музыку и учился играть с детства. Но он привык строго относиться не только к другим, но и к себе. И он вынес себе беспощадный приговор: быть настоящим музыкантом ему не дано.

С тех пор он редко подходил к роялю — и то только тогда, когда его никто не мог слышать.

Его племянница, Е. Д. Стасова, рассказывает, что однажды на даче в Заманиловке она услышала, как в нижнем этаже кто-то прекрасно играет Шопена. Она сбежала по лестнице вниз и увидела за роялем Владимира Васильевича. Заметив ее, он сразу встал и закрыл рояль.

Стасов писал Балакиреву:

«...Моя беда вся в том, что я слишком хорошо чувствую, как несчастно, а главное не полно я рожден и как у меня недостает слишком многого, чтобы сделать что бы то ни было хорошее. Не аплодисменты публики, не блеск внешности мне нужны,— мне нужно быть довольным тем, что я делаю».

Другой на его месте стал бы считать себя неудачником, обделенным судьбой, «лишним человеком». Но этого богатыря не так-то легко было сломить. Он решил, что может «быть полезным другим, если сам не родился художником». И это стало девизом всей его жизни. «Я решительно хочу начать карьеру полезного человека»,— писал он. И он принялся воевать за русское искусство, за все передовое, самобытное, новое не только в музыке, но и в живописи, в скульптуре.

Вот что рассказывает Репин о своей первой встрече со Стасовым. У скульптора Антокольского собралась компания молодых художников. Когда пришел Стасов, сразу же разгорелся спор об искусстве.

«Владимир Васильевич не был красноречив, как оратор, но он был глубоко убежден в своем. И никогда ни один противник не сломил его веры в свое. На своих положениях он стоял бесповоротно и противника своего ни на одну минуту не считал правым. Он его почти уже не слушал.

Спор становился все горячее, говорили все громче, и, наконец, уже оба кричали в одно время. Не слушая противника, Стасов разносил отжившую классику. Кричал, что бесплодно тратятся молодые, лучшие силы на обезьянью дрессировку; что нам подделываться под то древнее искусство, которое свое сказало, и продолжать его, работать в его духе — бессмысленно и бесплодно. Это значило бы, что мы хотим оживить покойников. Да мы их никогда не поймем! Будет фальшь одна. У нас свои национальные задачи, надо уметь видеть свою жизнь и представлять то, что еще никогда не было представлено. Сколько своеобразного и в жизни, и в лицах, и в архитектуре, и в костюмах, и в природе, а главное — в самом характере людей, в их страсти. Типы, типы подавайте! Страстью проникайтесь, особенной, своей, самобытной!»

Интересы Стасова были необычайно широки. Не было лучшего знатока истории искусства. И в то же время он великолепно знал литературу всех времен и народов. Он мог часами читать вслух своим друзьям великие творения народного эпоса. Его увлекали величественные картины Космоса, которые он находил в книгах Гумбольдта и Бэра. Его любимыми мыслителями были Белинский, Герцен, Чернышевский.

Он писал Балакиреву в 1859 году: «Право, мне *предосадно*, что Вас не увидал сегодня. Я Вам принес... только что вышедший первый том Белинского, из которого мне так хотелось *первому* прочитать Вам кое-что. Все молодое русское поколение воспитано Белинским, оттого я захотел, чтоб Вы узнали его чудесную, прямую, светлую и сильную натуру. Я его *очень* люблю. Авось мы с Вами на нем не разойдемся».

Стасов и сам стал таким же неистовым воителем за реализм и народность в искусстве, каким был Белинский. Опираясь на творения Глинки, Стасов требовал, чтобы музыка исходила из жизни народа и выражала душу народа.

Когда была напечатана диссертация Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности», у Стасова в руках появилось новое мощное оружие.

Прекрасное надо искать в самой жизни! Это было то, что Стасов и раньше чувствовал, но что Чернышевский научно обосновал.

Искусство и жизнь были разделены стеной в представлении «любителей изящного».

Где-то далеко шумела и грохотала, пела и плакала настоящая, невыдуманная жизнь. Людям было грустно или весело, они страдали или радовались, надеялись или приходили в отчаяние, работали и боролись. И все это выражалось в песнях — то заунывных и задумчивых, то буйно-задорных. Это звучало в бесконечно разнообразных интонациях самой обычной разговорной речи. Это отзывалось множеством отголосков в сказках, прибаутках, причитаниях, поговорках.

Но для поклонников «чистого искусства», отрешенного от всего земного, в этом не было музыки. Для них это был несносный шум, от которого они прятались, закрывая окна и затыкая уши. Они не понимали, что все те классические произведения, которыми они восхищались, тоже в свое время выросли из жизни, из песен, из плясок, из военных маршей.

Если бы в музыке не было жизни, то не было бы и самой музыки.

Разыскивая истоки музыки, историки приходят к песне. А песня отражает жизнь народа, его чувства и мысли.

«Создает музыку народ, а мы, художники, только ее аранжируем»,— говорил Глинка. А Стасов писал, что народные песни «окружают нас всегда и везде. Каждый работник и работница в России, точно тысячу лет назад, справляют свою работу не иначе, как распевая целые коллекции песен... Поэтому-то и каждый русский, родившийся с творческой музыкальной душой, с первых дней жизни растет среди музыкальных элементов, глубоко национальных».

Еще ярче говорит Стасов о песне в письме к Балакиреву:

«Видите ли, каков музыкальный характер нашего племени,— воины идут на войну с гуслями, купцы идут на смерть с гуслями,— так было прежде, так продолжается

и до сих пор, перед нашими глазами: сваи вколачивают с песнью, якорь тянут с песнями, солдаты на штурм идут с песнью...»

Музыка вырастает из жизни, как дерево из почвы. Но это было выше понимания тех, чей слух был с детства испорчен музыкальной муштрой, кто был воспитан на сухих и безжизненных правилах музыкального катехизиса. Они готовы были в сотый раз пережевывать все ту же жвачку, лишь бы не брать в рот свежей пищи.

Когда в произведениях Глинки забил живой родник подлинно народной, а не переведенной с чужого языка музыки, это шокировало изощренный слух музыкальных гастрономов.

«Музыка кучеров»,— говорили они. А поборники новой русской музыки с гордостью называли себя «русланистами». Партитура «Руслана и Людмилы» стала, по словам Бородина, их «евангелием».

В своей борьбе за новую музыку Стасов опирался не только на Глинку. Он высоко ценил и автора «Русалки». Ему были по сердцу слова Даргомыжского: «Хочу, чтобы звук прямо выражал слово, хочу правды».

С восторгом и увлечением воспринимал все эти идеи Балакирев. И не только воспринимал, но и воплощал в своих произведениях, пропагандировал, отстаивал словом и делом. Он с одинаковой страстью ратовал за новую русскую музыку и за чайным столом, и на собраниях кружка, и у дирижерского пульта на концертах Бесплатной музыкальной школы.

Стасов писал Балакиреву:

«Мне кажется, что *«Лиром»* и еще двумя-тремя вещами Вы навсегда распрощаетесь с общей европейской музыкой и скоро уже перейдете окончательно к тому делу, для которого Вы родились на свет: музыка русская, новая, великая, неслыханная, невиданная, еще *новее* по форме (а главное по содержанию), чем та, которую у нас *затеял ко всеобщему скандалу Глинка»*.

Стасов был идеологом кружка и пропагандистом его идей и достижений. Балакирев — музыкальным руководителем и наставником.

Так же как Стасов, Балакирев ни к чему не относился равнодушно. Он с жаром хвалил одно, высмеивал другое. Он мог в один миг уничтожить тут же сымпровизированной пародией то, что казалось ему слабым. С ним

нельзя было не считаться. Его товарищи относились к нему и как к товарищу и как к учителю.

Они все только начинали, а Балакирев был уже вполне зрелым мастером, создавшим не одно замечательное произведение. Но не только это делало его руководителем кружка. Он, как и подобает вождю, ясно знал, куда идти и куда вести.

Для него не было непререкаемых авторитетов и непреложных традиций. Он заново переоценивал все — вплоть до того, что считалось общепринятым. В огне его критики мгновенно сгорало и превращалось в ничто многое такое, что прежде казалось ценным и долговечным.

Давно ли Бородин был поклонником Мендельсона? И вот уже вместе с Балакиревым он резко осуждает бездарных подражателей, слепо следующих «мендельсоновской рутине». Он и раньше любил Глинку, недаром он еще в юности с таким жаром отстаивал то, что он называл «нашим направлением» в музыке. Но теперь он еще отчетливее осознал, что русским композиторам надо не повторять с чужого голоса чужие песни, созданные в другие времена и в других странах, а развивать свое русское, самобытное, что еще не нашло выражения в музыке.

С этой точки зрения и оценивали в балакиревском кружке новые произведения. Все подражательное, стертое, рутинное отметалось. И наоборот — горячо встречалось все самобытное, самостоятельное, опирающееся на народную русскую песню.

Этот путь указал Глинка. Недаром Чайковский сказал потом, что русская симфоническая школа содержится, как «дуб в желуде», в «Камаринской» Глинки. Но чтобы вырос этот могучий дуб, нужно было немало времени, труда и таланта, нужны были годы упорной борьбы со всяческими бурями и невзгодами.

В балакиревском кружке было всего только несколько человек. Но эти несколько человек не отгораживались от мира. Они хотели, чтобы их слышал народ, чтобы он сам помогал им в их борьбе за народное искусство.

В те времена во многих городах России возникали одна за другой воскресные школы грамотности, рисовальные школы. И вот Балакиреву и хормейстеру Ломакину пришла в голову мысль основать Бесплатную музыкальную школу.

Гавриил Якимович Ломакин сам вышел из народа. Отец его был крепостным графа Шереметева. Еще маль-

чиком Ломакин попал в шереметевский хор и прошел долгий и трудный путь от певчего до хормейстера.

В своих записках он рассказывает, что в шестидесятых годах ему приходилось часто встречаться с Балакиревым и Стасовым. Разговор у них шел о том, что их больше всего занимало,— о музыке, о хоровом пении, о хоре Шереметева.

«Многие,— пишет Ломакин,— приходили в негодование, что такое музыкальное сокровище, как этот хор, доступно только малому числу слушателей, тогда как он должен бы быть общим достоянием. Этот образцовый, как его называли, хор содержался частным лицом для своей домашней церкви и для своего удовольствия, поэтому не показывался на публичных концертах».

Не раз Балакирев, Ломакин и Стасов толковали о том, как много талантов пропадает на Руси в безвестности, не развившись и не проявив себя. Ведь мало обладать талантом,— надо еще и учиться, а это по средствам только немногим.

Вот во время таких разговоров у Балакирева и возникла мысль создать Бесплатную музыкальную школу, где он мог бы управлять оркестром, а Ломакин — хором.

Но для этого тоже нужны были средства, и притом немалые.

«В пылу своих стремлений они (Балакирев и Ломакин) упустили из виду одну безделицу: это то, что для открытия и содержания школы понадобятся денежные средства, а из каких источников их взять?»

Школа должна была существовать на сборы с концертов. А чтобы дать концерт, надо было сначала создать школу и научить людей петь и играть. Это был заколдованный круг, из которого, казалось, не было выхода.

Но там, где люди воодушевлены страстным стремлением к цели, безвыходных положений не существует.

Ломакин обратился к графу Шереметеву, и тот после долгих разговоров и уговоров сдался: разрешил скрепя сердце то, чего никогда прежде не разрешал. И вот на улицах появились афиши, извещавшие о платном концерте Шереметевского хора в пользу Бесплатной музыкальной школы. За первым концертом последовал и второй.

С деньгами все уладилось. Но была и другая забота: надо было найти помещение для сотен учащихся. После долгих хлопот преодолели и это затруднение. На этот раз

помог Дубовицкий. Он для начала предоставил школе зал Медико-хирургической академии. А потом занятия были перенесены в здание Городской думы.

Школа открылась, и в нее валом повалил народ всякого звания: мастеровые, ремесленники, студенты, писцы из петербургских департаментов. Всех их объединяло только одно: у них были музыкальные способности, а средств учиться не было.

Начались занятия. Кроме пения, в школе преподавали игру на скрипке и теорию музыки. У многих не было никакого понятия о музыкальной грамоте, и с ними приходилось начинать все сначала.

Балакирев и Ломакин составили программу первого концерта и принялись разучивать партии по голосам. Как вспоминал потом Ломакин, «фальшь и хаос были невообразимые». Когда в зал входили музыканты-любители, они только плечами пожимали:

— Ну, что можно сделать из такой разнородной невежественной массы?

Но Ломакин и Балакирев не теряли веры в успех своего дела, которому они бескорыстно отдавали все свое время, все силы.

И вот, наконец, начались концерты школы. Их успех вознаградил основателей за все труды и волнения.

Стасов писал о школе, что это «явление, которого у нас еще никогда не бывало. Никто не думал о действительном музыкальном воспитании нашего народа, никто не посвящал ему всего своего времени и таланта».

С тех пор Бесплатная музыкальная школа стала оплотом новой русской музыки в борьбе за реализм и народность.

Бородину хотелось и самому принять деятельное участие в строительстве великого здания национальной русской музыки. С огромной силой вспыхнула в нем жажда творчества. Он уже не скрывал, что и сам пробует сочинять, не отказывался показывать свои пробы Балакиреву. И это привело к тому, что он по-другому стал смотреть на себя и на свое место в музыке.

«Наше знакомство,— писал потом Балакирев,— имело для него то важное значение, что до встречи со мной он считал себя только дилетантом и не придавал значения своим упражнениям в сочинении. Мне кажется, что я был первым человеком, сказавшим ему, что настоящее его дело композиторство. Он с жаром принялся сочинять свою

ми-бемоль мажорную симфонию. Каждый такт проходил через мою критическую оценку, а это в нем могло развивать критическое художественное чувство, окончательно определившее его музыкальные вкусы и симпатии».

Так в сознании Бородина произошел перелом: ему стало ясно, что он не просто любитель музыки, который может заниматься или не заниматься ею, а работник, от которого многого ждут.

Его товарищ по академии Боткин так и остался дилетантом, несмотря на свою любовь к музыке, несмотря на настойчивость, с которой он до пятидесяти лет брал уроки игры на виолончели. Но дарование Бородина было слишком велико и могуче, чтобы остаться пустоцветом. Оно словно ждало своего часа, чтобы расцвесть с необыкновенной силой.

В декабре, на рождественских каникулах, Бородин поехал в Москву повидаться с Екатериной Сергеевной. И она была поражена переменой, которая в нем произошла.

Вот что она говорит об этом в своих воспоминаниях:

«Плоды только что сложившегося знакомства с Балакиревым сказались баснословным, по силе и скорости, образом, меня окончательно поразившим: уже в декабре, он, этот за́падник, этот «ярый мендельсонист», только что сочинивший скерцо à la Мендельсон, играл мне почти целиком первое allegro своей симфонии ми-бемоль мажор».

Для Екатерины Сергеевны был подарком судьбы тот переворот, который произошел в любимом ею человеке. Химия была ей чужда. Она интересовалась тем, удачно или неудачно идет его работа в лаборатории, потому что ей хотелось, чтобы он был доволен. Но существа его работы она не понимала. Другое дело музыка! Это было то, что сблизило их при первой же встрече и что могло стать их общим делом. И вот, наконец, такой человек, как Балакирев, понял и оценил дарование Александра Порфирьевича! А главное было то, что он сам нашел свое призвание и осознал свои силы.

Великое дело познать самого себя, найти свое призвание!

Для того, кто может сказать: «это дело по мне, я должен его сделать», жизнь становится целеустремленной, откуда-то берутся новые силы, о которых человек и сам не подозревал.

Об этом чудесно пишет Стасов в одном из писем к Балакиреву.

«*Другого нет счастья*, как делать то, к чему всякий из нас способен, все равно — будет ли это большое дело или самое крошечное. Мы все рождены только на то, чтобы *рожать* из себя новые создания, новые мысли, новую жизнь... Я твердо убежден, что от самого маленького человечка и до самого большого,— от какого-нибудь мостовщика и трубочиста и до наших великих богов — Байрона, Шекспира или Бетховена — все только тогда счастливы, спокойны и довольны, когда могут сказать себе: «я сделал то, что мог».

Но как быть тому, кто нашел свое второе призвание на тридцатом году жизни, когда первое призвание уже давно найдено? Ему говорят: «Ты композитор, ты не только можешь, ты обязан участвовать в создании новой музыки, которая нужна твоему народу».

Он понимает, что это правда. Но он уже призван на другую службу тому же народу. Он готовил себя к этой службе много лет. У него есть учитель, которому он предан всей душой, учитель, не менее убежденный и пламенный, чем Балакирев. У него товарищи, так же увлеченные своим делом, как балакиревцы своим. У него есть и ученики, которым он с радостью отдает свои знания. Все они — и учитель, и товарищи, и ученики — не простили бы ему, если бы он изменил химии. Да он и сам бы себе этого не простил,— ведь он любит химию, он все на свете забывает за лабораторным столом.

Музыка тоже была его страстью чуть ли не с младенческих лет. Но ей он отвел второе место в своей жизни, она была его отдыхом, его «забавой». А теперь она больше не хотела довольствоваться такой скромной ролью. Она хотела стать для него не забавой, а великим трудом. Она властно требовала, чтобы он отдал ей все свои помыслы.

Когда Бородин оказался среди балакиревцев, он увидел, что для них фортепиано тот же лабораторный стол, за которым они упорно ставят эксперименты и ведут исследования. Это была знакомая для него атмосфера кропотливых и настойчивых изысканий. Играя, они не играли, а работали, добывая руду для плавки, находя материал для музыки не в чужих образцах, а в жизни народа и в истории народа.

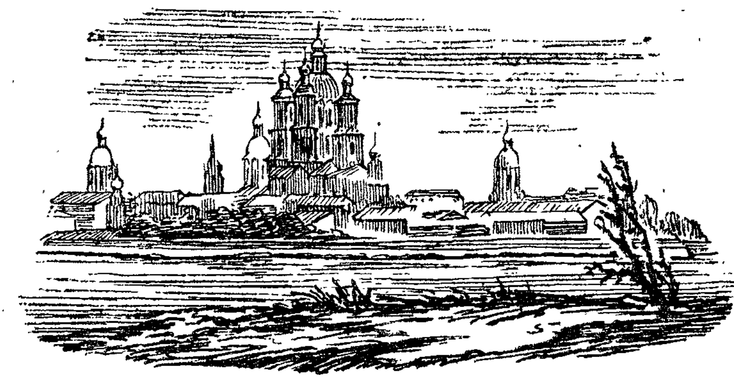
Музыка не кормила их, не давала им чинов и наград, а, наоборот, причиняла им множество огорчений. Каждое их новое произведение многочисленные и влиятельные противники встречали возмущенными криками и свистом. И все-таки эта горсточка стойких людей не отступала. Для них, последователей Белинского и Чернышевского, сочинять — значило служить народу.

Отказаться от такой почетной службы Бородин не мог и не хотел. Отказаться — это было все равно что дезертировать.

Все это надо было до конца осознать и продумать, чтобы сделать необходимые выводы.

У профессора химии Бородина жизнь была заполнена по расписанию и сверх расписания лекциями, практическими занятиями, конференциями, экзаменами, собственной исследовательской работой.

Профессору химии надо было потесниться, чтобы дать место композитору.



Глава восемнадцатая

ПЕРВАЯ СИМФОНИЯ И ВАЛЕРАЛЬДЕГИД

А между тем время шло, приближалась весна. Бородин писал «Сергеевне», как он в шутку называл Екатерину Сергеевну (это было одно из первых ее шутливых прозваний, потом их появилось множество):

«Несмотря на всю пакость, совершающуюся во дворе: слякоть, дождь, ветер, я все-таки с удовольствием слежу за тем, как снегу становится все меньше и меньше, грязи все больше и больше, ухабы глубже и чаще, Нева синее, студенты на лекциях малочисленнее — время, значит, приспичило к экзаменам готовиться. На следующей неделе оканчиваю курс свой: в субботу последняя лекция. При всем том — странная штука — меня несколько тревожит: что бы ты думала? — вся процедура свадебная. Ужасно хочется, чтобы именно этот период прошел как можно скорее; как ни говори, а во всем этом есть что-то пошленькое, что-то натянутое. И вообще быть женихом как-то глупо, неловко, особенно перед свадьбою. Мне нисколько не кажется, например, странным, что ты будешь моей женой, что мы будем жить *совсем* вдвоем. Все это как-то очень естественно... Следовательно, положение «жениха» скучно вовсе не потому, что оно нарушает обычный порядок, к которому я привык...»

Наконец пришли и прошли пасхальные каникулы, которых они оба с таким нетерпением ждали. В апреле Екатерина Сергеевна приехала в Петербург, и они скромно отпраздновали свою свадьбу.

А осенью произошло и другое долгожданное событие. Как ни тянули подрядчики, как ни изводили они Зинина и Бородина постоянными проволочками и уверениями, что лаборатория будет готова «через месяц, через два месяца, через два с половиной»,— новое здание на набережной Невы было, наконец, закончено, и Естественно-исторический институт торжественно открыт.

Молодая чета перебралась на новую квартиру. Сколько тут было приятных хлопот и забот об устройстве на новоселье!

Ученик Бородина Доброславин рассказывает:

«Новая лаборатория, на углу Александровского моста, открытая в 1863 году, поступила под ведение Бородина... Сам он, только женившись на Кат. Серг. Протопоповой (в апреле 1863 г.), переехал в новое здание, первый подъезд с Невы, и прожил тут до самой своей смерти. Лаборатория помещалась в одном коридоре с его квартирой, и Бородин работал там без устали вместе со студентами, чуть не целые дни напролет. Но во время своих работ Бородин всегда сохранял свое свежее и благодушное расположение духа в отношении к ученикам и сотрудникам своим и всегда готов был прерывать всякую свою собственную работу без нетерпения, без раздражения, чтоб отвечать на предлагаемые вопросы. Занимающиеся в лаборатории чувствовали себя точно в семейном кружке. Но он не забывал и музыки. Работая, он почти всегда что-то про себя мурлыкал, охотно говорил и спорил с работавшими о музыкальных новостях, направлениях, технике музыкальных произведений, и, наконец, мы часто слышали, когда он бывал у себя в квартире, как по лабораторному коридору неслись стройные звуки профессорского фортепиано. Благодушие и доброжелательство Бородина поражали всех: каждый мог идти к нему со своими идеями, вопросами, соображениями, не боясь отказа, высокомерного приема, пренебрежения. Очень редкие вспышки раздражения вызывались у Бородина разве только небрежным или неряшливым отношением занимающихся в лаборатории к делу. «Ах, батенька,— слышалось тогда,— что вы делаете! Ведь этак вы перепортите все инструменты в шкафах! Разве можно здесь, в чистой лаборатории, напускать всякой дряни в воздух! Идите в черную». Близкое, задушевное отношение Бородина к ученикам не ограничивалось только лабораторией. Почти все работавшие там были приняты в его семью как самые

близкие знакомые, часто завтракали, обедали и даже ужинали у него, когда оставались долго в лаборатории. Квартира Бородина была, можно сказать, постоянно настежь для всей молодежи. По выходе учеников его из академии он постоянно хлопотал об участи каждого, употреблял все усилия, чтоб доставить ему помощь. Часто про него говаривали, что нельзя было встретить его в обществе без того, чтоб он о ком-либо не просил, кого-либо не устраивал...»

Судя по этому рассказу, даже студенты не могли не заметить, что их профессор не только химик, но и страстный музыкант.

И все-таки химия была на первом месте.

Для нее он не жалел ни сил, ни времени.

«Страшно устал, ибо, несмотря на нездоровье, с восьми часов утра работал в лаборатории. В силу этого решительно не в состоянии таскать ноги и через час ложусь спать...»

«Отправился в черную лабораторию и провонял валерианой до костей...»

«Все утро прокоптел в черной лаборатории, собрал все относящееся до валерианового альдегида и до осени покончил со всякой вонью...»

Только изредка и мимоходом говорится в письмах Бородина о том, что так сильно его занимало.

Но перед нами и его статьи. Читая их, мы словно своими глазами видим Бородина в лаборатории, мы угадываем ход его мыслей, мы вместе с ним странствуем по извилистым и сложным дорогам, которые привели его к большим открытиям.

Вот работа, напечатанная в Бюллетене Академии наук за 1864 год. Это начало многолетнего труда, посвященного альдегидам.

Еще в 1856 году Зинин писал: «При современном состоянии наших знаний об альдегидах имеет значение каждый новый опыт с ними...»

Очень может быть, что в беседах Зинина с самым близким его учеником не раз заходила речь об этих странных и в то время еще не разгаданных соединениях, обладающих большой способностью к химическим реакциям.

Казалось, от альдегидов можно было многого ждать для органической химии, для той химии, которая все больше и больше становилась наукой созидания.

Но чтобы идти от них к другим, еще неизвестным соединениям, надо было сначала понять природу альдегидов. А природа их была в то время еще совершенно неясна.

Название «альдегид» получилось от сокращения слова «alcohol dehy drogenatum», что значит «спирт без водорода». И в самом деле, достаточно отнять от спирта окислением два атома водорода, чтобы он превратился в альдегид, и, наоборот, присоединив к альдегиду водород, можно снова получить из него спирт, как это в 1861 году удалось сделать рано погибшему химику Олевинскому.

Но если альдегиды — это ближайшие родичи спиртов, то не будут ли они вести себя так, как подобает спиртам?

В спиртах, например, можно заместить атом водорода натрием и получить кристаллическое вещество — алкоголят натрия. А нельзя ли таким же образом получить «альдегидат натрия»?

На этот вопрос не было ясного ответа.

В учебнике органической химии, который к этому времени уже успел, несмотря на свою молодость, написать Менделеев, было сказано:

«Продукты прямого замещения металлом водорода в альдегидах мало исследованы...» «Было бы очень интересно проследить реакции металлических производных альдегидов, которые вовсе почти неизвестны».

Вот в этот-то малоисследованный уголок химии и направил свой путь Бородин.

Летом 1863 года он писал Бутлерову:

«Делал кое-какие пустячки с альдегидами, получил кое-какие тельшки, которыми, впрочем, заняться толково не мог, частью по недостатку времени, частью по невозможности чисто работать в старой нашей лаборатории».

Потом, когда новая лаборатория была уже готова, работа пошла быстрее и лучше. В марте 1864 года Бородин уже писал другому своему товарищу — Алексееву:

«Работаю теперь шибко. Про работу теперь ничего не пишу, потому что скоро напечатаю».

А в мае Зинин уже сделал в Академии наук сообщение о работе Бородина, посвященной исследованию действия натрия на валеральдегид.

Что же, удалось ли молодому химику найти то, что он искал? Нет, дело тут обстояло не так просто.

«Моей первой заботой,— пишет Бородин в своей статье,— было получить действием натрия на валеральдегид

вещество с постоянным содержанием натрия. Но это мне не удалось».

Бородин не смог решить задачу, которую он перед собой поставил. Но в этой неудаче уже была заложена возможность большой удачи. Надо было только не опускать руки, не отступать.

Путь науки не так прямолинеен, как кажется. Очень часто исследователь находит совсем не то, что ищет.

Но находит только тот, кто ищет. Так, Колумб, искавший морской путь в Индию, нашел Америку.

Бородин в своей статье подробно рассказывает о всех перипетиях своего кропотливого исследования. Нужно прочесть этот рассказ с начала до конца, чтобы понять, что такое труд химика, как много нужно для него времени и терпения.

Неделя шла за неделей, месяц за месяцем, прежде чем стали намечаться первые результаты.

Начать с того, что Бородину пришлось самому получить исходный материал — валериановый альдегид. Для этого он должен был взять амиловый спирт — тот самый амиловый спирт, который придает плохо очищенной водке такой неприятный запах сивухи. Смешав амиловый спирт с серной кислотой и водой, надо было терпеливо по каплям вливать эту смесь в раствор окисляющего вещества — двухромовокислого калия. Двухромовокислый калий окислял спирт, и спирт превращался в альдегид.

Потом альдегид надо было перегнать, да притом так, чтобы он не приходил в соприкосновение с воздухом: ведь альдегид — капризное вещество, на воздухе он окисляется в кислоту. Перегонку, значит, надо было вести не в воздухе, а в струе водорода.

И вот, наконец, отогнана маслянистая пахучая жидкость — валериановый альдегид. Но это даже еще и не начало работы, это только подготовка к ней.

Начало работы. Какая это незабываемая минута! Она может сравниться только с той, когда корабль, уходящий в дальнее плавание, снимается с якоря, для того чтобы на много месяцев пуститься в открытое море. Кто знает, какие бури и беды ждут его в пути!..

Но отплытие корабля отмечается, как праздник. О торжественности минуты говорят и флаги и пушечный салют.

А здесь, в лаборатории, все так буднично с виду. Только со стола убраны лишние, не относящиеся к делу вещи и приготовлено то, что должно быть под рукой.

Чисто вымыты колбы, стаканы, пробирки. На полках над столом выстроились в ряд банки с реактивами.

И все-таки настроение праздничное. Работа, которая еще только начинается, так же пленительна, как интересная, еще не прочитанная книга: скорее хочется раскрыть и начать читать.

Такие чувства испытывал, должно быть, и Бородин, когда перед ним на столе стояла колба с валериановым альдегидом и он бросал в нее натрий кусочек за кусочком.

Начало было многообещающее. Натрий полностью растворялся в жидкости, которая бурлила от пузырьков водорода. Чем дальше, тем все более бурной делалась реакция. Под колбой не было огня, и все-таки колба стала горячей. Пришлось охлаждать ее водой.

Но вот реакция пошла спокойнее. Жидкость в колбе стала гуще и пожелтела. Чтобы реакция продолжалась, колбу нужно было теперь уже не охлаждать, а нагревать.

Реакция уже больше не идет. Жидкость в колбе обратилась в желтую, мягкую, некристаллическую массу. Бородин встряхивает колбу, внимательно всматривается в нее, как бы стараясь проникнуть взором в гущу молекул. Есть ли там, в этой желтой массе, тот «альдегидат натрия», который он искал?

Чтобы это решить, он приливает в колбу воды. Вода должна разложить «альдегидат» и дать снова альдегид. Ведь так всегда происходит с алкоголятами: они разлагаются от воды.

С жадным вниманием следит Бородин за тем, что происходит с массой в колбе. Масса растворяется, но раствор получается не прозрачный, а мутный, как молоко. При стоянии он начинает делиться на два слоя: желтый, маслянистый, и бесцветный, водный.

Бородин переливает жидкость в стеклянную делительную воронку с краном. Теперь хочешь не хочешь надо прервать работу: жидкость должна отстояться и расслоиться, а на это нужно время.

На другой день Бородин спешит рано утром в лабораторию. Еще издали он видит, что жидкость в делительной воронке образовала за ночь два слоя, с четкой границей между ними. Глазу химика всегда приятна такая отчетливость,— ведь бывают жидкости, которые по многу дней не расслаиваются, между ними все время остается какой-то мутный промежуточный слой.

Бородин подставляет под воронку колбу, осторожно открывает стеклянный кран. Бесцветная водная струя бежит через кран в колбу. Граница между слоями в воронке опускается все ниже. Бородин внимательно следит за ней и, поворачивая кран, замедляет ее опускание. Вот уже последние капли водного слоя упали в колбу. В просвет крана вошла желтая маслянистая жидкость. Надо скорее закрыть кран, чтобы начисто отделить оба слоя.

Бородин подносит колбу к носу. Нос — один из самых необходимых приборов химика! Жидкость в колбе пахнет сивухой — амиловым спиртом.

Бородин берет красную лакмусовую бумажку, опускает ее в жидкость. Бумажка синеет: реакция щелочная.

Начинается длинный ряд операций, который должен выяснить, что же это за жидкость, что именно перешло в водный раствор. Щелочь надо нейтрализовать, амиловый спирт отмыть эфиром, из остатка выпарить воду. На дне фарфоровой чашки остается какая-то соль. Бородин разлагает ее соляной кислотой и получает маслянистую жидкость. По запаху — это валериановая кислота. Бородин убеждается в этом, проделав анализ.

Но откуда взялась валериановая кислота? Неужели он все-таки недоглядел и капризный валериановый альдегид умудрился соединиться с кислородом воздуха? Если так, то тогда весь опыт насмарку.

Но Бородин не спешит делать такие мрачные выводы. Он принимает решение повторить весь долгий опыт в новых условиях: так, чтобы над альдегидом в колбе был не воздух, а водород. Для этого нужно собрать сложный прибор и потерять еще несколько дней. Но что ж поделаешь? Когда занимаешься химией, не приходится жалеть о потерянном времени.

Опыт повторен при других условиях, но результат получился тот же. По крайней мере треть альдегида окислилась в кислоту. Откуда же взялся кислород? Он не пришел извне, а выделился в самой реакции.

Что же это за реакция произошла в колбе?

На это ответа еще нет. Может быть, дело станет яснее, когда будет исследована та маслянистая жидкость, которая образовала верхний слой в делительной воронке.

Бородин промывает эту жидкость водой, высушивает хлористым кальцием. В ход идут опять разведчики — нос и язык. Запах — ароматный, вкус — жгучий. Бородин переливает жидкость в колбу с отводной трубкой, вставляет

пробку с термометром, присоединяет к отводной трубке холодильник, ставит под колбу горелку.

Медленно идет вверх столбик ртути в термометре. В горлышке колбы клубится еле заметное облачко. И вот на конце отводной трубки начинает собираться капля. Она падает в холодильник. За ней другая, третья. Столбик ртути достиг 132 градусов и остановился на этой высоте. В приемной колбе собирается какая-то бесцветная жидкость. По запаху — это амиловый спирт.

Бородин задумывается: откуда мог взяться здесь амиловый спирт? При реакции выделялся водород, он-то, видно, и превратил альдегид в спирт.

Так мысль и руки химика работают все время сообща.

Капли перестали падать в колбу. Температура снова идет вверх. Бородин убирает колбу с амиловым спиртом, подставляет под конец холодильника другую. Столбик ртути снова останавливается. Эта остановка—хороший знак: на сцену выходит новое вещество, со своей особенной индивидуальностью. Оно кипит при 203 градусах. У него приятный ароматный запах и жгучий вкус. Это маслянистая жидкость, которая не растворяется в воде, а растворяется в спирту и эфире. Что же это за вещество? Только химическая формула может это сказать. Бородин садится около весов, открывает стеклянную крышку футляра.

Сколько раз химику приходится взвешивать на аналитических весах! Но он каждый раз снова испытывает удовольствие, когда достает пинцетом из ящичка с разновесом хорошенькие золоченые гирьки или передвигает над коромыслом весов «гусара» из тонкой платиновой проволочки. Влево и вправо качается стрелка весов, чутко отзываясь на малейшую нагрузку. Пылинка, кажущаяся невесомой, имеет для нее вес. Дыхание человека для этого чуткого прибора все равно что буря. Приходится закрывать стеклянную дверцу, чтобы ни малейшее дуновение не касалось весов.

Бородин отвешивает небольшую порцию неизвестной жидкости и помещает навеску в печь для элементарного анализа. Чтобы выяснить состав органического вещества, надо, как это ни странно, его сжечь. Определив, много ли получается при сжигании углекислоты и воды, легко узнать, сколько в веществе было углерода и водорода.

Анализ закончен. Бородин берется за вычисления. Волнующая минута! К ней вело столько дней и недель кропотливого труда. И вот сейчас эти цифры под быстро

бегущим карандашом сложатся в какой-то ответ природы на вопрос, который задал ей ученый.

Этот ответ может оказаться темным и невразумительным, если опыт не удался. Но он может быть и ослепительно отчетливым, если все прошло хорошо.

Цифры дают на этот раз четкую и ясную формулу:

$$C_{10}H_{22}O$$

Что это? Новое вещество? Среди известных веществ нет такого, которое отвечало бы этой формуле. Но какова его природа? Надо заставить его это сказать.

Новое вещество не меняет цвета лакмусовой бумаги. По составу оно могло бы быть спиртом, но это только догадка, ее надо проверить. Полученное вещество необходимо подвергнуть долгому и строгому допросу.

Дни идут за днями в напряженной работе. И все-таки это только увертюра.

Химия, как Шехерезада, каждый вечер обрывает свой рассказ на самом интересном месте как бы для того, чтобы не выпустить из своих рук химика, который принадлежит не только ей одной.

Ведь рядом с лабораторией — стоило только пройти коридор — лежали на конторке ноты, начатая симфония. В часы самого напряженного труда до лаборатории доносились звуки рояля. Это играла Екатерина Сергеевна, словно напоминая химику, что он не только химик.

Симфония и исследование альдегидов! Что могло быть общего между ними! Но и в музыке и в химии Бородин оставался все тем же новатором, прокладывающим путь в еще не исследованные, не освоенные области. Он знал вдохновение, знал яркие вспышки интуиции и за роялем и за лабораторным столом. Но и в минуты вдохновения он умел сдерживать порывы фантазии и проверять ее неумолимо строгой логикой. От каждого музыкального образа он требовал такой же четкости и чистоты, какой он добивался, создавая новое химическое соединение.

Балакирев заботливо следил за ростом бородинской симфонии, радуясь каждой удаче, сетуя на каждое промедление, помогая Бородину и советом и метким критическим замечанием.

«Наши занятия с Бородиным,— писал Балакирев Стасову,— заключались в приятельских беседах и происходили не только за фортепиано, но и за чайным столом. Бородин (как и вся тогдашняя наша компания) играл новое

свое сочинение, а я делал свои замечания касательно формы, оркестровки и проч., и не только я, но и все остальные члены нашей компании принимали участие в этих суждениях. Таким образом сообща вырабатывалось критически все направление нашей композиторской деятельности. Могу прибавить, что и жена Бородина, Екатерина Сергеевна, принимала участие в наших беседах. Она была прекрасная музыкантша и весьма порядочная пианистка. Ее симпатичная личность вносила особенную сердечность в наши беседы, воспоминание о которых будет для меня всегда драгоценным...»

Римский-Корсаков пишет, что Бородин, работая над симфонией, «часто приносил Балакиреву куски партитуры для просмотра».

Симфония Бородина, так же как и произведения его товарищей, создавалась не в одиночестве, а при участии всей артели, в которой Балакирев был старшим.

Здесь, на музыкальных собраниях кружка, росли не только произведения, росли и сами композиторы.

Было бы неправильно думать, что произведение искусства пишется только тогда, когда оно пишется. Чтобы создать музыку, нужно жить в мире музыки, нужно не только писать свое, но и слушать чужое.

Бесплатная музыкальная школа, где под управлением Балакирева исполнялись Глинка и Даргомыжский, Лист и Берлиоз, была школой и для Бородина. И такой же школой были встречи в домашней обстановке, где каждый из товарищей знакомил остальных с тем новым, что он сделал. А ведь годы эти были урожайными: Римский-Корсаков работал над своей Первой симфонией, писал увертюру на русские темы и фантазию на сербские темы. Балакирев, еще в 1861 году закончивший музыку к «Королю Лиру», в эти годы создал симфоническую поэму «Русь» и увертюру на чешские темы.

Слушая других, Бородин находил себя — свой путь. Вот что рассказывает об этом Римский-Корсаков:

«По переезде моем в Петербург в первое время его (Бородина) там не было, он не вернулся еще после лета. Балакирев наигрывал мне в отрывках первую часть его ми-бемоль мажорной симфонии, которая скорее меня удивила, чем понравилась мне. Бородин вскоре приехал; я познакомился с ним, и с этих пор началась наша дружба, хотя он был старше меня лет на десять. Я познакомился с его женою — Екатериною Сергеевной. Бородин уж был

тогда профессором химии в Медицинской академии и жил у Литейного моста в здании академии, оставаясь и впоследствии до самой смерти в одной и той же квартире. Бородину понравилась моя симфония, которую сыграли ему в 4 руки Балакирев и Мусоргский. У него же первая часть симфонии ми-бемоль мажор не была докончена, а для остальных частей уже имелся материал, сочиненный им летом за границей. Я был в восхищении от этих отрывков, уразумев также и первую часть, только удивившую меня при первом знакомстве. Я стал часто бывать у Бородина, оставаясь нередко и ночевать. Мы много толковали с ним о музыке; он мне играл свои проекты и показывал симфонии. Он был более меня сведущ в практической части оркестровки, ибо играл на виолончели, гобое и флейте. Бородин был в высшей степени душевный и образованный человек, приятный и своеобразно остроумный собеседник. Приходя к нему, я часто заставал его работающим в лаборатории, которая помещалась рядом с его квартирой. Когда он сидел над колбами, наполненными каким-нибудь бесцветным газом, перегоняя его посредством трубки из одного сосуда в другой,— я говорил ему, что он переливает из пустого в порожнее. Докончив работу, он уходил со мной к себе на квартиру, и мы принимались за музыкальные действия или беседы, среди которых он вскакивал, бегал снова в лабораторию, чтобы посмотреть, не перегорело или не перекипятилось ли там что-либо, оглашая при этом коридор какими-нибудь невероятными секвенциями из последовательностей нон или септим, затем возвращался, и мы продолжали начатую музыку или прерванный разговор. Екатерина Сергеевна была милая, образованная женщина, прекрасная пианистка, боготворившая талант своего мужа».

Римский-Корсаков называл шутя «переливанием из пустого в порожнее» то, чем Бородин занимался в химической лаборатории. А между тем это было то самое исследование, которое привело Бородина к одному из важнейших его открытий в химии.

Работа над уплотнением валерианового альдегида и работа над Первой симфонией шли параллельно. Но гораздо легче уяснить себе творческий метод Бородина-химика, чем творческий метод Бородина-композитора.

Читая научные статьи Бородина, мы легко можем проследить ход его мыслей, пройти вместе с ним по всем этапам его исследовательской работы. Но как проникнуть в его музыкальную лабораторию?



Глава девятнадцатая

В МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

К сожалению, композиторы — в отличие от химиков — не ведут во время работы журнала и не составляют подробных отчетов о том, как, из чего и в каком порядке они делают свою музыку.

Об их изысканиях можно только догадываться, просматривая их рукописи, эскизы, наброски.

Исследователи кропотливо изучают каждый листок нотной бумаги, хранящий беглые записи, сделанные Бородиным.

Сопоставляя выводы исследователей с тем, что известно из воспоминаний современников, можно воссоздать мысленно образ Бородина за работой.

Дело часто начинается с какого-то впечатления, иногда неожиданного, которое дает первый толчок мысли.

Но нужно обладать острой восприимчивостью и особой настроенностью художника для того, чтобы этот пришедший извне толчок заставил работать творческое воображение.

Многие видели бурлаков. Но только Репин сумел не пройти мимо них, а так запечатлеть их на полотне, что они приковали к себе взоры всего мира...

То ярко освещенная сознанием, то уходя куда-то вглубь, в темноту, мысль композитора без устали то с одной, то с другой стороны атакует крепость, которую нужно взять. Она ведет разведку и делает вылазки и ночью, когда не спится, и во время прогулки, и даже тогда, ког-

да голова как будто занята совсем другими делами и заботами.

В сознании возникают музыкальные темы, целые отрывки произведения.

Композитор спешит к роялю. Надо скорее закрепить, развить то, что услышано внутренним творческим слухом. Он импровизирует, его пальцы ищут, пробуют, поворачивают тему и так и этак. Он отбрасывает случайное, он ищет единственно правильное решение. В эти часы для него перестает существовать все вокруг. Он не отвечает на вопросы, он кажется погруженным в рассеянность. Но это высшая сосредоточенность.

Екатерина Сергеевна рассказывает о том, как Бородин писал анданте Первой симфонии. Они отдыхали в горах. Во время прогулки «ему пришла в голову ре-бемоль мажорная середина Andante, именно эти так удачно в ней вышедшие вздохи качающегося аккомпанемента».

«Как теперь вижу его,— пишет Екатерина Сергеевна,— за фортепиано, когда он что-нибудь сочинял. И всегда-то рассеянный, он в такие минуты совсем улетал от земли. По десяти часов подряд, бывало, сидит он, и все уже тогда забывал. Мог совсем не обедать, не спать. А когда он отрывался от такой работы, то долго еще не мог прийти в нормальное состояние. Его тогда ни о чем нельзя было спрашивать, непременно бы ответил невпопад. Как он не любил, чтобы на него тогда смотрели! И если он даже чувствовал мой взгляд на себе, то говорил с потешной интонацией немножко капризного ребенка: «Не смотри! Что за охота глядеть на поглупевшее лицо!» А совсем оно у него было тогда не поглупевшее. Я так любила, напротив, этот растерянный, куда-то улетевший вдохновенный взгляд...»

Бывало и так, что после трудного дня, занятого научной работой, лекциями, заседаниями, хлопотами о всех, кто нуждался в его помощи, Бородин чувствовал себя настолько утомленным, что его творческая мысль отказывалась идти вперед, на новые штурмы.

Как он мучился тогда!..

Екатерина Сергеевна вспоминала, что Александру Порфирьевичу одно время случалось долго ночью не спать. Он тревожно и беспокойно ворочался в постели и на вопросы ее отвечал ей с выражением страдания: «Не могу больше сочинять! Не могу больше сочинять!»

Но то, о чем рассказывает Екатерина Сергеевна, относится к более позднему времени.

В те годы, когда Бородин писал Первую симфонию, он еще был так могуч, что его плечи все выдерживали.

Работа шла!

От рояля Бородин переходил к высокой конторке; он любил писать стоя. Спешно (он всегда спешил, дела было по горло!) набрасывал он на отдельных листках нотной бумаги то, что услышал внутренним слухом или нашел пальцами при импровизации.

Беспорядочно чередуются различные наметки, пробы. Зерна идей дают всходы. Из них надо отобрать самые жизнестойкие, чтобы они росли и развивались.

Вариант за вариантом возникает под карандашом Бородина.

И вот он нашел правильный путь. Он пишет большими буквами и с восклицательным знаком: «Так! Так писать!»

Это похоже на команду капитана: «Так держать!»

Бородин работает сосредоточенно, владея всеми своими силами, то сдерживая свое воображение, то давая ему волю. Это и есть то, что называют вдохновением.

Таким видел его Стасов, который «часто заставал его утром у высокой конторки, в минуту творчества, с вдохновенным, пылающим лицом, с горячими, как огонь, глазами и с изменившейся физиономией».

И вот наступает последняя стадия работы. Бородин сводит все эскизы и наброски в окончательный единый текст. Но и тут он не оставляет еще рукописи в покое. Ее страницы покрываются многочисленными пометками. Это не коренная переработка, а правка. Бородин уточняет детали, доводит их до полной выразительности и чистоты.

Произведение готово. По большей части оно записано карандашом. Но карандаш может с течением времени стереться, смазаться. Чтобы этого не случилось, Бородин покрывает рукопись желатином или яичным белком: химик помогает композитору.

М. М. Ипполитов-Иванов вспоминает, что Бородин «шутя, очень гордился этим своим изобретением. Затем все это развешивалось для просушки, как белье, на веревках по всей квартире, от рояля к двери, от двери к окну, от окна к лампе и т. д. Инструментовал он также почти на ходу, между делом, поэтому весь оркестровый материал попадал на репетицию только в последний момент. Не-



смотря на такую спешку, каждое сочинение его было удивительно продумано, и, насколько помню, за очень небольшими исключениями немногие из них подвергались впоследствии поправкам или каким-либо коренным исправлениям».

Но как и из чего строил он свою Первую симфонию, о которой идет сейчас речь?

Перед нами письма, воспоминания, статьи современников. Но все это только косвенно и приблизительно раскрывает те внутренние процессы, которые привели Бородина к созданию его Первой симфонии.

Мы знаем, на каких образцах он учился. Он писал певице Кармалиной, что в своем музыкальном развитии он шел от классических образцов к современной музыке: «Я начал со стариков и только под конец перешел к новым».

Это письмо было написано через девять лет после того, как была закончена Первая симфония. Она-то и была для Бородина мостом от старого к новому. Придя в балакиревский кружок, Бородин принес с собой знание старых форм. И он не отказался от них, а сумел творчески совместить их с тем новым, что ему открылось.

Стасову не нравилось, что «Бородин не пожелал стать на сторону коренных новаторов, а предпочел удержать прежние, условные, утвержденные преданием формы».

Стасов писал Балакиреву: «Не знаю, кто это сделает, Вы ли, или кто другой (жаль, если не наша русская школа!), симфония должна перестать быть составленною из 4 частей, как ее выдумали 100 лет назад Гайдн и Моцарт. Что за 4 части? Почему они должны непременно быть? Пришло им время сойти со сцены, точно так, как и симметрическому, параллельному устройству внутри каждой из них. Пропала со свету школьная форма од, речей, изложений, хрий и т. д., должно прогнать первую и вторую тему, Durchführung[1] или Mittelsatz[2], и прочую схоластику».

Вероятно, в кружке было немало споров на эту тему. Но Бородин, привыкший в науке к строгим формулам и формулировкам, стремился и в музыке к четким, законченным формам. Его не привлекала свободная форма, за которую воевал Стасов. Свою симфонию Бородин постро-

---

[1] Разработка (*нем.*).
[2] Средняя часть (*нем.*).

ил из четырех частей по тем принципам, которые уже стали классическими. Впоследствии он считал, что в своей Первой симфонии он даже слишком строго следовал этим принципам. Он писал графине Аржанто, почитательнице русской музыки:

«Я приятно удивлен тем, что Вы предпочитаете мою вторую симфонию первой. Это — редкость. Обыкновенно в Европе предпочитают первую, носящую более европейский отпечаток и представляющую больше интереса в смысле работы, контрапункта и всех тех махинаций, которые привыкли считать серьезным родом в музыке».

И все-таки Первая симфония, написанная в традиционном «серьезном роде», была воспринята всеми как новое слово в музыке.

В 1877 году Бородин встретился с великим венгерским композитором Листом. И первое, о чем они заговорили, была эта симфония.

Со свойственным ему юмором рассказывал Бородин об этой встрече в письме к жене:

«Не успел я отдать карточки, как вдруг перед носом, точно из земли, выросла в прихожей — длинная фигура, в длинном черном сюртуке, с длинным носом, длинными седыми волосами. «Вы сочинили прекрасную симфонию!» — гаркнула фигура зычным голосом, и длинная рука протянулась ко мне. «Добро пожаловать! Я — в восторге, всего два дня тому назад я играл ее... Первая часть — превосходна, ваше анданте — шедевр, скерцо — восхитительно, и затем это — остроумно придумано!..»

Зашел разговор об успехе симфонии в России, об отзывах и пр.

«Когда я сказал,— пишет Бородин,— что сам сознаю многие недостатки, требующие исправления, что у меня, например, часто встречаются неловкости, что я (как мне и ставили в упрек) слишком часто модулирую и вообще зашел слишком далеко и т. д., Лист постоянно прерывал меня: «Боже сохрани!», «Ничего не трогайте!», «Не изменяйте!», «Вы модулируете удачно и не слишком часто!», «Вы, конечно, зашли очень далеко (и в этом именно ваша заслуга). Но вы ни разу не сбились с правильного пути», «Не слушайте, пожалуйста, тех, кто вас удерживает от вашего направления; поверьте: вы на настоящей дороге, у вас так много художественного чутья, что вам нечего бояться быть оригинальным; помните, что совершенно такие советы давались в свое время и Бетховенам и Мо-

цартам и др., и они никогда не сделались бы великими мастерами, если бы вздумали следовать таким советам».

В Первой симфонии Бородина Лист увидел новую, живую струю, которая, как он верил, должна была обновить одряхлевшую музыку Запада.

«Здесь пишут много,— сказал Лист,— я тону в море музыки, которою меня заваливают, но боже! до чего все это плоско (flach)! Ни одной живой мысли! У вас же течет живая струя; рано или поздно (вернее, что поздно) она пробьет себе дорогу и у нас».

Листа поразила смелость и самобытность симфонии Бородина.

В скерцо и в финале есть оригинальные ходы широкими интервалами: от одного струнного инструмента к другому, словно со ступени на ступень, идут отрывистые звуки, извлекаемые не смычком, а пальцами. Мусоргский называл эти ходы «клеваньями».

Листа они привели в восхищение. «Это так оригинально и так красиво»,— говорил он.

Модуляции, то есть переходы от одной тональности к другой, тоже вызвали его восторг.

Указывая на некоторые из них своим ученикам, он сказал, что «ничего подобного нет ни у Бетховена, ни у Баха, ни у кого другого, что при всей новизне, при всем своеобразии это так гладко, естественно и правильно, что нельзя сделать ни малейшего упрека».

«Что касается формы,— говорил он,— то нигде нет ничего лишнего, ненужного и все красиво».

Только влиянием Листа Бородин объяснил то, что такая «чуждая немецкому уху» вещь, как Первая симфония, могла иметь успех на фестивалях в Баден-Бадене и Магдебурге.

Что же могло показаться чуждым и необычным западному слушателю?

Необычными были не только «клеванья» и смелые переходы из одной тональности в другую. Необычным был и весь музыкальный язык вещи. Это был не немецкий, не итальянский, а русский язык.

Еще в юношеских вещах Бородина чувствуется влияние русских народных песен.

Это влияние сказалось и на его Первой симфонии.

Но дело было не только в самобытности языка, формы. Форма у Бородина всегда строго отвечает содержанию.

В каждом полноценном музыкальном произведении есть какое-то содержание. Иногда сам композитор открывает его своим слушателям в названии вещи или в названиях ее отдельных частей. А бывает и так, что он только немногим друзьям рассказывает о тех образах и идеях, которые он стремился выразить в произведении.

Так поступил Бородин, когда рассказал Стасову о содержании Второй симфонии.

Первая симфония известна просто как симфония ми-бемоль мажор.

Какое содержание скрывается за этим кратким обозначением?

Каждый слушатель по-своему воспринимает музыку. Но все, вероятно, сошлись бы на том, что первая часть бородинской симфонии эпически величава, что в скерцо поток звуков становится стремительным и радостным, что в середине скерцо звучит мелодия, напоминающая русскую народную песню, что медленная третья часть вызывает в нашем представлении Восток с его прихотливостью и созерцательностью и что симфония заканчивается бодрым, жизнерадостным финалом.

Но сказать это еще не значит понять программу симфонии.

В разговоре с А. П. Дианиным Бородин высказал однажды такую мысль: «Собственно, у всякого композитора существует только одна основная музыкальная тема, и все его творчество представляет собою ряд вариаций на эту тему».

Но если так, то нельзя рассматривать одно произведение композитора оторванно от других. И это особенно справедливо по отношению к Бородину. Ведь и каждая его вещь построена из тематически связанных частей, и у всего творчества в целом есть одна главная тема и одна главная мысль.

Эта мысль сразу делается явной, если поставить Первую симфонию в один ряд с другими произведениями Бородина.

Едва успев закончить свою симфонию, он пишет «Спящую княжну» и «Песню темного леса».

Тут не приходится гадать о программе: она раскрыта в стихах, написанных самим композитором.

Скованная мощь народа и ее освобождение, пробуждение,— вот что выражают слова и музыка этих романсов.

И та же мысль становится потом лейтмотивом «Князя Игоря»:

О дайте, дайте, мне свободу!

Мысль о грядущей свободе воодушевляла лучших из современников и соотечественников Бородина. Все они чувствовали тяжесть оков, все они верили в то, что «час ударит пробужденья».

Вот что пишет о симфониях Бородина академик Б. В. Асафьев: «Они — детище общественного подъема шестидесятых годов и вызванного ими обновления всех сторон русской жизни... Они воспевают те силы, могучие и здоровые, которые таились в народе, в массах и должны были проснуться».

Безбрежные просторы земли, хранящие в себе еще нетронутые богатства, и богатырская мощь народа, еще скованная, но рвущаяся к свободе,— вот что нашло свое выражение в Первой симфонии.

Симфония как бы хочет сказать: нелегко раскачать Россию, нелегко разбить ее оковы, но каким неудержимым станет ее движение вперед, когда оковы будут разбиты. И в этом и в других произведениях Бородина отразилась та воля к действию, к делу, к борьбе, которая охватила в те годы передовых русских людей.

Ощущение общественного подъема совпадало тут с подъемом, который Бородин переживал в личной жизни.

Ведь это было для него переломное время, когда он впервые понял, что композиторство — его призвание, и стал в ряды воителей за новую русскую музыку.

Личное и общественное трудно разделить, когда говоришь о таких людях, как Бородин. Он никогда не замыкался в свою скорлупу, он жил общей жизнью со всеми передовыми людьми своей эпохи, со всем своим народом. Вот отчего в его произведениях самая задушевная лирика сочетается с могучим эпосом,— выражая себя, он выражает народ.

Такова Первая симфония, полная света, энергии, радости. Только один Бетховен умел так гениально выражать чувства, надежды, волю народных масс.

Когда мы слушаем Бетховена, перед нами возникают громадные массовые сцены: толпы парижан, берущих Бастилию, ряды марсельских рабочих, идущих с песней в бой под грохот орудий.

А Бородин воплощал в звуках чувства и мечты своих современников, своих соотечественников.

Чтобы создать такую симфонию, ему нужно было приникнуть ухом к русской земле, услышать ее протяжные хоровые песни, где каждый голос поет по-своему, и все-таки песня остается единой.

Исследователь неизвестных земель, Бородин смело берется за изучение и освоение просторов, которые еще не были освоены музыкой.

Он и здесь такой же новатор, как и в своей науке.

Но если наука имела на него все права, то с музыкой дело обстояло не так. Ей он мог отдавать только часы досуга.

Правда, музыка не оставляла его и тогда, когда, стоя за лабораторным столом, он фильтровал, перегонял, выпаривал. Даже по дороге из лаборатории в квартиру он что-то напевал, идя по коридору. Постороннему уху могли бы показаться дикими эти септимы и ноны, эти скачки на седьмую и девятую ступень, с одного звука на другой, а он словно играл своим чудесным музыкальным слухом. Не раз он давал жене обещание не петь и не свистать в коридоре, но обещание это исполнял разве только тогда, когда некому было его унимать. Он писал ей, когда она уехала к матери в Москву: «Без тебя здесь ужасно пусто и тихо, как-то не кричится, не поется, не гамится».

Бородин сочинял не только с карандашом в руках и с нотной бумагой на конторке. Он был прирожденным импровизатором. Его произведения складывались у него под пальцами и в голове задолго до того, как он их записывал. Даже оркестр и тот он умел слышать в воображении. Писать партитуру было для него «механическим трудом», если произведение было уже записано им для клавира.

У него могли быть времена, когда он больше увлекался химией, чем музыкой, или наоборот. У него бывали, по его собственному выражению, «недели музыкальные» и «недели химикальные», когда он находился «в пассии лабораторных работ».

Но не было дня, чтобы композитор переставал быть ученым или ученый переставал быть композитором. Нельзя механически делить Бородина на химика и музыканта.

Этот цельный человек оставался исследователем и мыслителем, когда за роялем «строго логично» и «изобретательно» (по словам Листа) строил свою симфонию. И он оставался композитором, когда за лабораторным столом его руки собирали какой-нибудь сложный прибор или перегоняли газ из сосуда в сосуд, а в голове строились в группы и менялись местами не только атомы, но и новые, необычные сочетания из звуков и мелодий.



Глава двадцатая

КРУГ ДРУЗЕЙ РАСШИРЯЕТСЯ

И все же Бородин не много бы сделал, если бы сочинял только урывками, на ходу и за другой работой. К счастью для музыки, у него, как и у всех других профессоров, бывали перерывы в работе во время каникул. Этот отдых, так же как и воскресные дни, он отдавал музыке. Недаром он шутливо называл себя «воскресным музыкантом».

В рабочее время его могла оторвать от химии только болезнь.

Когда другие люди стонут от зубной боли и проклинают весь свет, он не стонал, а работал.

Вот что писал он как-то Балакиреву:

«Вы помните, что у меня разболелась щека еще у Вас, в понедельник. С тех пор я мучусь страшно и сегодня первую ночь спал, а то несколько суток сряду одолевала меня сильная боль, мешавшая спать и даже лежать. Я еще не выхожу, ибо не совсем еще прошла боль. У меня музыкальных новостей только одна: от скуки стал писать финал и притом прямо на оркестр; десять страниц уже написал».

Сохранилось и другое письмо к Балакиреву, в котором Бородин пишет:

«Музыка спит; жертвенник Аполлона погас; зола на нем остыла; музы плачут, около них урны наполнились слезами, слезы текут через край, сливаются в ручей, ручей журчит и с грустию повествует об охлаждении моем к искусству на сегодня».

Вряд ли позабавила Балакирева эта шутка насчет «спящей музыки». Он был не менее ревнив, чем Зинин, и ему тоже хотелось, чтобы Бородин не гонялся за двумя зайцами. Ведь не будь работы в лаборатории, он уж давно кончил бы симфонию, которая, по словам Стасова, приводила «в глубокий восторг Балакирева и его товарищей своею оригинальностью, своею поэтичностью и силой, своим мастерством и, наконец, национальным элементом, характерно и могуче выразившимся в трио скерцо...»

Товарищи не могли дождаться окончания симфонии. Но им пришлось проявить немалое терпение.

Ведь Шехерезада — химия — задавала Бородину все новые загадки. Полученное им вещество действительно оказалось спиртом. Изокаприновый спирт занял принадлежащее ему по праву место среди других спиртов.

Но не только в этом была удача. Удача была в том, что Бородин сумел из двух частиц валерианового альдегида ($C_5H_{10}O$) построить более сложное тело, с удвоенным числом атомов углерода ($C_{10}H_{22}O$). Это открывало путь к созданию и других таких же сложных атомных построек. Что удалось с валериановым альдегидом, могло удаться и с уксусным и с прочими из той же семьи.

Кроме того, вместе с новым спиртом Бородин получил и еще какое-то вещество неизвестной природы с формулой $C_{10}H_{18}O$. При его возникновении две частицы альдегида соединились вместе, отдавая один атом кислорода и два атома водорода. Эти-то кислород и водород и выделялись при реакции, восстанавливая одну часть альдегида до амилового спирта и окисляя другую его часть до валериановой кислоты. Надо было понять природу этого вещества и проникнуть в сущность того, что происходило при его возникновении.

Так одна работа тянула за собой другую. Конца не было видно. Да его и не бывает в науке,— познанию человеческому нет границ.

А между тем музыкальные друзья Бородина начинали терять терпение,— ведь он мучил их буквально годами, заставляя ждать продолжения того, что было так прекрасно задумано.

Тут сам Бородин был в роли Шехерезады.

Он начал симфонию в конце 1862 года.

Скерцо, как рассказывает Екатерина Сергеевна, он написал в 1864 году, анданте — в 1865 году. Финал был написан, вероятно, в 1866 году.

И только в конце 1866 года —на рождестве — Балакирев получил краткое, но внушительное послание:

«Кончил.

А. Бородин»

Правда, для исторической точности надо добавить, что у этого самого короткого в мире письма был еще довольно длинный постскриптум:

«P. S. Если хотите быть крестным отцом, сиречь восприемником новорожденного детища, то напишите, когда. Я все дни свободен. Лучше, если приедете к обеду. Мы обедаем около пяти часов. Жена шлет поклон».

Обещанного, говорят, три года ждут. Обещанную симфонию друзьям Бородина пришлось ждать больше четырех лет — с 1862 до конца 1866 года.

Но эти годы не пропали даром. Работая над Первой симфонией, Бородин овладевал трудным и сложным мастерством композитора. В этой работе крепла его творческая личность — то особенное, «бородинское», что отличает его от всех других. В этой работе закладывалось основание, на котором воздвигнуты были потом и Богатырская симфония, и «Князь Игорь», и много других произведений, сочетавших в себе высокий полет воображения с жизненной правдой.

Симфония Бородина родилась. Но рождение это еще не сама жизнь, а только начало жизни. Чем выше произведение искусства, тем более долгая жизнь ему суждена, тем больше предстоит ему сделать на своем веку. Писатель, ученый, композитор как бы говорит своему детищу: «Я поработал, теперь поработай ты». Произведение отрывается от своего создателя и начинает долгое странствование по стране, по миру, по векам. И самыми трудными часто бывают первые шаги — от письменного стола автора до читателя, слушателя, зрителя.

К какому слушателю обращался в своей симфонии Бородин?

Так же как Глинка, как Балакирев, он обращался не к музыкальным гурманам в гостиных и концертных залах, а к народу.

Но если в наше время весь народ стал слушателем произведений великих русских композиторов, то в шестидесятых годах прошлого века совсем иная публика заполняла кресла и ложи в театральных и концертных залах.

Первые ряды по-прежнему занимали те, кто называл себя «светом». Задние ряды и галерку заполняла разночинная интеллигенция: учителя, врачи, студенты.

Но главная масса народа еще и не знала, что такое симфония или опера, и пела свои песни, даже и не подозревая о том, каким эхом отозвались эти песни в произведениях русских композиторов. Немалым мужеством надо было обладать, чтобы писать для слушателя, который еще не пришел!

Впрочем, композиторы не оставались бездеятельными и сами заботились о том, чтобы готовить для себя слушателей.

Бесплатная музыкальная школа, основанная Балакиревым и Ломакиным, была школой не только для певцов и музыкантов из народа, но и для слушателей из народа.

Бородин мечтал о том, чтобы его симфония была исполнена в одном из концертов Бесплатной музыкальной школы, где исполнялись произведения его товарищей. А пока он рад был и тому, что его слушали в тесном кружке музыкальных друзей.

Впрочем, с каждым годом этот кружок становился шире.

Балакирев познакомил своих товарищей с сестрой Глинки, Людмилой Ивановной Шестаковой. Людмила Ивановна всей душой полюбила тех, кто продолжал дело, начатое Глинкой.

Через много лет в своих записках она живо рассказала о музыкальных вечерах, которые бывали в ее доме. Читая эти записки, словно переносишься в те времена:

«Модест Петрович Мусоргский с Николаем Андреевичем Римским-Корсаковым были очень дружны; они почти всегда приходили ко мне раньше, чтобы, до появления других лиц, успеть поговорить о своих новых сочинениях[1].

При этом бывали иногда забавные случаи. Корсаков сядет за инструмент и исполняет Мусоргскому сочиненное им за те дни, когда они не видались; тот внимательно слушает и затем сделает ему замечание. Корсаков при этом вскакивает и начинает ходить по комнате, а Мусоргский в это время спокойно сидит и что-нибудь наигрывает. Успокоившись, Н. А. подходит к М. П., выслушивает уже подробно его мнение и часто соглашается с ним...

[1] Примечание Л. И. Шестаковой: «Они жили очень далеко друг от друга, и им было удобно сходиться у меня».

Эти четыре года (1866—1870) отличались горячею деятельностью; в кружке царило полное единодушие, жизнь и работа кипели. Бывало, им мало дня для исполнения сочиненного и для толков о музыке, и, по уходе от меня, они долго провожают друг друга, с неохотою расставаясь.

Я ложилась довольно рано и в 10½ часов складывала свою работу; Мусоргский это замечал и объявлял громко, что «первое предостережение дано». Когда я вставала, спустя немного времени, взглянуть на часы, он провозглашал: «Второе предостережение,— третьего ждать нельзя», и шутил, что им в конце концов скажут: «Пошли вон, дураки!»[1] Но часто, видя, что им всем так хорошо вместе, я предоставляла оставаться дольше. Не скрою, что эти собрания были мне большою отрадой.

В эти годы бывали иногда музыкальные вечера у В. В. Стасова, всегда очень удачные».

С большой любовью пишет Людмила Ивановна о Бородине:

«Александр Порфирьевич Бородин, по мягкости характера и по деликатности, имел много общего с Мусоргским, но в нем не было его живости и энергии; он ко всему относился спокойнее и сдержаннее. Доброты он был неизреченной: у него на квартире всегда бывали студенты и студентки, которым он давал приют у себя и потом устраивал их судьбу; не проходило дня, чтоб он не заботился и не просил кого-нибудь из высокопоставленных лиц о каком-нибудь несчастном или несчастной.

Свою химию он любил выше всего, и, когда мне хотелось ускорить окончание его музыкальной вещи, я его просила заняться ею серьезно; он вместо ответа спрашивал: «Видали ли вы на Литейной, близ Невского, магазин игрушек, на вывеске которого написано: «Забава и дело»? На мое замечание: «К чему это?» — он отвечал: «А вот видите ли, для меня музыка — забава, а химия — дело».

Бородин шутил, говоря, что музыка для него забава. Но это была невеселая шутка. Как трудно ему было находить свободные часы и дни, чтобы отдавать их музыке!..

На собраниях у Шестаковой, у Стасова, у Балакирева завязывались новые музыкальные связи, новые знакомства.

[1] Примечание Л. И. Шестаковой: «Слова из «Женитьбы» Гоголя, которого он обожал и даже начинал сочинять на эту пьесу музыку».

В 1868 году в жизни кружка произошло знаменательное событие: однажды на вечере у Балакирева появился приехавший из Москвы Чайковский.

Он был профессором недавно открывшейся Московской консерватории. А в балакиревском кружке считали, что консерваторское обучение по обязательным для всех правилам, да еще нередко по западным образцам, может только повредить свободному развитию новой русской музыки.

Мы теперь знаем, что эти опасения не оправдались: консерватории много сделали для музыкального образования в России.

Но в шестидесятых годах спор о том, нужны ли консерватории, или нет, был еще в полном разгаре, разделяя русских композиторов на сторонников и противников консерваторий.

Естественно, что к «консерватористу» Чайковскому в кружке отнеслись настороженно. Но, как вспоминал потом Римский-Корсаков, гость очень скоро сумел покорить хозяев простотой обращения, искренностью, а главное, своей новой симфонией.

Мнение о нем изменилось. Балакиревцы увидели, что это не противник, а друг, который делает одно дело с ними — участвуя в создании великой русской музыки.

С тех пор Чайковский не раз бывал у Балакирева, когда приезжал в Петербург.

Не во всем сходились вкусы Чайковского и балакиревцев. И все же они любили многие его вещи. А он говорил, что «петербургские композиторы народ очень талантливый». Он признавал свежесть, самобытность и новизну музыкального языка Мусоргского, изящество произведений Кюи. Балакирева он считал «самой крупной личностью кружка». А о Бородине Чайковский писал в одном из своих писем, что это «талант и даже сильный». И так же, как многие из музыкантов, он выражал досаду, что талант этот гибнет из-за «слепого фатума», приведшего Бородина к кафедре химии вместо музыкальной, живой деятельности.

С каждым годом все шире делался круг горячих поборников и сторонников новой русской музыки. Балакиревский кружок уже не был одиноким. Вокруг него вырастали родственные кружки. Между этими кружками создавались связи, шло взаимодействие.

Центром одного из таких «водоворотов музыкальной жизни» (выражение А. Н. Римского-Корсакова) были две сестры — Александра и Надежда Пургольд.

С младенческих лет полюбили они музыку. По счастливой случайности они жили в одном доме с композитором Александром Сергеевичем Даргомыжским. Это сыграло большую роль в их судьбе.

«Мне ясно представляется,— рассказывает в своих воспоминаниях о Даргомыжском младшая сестра, Надежда Николаевна,— его маленькая фигура, голова с слегка вьющимися редкими волосами, сероватый цвет лица, небольшие умные глаза, вечно насмешливая улыбка на губах и хриплый тенорок, которым нередко произносились колкие замечания по чьему-либо адресу... У Даргомыжского довольно часто бывали музыкальные вечера, преимущественно вокальные. Звуки доносились к нам в верхний этаж и так меня интересовали, что я ложилась на пол и прикладывала к нему ухо, чтобы лучше слышать. Я не думала тогда, что со временем стану действующим лицом на вечерах у Даргомыжского. А. С. бывал у нас довольно часто.

В нашем доме под руководством дяди Владимира Федоровича также устраивались музыкальные вечера, на которых присутствовал Даргомыжский. Мы пели его хоры à capella [1], а также хоры из «Русалки», а он иногда дирижировал и аккомпанировал».

Александр Сергеевич полюбил талантливых девочек и много занимался их музыкальным развитием. Александру Николаевну он учил выразительному пению, а с Надеждой Николаевной играл в четыре руки переложения своих оперных и оркестровых вещей.

Сестры стали серьезно заниматься музыкой и за несколько лет сделали огромные успехи.

Когда Даргомыжский принялся за «Каменного гостя», Александра Николаевна стала первой исполнительницей ролей Анны и Лауры, а Надежда Николаевна взяла на себя роль «оркестра».

«Хорошее то было время! — вспоминала Надежда Николаевна.— А. С. писал с настоящим вдохновением, задавшись совершенно небывалой целью писать на текст Пушкина без всякого изменения его. Мы ждали с нетерпением появления каждой новой страницы и законченные

---

[1] пение без сопровождения (*ит.*).

отрывки сейчас же исполнялись у А. С. Он проходил с сестрою ее партию, а я аккомпанировала».

Вот здесь-то, на музыкальных собраниях у Даргомыжского, у Пургольдов, и сблизились старый композитор и его юные ученицы с Балакиревым и его товарищами.

Балакиревцы были в восторге и от нового замечательного произведения Даргомыжского и от молодых исполнительниц, которые очаровали их своим талантом и всем своим обликом.

«Донна Анна — Лаура» и «наш милый оркестр» — так прозвал Мусоргский сестер.

В кружке всем давали прозвища. Бородина называли «алхимиком», Стасова — «Бахом», Мусоргского — «Мусорянином», моряка Корсакова — «адмиралом» или просто «Корсинькой».

Сестры прозвали всю компанию разбойниками. Балакирев назывался у них «Сила», Мусоргский — «Юмор», Кюи — «Едкость», Римский-Корсаков — «Искренность».

Как раз в эти годы Бородин и его товарищи увлеклись сочинением вокальных произведений. Симфонии уступили место романсам и операм. Прекрасный голос и драматический талант Александры Николаевны оказались тут совершенно необходимыми.

«Она была ученица Даргомыжского,— рассказывает Стасов,— и, кроме своей собственной даровитости, всего более была обязана ему во всем, что касается простоты, естественности и глубокой правды декламации. Все вокальные сочинения «товарищей», доступные ее женскому голосу, были тотчас же исполняемы ею на их собраниях (у ее дяди, В. Ф. Пургольда, у Кюи, у Шестаковой, у меня) и выполнялись с таким талантом, глубокой правдивостью, увлечением, тонкостью оттенков, которые для таких впечатлительных и талантливых людей, как «товарищи», должны были непременно служить горячим стимулом для новых и новых сочинений. Ее столько же талантливая сестра, Н. Н. Пургольд, являлась превосходной аккомпаниаторшей этих сочинений на фортепиано. Бородин часто бывал так увлечен дивным исполнением А. Н. Пургольд, что говаривал ей при всех, что иные его романсы сочинены «ими двумя вместе». Всего чаще он это повторял по поводу кипучего страстностью романса «Отравой полны мои песни».

В 1867 году Бородин написал сказку «Спящая княжна» для голоса и фортепиано.

Мерные удары аккомпанемента... Словно качается на цепях — под печальные звуки колыбельной — хрустальный гроб.

Спит, спит в лесу глухом,
Спит княжна волшебным сном,
Спит под кровом темной ночи,
Сон сковал ей крепко очи.
Спит, спит.

И вдруг лес пробуждается. Все громче звуки музыки. Это уже не колыбельная, это крики и хохот.

Вот и лес глухой очнулся.
С диким смехом вдруг проснулся.
Ведьм и леших шумный рой
И промчался над княжной.

Опять все медленнее ритм, все тише звуки аккомпанемента. Стая промчалась. И снова тоскливо звучит музыка.

Лишь княжна в лесу глухом
Спит все тем же мертвым сном.

Но сквозь печаль пробуждается надежда:

Слух прошел, что в лес дремучий
Богатырь придет могучий,
Чары силой сокрушит,
Сон волшебный победит
И княжну освободит, освободит.
Но проходят дни за днями,
Годы идут за годами...
Ни души живой кругом,
Все объято мертвым сном.
Так княжна в лесу глухом
Тихо спит глубоким сном.
Сон сковал ей крепко очи,
Спит она и дни и ночи.
Спит, спит.
И никто не знает, скоро ль
Час ударит пробужденья.

В этой сказке то же настроение, те же мысли, что и в Первой симфонии. «Спящая княжна» — это Россия, которая еще скована, еще не пробудилась, но должна пробудиться: «чары» должны быть сокрушены силой народной.

Еще яснее сказал об этом Бородин в «Песне темного леса», написанной не намного позже.

Мощно гудит лес, тяжело качаются стволы. Медленно раскачивается мелодия, передавая силу и тяжеловесность.

Темный лес шумел,
Темный лес гудел,

Песню пел;
Песню старую,
Быль бывалую
Сказывал:
Как живала там воля-волюшка
Вольная;
Как сбиралась там сила-силушка
Сильная.
Как та волюшка разгулялася,
Как та силушка расходилася,
На расправу шла волюшка,
Города брала силушка
И над недругом потешалася,
Кровью недруга упивалася
Досыта
Воля вольная,
Сила сильная.

Когда слушаешь эту вещь, чувствуешь, что она написана мужественным и сильным человеком и что исполнять ее тоже должен сильный человек, с широкими плечами, с могучим голосом.

«Песня темного леса» еще яснее, чем «Спящая княжна», звала к воле, к борьбе за свободу.

Так и воспринимала эти песни революционно настроенная молодежь.

М. М. Ипполитов-Иванов пишет: «Очень мы тогда увлекались его «Спящей княжной» и «Темным лесом» с их явно революционным оттенком».

Молодежь считала гармоническим открытием повторяющиеся в «Спящей княжне» секунды, которые более консервативным людям казались одним лишь «слуховым заблуждением».

Бородин рассказывает в одном из своих писем, с каким увлечением распевала «Спящую княжну» молодежь. Он пишет, что одна его знакомая девушка, Маня Смирнова «с утра до вечера поет «Княжну» и неистовствует особенно при последних тактах: «и никто не знает, скоро ли (так поет Маня) час ударит пробуждения». Вообрази, что она поет всю «Княжну» вернешенько от начала до конца с увлечением и экспрессиею; сама подобрала первые такты аккомпанемента по слуху и ужасно восторгается именно интервалом секунды (mi-bemol и re-bemol) [1], только синкопические фигуры даются трудно. При этом она обнаруживает замечательное эстетическое чутье: Смирновы имеют глупую и безбожную привычку кончать ис-

[1] Ми-бемоль и ре-бемоль.

полнение аккомпанемента там, где оканчивается пение, и не доигрывают романсы. Маня приходит в ярость от этого, особенно когда исполняют «Княжну». «Доиграй! Доиграй! — кричит она.— Тут не все! а еще сыграй, как час пробуждения-то ударит в конце!» И ужасно радуется этим ударам fa-bemol и do[1]. Вот оно, молодое-то поколение, небось, сразу схватывает Zukunftsmusik»[2].

Передовую молодежь пленяла не только музыка песни, но и ее содержание.

С каким нетерпением ждала эта молодежь освобождения России! Но годы шли за годами, а вокруг делалось все мрачнее. Ожили притаившиеся было темные силы — мрачные тени николаевского царствования. Это о них говорилось в песне:

С диким смехом вдруг проснулся
Ведьм и леших шумный рой...

Но молодежь верила, что «час ударит пробужденья», и заранее радовалась этому могучему удару.

Скрытый революционный смысл песен Бородина был не настолько глубоко скрыт, чтобы его могло не заметить «недреманное око» цензуры.

Рассказывали, что цензор не пропустил «Песню темного леса». Тогда пришлось прибегнуть к «военной хитрости». Римский-Корсаков представил в цензуру два своих романса самого невинного содержания. Цензор милостиво относился к Римскому-Корсакову и подписывал его вещи не читая. Так он поступил и на этот раз, не заметив, что между двумя романсами Римского-Корсакова притаился «злокозненный» романс Бородина.

Слова к романсам написаны самим Бородиным. Вот кому талантов было отпущено сверх всякой меры!

Свои шуточные стихи несколько вольного духа он подписывал псевдонимом «Нескромный поэт». Но если говорить о скромности в смысле отсутствия честолюбия, то можно сказать, что не было поэта более скромного. Он не придавал никакого значения своим поэтическим опытам. А между тем ему ничего не стоило чуть ли не прямо набело написать шутливую поэму в стиле «Онегина». И он находил высокопоэтический и мощный язык, когда писал слова к «Спящей княжне» и к «Темному лесу». Текст тут

---

[1] Фа-бемоль и до.
[2] Музыку будущего (*нем.*)

вполне отвечает музыке, которая близка и по форме и по духу народной песне.

Вот что сам Бородин писал графине Аржанто о музыке «Спящей княжны»:

«В музыкальном движении, отвечающем русскому тексту: лес пробуждается, и все фантастические существа, которыми славянская мифология населяла леса, также просыпаются и пролетают над спящей княжной, которая одна остается погруженной в глубокий сон и не слышит криков и хохота уносящейся стаи. Изменения cresc. f. и dim. до pp.[1] представляют собою иллюстрацию летящей стаи».

Товарищей Бородина его романсы приводили в восторг. Стасов писал потом, что «Спящая княжна» и «Песня темного леса» полны глубокого и могучего эпического духа, словно это одна из лучших страниц из «Руслана» Глинки. Здесь являлись из-под могучей кисти уже те самые формы и очертания, которые должны были с чудной поэзией и силой нарисоваться однажды в опере «Князь Игорь».

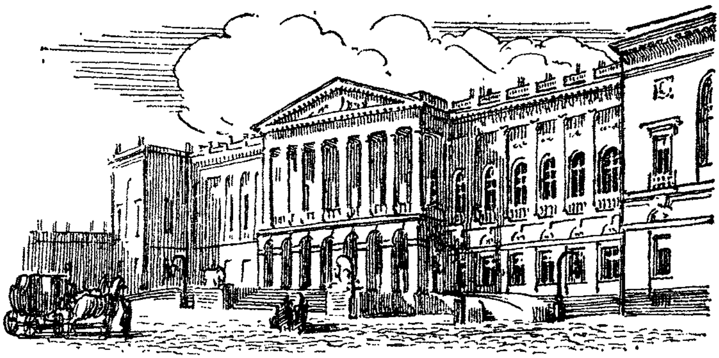
Романсы Бородина были как бы подготовкой к работе над оперой. Но Бородин в те годы еще не думал о «Князе Игоре». По совету Балакирева, он принялся было за сочинение оперы «Царская невеста» и написал несколько сцен и хоров. Особенно хорош был, по словам Стасова, хор пирующих буйных опричников.

«...Но сюжет этот,— пишет Стасов,— скоро перестал нравиться Бородину, и он забросил оперу, а сам попросил меня выдумать ему другой сюжет, но непременно также русский. Я предлагал разные, но он долго не решался остановиться ни на котором».

Между тем произошло событие, которое вызвало к жизни новые надежды и новые замыслы.

---

[1] То есть усиление звука до громкого и потом ослабление до самого тихого (*ит.*).



Глава двадцать первая

НОВЫЕ ЗАМЫСЛЫ

Осенью 1867 года Балакиреву было предложено управление концертами Русского музыкального общества.

Это было победой новой русской музыки.

Против Балакирева была сильная реакционная партия, которую возглавляла сама августейшая покровительница Русского музыкального общества великая княгиня Елена Павловна, или «муза Евтерпа», как ее иронически называли в балакиревском кружке.

В концертах Русского музыкального общества, как это ни странно, редко можно было услышать русскую музыку. Придворным дамам в декольте и мужчинам во фраках и раззолоченных мундирах, занимавшим первые ряды кресел, не по душе были произведения молодых русских композиторов, столь не похожие на все, к чему эта публика привыкла.

По словам Бородина, на него и его товарищей смотрели, «как на еретиков или каких-то нигилистов, попирающих якобы священные предания схоластической эстетики, музыкальной риторики и пиитики».

Сказывалось тут и пренебрежение ко всему русскому. «...Итальянское сладкогласие,— писал Бородин Балакиреву в 1867 году,— и жалкие, рутинные оперы и у нас грешных привлекают сердца и уши. Как ни обольщайтесь, а и у нас путного не жалуют... Каждый норовит корчить француза или англичанина, раболепствовать перед судом Европы; ни малейшего проявления национальной само-

стоятельности, полная безличность. Может быть, впрочем, я и пересаливаю немного: я сегодня сердит».

Читая это, невольно вспоминаешь о монологе Чацкого.

Со времен Чацкого мало что изменилось в том кругу, где французский язык издавна предпочитался русскому, где любого «французика из Бордо» встречали с низкими поклонами только потому, что он иностранец, что он из Бордо, а не из Костромы или Нижнего.

Но, по счастью, был в России и другой круг образованных людей, в котором такое раболепство перед всем иностранным отвергалось с негодованием. В этом кругу, который делался все шире, умели по-настоящему любить и ценить и русский язык, и русскую науку, и русское искусство.

На концертах Бесплатной школы, где можно было услышать самобытные произведения отечественных композиторов, посетителей делалось с каждым годом больше.

А в зале Русского музыкального общества были полны только первые ряды. Число посетителей здесь падало с каждым годом. И это не могло не тревожить директоров общества.

В 1866 году председателем дирекции Петербургского отделения стал Даргомыжский.

И в следующем же году «музе Евтерпе» пришлось скрепя сердце уступить настояниям дирекции и согласиться на приглашение Балакирева.

Программа концертов сразу же изменилась. В нее вошли увертюра к «Руслану» Глинки, «Чешская увертюра» Балакирева, «Сербская фантазия» и «Садко» Римского-Корсакова.

Пришло, наконец, время и симфонии Бородина прозвучать в большом зале перед сотнями людей.

Вот что рассказывает об этом Балакирев:

«Дирекция Русского музыкального общества вздумала в то время кликнуть клич нашим композиторам — предложить или представить в общество на рассмотрение свои сочинения, которые должны были подвергнуться пробному испытанию в оркестре. В ответ на этот призыв представлено было не мало слабых, дилетантских произведений, пробы которых должны были произойти в Михайловском дворце. Желая воспользоваться случаем поскорее попробовать в оркестре симфонию Бородина, чтобы заблаговременно, до концертных репетиций, иметь возможность ис-

править как оркестровые партии, так и промахи в самой оркестровке, если б они оказались,— я имел неосторожность включить ее в число пьес, представленных на пробу, и этим чуть не испортил дело».

Эта «проба» Первой симфонии в Михайловском дворце — в резиденции «музы Евтерпы» — была истинным испытанием для Бородина. Он оказался в одном ряду со всякими бездарностями, с каким-то Столыпиным, который после этой репетиции сразу же исчез с музыкального горизонта. К тому же еще из-за ошибок переписчика исполнение симфонии приходилось то и дело прерывать.

По словам Бородина, «вранья там была чертова куча! Рога первый и второй навраны были безбожно; в альтах местами переписчик въехал в виолончель, местами в скрипку».

Мудрено ли, что музыканты сердились! А из слушателей только немногие оценили симфонию по достоинству.

Профессионалы и без того не считали Бородина композитором. О нем говорили, что это профессор химии, «пробующий сочинять». И эта незаслуженная репутация дилетанта грозила теперь помешать признанию Бородина и преградить его симфонии путь к слушателям.

Балакирев пишет:

«Дирекция сразу посмотрела на Бородина не как на композитора, а как на дилетанта, пробующего сочинять. А так как на пробе не хватило времени добиться хоть сколько-нибудь сносного ее исполнения — она вышла и слишком оригинальной, и трудной,— а в партиях нашлось довольно много ошибок, да и, кроме нее, нужно было переиграть порядочное число пьес, то в результате вышло то, что она произвела дурное впечатление и дирекция ждала с ужасом публичного ее исполнения. Предотвратить его не было возможности, так как при вступлении своем в заведование концертами Русского музыкального общества я выговорил себе право составлять программы *по своему* усмотрению».

Бородин спешно исправлял ошибки в партиях, с неприятным чувством думая о предстоящем концерте.

Он писал Балакиреву:

«Проклятая симфония моя мне надоела — смерть! Остается проверить кларнеты, гобои, фаготы... В знаках бездна вранья. Вообще над симфонией тяготеет какой-то рок: все *наши* вещи шли в Бесплатной школе, только мо-

ей не удалось; все шли своевременно — только моя три года ждет очереди. Ни одна не осквернена исполнением в Михайловско-дворцовом театре в компании Чечотов,— только моя. Все переписывал Гаман, только мою какой-то сукин сын. Остается только, чтобы автора закидали мочеными яблоками».

С волнением ждали товарищи Бородина исполнения его симфонии. Судьбой ее очень интересовался Даргомыжский, бывший в то время в числе директоров Русского музыкального общества. Но было мало надежды на то, что он сможет присутствовать на концерте: он заболел, и незначительная сначала болезнь приняла серьезный характер.

Друзья часто навещали его и толковали с ним о музыке. Несмотря на тяжелое состояние, он по-прежнему близко принимал к сердцу все, что связано было с жизнью кружка.

«Приласкайте, пожалуйста, моих девочек,— сказал он Людмиле Ивановне Шестаковой. Девочками он называл своих учениц — Александру и Надежду Пургольд.— Они хорошие и очень застенчивые...»

Между тем приближалось 4 января 1869 года — день исполнения бородинской симфонии.

Балакирев вспоминал потом:

«Афиша была выпущена, и начались трудные репетиции. Уже после первой из них мнение о симфонии стало у некоторых меняться, и Кологривов, относившийся с сердечной горячностью и к делу и ко мне, с радостью сообщил мне, что симфония начинает нравиться не только ему, но и другим. Ник. Ив. Заремба, тогдашний директор Консерватории и теоретик, тоже переменил о ней свое мнение и уверился в несомненной талантливости ее автора. Это меня и обрадовало и ободрило. Но я все-таки не был спокоен и с тревогой на душе ожидал субботы, 4-го января: еще много было противников у этой музыки среди заурядных музыкантов по профессии, гораздо менее публики способных к восприятию чего-либо нового, выходящего из обычных рамок симфонической музыки.

Наконец роковой вечер настал, и я вышел на эстраду дирижировать ми-бемоль мажорную симфонию Бородина. Первая часть принята была со стороны публики холодно. По окончании ее немного похлопали и умолкли. Я испугался и поспешил начать скерцо, которое прошло бойко

и вызвало взрыв рукоплесканий. Автор был вызван. Публика заставила повторить скерцо. Остальные части также возбудили горячее сочувствие публики, и после финала автор был вызван несколько раз. Тогдашний музыкальный критик, Ф. М. Толстой, ненавистник новой русской музыки, стал мне даже нахваливать финал и, видимо, был растерян от неожиданного успеха симфонии. Кологривов радовался от души и сердечно приветствовал Бородина».

Это было написано Балакиревым не сразу под впечатлением событий, а через много лет. И все-таки чувствуется, что и через много лет он с волнением вспоминает тот вечер, когда решалась судьба бородинской симфонии...

...Партитура на ярко освещенном пульте, оркестр, словно маленькое войско, хорошо вооруженное и дисциплинированное, а позади, за спиной дирижера, то загадочное, молчаливое и многоликое, что называют публикой и что должно быть завоевано.

Как отзовутся на симфонию эти сотни слушателей, с различными вкусами, с различными взглядами, с разной способностью восприятия? Среди них есть и друзья, и враги, и просто безразличные люди. Поймут ли они величие и красоту симфонии?

Балакирев испугался, когда публика холодно приняла первую часть. Но зато как должно было радостно забиться его сердце, когда раздался, наконец, гром рукоплесканий!

А что должен был испытывать в это время автор? Ему, вероятно, казалось вначале, что сбываются его худшие опасения, что симфонию встретили с молчаливым недоумением. Стоило ли ему, ученому, профессору химии, домогаться публичного признания в роли начинающего композитора?

В эти минуты, когда вокруг были чужие, равнодушные люди, Бородин должен был еще яснее ощутить, как дороги ему его музыкальные друзья. Они были здесь. Он видел их взволнованные лица, он знал, что им небезразлична его судьба.

И самый близкий друг был рядом. Это она, Екатерина Сергеевна, была первой его слушательницей и первым критиком.

Но тут не было одного человека, мнением которого Бородин особенно дорожил.



В полутемной комнате, где воздух был насыщен запахом лекарств, где все напоминало о неисцелимых страданиях, боролся со смертью Даргомыжский. Но и в эти самые тяжелые минуты своего существования великий композитор был душой с друзьями и единомышленниками.

Бородин и его товарищи не решились ночью, сразу же после концерта, навестить больного. Отложили встречу до утра. Но смерть не стала ждать.

И все-таки для Бородина было великим утешением то, что Даргомыжский в последние часы своей жизни думал о нем.

Так когда-то Державин благословил Пушкина:

> Старик Державин нас заметил
> И, в гроб сходя, благословил...

Разноречивые чувства должны были волновать Бородина в то январское утро — на другой день после концерта: тут была и скорбь по умершем и радостная вера в будущее.

Умер великий русский композитор. Но музыка продолжала жить.

Успех окрылил Бородина. Он ощутил прилив новых творческих сил. Он знал, что может и должен идти вперед — все выше, все дальше.

Ведь уже не тесный кружок друзей, а сотни слушателей, которые еще вчера не знали о нем, сказали ему своими шумными аплодисментами, что в музыке его подлинное призвание...

Новые надежды и новые замыслы овладели с этого дня Бородиным.

Вскоре после исполнения Первой симфонии Бородин уже играл своим друзьям «материалы» из будущей Второй симфонии.

Но были у него и другие планы, которые занимали его еще больше.

Романсы и песни, которые он писал в те годы, были подготовкой к работе над оперой. Он говорил Стасову, что оперу ему теперь больше бы хотелось сочинять, чем симфонию.

И это не было случайностью.

Глинка и Даргомыжский начали создавать новую русскую оперу — самобытную, драматичную, правдивую. Это блестящее начало требовало продолжения.

В те времена на театральных подмостках еще господствовала «сладкогласная» итальянская опера, о которой Серов говорил, что это не музыкальная драма, а «концерт в костюмах». С итальянской оперой соперничала французская — с ее стремлением к внешним эффектам, к внешнему блеску.

Заезжие итальянские «дивы» пользовались небывалым успехом.

На балу во время танца кавалер занимал даму разговорами о певице Бозио.

В гостиной, когда наступало тягостное молчание, хозяйка дома спасала положение, вспоминая о Бозио:

— Не правда ли, Бозио прелестна?

Оставшись наедине с молодым человеком, девица, чтобы преодолеть смущение, начинала разговор все о той же «несравненной» и «неповторимой» Бозио.

Писатель Н. В. Успенский высмеял это преклонение перед итальянщиной в одном из своих рассказов.

А композитор Бородин сделал то же самое в музыкальной пародии.

В 1866 году к нему обратился драматург Крылов с просьбой написать музыку к оперетке «Богатыри».

Часть номеров Бородин написал сам, а остальное — это остроумно составленная и обработанная мозаика из модных итальянских и французских оперных арий, дуэтов, хоров.

Эта пародия словно говорила публике: вот какую пошлость вы принимаете за искусство!

Был у сатиры и другой, политический смысл. Место действия — княжество Куруханское на Калдык-реке, где правит князь Густомысл. Время действия: «до поры, до времени». Это звучало намеком: то, что делалось тогда в Российской империи, могло тоже продолжаться только «до поры, до времени».

В письме к режиссеру Бородин предлагал внести такую деталь:

«Густомысл благодарит и говорит под мелодраму дурацкий спич: «в настоящее время, когда и пр. (тут можно отлично пародировать спичи, которые у нас говорят при торжественных оказиях...)».

Эта маленькая деталь ясно показывала, где надо было искать Куруханское княжество и князя Густомысла с его спичем в стиле либеральной болтовни того времени.

Еще одна черточка: цензор вычеркнул из списка действующих лиц обитателя Куруханской земли Длиннорукова, заподозрив намек на московского генерал-губернатора Долгорукова.

Оперетта была поставлена. В программе вместо имени композитора стояли три звездочки. Успеха «Богатыри» не имели и были сняты с репертуара после первого представления.

Бородин явно переоценил способность публики понимать пародии. Почитателям модных итальянских и французских опер не приходило и в голову, что над ее кумирами можно смеяться. Они просто не поняли, что «Богатыри» это пародия и сатира.

И все же музыка к «Богатырям» сыграла свою роль в творческом развитии Бородина: чтобы по-новому строить оперу, надо было сначала расчистить площадку от всего, что обветшало и было годно только на слом.

Довольно было перепевов с чужого голоса, хотелось своих самобытных песен.

Русские композиторы пошли против итальянско-французской рутины, заполонившей театр.

Внешним эффектам они противопоставили внутренний драматизм, чужим штампам — правдивое изображение русской жизни и русского народа.

Стасов писал о композиторах Запада: «Те в своих операх могут всегда представить рыцарей, пажей, королей и дам. А вот не угодно ли иметь дело не с рыцарями и пажами, а с древними россиянами, у которых на плечах были не мантии или кафтан, а сермяга или холщовая рубаха».

Древние россияне появились и в «Иване Сусанине» и в «Русалке». А вслед за Глинкой и Даргомыжским сюжеты из русской жизни и русской истории берут для своих опер их молодые ученики и последователи.

Римский-Корсаков принимается за «Псковитянку», Мусоргский — за «Женитьбу», а потом за «Бориса Годунова».

Бородин пишет жене в сентябре 1868 года:

«Прочитал две лекции, кое-что поработал и отправился к четырем часам на Шпалерную — к Кюи... Там был Мусоргский. После обеда пришел Корсинька, милый и душевный, как всегда. Вечером музицировали много. Кюи познакомил меня со всеми новыми нумерами «Радклиффа» и с оркестровкою всей оперы. Одна прелесть!

Корсинька сыграл несколько нумеров из своей оперы «Псковитянка». Ну, скажу тебе, это такое благоухание, такая молодость, свежесть, красота... я просто раскис от удовольствия. Экая громада таланта у этого человечка! И что за легкость творчества! Потом исполнил Мусоргский первый акт «Женитьбы» Гоголя, написанный прямо на текст этого писателя, без всякого изменения. Вещь необычайная по курьезности и парадоксальности, полная новизны и местами большого юмору, но в целом une chose manquée — невозможная в исполнении».

Как ни занят был Бородин самыми разнообразными делами и заботами, он чувствовал, что и ему надо принять участие в создании новой русской оперы. Сюжет «Царской невесты» пришелся ему не по душе. Ему хотелось создать оперу, в которой страстность и драматичность соединились бы с широкими эпическими мотивами. Ему хотелось показать в опере и Русь и Восток в их многообразных проявлениях.

Он не раз просил Стасова помочь ему найти подходящий сюжет. К кому другому мог бы он обратиться с такой просьбой?

У Стасова были не только огромные знания. У него под рукой — в Публичной библиотеке, где он работал,— были всевозможные материалы: летописи, трактаты, записки путешественников. А главное, это был человек, который считал своим первым долгом помогать друзьям по искусству создавать новые прекрасные произведения.

В художественном отделе Публичной библиотеки у него был свой уголок у окна, отгороженный большими эстампами и гравюрами. Здесь на столе всегда можно было увидеть книги, приготовленные Стасовым не для собственной работы, а для товарищей.

Когда Мусоргский взялся за «Бориса Годунова», Стасов обшарил Публичную библиотеку, разыскивая все, что может понадобиться для этой оперы. Тут уж он не щадил ни труда, ни времени.

Ему очень хотелось помочь и Бородину. Но одно дело раздобыть необходимые исторические материалы, а другое дело найти сюжет оперы. Задача была интересная, но трудная.

И вот однажды на музыкальном собрании у Шестаковой между Бородиным и Стасовым снова зашел разговор об опере. Долго они толковали, и Стасов обещал сделать

еще одно усилие. Вернувшись домой, он не лег спать, а принялся за работу.

Ему пришла в голову мысль: взять за основу «Слово о полку Игореве».

Казалось, тут было все, что нужно для художественной натуры Бородина. Великое творение древнерусского певца соединяло в себе эпическую мощь сказания о битвах и походах князя Игоря с лирической нежностью и страстностью, когда в музыкальную ткань поэмы вплетался тоскующий голос Ярославны.

Земледельческая Русь и варварский кочевой Восток вставали здесь во всей яркой драматичности своей вековой борьбы.

В опере на такой сюжет можно было выразить то, о чем еще никогда не говорила музыка.



Глава двадцать вторая

В ДВУХ ОТРЯДАХ

Всю ночь работал Стасов. К раннему утру был готов подробный план с пояснениями, с выписками из Ипатьевской летописи и из «Слова о полку Игореве».

В тот же день на Выборгскую сторону, в Медико-хирургическую академию, был отправлен толстый пакет с таким сопроводительным письмом:

«Прилагаю, Александр Порфирьевич, весь готовый scenarium[1]. Я нашел в летописях несколько новых подробностей (о Владимире Галицком и Кончаке), так что пришлось иное изменить, а другое прибавить. Кушайте на здоровье! *Ваш В. С.*

P. S. Сцену расправы я бы думал выкинуть и заменить — чем, Вы увидите».

Судя по этому письму, разговоры о «Князе Игоре» были у Стасова с Бородиным еще раньше — до той их встречи, о которой Стасов вспоминает в своей биографии Бородина.

Через два дня, в воскресенье 20 апреля 1869 года, Стасов получил такое ответное письмо:

«Не знаю, как и благодарить Вас, добрейший Владимир Васильевич, за такое горячее участие в деле моей будущей оперы. Я хотел сам быть у Вас, да не удалось. Ваш проект так полон и подробен, что все выходит ясно, как на ладонке; если придется сделать какие-нибудь измене-

[1] сценарий.

ния, так они будут состоять в сокращениях. Я к Вам явлюсь как-нибудь, чтобы взять книжечки для текста (обещаюсь не зачитать). Мне этот сюжет ужасно по душе. Будет ли только по силам? — не знаю. Волков бояться — в лес не ходить. Попробую».

С жадностью принимается Бородин за изучение материала. Дело это для него знакомое. Ведь ему уже приходилось перед каждым новым научным исследованием перерывать груду книг. Но на этот раз химик уступает место историку. На письменном столе Бородина, на книжных полках появляются исторические трактаты, летописи, различные издания «Слова о полку Игореве» и его переложения в стихах, исследования о половцах, сборники старинных песен. Он, как всегда, идет не по поверхности, а глубоко вникает в материал.

Он читает «Задонщину» и «Мамаево побоище» (для сцены прощания русских женщин с мужьями, уходящими в поход). Он изучает эпические и лирические песни тюркских народов, чтобы лучше представить себе все, что должно будет в опере говорить о половцах. Через одного из своих друзей он получает от венгерского путешественника Гунфальви музыкальные мелодии, записанные у потомков половцев, до сих пор живущих в нескольких селениях Венгрии. Стасов с радостью помогает ему. Пусть это только начало большой и долгой работы. Стасов верит, что опера будет написана.

У нее уже есть и название.

«...Пришел осведомиться о материалах для «Князя Игоря»,— пишет Стасову Бородин в июне 1869 года.— Когда Вы будете дома? На всякий случай напишите мне сегодня же по городской почте или пришлите».

Бородин не просто делает выписки. Он критически изучает материал, сопоставляя часто противоречащие друг другу рассказы разных источников об одном и том же событии.

В архиве Бородина сохранился лист бумаги, на котором в несколько столбцов выписаны для сравнения различные данные о дне выступления в поход, о солнечном затмении, о битве при Каяле.

Заметки Бородина свидетельствуют о том, что, изучая летописи и другие источники, он стремился представить себе жизнь, какой она была на самом деле. Он отмечает, что у половцев были такие самострелы, тетиву которых должны были натягивать пятьдесят человек. Найдя упо-

минание о бубнах в древнем войске, он записывает и это: такая деталь что-то говорит его музыкальному воображению.

Так с самого же начала работы над рукописью в композиторе виден ученый.

Но изучение материала — это только первая стадия труда. На основе этого изучения надо было еще раз продумать план и потом написать либретто и музыку оперы.

Бородин мог бы, как и многие другие, поручить сочинение текста какому-нибудь присяжному либреттисту. Но он на это не пошел. Он хорошо знал, чего стоили эти либреттных дел мастера, готовые перекроить и перешить на любой фасон любое произведение.

Да и жаль было бы отдавать даже в хорошие, но чужие руки работу, которая была ему по силам и по сердцу.

Поэзия «Слова о полку Игореве» захватила его, пробудила то поэтическое, что было в нем самом. Это была родная для него стихия, где слово звучало, как музыка. Это была симфония, где в гигантском оркестре звучали и живые струны, рокочущие под перстами Баяна, и шумящие, словно что-то говорящие стяги, и воинские трубы, и мечи, звенящие о шлемы, и говор галок, сменяющий на рассвете соловьиный щекот, и ржание коней, и полуночный скрип половецких телег, кричащих, словно распуганные лебеди, и орлиный клекот, и гудение земли во время битвы.

Здесь были все переходы, начиная от еле слышного звона — «Что ми шумить, что ми звенить далече рано перед зорями» — и кончая мощными звуками ударных инструментов: «Быти грому великому, идти дождю стрелами с Дону великого».

В «Слове о полку Игореве» поэзия была неотделима от музыки. Это было в самой природе эпической песни.

У Баяна слова песни рождались вместе с музыкой: живые струны под его вещими перстами «сами князем славу рокотаху».

И у Бородина тоже, когда он работал над «Князем Игорем», слова и музыка возникали одновременно и в глубоком органическом единстве.

Так композитору пришлось стать историком и поэтом. Но все это не освобождало его от обязанностей профессора химии. Да он и не хотел бы, чтобы его избавили от этих обязанностей. У него куча хлопот по устройству академической лаборатории, лекции, экзамены, заседания.

Участие в Конференциях Медико-хирургической академии превращалось иногда для Бородина в отбывание скучной повинности. Но можно ли было скучать на заседаниях только что возникшего Русского химического общества?

Оно было создано по инициативе самих химиков.

Задолго до того, как был выработан и представлен на утверждение в Министерство народного просвещения устав общества, химики уже собирались в определенные дни друг у друга, чтобы поговорить о своих работах.

И не просто потолковать за чайным столом. На этих собраниях делались и обсуждались доклады, велись споры. Все это объединяло русских химиков, помогало им сообща развивать и отстаивать новое, передовое направление в науке.

В письмах Бородина то и дело встречаются упоминания о таких собраниях. Он пишет Алексееву в мае 1861 года из Гейдельберга: «Здесь учреждается (сначала, разумеется, только в своем кружке) химическое общество — домашнее покуда».

После возвращения Менделеева и Бородина в Петербург они вновь организуют химический кружок. Бородин пишет Балакиреву в декабре 1863 года: «В четверг вечером у нас заседание в Химическом обществе».

Заседания проходили то у одного химика, то у другого по первым четвергам каждого месяца. Собирались нередко и у Бородина.

Так вокруг Зинина, Менделеева, Бородина сплачивались силы русской химии.

Химический кружок рос и развивался в те же самые годы, когда в Петербурге так деятельно работал другой кружок — музыкальный.

В одной из своих статей Стасов писал о «маленькой, но уже могучей кучке русских музыкантов». Это название так и осталось за кружком, в который входили Балакирев, Кюи, Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков.

Химическому кружку никто не дал такого меткого и почетного эпитета: «могучий». Но и его можно было бы так назвать с неменьшим правом.

И здесь тоже были богатыри, которые в такой же мере прославили на весь мир русскую химию, как Балакирев и его товарищи — русскую музыку.

Одна и та же идея служения народу, служения людям, объединяла и тех и других.

Бородин был воином, который принадлежал к обоим отрядам. Его имя с гордостью называют и историки музыки и историки химии.

В 1924 году президент Британского химического общества Уильям Уинни произнес речь «О значении работ русских химиков для мировой науки». И вот что он сказал:

«Если мы оцениваем по заслугам музыкальную школу, связанную с именами Балакирева, Бородина (он же химик), Римского-Корсакова, Чайковского, или писателей Тургенева, Льва Толстого и их современников, если мы считаем, что без них свет был бы неизмеримо беднее, то не будет преувеличением утверждать, что рост химии не в меньшей степени был бы задержан, если бы работы Менделеева, Бутлерова, Марковникова, Зайцева, Вагнера и их преемников по каким-либо причинам были изъяты из общей сокровищницы знаний».

Могучий отряд русских химиков скоро так вырос, что стало уже невозможно собираться в домашней обстановке. Это было дело общественное, государственное, и оно требовало более широких организационных форм.

В конце 1867 года удалось созвать в Петербурге первый съезд русских естествоиспытателей. 3 января 1868 года химическое отделение съезда постановило просить правительство об утверждении Русского химического общества.

А в декабре Бородин писал Алексееву:

«У нас, как Вам известно, окончательно открыто Химическое общество, и первое заседание его было в начале декабря в университетской аудитории. Президентом выбран Зинин, делопроизводителем Меншуткин... Было очень весело и приятно».

В списке членов общества — сорок семь человек. Тут и Воскресенский, и Менделеев, и Бутлеров, и Бекетов, и Шишков.

Скоро начал выходить и «Журнал Русского химического общества».

Перелистывая первый том — довольно тонкий и скромный с виду,— не очень внимательный читатель мог и не придать особого значения статье Менделеева «Соотношение свойств с атомным весом элементов». Если судить по названию, можно было подумать, что статья эта касается вопроса, интересного только для специалистов.

А между тем одной этой статьи было бы довольно, чтобы сделать выход первого тома «Журнала Русского химического общества» величайшим событием в науке. В течение долгого времени химия ставила опыты, наблюдала явления, копила факты. Эта груда фактов росла. И нужно было, чтобы пришел человек с творческим, обобщающим умом и построил факты в систему, нашел общий закон, которому подчиняются атомы самых разнородных элементов.

Так растет и развивается наука. Сначала идет длительный период собирания фактов. Этой работой терпеливо и настойчиво занимается множество людей в самых различных уголках науки. Каждый делает свое дело, и эта специализация приводит в конце концов к тому, что ученые начинают работать разобщенно, не интересуясь иной раз даже тем, чем заняты близкие соседи.

Но для движения вперед нужен широкий кругозор: когда из-за деревьев не видно леса, немудрено и заблудиться.

И вот начинается новый, революционный период развития науки. Наступает время гигантских обобщений, когда количество накопленных знаний переходит в их новое качество, когда хаос превращается в стройный порядок.

Для таких обобщений нужны не просто хорошие специалисты — нужны ученые с огромным охватом.

Русские ученые не раз выдвигали из своей среды людей такого масштаба.

Открыв закон сохранения вещества и энергии, Ломоносов сразу объяснил и обобщил огромное число фактов. Со времен Ломоносова физика и химия стали подлинными науками.

Но гениальный ученый не ограничился этим. Он создал на стыке физики и химии еще одну, новую науку — физическую химию.

Это было проявлением тех законов, по которым развивается знание: великие обобщения связывают различные его области, перебрасывают мосты от одной науки к другой.

Новый период этой титанической обобщающей деятельности начался через сто лет после Ломоносова, когда Бутлеров создал учение о строении молекулы, а Менделеев в своей системе элементов начертал чертеж всего мира атомов.

В работе по собиранию науки в единое целое участвует и Сеченов, который в своей книге «Рефлексы головного мозга» делает физиологию основой психологии.

На протяжении тысяч лет дух и тело были разделены в представлении людей пропастью. И вот приходит ученый, который снова возвращает человеку его единство.

Везде — и в физике, и в химии, и в ботанике, и в физиологии, и в психологии — ведется эта работа заполнения пропастей, разрушения стен, собирания мира, искусственно разделенного на клетки и клеточки.

Как раз в эти времена начинает свою работу Тимирязев. И он тоже делается участником великого дела построения науки о цельной, нераздельной природе. Его учение о фотосинтезе — о работе солнечного луча в зеленой клетке растения — соединяет в одно целое Космос и живую оболочку планеты, небо и землю.

К этому отряду богатырей примыкает и Докучаев, который в конце шестидесятых годов был еще студентом и слушал в университете лекции Менделеева. А в восьмидесятых годах он уже создает свое учение о почве — о связующем звене между живой и неживой природой.

Вода, воздух, почва, подстилающие ее горные породы, растения, животные, человек — все это оказывается звеньями одной цепи.

И опять, как естественное следствие этих обобщений, возникают на стыке разных наук — геологии и химии, геологии и ботаники — новые науки: геохимия и геоботаника.

Так усилиями Менделеева, Бутлерова, Сеченова, Тимирязева, Докучаева создается единая картина мира, где все в движении и все связано со всем — Земля и Космос, живое и неживое, материя бессознательная и материя, сознающая себя.

Но не только в этом заслуга и сила могучего отряда ученых, к которому принадлежал Бородин.

Познать природу — это только полдела. Цель этого познания — власть над природой и ее преобразование.

Во второй половине прошлого века нечего было и думать о том плановом преобразовании природы, которое идет сейчас в нашей стране.

Но и тогда передовые ученые уже пытались на основе науки поднимать русскую промышленность и русское земледелие, воевать с засухой, будить спящие силы русской земли. Они верили в великое будущее своей родины.

Недаром Менделеев назвал одну из своих статей: «Будущая сила, покоящаяся на берегах Донца».

На этом большом научном фронте Бородин находился на том участке, который называется органическим синтезом.

Изучая строение молекул и создавая новые постройки из атомов, Бородин прокладывал дорогу к еще неизвестным химическим соединениям, к власти над веществом.

Его работа над альдегидами, начатая в 1864 году, шла успешно. Ему тогда удалось открыть изокаприновый спирт. Из этого спирта он уже успел получить новую, изокаприновую кислоту, ее альдегид и соли.

А в октябре 1869 года он сообщил на заседании Русского химического общества о других соединениях, которые ему удалось добыть при исследовании альдегидов.

Это была для Бородина пора горячей, напряженной деятельности. Все шло у него на лад: и в химии и в музыке, во все он вносил свойственную ему стремительную страстность.

«Я теперь в пассии лабораторных работ»,— говорил он.

Но мысль об «Игоре» не оставляла его посреди самых лихорадочных занятий. Первый номер — по стасовскому плану — «Сон Ярославны» был уже написан,— это ариозо Ярославны, которое начинается словами: «Немало времени прошло с тех пор...» Но Бородин был так занят, что не сразу нашел несколько свободных часов, чтобы повидаться с «музыкальной братией» и показать написанное. А показать хотелось: он сам чувствовал, что вещь удалась.

И «музикусы» и «химикусы», как он их шутя называл, живо интересовались его успехами и радовались им.

Но жизнь все чаще напоминала Бородину, что недостаточно хорошо работать,— надо еще уметь отстаивать и защищать свою работу.

На «химическом поле» встретились вдруг осложнения, которых он не предвидел. Дело тут было не в привычных для каждого химика неудачах. Бывает, что в самый разгар исследования химик «теряет» только что с таким трудом полученное драгоценное вещество: лопается колба, взрывается запаянная трубка. Попробуй собери потом со стола и с пола то, что разлетелось по всем углам комнаты!

Такие неудачи бывали изредка и у Бородина, несмотря на всю его точность и аккуратность.

Но на этот раз дело было не в тех опасностях, которые таит в себе сама химия, а в особенностях некоторых химиков.

Бородин узнал, что над уплотнением альдегидов работает не он один. В той же области появился и второй исследователь — немецкий химик Кекуле. В этом не было бы ничего плохого, если бы речь шла о ком-нибудь другом. Но Кекуле порядочностью не отличался. Все помнили, как он сначала возражал против бутлеровской теории химического строения, а потом попытался ее присвоить.

У Бородина были все основания предполагать, что и тут не обойдется без неприятных осложнений. Чтобы предупредить самую возможность столкновения с Кекуле, он сообщил о результатах своей работы на заседании Русского химического общества. Сделал он это скрепя сердце, так как работа еще не была закончена. Но важно было заявить о главном — о том, что уплотнением нескольких частиц альдегидов удается получать из них новые, более сложные соединения.

Химики нашли работу Бородина крайне интересной и с фактической стороны и по теоретическому развитию идей.

Протокольное сообщение о докладе Бородина появилось в «Журнале Русского химического общества» за 1869 год.

Но избежать столкновения с Кекуле не удалось.

Вот что пишет об этом Бородин:

«В четверг я был у Бутлерова, обедал там; Бутлеровы со мной любезны до невозможности; оттуда я прошел в Химическое общество, где узнал неприятную для меня вещь: Кекуле (в Бонне) упрекает меня в том, что я работу с валериановым альдегидом (которую делаю теперь) заимствовал у него (т. е. не самую работу с фактической стороны, а идею работы). Это он напечатал в Berichte[1] Берлинского химического общества. Такая выходка вынудила меня сделать тут же заявление об открытых мною фактах и показать, что я этими вопросами занимаюсь уже с 1865 года, а Кекуле наткнулся на них только в августе прошлого года. Хотя наше Химич. общество и знало все это, но я счел нужным заявить для того, чтобы это потом сообщено было, заведенным порядком, в Берлинское общество».

---

[1] Известия (*нем.*).

Бородин считал, что ему самому незачем вступать в спор с Кекуле.

«С Кекуле я порешил — не отвечать, а просто продолжать работу, а то он подумает, что я в самом деле испугался его заявления. Когда же работа будет кончена, я сделаю вскользь заметку о Кекуле, мимоходом, это гораздо более с тактом».

Такая линия поведения была, конечно, правильной: она соответствовала достоинству большого, уважающего себя ученого, отстаивающего не только свои права, но и права русской науки.

На музыкальном фронте тоже дело не обходилось без борьбы.

Враги новой русской музыки старались и нападками в печати и всяческими интригами заставить Балакирева отказаться от руководства концертами Русского музыкального общества. На его место прочили сначала дирижера и композитора Макса Зейфрица, а потом дирижера и композитора Фердинанда Гиллера. Что из того, что это были посредственные композиторы, не создавшие ничего своего, оригинального? Они были иностранцами. А это было главным козырем в глазах тех, кто привык выписывать музыку и музыкантов из-за границы вместе с прочими модными товарами.

Все труднее было Балакиреву воевать с «дворцовой партией». Даргомыжского уже не было рядом, и на заседаниях дирекции Балакиреву приходилось одному отражать удары.

Покровительнице Русского музыкального общества великой княгине Елене Павловне не могла нравиться та независимость, с которой держался Балакирев. А Балакирев не мог и не хотел держать себя иначе. Он был не из тех, кто привык гнуть спину перед «высокими особами».

И дело кончилось тем, чего добивались его враги: он сам отказался от управления концертами.

Это означало открытие военных действий между Русским музыкальным обществом и Бесплатной школой.

С волнением следили друзья новой русской музыки за борьбой, которая шла не только в концертных залах, но и на страницах журналов и газет.

На одной стороне были деньги, было «августейшее» покровительство, на другой — талант, боевой задор, вера в будущее.

Римский-Корсаков пишет в своей «Летописи»: «Пять концертов Школы были объявлены, и вместе с сим война не на живот, а на смерть». Программа была самая боевая. Рядом с Глинкой, Даргомыжским, Балакиревым, Римским-Корсаковым, Чайковским шли союзники из композиторов Запада: Шуман, Лист, Берлиоз. И это наступление мощно поддерживалось и заключалось Девятой симфонией Бетховена — «Шекспира масс», как говорил Стасов.

Музыкальное общество ответило на эту программу своей.

Но о дальнейших событиях лучше рассказать словами Бородина. Письма, которые он писал в это время жене, похожи на сводки из действующей армии.

«Музыкальное общество все выжидало программы балакиревских концертов и боялось пустить свою программу. Наконец решилось. И что за программа — просто курам на смех!.. Это просто черт знает что! Ребячья музыка совсем. Один из консерваторских хотел было сыграть концерт Листа — не пустили: боятся Елены Павловны. Направник прямо отказал, говоря, что великая княгиня велела ему с корнем вырвать прежнее направление. Умора!»

«Балакирев как сказал, так и сделал: первый концерт был 26-го... Состав концерта прелестный, а исполнение — восторг! Хор Школы нынешний год больше и лучше прошлогоднего. Надобно заметить, что Елена Павловна во что бы то ни стало хотела отвадить учеников от Бесплатной школы и потому открыла бесплатные классы хорового пения в консерватории, обещала даже стипендии и пособия и, кроме того, завела манеру каждый раз потчевать поющих бутербродами и чаем. Ученики Бесплатной школы действительно иногда ходят туда — «пить чай», но продолжают петь все-таки в Школе. Несмотря на то, что Елена Павловна не щадит ни энергии, ни денег, дела Музыкального Общества идут из рук вон плохо. В субботу назначен был первый концерт, но должны были отложить, потому скандал — было взято всего 60 билетов с чем-то!.. Когда Елена Павловна узнала, что концерты Бесплатной школы состоялись, и при том концертная серия ее открылась ранее, нежели у Музыкального Общества,— Елена Павловна пришла в ужасное негодование, сама тотчас поехала в консерваторию и дала всем директорам Общества жесточайший нагоняй, начиная с Зарембы: как смели допустить Школу открыть сезон ранее Музыкального Общества.

В концерте вчера публики, впрочем, было не особенно много, зала Дворянского собрания не была полна. Этого, разумеется, и надобно ожидать. Тут нет ничего привлекательного ни для салонной публики, ни для гостиного двора. Зато публика была отборная и слушала в высшей степени прилично, тишина во время исполнения была изумительная. Балакирева приняли очень хорошо и тепло... Ах, как я был бы рад, если бы дела Школы пошли хорошо и подорвали опоганившееся Музыкальное Общество! Но со всем тем Милию бедному приходится очень туго: деятельность-то в Школе у него бесплатная, как и сама Школа, а жить-то надобно; да притом у него на руках обе сестры. Но замечательно: я никогда не видал Милия в таком превосходном расположении духа, как теперь; он не только не унывает, но хлопочет и трудится с такой энергией и страстью, как никогда. И даже физически он стал как-то крепче. Вот оно истинный-то художник! Как только он выпутается из финансовых затруднений — не знаю. Кажется, если бы можно было бы, так бы и помог ему, именно материально помог. В остальном он не нуждается».

С умилением пишет Бородин о молодой, талантливой певице Хвостовой, которая не только стала сама петь в хоре Бесплатной школы, но и привела с собой целый отряд — восемнадцать своих юных учениц. Уже одна эта подробность говорит об энтузиазме, которым горели в эти дни сторонники Бесплатной школы.

В одном из следующих писем Бородин рассказывает о первом концерте Музыкального Общества. Для привлечения публики Елена Павловна пригласила за большие деньги итальянскую певицу Арто-Падилла. «Вот до чего дошли дела,— пишет Бородин,— пришлось пригласить для серьезных симфонических концертов итальянскую оперную певицу!.. Несмотря на присутствие двора Е. П. и бомонда — прием был холоден. Многие даже из приверженцев Е. П. находили неловким такой ангажемент и такой выбор пьес для серьезных концертов... Самый характер концерта напомнил мне салон: итальянское фиоритурное пение, точно «Севильский цирюльник»; Мароккский марш, играемый обыкновенно в Павловском вокзале; эполеты, сабли, непозволительные декольте и пр. и пр.».

Бородин подсчитывает, во что обходится Елене Павловне «свержение Милия», сколько тысяч она заплатила дирижерам Зейфрицу и Гиллеру, какие субсидии выданы журналам за ругательные статьи и сколько еще придется

израсходовать денег на разные приманки, на чай и бутерброды хористкам.

После концерта Русского музыкального общества в той же зале была репетиция концерта Бесплатной школы.

«Зала точно волшебством переменила вдруг свой вид,— пишет Бородин,— публика в эполетах и декольте исчезла; на эстраде стоял Милий. На передних стульях сидели: я, Корсинька, Бах и прочие посетители Бесплатной Школы. В воздухе, где едва успели замереть звуки Марокского марша и фиоритуры Арто — раздались могучие звуки «Лелио» Берлиоза. На другой день был второй концерт Бесплатной Школы, и с большим успехом, хотя зала не была совершенно полна: ни аксельбантов, ни директоров, ни директрис, ни институтрис, ни пажей, ни голых плеч придворных барынь не было. Зато все музыкальное было в полном составе».

Борьба все разгоралась. Елена Павловна всеми силами старалась подорвать и пустить ко дну Бесплатную школу. Чтобы привлечь больше публики на концерты Музыкального общества, она приказала снизить цены на билеты и разослать множество даровых билетов в институты благородных девиц, в Пажеский корпус, в Лицей и Училище правоведения.

Журналы, находившиеся под ее покровительством, мешали с грязью Балакирева и весь кружок и не скупились на самую площадную ругань.

Противникам Бесплатной школы резко и остроумно отвечал в «Петербургских ведомостях» Цезарь Кюи.

«Воображаю, как им достанется от Цезаря Антоновича. Страх!» — писал Бородин.

Как-то произошел такой случай. В «С.-Петербургских ведомостях» появился фельетон Кюи «Музыкальные заметки». В этом фельетоне шутливо рассказывалось о том, что в Русском музыкальном обществе для борьбы с Бесплатной школой организован «Комитет народной обороны». Фельетон был подписан тремя звездочками.

Елена Павловна пришла в ярость и решила мстить.

Вечером к Стасову пришел курьер с требованием немедленно явиться к управляющему Публичной библиотекой барону Корфу. Утром — второй курьер, от того же Корфа. Стасов отправился к нему.

Барон, который обычно хорошо относился к Стасову, протянул ему с надутым видом два пальца и сказал:

— Великая княгиня приказала выразить мне крайнее неудовольствие свое за вашу статью, где вы самым дерзким образом осмелились оскорбить ее высочество.

Стасов только глаза вытаращил.

— Да помилуйте, я-то чем виноват? Разве это я писал?

Корф очень обрадовался и сказал с облегчением:

— Ну, слава богу! Мы спасены!

Рассказывая об этом в письме к жене, Бородин добавляет иронически: «Точно — Европа спасена».

Когда великой княгине доложили, что статью писал не Стасов, а Кюи, она немедленно послала генерала — на этот раз к начальнику Кюи — с предложением сделать дерзкому фельетонисту строгое внушение.

Инженер-генерал Тотлебен никогда прежде не читал статей о музыке. Но на тот раз ему пришлось прочесть от доски до доски «ужасный фельетон». На полях собственной ее высочества рукой были отмечены самые «возмутительные» места.

Как ни старался Тотлебен, он не мог найти в фельетоне ничего оскорбительного для достоинства великой княгини. Но делать было нечего.

Тотлебен вызвал ближайшего начальника Кюи. Ближайший начальник вызвал самого Кюи и приказал ему явиться к Тотлебену. Инженер-генерал начал с того, что передал Кюи все, что ему приказано было передать. А потом уже от себя добавил:

— Вы продолжайте писать фельетоны, разумеется, осторожно. А то еще подумают, что начальство запрещает вам писать.

Свой рассказ об этом Бородин заканчивает: «И как старухе-то не стыдно! — Ведь сама себя ставит в дуры».

Надо сказать, что письмо это было послано «непочтовым способом» — с одним молодым врачом.

Бородин был человек благодушный по натуре. Но и у него находились гневные слова, когда он говорил о «музе Евтерпе» и о ее «гнусных клеветах».

Назло всем клеветникам Балакирев одерживал одну победу за другой. В этих сражениях все решал не гром орудий, а гром рукоплесканий. Публика восторженно принимала Балакирева и вызывала его по нескольку раз после каждого номера программы.

Бородин был так увлечен и музыкой, исполнявшейся в концертах Бесплатной школы, и всеми перипетиями борь-

бы, что не пропускал ни одного концерта, несмотря на всю свою занятость.

Дело было поздней осенью. Мост через Неву был разведен, временами из-за ледохода не было перевоза с Выборгской стороны, и приходилось ездить кружным путем. Казалось, все стихии были против Бородина.

«У нас теперь черт знает что за мерзость творится,— пишет Бородин.— Только что развели мосты, не прошло и двух дней, как снова пошла оттепель. Дело Невы остановилось; льда нейдет, а между тем перевоза тоже нет. Слякоть, грязь, скользь, пересыпает мелкий дождь да мокрый снег, одно слово — мерзость».

Но Бородина ничто не могло удержать дома, если предстоял концерт или хотя бы репетиция в Бесплатной школе. «Я хоть кругом, да поеду; уж очень интересно все это».

С какой радостью писал Бородин жене о каждой очередной победе Бесплатной школы и о каждом поражении ее противников.

Да и, в самом деле, куда было какому-то бездарному Гиллеру соперничать с Балакиревым! Балакирев дирижировал с необычайным воодушевлением. Весь его облик говорил о вдохновении. А толстый, плешивый Гиллер, если и поражал чем-нибудь, так тем хладнокровием, с которым он, стоя перед оркестром, махал палочкой у себя под носом.

Гиллера встречали молча, а провожали жидким хлопанием нескольких десятков рук. Случалось, что и хлопать было почти некому. Елене Павловне невесело было из своей ложи озирать «поле сражения»: пустые стулья и красные скамейки, где кое-где виднелись даровые слушатели. А на концертах под управлением Балакирева зал был почти всегда полон.

«В четверг утром,— пишет Бородин,— я был снова на репетиции, потом на лекции, а вечером в концерте Славянского комитета. Концерт этот был новым торжеством Милия; зал был набит битком. Милий был принят горячо, великолепно. После увертюры, на второй части концерта, ему поднесли лавровый венок и адрес, подписанный всеми членами Славянского комитета, аплодисменты и рев публики оглушительные... И все это видели и консерватористы и Фердинанд Гиллер. Я этим очень доволен. «Пусть!!!» как говорит мама».

Борьба захватила не только Петербург, но и Москву. Известный московский пианист, дирижер и композитор Николай Григорьевич Рубинштейн приехал в Петербург для того, чтобы играть в концерте Бесплатной школы. Это так взбесило Елену Павловну, что она не приняла Рубинштейна, когда он явился к ней по долгу службы.

Рубинштейн не без иронии сказал фрейлине Елены Павловны:

— Что, великая княгиня, вероятно, нездорова? Потому что не может же быть, чтобы она была так мелочна и не приняла меня только из-за того, что я играю в Бесплатной школе.

С братом Николая Григорьевича, замечательным пианистом и музыкальным деятелем Антоном Рубинштейном, балакиревцы в те годы не были дружны. Они расходились во взглядах на музыкальное образование и на многое другое.

Но и Антон Рубинштейн был возмущен отношением Елены Павловны и всей ее клики к Балакиреву и к Бесплатной школе.

Все передовые люди были в этом столкновении на стороне Балакирева. Чайковский написал статью, в которой с гневом и иронией говорил «об изгнании из высшего музыкального учреждения человека, составлявшего его украшение»:

«Г. Балакирев может теперь сказать то, что изрек отец русской словесности, когда получил известие об изгнании его из Академии наук: «Ломоносова от академии отставить нельзя, можно лишь академию отставить от Ломоносова».

И все-таки, несмотря на сочувствие лучшей части общества, Балакирев и его товарищи не могли не сознавать, что до победы им еще далеко,— ведь сила была на стороне Елены Павловны. Она могла продолжать борьбу сколько угодно времени, не считаясь с тем, какие сборы дают концерты. А у Бесплатной школы не было казны, из которой она могла бы черпать средства.

Римский-Корсаков пишет: «Русское музыкальное общество в лице своих представителей сохраняло чиновничье олимпийское спокойствие, возбужденное же состояние Балакирева было для всех очевидно».

Балакирев держался только благодаря огромному напряжению нервов. Его собственные материальные дела были из рук вон плохи. Прежде он давал уроки, которые

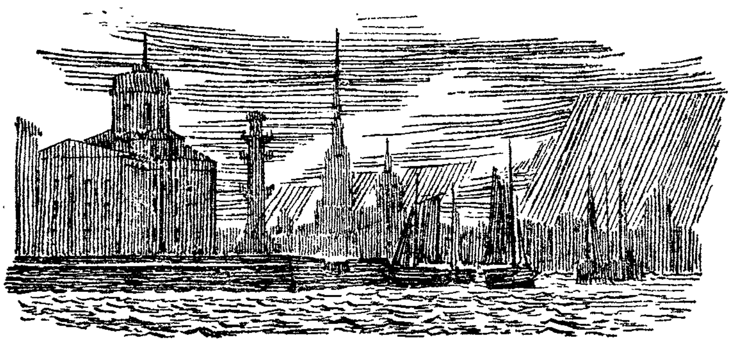
при его известности были достаточно выгодными. Но Бесплатная школа не оставляла времени для платных уроков. Целые дни уходили на репетиции, на спевки, на всякие хлопоты, на поддержание связей, которые необходимы были для борьбы с противниками. Где же ему было думать о себе, о своих личных делах!

Это не могло не тревожить Бородина. А ведь у него было еще немало других забот.

Не довольствуясь своими и без того многочисленными занятиями, он в 1870 году начал вместе с профессором Хлебниковым издавать и редактировать журнал «Знание». Что же это был за журнал? Достаточно его просмотреть, чтобы убедиться в том, что это смелая, живая, талантливая пропаганда материалистической науки и демократических идей.

Журнал имел успех, но недолго пришлось Бородину радоваться этому успеху. В мае 1871 года министр внутренних дел объявил редакторам «первое предостережение» в связи с тем, что в журнале проводится «вредное материалистическое учение» и «не менее вредные социалистические воззрения».

Было ясно, что журнал не удастся вести в прежнем боевом духе. И в конце 1871 года Бородин должен был уйти из редакции.



Глава двадцать третья

НАПРЯЖЕНИЕ РАСТЕТ

Душевная жизнь человека — это поток, в котором сливаются разные струи. Мысли и впечатления, возникающие у каждого из нас дома и на работе, в театре и на лекции, среди природы и в шумной городской толпе, при встречах с людьми и в одиночестве, не разложены по полочкам, как письма в почтовом вагоне, а составляют единое сложное целое.

Жизнь Бородина была особенно сложной: у него была не одна работа, а несколько работ. Он близко соприкасался со множеством людей из самых различных кругов. В этом многогранном человеке все было гармонично, все было проявлением необыкновенно одаренной натуры. Ему не хватало только одного — времени.

С каждым годом все шире делался круг занятий и интересов Бородина, и все теснее ему становилось в невидимой сетке из часов, минут и секунд. Он шутя говорил о себе, что ему приходится то и дело повторять: «Сейчас, сейчас».

Времени не хватало. Надо было занимать его без отдачи у отдыха, у праздников и вакаций. Когда весь день был заполнен до отказа, оставалось только отнять несколько часов у ночи,— лечь попозже, встать пораньше. Нельзя было забыть про лекцию, но можно было забыть про обед.

Так росло напряжение, росло не сразу, а неуклонно из года в год. Это напряжение создавалось не только раз-

нообразием работ и общественной деятельности, но и трудностями жизни.

К несчастью Бородина, Екатерина Сергеевна постоянно болела, и чем дальше, тем реже становились промежутки, в которые она чувствовала себя хоть сколько-нибудь сносно.

Бородин с самого начала, еще в Гейдельберге, знал, что его невеста — тяжелобольной человек. Его любовь к ней была неотделима от жалости, от желания спасти ее и уберечь от всех бед. Счастливый год, проведенный в Италии, на время рассеял темные тучи. Казалось, любовь вдохнула в больную новые силы. Но болезнь отступила не навсегда, а только на время.

Жизнь в сыром и туманном Петербурге, да еще на самом берегу Невы, была Екатерине Сергеевне не по здоровью.

Квартира у них была холодная, в коридоре было сыро, как в погребе. Когда плохо работала тяга, а это случалось часто, неприятные лабораторные запахи свободно разгуливали по коридору и проникали оттуда в комнаты. Все это не могло не отражаться на состоянии Екатерины Сергеевны, которая болела астмой и страдала удушьями.

Особенно плохо она чувствовала себя в сырые осенние месяцы. Тогда она уезжала в Москву к матери. Тяжело было Бородину оставаться одному. Он скучал по жене, тревожился за нее. По ночам он просыпался, как от толчка, и сразу его пронизывала мысль о том, что в эту самую минуту она, может быть, не спит и думает о нем, который один мог бы облегчить ее страдания.

Ему становилось невыносимо тяжело от невозможности не только помочь ей, но даже и просто узнать, что с ней делается. Он ворочался с боку на бок, а сон все не приходил.

В такие ночи ему казалось, что Екатерине Сергеевне надо возвращаться в Петербург. Все в нем возмущалось против этой жизни врозь, которая, может быть, и не оправдывала себя.

Конечно, климат в Москве был лучше, чем в Петербурге. Но в том маленьком мирке, в котором Екатерина Сергеевна жила у матери или у родственников, нравственная атмосфера была душная, гнетущая.

Мать Екатерины Сергеевны была добрая женщина. Она полюбила Александра Порфирьевича. И он тоже относился к ней по-сыновнему. Ей нелегко жилось. Нужда

и горе были постоянными жильцами в ее маленькой квартирке, которую Бородин называл «курятником». Он старался, как мог, помогать и ей и ее доброму, но немножко юродивому, неудачливому сыну Алексею. Но когда Александр Порфирьевич бывал в Москве, на него болезненно действовало то, что он называл «протопоповизмом»,— весь склад мысли и жизни московских родственников жены, их предрассудки и суеверия, их болячки, с которыми они носились, вместо того чтобы стараться от них избавиться.

Для него, любившего солнце, ясность, ощущение шири и дали, были нестерпимы вечные стоны и охи, роковая безвыходность и хроническая, мозолящая душу тоска.

Екатерина Сергеевна с детства сжилась со всем этим. Но Александр Порфирьевич был уверен, что ей, такой болезненно впечатлительной, эта «мга» еще вреднее, чем ему. Зачем же было оставлять ее в тягостной обстановке на целые месяцы?

Да и ему самому нелегко давалось одиночество. В отсутствие хозяйки пустые комнаты казались нежилыми. Александр Порфирьевич радовался, когда ночную тишину нарушали шаги за стеной, скрип паркета.

Как-то ночью лопнула труба в коридоре, и ее пришли чинить. Александру Порфирьевичу не спалось, и он был доволен, когда услышал стук и ходьбу. Он любил жизнь, движение. А движение невозможно без шума.

Ночью, когда тревога овладевала им, ему казалось, что так больше жить нельзя.

Он писал жене: «Мне подчас страх как хочется видеть тебя и быть с тобой. Да и что это в самом деле за существование наше бездомное. Точно бобыли какие-нибудь, женатые холостяки... По правде сказать, мне страх как надоел такой порядок вещей — самый беспорядочный для таких порядочных людей, как мы с тобой. Ведь мы с тобой порядочные люди, не правда ли? За что же над нами стряслась такая судьба?»

Он часто думал: приедет она, и все в доме «зацветет жизнью, проснется, начнет дышать; каждый уголок станет жилым, и квартира перестанет быть складочным местом мебели и всякой домашней утвари; перестанет быть амбаром, где только спит сторож, стерегущий хозяйское добро по ночам». Скучно ему было быть таким сторожем.

А наступало утро, он смотрел в окно и видел свинцовое небо, грязную мостовую, пелену тумана на том месте,

где полагалось быть Неве. Невозможно было понять, день или ночь на дворе, зима или осень. И он снова задумывался над тем, что хуже для Екатерины Сергеевны: «мга» атмосферная или нравственная. Накануне только он писал ей, что ждет не дождется ее возвращения. И вот он снова садился за письмо, чтобы уговорить ее не торопиться в Петербург.

По настоянию Александра Порфирьевича Екатерина Сергеевна взялась в Москве за лечение.

«Я даю голову на отсечение,— писал Александр Порфирьевич,— если ты не будешь совсем молодцом будущей осенью. Теперь многое будет зависеть от тебя самой: кури, бога ради, как можно меньше, веди жизнь правильнее, тогда все пойдет хорошо».

Как он радовался, когда из Москвы приходили хорошие вести о состоянии здоровья Екатерины Сергеевны:

«Вести эти, равно как и прежние (из писем Катеринки), влияют на расположение духа, как вино какое-нибудь: я становлюсь весел, молодею как-то, делаюсь живее, деятельнее. Мне кажется, даже волосы у меня растут лучше, и формирующаяся плешь на голове становится меньше. Лечись, радость моя, лечись, дорогая, сколько хочешь, сколько надобно. И не торопись ехать сюда ради меня».

Но проходило несколько недель или месяцев, Екатерине Сергеевне опять становилось хуже, и Александру Порфирьевичу приходилось поднимать ее дух, убеждать ее, что она не так опасно больна, как ей кажется.

«Голубушка моя дорогая, ты не поверишь, какою болью отозвалось во мне твое письмо, полное грусти и безнадежности. Вижу, что ты сильно упала духом. Состояние твое тебя испугало и повергло в уныние. Это меня главным образом и огорчило. Самый факт, что ты прихворнула, меня не испугал и не озадачил; это дело возможное и понятное... Но зачем же так унывать? Зачем рисовать себе картины будущего в таком безвыходно безнадежном свете?.. Понимаю, но не хвалю. И к чему здесь приплетать сожаления обо мне? Как будто у всех жизнь проходит по маслу? Как будто у других нет каких-нибудь мозолей на душе, которые ноют в дурную погоду? Оглянись кругом, и всмотрись ближе, так увидишь, что мы еще одни из самых счастливых людей на свете».

Уныние не было в характере Бородина. Он не позволял себе унывать. Как ни тяжело ему приходилось под-

час, он держался сам и старался поддерживать других. Он умел ценить жизнь за то хорошее, что она давала, и считал себя счастливым человеком, несмотря на все горести и трудности.

Чем дальше, тем все меньше надежды оставалось на то, что болезнь Екатерины Сергеевны окончательно пройдет. Александр Порьфирьевич понемногу свыкался с мыслью, что надо примириться с существующим положением, с необходимостью подолгу жить врозь.

Может быть, все сложилось бы иначе в жизни Бородиных, если бы Екатерина Сергеевна поселилась где-нибудь в хорошем, сухом месте поблизости от Петербурга, хотя бы в Царском Селе, как предлагал Александр Порфирьевич. И ему было бы не так одиноко, и жили бы они, «как все порядочные люди». Но Екатерина Сергеевна была слишком привязана к матери, к брату и сжилась с их московским бытом. Ведь ей было уже около тридцати лет, она была вполне сложившимся человеком, когда встретилась с Александром Порфирьевичем. Она не решилась на коренную ломку, и все шло по-старому.

Когда, наконец, устанавливалась сухая и морозная погода, Екатерина Сергеевна возвращалась в Петербург. Тут бы и зажить так, как они мечтали в долгие дни разлуки. Но для Александра Порфирьевича с ее возвращением наступали еще более трудные времена. Если прежде ему иногда не давали спать тревожные мысли, теперь он недосыпал по другим причинам: Екатерина Сергеевна страдала бессонницей и ложилась спать, когда другие вставали.

Александр Порфирьевич пробовал бороться с таким неправильным и вредным образом жизни. Он убеждал Екатерину Сергеевну жить по-другому и даже высмеивал в шутливых стихах ее привычку не спать и курить по ночам. В стихах, посвященных трем Катеринам (жене, матери и невестке), он писал про третью Катерину — Екатерину Сергеевну:

А третья целый день сидит,
Пьет чай, табачный дым пускает,
А ночью чашками гремит
И все о брате вспоминает,
И вплоть до раннего утра
В постели курит; ей не спится.
Когда уж всем вставать пора,
Тогда она лишь спать ложится.
И все проснулись и встают,
Оделися и помолились,

И самовар уж подают,
И чаю все уж напились,
А третья Катерина спит,
Ей и под шум и говор спится...

Екатерине Сергеевне спалось «под шум и говор». А Александру Порфирьевичу тоже спалось бы, да было не до сна. Он торопился встать пораньше, потому что его ждал день, полный труда.

И хорошо еще, если позади было хоть несколько часов спокойного сна. Как часто случалось, что у Екатерины Сергеевны ночью начинался приступ астмы, и Александру Порфирьевичу приходилось спешно оказывать ей помощь, быть для нее и врачом и терпеливой сиделкой.

Не всякий мог бы после такой ночи бодро браться за дневные труды. Но Бородина никогда не оставляла его жизнерадостность, его деятельная энергия.

Казалось, день у него был заполнен до отказа лекциями, экзаменами, заседаниями, собственной научной работой, музыкой, которая словно старалась проникать во все свободные щели его расписания. Но жизнь прибавляла к этому еще много других дел и хлопот.

Сколько труда и времени приходилось ему тратить на устройство лаборатории, на закупку приборов и реактивов, на ведение отчетности, на множество дел, которые отвлекали его не только от занятий музыкой, но и от научной работы.

В письмах к жене он то и дело упоминает об этих хлопотливых и утомительных делах:

«Теперь я по горло занят устройством лаборатории, сдачею вещей и приведением в порядок лабораторного имущества...»

«Теперь куча хлопот с лабораториею и заказами относительно внутреннего устройства».

«У меня нынче самая лихорадочная деятельность и самая разнообразная: некогда, что называется, носу вытереть. Зато просто не видишь, как время идет. Придет суббота — удивляешься, куда это неделя девалась; все кажется, что вчера был понедельник. Удалось (кажется) отстоять суммы лабораторные, которые должны идти взамен материалов из аптечного магазина. Дело в том, что мне удалось добыть все счета магазина и бюджет наш из Медицинского департамента. Я все перечислил, сравнил справочные цены с каталогом и прейскурантом дрогистов, и мне удалось таким образом изобличить крупные мошен-

ничества. Поэтому я теперь держу их в руках. Всю неделю только и возился с этим. Теперь предстоят заказы, заграничные и здешние; сдача негодных вещей и проч. Возня — страх! А тут надобно писать два мемуара для Бюллетеня Академии наук; надобно кончать лабораторные работы некоторые; нужно устраивать мою лабораторийку... И за всем надобно свой глаз. Зато помещение — прелесть. Сколько удобств! Можно будет работать вдвое больше и вдвое скорее».

Эти слова — «работать вдвое больше и вдвое скорее» — яснее всего говорят о том, как много хотелось сделать Бородину и как ему не хватало времени.

У него бывали праздничные дни, но не было праздных дней.

«Свое рождение (не помню даже 36-е или 37-е) я провожу так: встал раным-рано, в $6^1/_2$ часов, писал до 10 всякие бумаги в конференцию: счета, отчеты, донесения, словом, все, за что получаю царское жалование. В 10 побежал в академию; от $10^1/_2$ до 12 читал лекцию, потом экзаменовал будущих эскулапов, которые на этот раз оказались совершеннейшими олухами, обещая оставаться таковыми и впредь. В час, перехватив кое-что (2 яйца и чаю—малую толику) побежал в «совет нечестивых»— сиречь в конференцию. Слушал, слушал и слушал, от часу до шести, так что уши заболели и живот подвело от голоду. Вот она, служба-то!»

Александр Порфирьевич не случайно называет конференцию «советом нечестивых». В его письмах к жене все чаще и чаще попадаются фразы о бурных заседаниях, о «перепалках», о том, что «разные кляузы академические портят расположение духа».

Борьба, которая шла в академии, была проявлением того, что происходило за ее стенами.

В стране усиливалась реакция, и это сказывалось во всем. Участились аресты и ссылки, все строже делалась цензура. Это особенно стало заметно после покушения Каракозова на Александра II.

Недавние либералы, которых Чернышевский называл «болтунами», боялись теперь и слово вымолвить о политике.

Кропоткин рассказывает, что, когда в обществе кто-нибудь из молодых людей заводил речь даже не о внутренних делах, а о политическом положении во Франции, старшие торопились оборвать этот «неприличный» разговор громким вопросом:

— А кто был, господа, на последнем представлении «Прекрасной Елены»?

Или же:

— А какого вы, сударь, мнения об этом балыке?

Мода на реформы, на «радикальные» убеждения прошла.

Давно ли президент Медико-хирургической академии Дубовицкий считался либералом и поддерживал на конференциях прогрессивную партию?

Реакция оказала свое действие и на него. Вместо того чтобы заботиться, как прежде, об устройстве новых институтов и лабораторий, он все свое внимание обратил на внешнюю форму и военную муштру. Появляясь в академии, он распекал студентов: одного за то, что тот не так стоит, другого за то, что он не так сидит или «непочтительно держит руки».

Доставалось и профессорам. Бородин тоже получил както замечание:

— Лучше бы вы пришли в форме, теперь времена такие строгие.

Бородин «в пику президенту» на другой же день явился в полной парадной форме, которую полагалось надевать в особо торжественных случаях.

Он пишет, что едва только возложил на себя «амуницию», как от него во все стороны распустилось сияние: «можно с меня было писать картину Преображения, вроде Рафаэлевской; сияет воротник, сияют обшлага, сияют шестнадцать пуговиц, как звезды, сияют эполеты (убийственно!), как два солнца, сияет темляк, сияет околыш кепи, одним словом — «ваше сиятельство» да и только».

На конференциях Дубовицкий выступал теперь против передовой партии, к которой принадлежали Зинин и Бородин.

В 1867 году Дубовицкий был назначен военно-медицинским инспектором. Но и на этом посту он продолжал поддерживать в академии реакционеров.

Каждый раз, когда избирали нового профессора, начинались горячие споры между обеими партиями. Дубовицкий не был членом конференции и не имел права голоса. Но, пользуясь своим положением, он всячески старался оказывать давление при выборах.

Напрасно профессора протестовали, говоря, что самое присутствие его «есть моральный гнет». Дубовицкий, ни-

мало не смущаясь, отвечал, что имеет право присутствовать во всех тех местах, которые ему подведомственны.

Студенты не оставались равнодушными к этой борьбе, к новым порядкам, которые вводило ретивое начальство и которые вызывали в памяти николаевские времена. Начались сходки, волнения.

В письмах Бородина к жене чувствуется тревога за студентов, которым грозили репрессии, за судьбу и права академии.

Начальство только о том и думало, как бы искоренить из академии «крамолу» и «вольный» дух. Но оно совсем не заботилось о том, чтобы в академии можно было заниматься науками в мало-мальски сносных условиях. В лабораториях и кабинетах вечно шел ремонт, а толку от него не было никакого. Академическое хозяйство было в полном беспорядке.

Бородин любил академию, но у него вырывались иногда горькие слова: «Проклятое гнездо — эта академия наша! Ничего-то путно не умеют сделать».

Люди, стоявшие у кормила власти, не умели ценить больших ученых, не умели беречь их время. Зинину и Бородину некогда было и вздохнуть, а их заваливали такими делами, которые только мешали им делать то, чего никто, кроме них, не мог бы сделать.

Разве нужно было быть Бородиным, чтобы заниматься проверкой счетов, заказами, уборкой лаборатории? И это еще были обычные занятия, а иногда появлялись и непредвиденные.

Однажды в лаборатории Бородина появился высокопоставленный гость — герцог Лейхтенбергский. Молодой герцог отличался любознательностью. Это было бы только похвально, если бы он был просто любознательным юношей. Но этот юноша принадлежал к царствующему дому, и его любознательность доставила немало хлопот Зинину и Бородину. Зинину, который был уже далеко не молод и болен, пришлось совершить в свите герцога утомительное путешествие по Уралу. А у Бородина прибавилось немало работы в академии. Герцог проводил у него в лаборатории часа четыре и исчезал. И профессору приходилось доделывать анализы, начатые «августейшим» учеником: фильтровать, выпаривать, высушивать, наводить литературные справки, вычислять данные опыта.

Начальство преисполнилось к Бородину особенного почтения, Бородин шутил:

— Можно подумать, что я издаю от себя запах великого князя, остающийся у меня вследствие частого посещения высокого гостя.

Шутки шутками, а возня с герцогом отнимала у него целые утра, чуть ли не целые дни. А дни эти были ему так нужны!..

А. П. Дианин писал потом: «Когда вспоминаешь, до какой степени Александр Порфирьевич был завален всякого рода делами, не имеющими никакого отношения ни к профессуре, ни к музыке, делается до слез обидно, что так безжалостно, бесцеремонно расхищалось его драгоценное время».

И все-таки, несмотря на все, Бородин успевал и посещать концерты вместе с Екатериной Сергеевной, когда она чувствовала себя лучше, и встречаться с Бутлеровым, Менделеевым, Зининым, Балакиревым, Стасовым, Римским-Корсаковым и другими друзьями по науке и искусству.

Его химическая работа шла успешно, как никогда. Но «Князь Игорь» не двигался вперед. Это был слишком большой замысел, чтобы его можно было осуществить между делом.

Чем больше раздумывал об этом Бородин, тем яснее ему становилось, что для такой огромной задачи у него просто не хватит времени. И это не могло не вызывать у него охлаждения к тому, что так недавно его увлекало. Он писал жене:

«Куда мне, в самом деле, связываться с оперой! Труд и потеря времени громадная; постановка неверна еще, да если и постановят, то где мне возиться с целым ворохом мелких хлопот, неприятностей, с дирекцией, с артистами и репетициями?..»

Вызывал в нем сомнение и самый план оперы.

«Драматизма тут мало,— писал он,— движения сценического почти никакого. Наконец, сделать либретто, удовлетворяющее и музыкальным и сценическим требованиям, не шутка. У меня на это не хватит ни опытности, ни уменья, ни времени. Успех оперы ничем не обеспечен. Ошибочное третирование сюжета с драматической и сценической стороны может открыться только впоследствии, и поправить дело будет так же трудно, как и в «Ратклифе». Ко всему этому я пришел после многих попыток сделать несколько номеров из тех материалов, которые имелись в готовности... Притом же, я по натуре лирик и симфонист, меня тянет к симфоническим формам. Пока подо-

жду и буду писать, что будет писаться, не задаваясь никакою большою задачею».

Все эти, такие рассудительные, доводы должны были убедить не столько Екатерину Сергеевну, сколько самого Александра Порфирьевича. За рассудительным тоном скрыто волнение, скрыты мучительные сомнения многих дней. Нужно было временно отступить на одном фронте, чтобы продолжать наступать на других.

Отречение от «Игоря» было неожиданным и тяжелым ударом для Стасова. Сколько пылу, сколько труда он вложил в этот замысел! Он уже видел впереди великую оперу — «Князя Игоря», родного брата «Руслана». И вдруг все рухнуло!

Вот что рассказывает об этом сам Стасов:

«...Как ни сильно пленен был первоначально Бородин этим сюжетом, как ни великолепны были первые нумера, им сочиненные для оперы... через год он к нему совершенно охладел, сколько я ни пытался воодушевить его снова к опере, сколько ни напоминал все, что там прежде так нравилось ему. Все было тщетно. Много наших свиданий прошло совершенно понапрасну, у Бородина заметна была неохота даже и говорить об этом сюжете. В ближайшем его антураже (именно от самой его жены, К. С. Бородиной) мне тогда случалось не раз слышать такого рода рассуждение, что «теперь не время сочинять оперы на сюжеты глубокой, полусказочной древности, а надо брать для оперной сцены сюжеты современные, драмы из нынешней жизни». Сомневаюсь, чтоб Бородин разделял это воззрение: он — урожденный эпик, страстный поклонник «Руслана»,— но во всяком случае такие суждения, много раз повторяемые, могли действовать на него расслабляющим и удручающим образом. Никакие мои уговаривания и споры не помогали, Бородин был непреклонен, а когда я горько жаловался на напрасную пропажу чудного музыкального «материала», уже созданного им для «Игоря», он отвечал: «А насчет этого не беспокойтесь. Материал не пропадет. Все это пойдет во 2-ю мою симфонию».

Не только Стасов, все музыкальные друзья Бородина были огорчены отречением от «Игоря». Они возмущались тем, что он так много времени тратит на академические дела, на научную работу и так мало занимается своим прямым делом — музыкой.

Как-то у сестер Пургольд исполнялись романсы Бородина. Все восхищались этими романсами и стыдили авто-

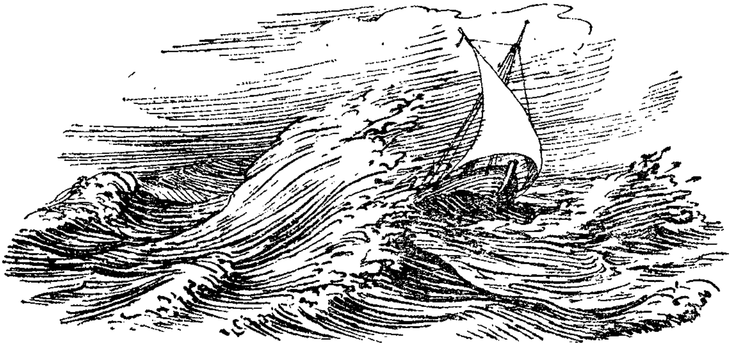
ра за то, что он «не производит ничего нового по музыкальной части».

Бородин писал жене: «Наши музикусы меня все ругают, что я не занимаюсь *делом* и что не брошу *глупостей*, т. е. лабораторных занятий и пр. Чудаки! Они серьезно думают, что кроме музыки не может и не должно быть другого серьезного дела у меня. Милий тебе, вероятно, будет ругать меня».

А вот несколько строк из следующего письма:

«...У меня теперь лабораторный стих: иногда часов до 12 и долее не могу уйти из лаборатории. Зато к ночи так умаюсь, что просто беда. Музыка теперь совсем в загоне. Решительно нет времени. Милий и музикусы на меня сердятся, и первый даже как будто дуется немного».

Но друзья Бородина напрасно сердились; отречение от «Князя Игоря» не было отречением от музыки. В то самое время, когда они ругали его в глаза и за глаза за то, что он не занимается «делом», он уже работал над произведениями, которые превзошли все, что он создал прежде.



Глава двадцать четвертая

ПОБЕДА ВОЙСКА И ПОРАЖЕНИЕ ПОЛКОВОДЦА

В конце 1869 года Бородин, воспользовавшись зимними каникулами, поехал в Москву, к Екатерине Сергеевне.

Едва только он оторвался от всех своих петербургских дел и забот, как музыка снова захватила его.

Как раз в это время в Москве оказался Римский-Корсаков. Они встретились, и Бородин сразу же захотел поделиться с другом своей новой вещью, которую он только что сымпровизировал.

Это была баллада, отличавшаяся от всех других баллад своим реалистическим, современным содержанием. Ее героем был не витязь древних времен, а молодой политический изгнанник. Возвращаясь домой, он гибнет во время бури у самых берегов желанной отчизны.

В фортепианном сопровождении слышен тревожный, грозный рокот валов, набегающих друг на друга. Это голос стихий. Но с этой темой борется другая, выраженная в вокальной партии. В ней звучит вызов слепым и жестоким силам, которые преграждают путь человеку.

Смелый пловец гибнет. И все-таки в балладе нет пессимизма: она проникнута верой в человека, дерзающего вступать в единоборство с могучими силами природы.

Позже Бородину пришлось изменить первоначальный текст и превратить политического изгнанника просто в молодого пловца, который едет домой с богатой добычей. Это вынужденное изменение сюжета уводило балладу в прошлое. И все-таки каждому было понятно, что речь идет о настоящем.

Вот слова баллады «Море», написанные самим Бородиным:

Море бурно шумит,
Волны седые катит,
По морю едет пловец, молодой и отважный,
Везет он с собою товар дорогой, непродажный.
А ветер и волны навстречу бегут
И пеной холодной пловца обдают.
С добычей богатой он едет домой;
С камнями цветными, с парчой дорогою,
С жемчугом крупным, с казной золотой,
С женой молодою.
Завидная выпала молодцу доля:
Добыча богатая, вольная воля
И нежные ласки жены молодой.
Море бурно шумит,
Волны седые катит.
Борется с морем пловец удалой, не робеет;
Казалось, он справится с бурной волной, одолеет.
Но ветер и волны навстречу бегут
И лодку от берега дальше несут.
Он силы удвоил, на весла налег,
Но с морем упрямым он сладить не мог.
Лодка все дальше и дальше плывет.
Лодку волною в море несет.
Там, где недавно лодка плыла,
Лишь ветер гулял и седая волна.

Вернувшись в Петербург, Бородин сыграл эту вещь Стасову. На Стасова она произвела огромное впечатление. «Он ужасно неистовствовал по поводу моего нового романса»,— писал Бородин.

А Стасов так отзывался об этой балладе:

«Романс «Море» — это высший из всех романсов Бородина, и, по моему мнению, самый великий, по силе и глубине создания, из всех, какие есть до сих пор на свете».

Но не только Стасов — весь кружок был в восторге от баллады.

Бородин писал жене:

«Произведение это ценится строгими ценителями крайне высоко. Многие, в том числе и Балакирев, считают его выше «Княжны», а это очень много. В самом деле, вещь вышла хорошая: много увлечения, огня, блеску и мелодичности, и все в ней очень «верно сказано» в музыкальном отношении. А я, признаюсь, боялся за эту штуку; все думал, что выйдет коряво, неловко и пр. Вышел эффект совершенно неожиданный. Балакирев и Кюи в восторге. А о Корсиньке и Мусоргском нечего и говорить. Пур-

гольдцы с ума сходят от этой вещи. Бах — неистовствует до последней степени; басит мне всякие комплименты...

Штуку эту я посвятил Баху, во-первых, потому что он главным образом интересовался и неистовствовал до появления ее в писанном виде; во-вторых, потому что я хотел смягчить удар, нанесенный решительным отказом и отречением писать «Игоря».

Но Стасова и других друзей Бородина ожидала еще большая радость. Отказавшись от «Игоря», он весь свой пыл перенес на Вторую симфонию. Пусть захлестывали его волны житейского моря. Как герой баллады,

> Он силы удвоил, на весла налег.

А силушка у него была богатырская. Недаром Стасов называл его: «силач Бородин».

Он отказался от мысли писать оперу. Но он не мог и не хотел изгнать из своей памяти те поэтические образы, которые вызвало в нем чтение «Слова о полку Игореве» и былин.

Еще в конце XVIII века Кирша Данилов составил сборник «Древние российские стихотворения». Изучению былин положил начало Белинский. В шестидесятых годах, когда особенно усилился интерес к народу и его творчеству, стали появляться сборники былин, которые были завершением работы большого числа исследователей. Былины собирали и записывали Киреевский, Рыбников, Гильфердинг и многие другие.

Здесь, в этих сборниках, Бородин нашел истоки той эпической поэзии, которая так восхищала его в «Руслане» Пушкина и Глинки. Упивались былинами и его товарищи. Недаром Римский-Корсаков еще в 1867 году создал свою симфоническую картину «Садко».

Былины — это был как раз тот материал, который так нужен был Бородину и так хорошо отвечал его дарованию. Когда он их читал, воображение рисовало перед ним сказочный, великанский мир.

Он видел богатырские заставы, охраняющие мирную земледельческую Русь от воинственных кочевников:

> А как едут богатыри по чисту полю,
> Еще мать — сыра земля да потрясается,
> А в реках-озерах вода колыбается.

Он видел, как бьются русские богатыри с великой ордой, которая поднялась, как темная туча, с восточной стороны.

Все богатыри — сильные, могучие, а сильнее всех старый казак Илья Муромец.

Скоро старый на коня вскочил,
И затрубил старый во турий рог;
И сомутилися у старого очи ясные,
И разгорелось у старого ретиво сердце;
Не увидел старый свету белого,
Не узнал старый ночи темные;
И расходились у него плечи могучие,
И размахались руки белые,
И засвистела у него палица боевая.

Бородин так ясно представлял себе «пированьице — почестен пир у ласкова князя у Владимира» и буйное молодецкое веселье на этом пиру, как будто сам там был, мед-пиво пил.

И все эти образы, ожившие в его воображении, требовали своего воплощения в музыке.

Величавый эпос былин и «Слова о полку Игореве» был по душе этому лирику и симфонисту, как он сам себя называл. Недаром его «Песня темного леса» звучала как былина о том, как «на расправу шла волюшка, города брала силушка».

Эту песню Стасов предлагал назвать «Песней Ильи Муромца» и говорил, что в ней есть «что-то богатырское, дремучее, точь-в-точь два первых бурлака у Репина». От «Песни Ильи Муромца» вела прямая дорога к симфонии, которую тот же Стасов назвал «Богатырской».

Давно ли Бородин решил, что не будет задаваться большими задачами, а будет писать то, что пишется? И вот уже он снова берется за громадную задачу — пишет симфонию. Большому кораблю — большое плаванье.

Не один год жизни отдал Бородин этой симфонии. Но когда мы слышим ее сейчас, нам кажется, что она была создана в едином порыве вдохновения,— настолько это цельная вещь.

Слушать музыку можно по-разному. Бывает, что наше внимание занято тем, как одна музыкальная тема сменяет другую, как они повторяются и в то же время звучат каждый раз по-новому, как они борются между собой и дополняют одна другую, вызывая в нас то радость, то печаль, призывая нас к борьбе и действию или давая нам отдых и умиротворение.

А иногда мы не только слушаем, но и видим при этом смену зрительных образов, картин, которые проходят перед нами и исчезают, словно сновидения.

При этом у нас часто нет уверенности, видим ли мы как раз то, что хотел нам показать автор.

И мы испытываем благодарность по отношению к Бородину, который сам дал нам ключ к пониманию Второй симфонии. Он рассказывал Стасову, «что в анданте он желал нарисовать фигуру «Баяна», в первой части — собрание русских богатырей, в финале — сцену богатырского пира при звуке гусель, при ликовании великой народной толпы».

Но если бы даже у нас не было этого ключа, мы все равно могли бы догадаться о содержании симфонии,— до такой степени она красочна, картинна. Недаром Стасов сравнивал произведения композитора Бородина с произведениями художника Репина.

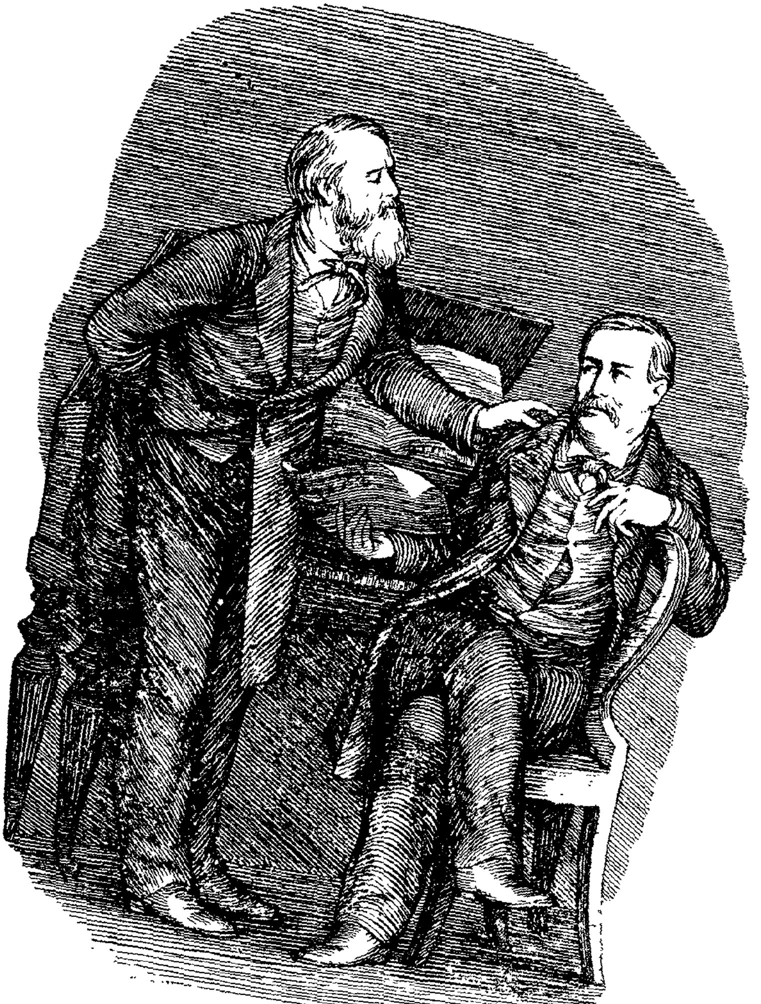
Всякая симфония по своему историческому происхождению восходит к оперной увертюре. А здесь это родство чувствуется особенно сильно. Как такой вещи не быть программной, когда она кажется оперой, исполняемой при еще не поднятом занавесе!

Так звучит симфония сейчас, когда мы слышим ее целиком. А товарищи Бородина были в худшем положении. В 1870 году они услышали только первую часть. И им нужно было проявить немало терпения, чтобы дождаться продолжения.

В одном из писем к жене Бородин рассказывает о том, как он впервые играл начало своей симфонии Римскому-Корсакову.

«Корсинька живет теперь один, занимает комнату за 11 рублей. Он обрадовался мне неописанно. Велел тотчас же поставить самовар и начал сам чайничать и преуморительно: длинный, в партикулярной жакетке, неловкий и весь сияющий от радости, он размахивал руками, кричал, заваривал чай, раздувал самовар и наливал. Умора! Мне ужасно жаль, что ты не могла его видеть.

Мы засели с ним играть: сначала две прелестные фуги Баха, из которых одной я не знал вовсе (до-диез минор во второй тетради). Ужасно хороша. Это меня очень освежило после всех хлопот и суеты деловой. Затем он мне сыграл твой романс. Потом я ему наигрывал новую симфоническую вещь, которую я теперь стряпаю (ту, что наигрывал в Москве). Корсец неистовствовал и говорил, что это самая сильная и лучшая из всех моих вещей. Так кричал и размахивал руками, оттопыривал нижнюю губу, мигал и подыгрывал, то бас, то дискант. Кроме того, мы



еще кое-что просмотрели. От него я думал отправиться к дяде в час. Только слышу — бьют часы... Считаю: раз, два, три, четыре! Это с половины десятого-то! А между музыкою мы не забывали пропускать чаи и усидели вдвоем два самовара! Я давно так всласть не музицировал и не пил так много чаю».

Весть о новой симфонии сразу же облетела весь кружок. Давно ли музыкальные друзья Бородина сердились на него, считая его чуть ли не отступником? И вот он снова завоевал их сердца.

«Милий уморителен,— рассказывает Александр Порфирьевич в письме к Екатерине Сергеевне.— Я тебе писал, что он давно дуется на меня и явно сух, сердит и порою придирчив ко мне. Прихожу к Людме,— Милия узнать нельзя: раскис, разнежился, глядит на меня любовными глазами и, наконец, не зная, чем выразить мне свою любовь, осторожно взял меня двумя пальцами за нос и поцеловал крепко в щеку. Я невольно расхохотался! Ты, разумеется, угадала причину такой перемены: Корсинька рассказал ему, что я пишу симфоническую штуку, и наигрывал ему кое-что из нее».

Как хорошо эта сценка передает отношения, которые существовали в кружке! Пусть эту кучку людей окружали непонимание и вражда. Они были сильны своей сплоченностью. В их среде было так много настоящей любви, настоящего внимания друг к другу, что у каждого из них было ради кого и ради чего работать: успех одного был общим успехом, общим праздником.

«Между прочим, был и у Корсиньки,— пишет Бородин.— Пил у него чай и просидел с часок, наигрывая ему мою новую штуку, от которой он в восторге. Штука эта вообще производит шум в нашем муравейнике. Кюи прибежал нарочно утром рано, чтобы послушать ее. Пургольдша уже наигрывает оттуда кое-что, ибо Корсец ее кое с чем познакомил из этой штуки».

Е. Д. Стасова вспоминает, с каким наслаждением Владимир Васильевич слушал Богатырскую симфонию, сидя в кресле, закрыв глаза и отмечая указательным пальцем характерные акценты.

Но товарищи умели не только хвалить друг друга — они подталкивали отстающих, сердились за промедление. И самым большим «толкателем» был Стасов. Он не переставал тормошить тех, кто, по его мнению, ленился, вселять бодрость в уставших, буквально «воскрешать» больных.

Бедному Бородину, который был занят по горло, приходилось не раз краснеть, как школьнику, не выучившему урока, когда Стасов, или Римский-Корсаков, или еще кто-нибудь из товарищей спрашивал его, как подвигается Вторая симфония.

Зато как радовался Бородин, когда мог показать им что-нибудь новое!

«Только что пришел от Корсиньки и Модиньки, показывал им партитуру симфонии. Разумеется, они очень довольны. Они мне также показывали свои партитуры оперные».

«У меня были Модя, Корся, Н. Лодыженский, которые все с ума сходят от финала моей симфонии; у меня только не готов там самый хвостик. Зато средняя часть вышла бесподобная. Я сам очень доволен ею: сильная, могучая, бойкая и эффектная».

В этих письмах к жене Бородин мог, не боясь показаться нескромным, со всей непосредственностью и искренностью радоваться собственной удаче. Так Пушкин восклицал, когда был доволен своей работой: «Ай да Пушкин, ай да молодец!»

Но не меньше радовали Бородина удачи товарищей.

Как-то на маленьком музыкальном собрании у Стасова исполнялся вальс Щербачева, молодого пианиста и композитора, который примкнул к кружку. Стасов писал своей племяннице, что Бородин радовался и восхищался этим вальсом, «как только может славная и чистая душа его».

Щербачев был очень талантлив, но ему было дано больше, чем он дал сам: он не сумел оправдать больших надежд, которые возлагали на него товарищи.

И таким же одаренным, но недостаточно волевым и целеустремленным человеком был и другой молодой композитор — Лодыженский, который создал прекрасные импровизации, но оставлял их большей частью незаписанными.

Если Бородин так горячо относился к произведениям молодых членов кружка, то как должны были волновать его победы старых соратников — Мусоргского, Римского-Корсакова, Кюи!

Мусоргский и Римский-Корсаков жили в 1871 году вместе. Об этом их совместном житье-бытье с большой теплотой вспоминал через много лет Стасов:

«Никогда не забуду того времени, когда они, еще юноши, жили вместе в одной комнате, и я, бывало, приходил к ним рано утром, заставал их еще спящими, будил их,

поднимал с постели... Мы пили вместе чай, закусывали бутербродами с швейцарским сыром, который они так любили, что Римского-Корсакова и меня часто товарищи звали «сыроежками». И тотчас после этого чая мы принимались за наше главное любезное дело — музыку, начиналось пение, фортепиано, и они мне показывали с восторгом и великим азартом, что у них было сочинено и понаделано за последние дни, вчера, третьего дня. Как это все было хорошо, но как это было давно».

В этой комнате на Пантелеймоновской фортепиано не умолкало с утра до вечера, а то и до поздней ночи. До двенадцати часов дня им пользовался Мусоргский, а Римский-Корсаков в это время переписывал или оркестровал что-либо. Потом Мусоргский уходил на службу, а Римский Корсаков пользовался роялем. По вечерам вопрос о том, кому играть, решался «обоюдным соглашением».

Вот что писал Бородин жене о том, как он в сентябре 1871 года, вернувшись в Петербург с дачи, обходил своих друзей, чтобы узнать, что они успели за лето. Он знал, как волнуют Екатерину Сергеевну все музыкальные новости.

«В воскресенье, т. е. вчера, я отправился утром на Васильевский остров к Корсиньке. Оказалось, что он переехал и очень близко к нам — на Пантелеймоновскую. Я немедленно отправился туда и застал и Корсиньку и Модиньку — они живут теперь оба вместе в номерах. Оба были мне несказанно рады. От них я прошел к Кюи, который также мне очень обрадовался. У него и обедал. Вечером Модест был у нас. Все они много сделали за лето. Корсинька совсем кончил «Псковитянку»; Модинька множество переделал и прибавил в «Борисе»... И все это прелестно. Кюи написал целую сцену и три премилых хорика, из которых один просто мейстерштюк в хоровом роде. Сегодня Модя и Корся будут у меня производить все это».

«Модинька и Корсинька мне переиграли все, что они написали. Как теперь хорош «Борис»! Просто великолепие. Я уверен, что он будет иметь успех, если будет поставлен. Замечательно, что на немузыкантов «Борис» положительно действует сильнее «Псковитянки», чего я сначала не ожидал».

Среди «немузыкантов», которые восхищались оперой Мусоргского, была и Авдотья Константиновна. Как-то раз, когда Мусоргский в ее присутствии играл «Бориса»,

она была так взволнована, что не выдержала и после окончания игры расцеловала автора.

Читая письма Бородина, видишь, как наслаждался он новыми произведениями своих друзей и как радовался их успехам. Но совсем по-другому — с болью, с тревогой — пишет он о главе кружка.

Балакирева преследовали неудачи.

Он возлагал большие надежды на концерт в Нижнем Новгороде. По его расчетам, этот концерт должен был ему принести по крайней мере тысячу рублей. Но нижегородские купцы и чиновники не сумели оценить своего великого земляка. Выручка была смехотворно мала: всего одиннадцать рублей. Балакирев называл этот концерт своим «Седаном». «Хоть в Неву бросайся»,— говорил он друзьям.

Трудно было при таких обстоятельствах думать о продолжении борьбы с могущественным Музыкальным Обществом.

Ко всему этому присоединилось семейное несчастье — смерть отца.

Сказалось и тяжелое нервное заболевание, которое он перенес еще в двадцатилетнем возрасте и которое оставило в нем след на всю жизнь.

Балакирев стал мрачен, раздражителен.

Он переживал серьезный душевный кризис.

Человек, воспитанный на произведениях Белинского и Чернышевского, атеист и радикал, стал суеверен, начал ходить по гадалкам и церквам.

Все это не могло не отразиться на его отношениях с товарищами. Он все больше отдалялся от кружка, который им же был создан.

Бородин писал Римскому-Корсакову летом 1871 года:

«Я страх боюсь, чтобы Милий не кончил тем же, чем кончил Гоголь. Пиетизм его весьма подозрительного свойства и не обещает ничего хорошего. Еще прискорбнее его непонятное охлаждение к музыкальному делу и к своим экономическим интересам. Что его ожидает в будущем? Страшно подумать!»

Бородин старался разобраться в причинах этой разительной перемены, которая произошла с Балакиревым на его глазах.

Прежде Милия Алексеевича интересовало не только каждое новое произведение товарищей, но и каждый их новый замысел. А теперь им овладела какая-то апатия.

Он уклонялся от встреч, он не проявлял ни малейшего желания узнать, что в кружке делается.

Конечно, годы изменили не его одного. Все члены кружка выросли, определились, нашли свой путь. Они уже не нуждались в постоянном руководстве. Балакирев не раз говорил Шестаковой: «Что мне слушать их вещи, теперь они настолько созрели, что я для них стал не нужен, они обходятся без меня».

Балакирев должен был бы радоваться: те, кому он отдал столько душевного жара, стали зрелыми мастерами. Но в том, как он говорил об этом, чувствовалась горечь. Он привык к тому, чтобы его слушались, и ему не по душе было сопротивление, которое все чаще оказывали ему эти питомцы, уже крепко стоявшие на своих ногах.

Ему нужны были начинающие композиторы, с которыми он мог бы возиться, как нянька с детьми. Но этих начинающих — Помазанского, Милорадовича, Щербачева — нельзя было и сравнить с первым «рекрутским набором». Русская увертюра, написанная Помазанским, была интересна. «Но все это Милий, Милий и Милий,— говорил Бородин.— Помазанского тут нет, как личности».

О старых товарищах Балакирев отзывался резко и подчас несправедливо. И они тоже были в обиде на него.

Стасов не мог ему простить, что он без всякой причины откладывал концерт, который должен был дать средства для постановки «Каменного гостя». И концерт из-за этого так и не состоялся. Римский-Корсаков был обижен равнодушием к «Псковитянке». Шестакову поражало безучастное отношение Балакирева к «Руслану»: он уговорил ее взять нарочно для него ложу, а сам просидел этот вечер у знакомых и на следующее представление тоже не пошел.

У каждого были свои причины для неудовольствия. Но все вместе с болью чувствовали, что пропасть между Балакиревым и кружком делается все шире.

Может быть, он оттого и избегал встреч с друзьями, что боялся объяснений и упреков. Особенно не хотелось ему встречаться со Стасовым.

Было время, когда они вместе читали с увлечением «Что делать?», когда Балакирев получал от Стасова такие записочки: «Приходите ко мне завтра поутру... почитаемте Добролюбова», или «Будем читать «Колокол» и толковать».

Куда там!.. Теперь Балакирев прислушивался к звону других колоколов: не пропускал ни одной обедни и всенощной, крестился на каждую церковь.

«Может быть,— писал Бородин жене,— отчуждению его причиною также странный и неожиданный поворот в пиетизм, самый фантастический, самый наивный... При этих условиях ему неприятно встречаться с обществом, которое не сочувствует всему этому».

«Если пойдет так, то легко может случиться, что он останется изолированным, а это в его положении равносильно моральной смерти. Мне, да и не одному мне, а и другим тоже глубоко жаль Милия, да что делать?»

Но Стасов был не из тех людей, которые мирятся с фактами. Он не мог спокойно смотреть на отдаление Балакирева от кружка, на странные перемены в его взглядах. При каждой представлявшейся возможности он старался образумить Балакирева. Где бы он его ни встречал, он сразу же напрямик, безо всяких церемоний заявлял, что ему непонятно, как такой умный человек может верить во всякий вздор.

Через много лет Стасов с неутихающей болью говорил об «отступниках», о тех людях искусства, которые из передовых, смелых новаторов превратились либо в ханжей, либо в ретроградов.

В. Д. Стасова, племянница Владимира Васильевича, приводит в своей книге отрывок из письма, в котором он писал: «И какой это скверный черт сыграл такую штуку, и кто поставил их сани на кривую дорожку и пихнул их злобно, со всей силы вниз — вот уж никогда не сообразишь».

Он все мог простить друзьям, кроме «кривой дорожки». Сам-то он всегда оставался верен революционно-демократическим идеалам Белинского и Герцена, Добролюбова и Чернышевского. Он был достаточно могуч, чтобы на протяжении многих десятилетий не уступать все возраставшему натиску реакции, которая не одного только Балакирева заставила отступить.

Можно было бы написать целую книгу о драме Балакирева. В 1871 году эта драма еще только начиналась.

Когда казалось, что он уже гибнет, он вдруг воспрянул духом, и его друзья снова с радостью увидели прежнего Милия Алексеевича.

В ноябре 1871 года Бородин писал жене:

«В будущую субботу концерт Бесплатной школы, Милий теперь весел, энергичен по-прежнему, хлопочет; спевки и репетиции идут деятельно».

Это должно было казаться воскресением из мертвых. Давно ли Стасов говорил о Балакиреве: «Нет, это совсем другой человек, передо мною был вчера какой-то гроб, а не прежний живой, энергичный Милий Алексеевич».

Сражение с Русским музыкальным обществом возобновилось с новой силой. Римский-Корсаков пишет:

«Объявлены были пять абонементных концертов Бесплатной школы с интересной программой. Балакирев был энергичен, но публики было недостаточно, денег не хватило, и пятый концерт состояться не мог. Война была опять проиграна; у Балакирева опустились руки».

Этот новый удар выбил Балакирева из колеи на много лет. К великому удивлению и огорчению друзей, он бросил музыку, перестал даже давать уроки и поступил на службу в магазинное управление на товарную станцию Варшавской железной дороги.

Стасов написал ему взволнованное, горячее письмо. Он не мог примириться с тем, что Балакирев «в самую сильную и могучую пору жизни сошел с высокого пьедестала и запер лавочку бог знает на сколько времени. С талантом и с искусством нельзя шутить!»

Балакирев отвечал, что ему нелегко было решиться бросить школу и концерты, но что легче заниматься службой, чем делать из искусства ремесло — давать фортепианные уроки.

Написал Балакиреву и Бородин. В его письме не было упреков, не было даже и намека на то, что наболело. Он обращался к Балакиреву как к старому другу, стараясь дойти до его сердца и заставить его почувствовать, что он не одинок:

«Обращаюсь прямо с вопросом, неужели Вы нас навеки покинули? Неужели никогда к нам не придете? Неужели же Вы не знаете и не хотите знать, что мы Вас горячо любим не как музыканта только, но как человека? Неужели я поверю тому, что Вы в самом деле не имеете времени настолько, чтобы заглянуть к Вашим добрым друзьям? Найдите время и приходите. Катя почти никогда не выезжает, я, кроме субботы и вторника, всегда дома. У нас почти никого не бывает».

«Почти никого» — это означало: никого из тех, с кем Балакиреву могло быть неприятно встретиться.

Но все попытки возобновить прежние отношения, вернуть Балакирева к жизни оказались тщетными. Балакирев был глух к призывам. Он ушел в магазинное управление железной дороги, как другие уходили в монастырь. Вот как он писал потом об этой поре своей жизни:

«Мы, верующие, руководимы известным изречением: «не так живи, как хочется, а так, как бог велит», а потому и покоряемся его святой воле. Не было благословения его на моей публичной деятельности, и я, хотя считался лучшим дирижером и за программу концертов Бесплатной муз. школы слышал только похвалы, но пришлось уйти с эстрады совсем и поступить на службу в магазинное управление Варшавской железной дороги, где я ревностно исполнял свои обязанности в продолжение двух или трех лет без ропота на свою судьбу».

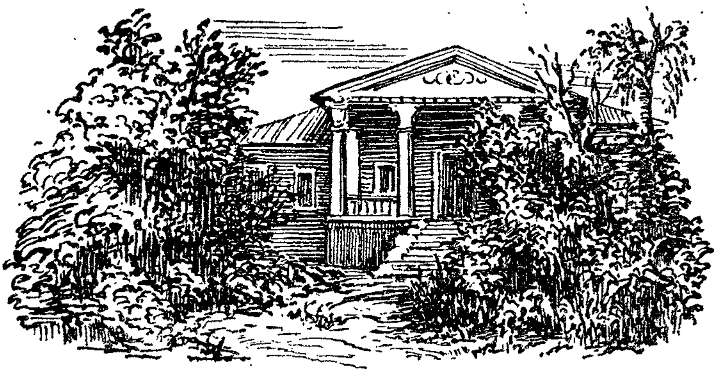
Обидно делается за Балакирева, когда читаешь это письмо. Где его прежняя гордость, где вера в возможности человека, которая так свойственна была и ему и его друзьям, последователям Белинского, Герцена, Чернышевского?

Эта гордость сломлена. Разве прежний Балакирев — в годы своего расцвета — написал бы такое письмо? «Не так живи, как хочется...» Надо было совершенно разувериться в себе, чтобы прийти к этому монашескому смирению.

Неравная борьба с враждебными силами довела и без того расшатанную нервную систему Балакирева до такого напряжения, которого он уже не в состоянии был выдержать. Перестав верить в себя, он бросился в другую крайность — поверил в силу гаданий и молитв.

Долго ли продолжался этот кризис и удалось ли Балакиреву вернуться к музыке, к Бесплатной школе, к друзьям — об этом будет идти речь в одной из следующих глав. А в тот момент, о котором мы говорим сейчас, балакиревский кружок остался без Балакирева. Полководец ушел в тот момент, когда он мог бы гордиться своим войском.

Богатырская симфония Бородина, «Борис Годунов» Мусоргского, «Псковитянка» Римского-Корсакова — разве это не было победой тех идей, которые с юных лет воодушевляли Балакирева!



Глава двадцать пятая

НОВЫЕ ЗАБОТЫ И НОВЫЕ РАДОСТИ

О России семидесятых годов хорошо говорит Бородин в одном из своих писем к Стасову. Это письмо он написал из села Соколова Костромской губернии, где проводил лето:

«Усадьба, приютившая меня,— обломок дореформенной Руси, остаток прежнего величия помещичьего житья-бытья — все это поразвалилось, покосилось, подгнило, позапакостилось. Дорожки в саду поросли травою, кусты заросли неправильно, пустив побеги по неуказанным местам; беседки «понасупились», и «веселье» в них «призатихнуло». На стенах висят почерневшие портреты бывших владетелей усадьбы — свидетелей и участников этого «веселья»; висят немым укором прошлому, в брыжах, в париках, в необъятных галстухах, с чудовищными перстнями на пальцах и золотыми табакерками в руках или с толстыми тростями, длинными, украшенными затейливыми набалдашниками. Висят они, загаженные мухами, и глядят как-то хмуро и недовольно. Да и чем быть довольным-то? Вместо прежних «стриженых девок», всяких Палашек да Малашек — босоногих дворовых девчонок, корпящих за шитьем ненужных барских тряпок,— в тех же хоромах сидят теперь другие «стриженые девки»,— в Катковском смысле «стриженые» — сами барышни, и тоже корпят, но не над тряпками, а над алгеброй, зубря к экзамену для получения степени «домашней наставницы», той самой «домашней наставницы», которую прежде даже не сажали за

стол с собой. Да, tempora mutantur, времена переходчивы! И в храминах, составляеших гордость российского дворянского рода, ютятся постояльцы, с позволения сказать,— профессора, разночинцы и даже хуже. К сожалению, тяжелая рука времени налегла не на одно это в усадьбе, но и на барские клавесины — дерево покоробилось, косточки пожелтели, струны позаржавели, молоточки поломались. Вместо чинных менуэтов и всякой иной музыки «в париках и фижмах»,— фортепьяны сделали непривычное усилие передать современное музыкальное бесчинство,— захрипели и замолкли, оказавшись вполне несостоятельными».

В эти годы — во времена «хождения в народ», «домашних наставниц» и профессоров-разночинцев — в жизнь Бородина, и без того заполненную до отказа трудом и заботами, вошло еще одно дело — борьба за высшую женскую школу.

Бородин и прежде был убежденным сторонником женского образования. Несмотря на то, что по уставу Медико-хирургической академии в нее не разрешалось принимать женщин, несмотря на строгий приказ военного министра о недопущении их на лекции и на практические занятия,— в лаборатории Бородина они находили дружеский прием. И это тогда, когда в гостиных еще шли глубокомысленные споры о том, способна ли женщина заниматься науками и достаточен ли для этого объем ее мозга! В газетах появлялись статьи под такими названиями: «Могут ли женщины быть врачами», «Могут ли девицы посещать публичные лекции по физиологии и прилично ли это?»

Некоторые находили, что женщине нельзя быть медиком, потому что у нее дрогнет рука при операции. Были и такие, которые считали, что она и вообще не может и не должна заниматься тем трудом, какой обычно возлагается на представителей «сильного пола». В виде исключения женщинам — так и быть! — благосклонно разрешали быть булочницами, ибо «всякая стряпня противна природе мужчин», или советовали поступать на работу к портным, башмачникам, шляпочникам, перчаточникам.

Когда жена химика Энгельгардта поступила в книжный магазин, это вызвало смятение в артиллерийской бригаде, где служил ее муж. Некоторые офицеры настаивали даже на том, чтобы просить его уйти в отставку.

Нашим теперешним женщинам — врачам и химикам, геологам и архитекторам — показались бы странными и бес-

смысленными доводы противников женского образования, женской самостоятельности.

Никто из нас не удивляется, видя женщину за кассой. Смешно было бы удивляться! А в 1863 году автор «Внутреннего обозрения» в журнале «Современник» называл «великим делом в общественной жизни» то, что на Московско-Нижегородской железной дороге женщину приняли на службу кассиром. Автор хвалил директора дороги за то, что тот не побоялся поступить «вопреки общему предрассудку относительно женщин».

В светском обществе называли «синим чулком» каждую девушку, которая позволяла себе читать газеты и ходить без провожатых в музей.

Но, несмотря на все предрассудки и преграды, сотни девушек упорно стремились к труду и к образованию. Это давалось им нелегко. Они ссорились с родителями и уходили из дому, они фиктивно выходили замуж, чтобы обрести таким способом хоть какую-нибудь самостоятельность.

Они хотели учиться, чтобы, получив образование, приносить больше пользы народу. Вся передовая молодежь того времени только и думала о том, чтобы послужить народу.

Девушек не принимали в высшие учебные заведения. Они тайком пробирались в анатомический театр, чтобы поработать у профессора Грубера, они проникали «контрабандой» на лекции Сеченова и Боткина, они работали в лаборатории у Бородина.

Старик Грубер был суровый экзаменатор. Но и он совершенно оттаял, когда его ученицы прекрасно сдали экзамен, хотя он задавал им вопросы по-латыни.

Об этом экзамене узнали из газет власти. Военный министр потребовал объяснений от главного военно-медицинского инспектора Козлова: кем и когда было разрешено профессору Груберу допускать женщин к занятиям и даже экзаменовать их, и притом не отдельно, а вместе со студентами?

Козлов в свое оправдание указал, что для женщин отведена особая препаровочная, что они занимаются отдельно от студентов, а к лекциям и вообще не допускаются. Он добавлял, что счел бы недостойным скрыть от военного министра, что пять женщин занимаются химией в совершенно отдельном помещении химической лаборатории.

Дома — на родине — доступ к науке был затруднен. И вот женщины начинают уезжать одна за другой за гра-

ницу. Их вдохновил пример Сусловой, которая окончила медицинский факультет в Цюрихе и стала первой в России женщиной-врачом. К таким студенткам правительство относилось с особым недоверием, подозревая, что они в Швейцарии набираются «вредного духа» в кружках политических эмигрантов. Когда Суслова вернулась домой, ее сразу же взяли под надзор полиции.

Невесело было русским женщинам покидать родину и уезжать в далекую Швейцарию учиться. Они всячески добивались если не доступа в университеты, то хотя бы открытия особых женских курсов.

Однажды к Бородину зашел Сеченов и сообщил ему чрезвычайно интересную новость.

Вот что писал об этом Бородин жене:

«Меня приглашают профессором химии в женский университет (или что-то вроде этого). Сегодня приходил Сеченов с предложением со стороны комитета. Лекции будут читаться женщинам в стенах нашей академии частью университетскими профессорами, частью нашими (Сеченов, Хлебников, я). Подробности об этом я узнаю в воскресенье на заседании комитета».

Собрались на квартире у М. В. Трубниковой, которая была душой всего дела. Дочь декабриста Ивашева, необыкновенно образованная и умная женщина, она все силы отдавала делу женского образования.

Из конца в конец большой комнаты был поставлен длинный стол. По одну сторону стола сели профессора; их пришло немало — сорок три человека. Напротив разместились женщины во главе с М. В. Трубниковой, А. П. Философовой и Н. В. Стасовой. Сестра Владимира Васильевича была такой же горячей общественной деятельницей, как ее брат.

Сеченов, избранный секретарем собрания, предложил учредительницам высказать свои пожелания.

После того как представительницы женщин высказались, выступил Менделеев. От имени профессоров он поблагодарил за доверие и сразу же перевел дело на практическую почву. Этот великий теоретик был и практиком: он понимал, как надо браться за дело.

— На какие деньги,— спросил он,— предполагаете вы соорудить целый женский университет?

Женщины несколько смущенно ответили, что денег у них нет, но что они рассчитывают на ту плату, которую

будут вносить слушательницы. Это может составить три тысячи или даже шесть тысяч в год.

Смущение учредительниц еще больше усилилось, когда они заметили улыбки, которые не могли скрыть некоторые из профессоров.

— Как! — сказал Менделеев.— Вы затеваете миллионное дело, а у вас предвидится всего шесть тысяч в год?

Один из профессоров возразил, что дело можно начать не сразу, а понемногу. Кто-то предложил обратиться за субсидией к правительству. Но большинство высказалось против такого обращения, которое вряд ли нашло бы отклик.

Стали высчитывать расходы, и сразу возник вопрос о профессорском гонораре. Сеченов предложил ответить на этот вопрос закрытыми записками.

Когда стали одну за другой вскрывать эти записки, оказалось, что все они написаны точно по одному образцу. Все сорок три профессора, не сговариваясь, ответили одно и то же: «Первый год даром».

Учредительницы были и тронуты и сконфужены. Они пробовали протестовать. Начались долгие споры. И, наконец, было решено, что остаток денег за вычетом всех расходов будет передаваться профессорам, а они уже сами распределят его между собой.

Вслед за этим был составлен проект прошения на имя графа Толстого — министра народного просвещения.

Учредительницы высказывали в этом прошении скромное желание: открыть курсы с той целью, чтобы хорошо образованные матери могли правильно выполнять лежащие на них обязанности — воспитывать своих детей,— а также преподавать в старших классах женских гимназий.

Уходя домой, Бородин испытывал разочарование. Он думал, что разговор будет идти о конкретных вопросах преподавания, а рассуждали всего еще только «о проекте прошения для исходатайствования дозволения читать женщинам лекции».

Прошел целый месяц, прежде чем учредительницам курсов удалось попасть на прием к министру. Вместе с ними пошел и профессор А. Н. Бекетов.

Министр был в полной парадной форме — он собирался во дворец.

— Наконец-то вы приехали,— сказал он, словно забыв о том, что сам не спешил с аудиенцией.— Я все слышу

со всех сторон, что открывается женское заведение, даже государь меня спросил как-то: «У тебя открывается женский университет?» А я ничего не знаю. Что вам угодно?

Н. В. Стасова передала министру прошение и изложила дело.

— А деньги? — спросил министр.— Вы говорите, что денег нет, и хотите содержать университет только сборами со слушательниц! Да ведь это немыслимо. Ведь каждый профессор получает три тысячи в год... Министерство субсидии не может дать никак.

На это Бекетов заявил, что о профессорах нечего заботиться, это будет улажено. Он ни одним словом не обмолвился о том, что профессора решили читать даром, и добавил только, что университет уполномочил его просить у министра разрешения и содействия.

— Это затея вашего кружка,— сказал Толстой, обращаясь к дамам.— Этого совсем не надо для женщины. Она выйдет замуж, и все науки в сторону.

Стасова в ответ указала на сотни подписей.

— Да все это бараны! — не очень-то вежливо сказал министр.— Вы запевалы, а им все равно, куда идти. Новость, вот и все... Должен вам сказать, что, наверное, император не разрешит университета. Все, что можно будет устроить,— это публичные лекции.

С этим делегация и ушла. Публичные лекции вместо женского университета — это было немного. Но прошло еще два года, прежде чем удалось, наконец, после всяческих хлопот открыть эти публичные лекции, которые читались по вечерам четыре раза в неделю женщинам и мужчинам вместе.

Первые Высшие женские курсы были открыты еще позже.

Это был настоящий медицинский институт с широкой программой, хотя он носил скромное название: «Женский курс при Императорской медико-хирургической академии для образования ученых акушерок». Правительство решило: не следует поддерживать в женщинах стремление к образованию, к самостоятельности. Но кому же быть повивальными бабками, как не женщинам?

Так, благодаря энергии женщин и несмотря на сопротивление правительства, Россия опередила другие страны: за границей еще не было тогда женских высших учебных заведений, хотя отдельные женщины и допускались к слушанию лекций в некоторые университеты.

Курсы открылись в ноябре 1872 года.

Военно-медицинский инспектор Козлов произнес речь, в которой предостерегал слушательниц от увлечения «вредными идеями».

— Аудитория,— сказал он,— не есть место для демонстраций.

Слушательницам были розданы правила, в которых говорилось, что они обязаны доносить инспектрисе немедленно обо всем, что с ними случится необыкновенного, и должны исполнять религиозные обязанности и представлять свидетельства о том от духовных лиц.

Швейцару было приказано не допускать студентов в коридор, когда через него проходят слушательницы. Но все эти строгие меры не помогли. Скоро слушательницы появились даже на студенческих сходках.

В первом же учебном году Бородин начал читать женщинам курс химии. С этих пор к его многочисленным заботам прибавилась еще забота чуть ли не о сотне молодых девушек.

Власти смотрели на курсисток как на падчериц. Но зато Бородин и его товарищи профессора отнеслись к этим падчерицам с удвоенным вниманием. Да и как могло быть иначе? Этим девушкам трудно было добраться до науки, и, может быть, именно из-за этого они взялись за нее с особенным рвением.

Прохожие на улице оглядывались на девушек, бегущих с книжками на курсы. Это было новое, необычное явление, которое у одних вызывало добрую улыбку, а у других — неодобрительное покачивание головой.

Художник Ярошенко, которого Стасов называл «портретистом молодого поколения», изобразил на полотне одну такую девушку. Вот что писал о картине Ярошенко Глеб Успенский:

«Таких девушек «с книжкой под мышкой», в пледе и мужской круглой шапочке всякий из нас видал и видит ежедневно... Одни из нас, из «публики», просто определяют это явление словами: «бегают на курсы»; другие через пень-колоду присоединяют рассуждения о «женском вопросе»; иной почему-то произнесет слово «самостоятельность» и ехидно улыбнется. Словом, все мы, «публика», имеем понятие о том, что «бегают», что «идут против родителей», иногда «помирают не своей смертью», что с другой стороны, самостоятельность «хорошо», что «пущай», что лучше

всего «мать»: назначение женщины — «мать», а не бегать на курсы, что мозг женщины мал, что ничего не выйдет и что опять-таки как будто «хорошо». Словом, обо всей этой современной беготне, книжках, мужских шапках, непочитании родителей, пледах, очках, самостоятельности, медицине, материнстве, малом объеме мозга и т. д. — мы, «публика», толкуем, бормочем, судим, тараторим, говорим множество шаблонных умных вещей, множество оригинальных глупостей и пошлостей и в существе не понимаем того главного, существенного, что таится в глубине всей этой толкотни, беготни, рассуждений о мозге, книжках, пледах, очках и т. д. и т. д.

И вот художник, выхватывая из всей этой толпы «бегущих с книжками» одну самую ординарную (за исключением типичности лица), обыкновенную фигуру, обставленную самыми ординарными аксессуарами простого платья, пледа, мужской шапочки, подстриженных волос и т. д., тонко и деликатно передает нам, «зрителю», «публике», самое главное, самое важное во всем этом, что мы, «публика», изжевали своими разглагольствованиями; это главное — чисто женские, девичьи черты лица, проникнутые на картине, если можно так выразиться, присутствием юношеской светлой мысли... Вот это изящнейшее, невыдуманное и притом реальнейшее слитие девичьих и юношеских черт в одном лице, в одной фигуре, осененной не женской и не мужской, а «человеческой» мыслью, сразу освещало, осмысливало и шапочку, и плед, и книжку, и превращало в новый народившийся, небывалый и светлый тип».

Как же было не радоваться Бородину, когда он видел на скамьях в аудитории у лабораторных столов таких девушек!

Между профессором и курсистками сразу установились дружеские отношения. Вероятно, не раз речь в лаборатории заходила и о музыке.

Одна из слушательниц — Р. М. Баград — вспоминала потом, что Бородин на занятиях часто обращался к ним, называя их не по фамилии, а по голосу:

— Теперь пожалуйте вы, контральто!

Или:

— Как ваши успехи, сопрано?

Он хорошо должен был знать их голоса,— ведь он дирижировал хором, состоявшим из студенток. А. Н. Шабанова рассказывала, что он иногда прерывал лекцию на полминуты, как бы забывая об аудитории: «Мы тогда знали,

что в это время Александру Порфирьевичу пришел в голову новый музыкальный мотив».

Много труда и времени отдавал Бородин чтению лекций и практическим занятиям на женских курсах. Но, не довольствуясь исполнением своих прямых обязанностей, он вникал во все подробности их быта и старался помогать им чем мог.

А жилось им нелегко.

Одна из слушательниц — Окунькова — писала: «Все время посвящено было работе: развлечений почти не знали; нам все казалось, что мы мало работаем. Ютились по дешевым меблированным комнатам на четвертых этажах, на втором или третьем дворе; удобств никаких, стол незавидный, да и свеженько было ложиться в холодную постель. Но на все эти невзгоды обращалось мало внимания».

Для помощи нуждающимся слушательницам было организовано общество, в котором Бородин принял самое деятельное участие. Мало того, что он взял на себя обязанности казначея,— он хлопотал об устройстве концертов в пользу слушательниц и привлекал к этому делу своих товарищей композиторов.

Но и тут иной раз встречались неожиданные препятствия.

На одном из таких концертов должен был, с разрешения начальства, петь студенческий хор, которым тоже дирижировал Александр Порфирьевич. И вдруг ему приносят повестку с предписанием явиться тогда-то, в таком-то часу к генералу Непокойчицкому.

Генерал Непокойчицкий был поставлен во главе временной комиссии, которая была учреждена по «высочайшему» повелению не столько для управления академией, сколько для искоренения из нее «крамолы».

Бородин рассказывал потом с юмором, как к нему «вышло «его превосходительство» и объявило», что берет назад свое слово: студентам не будет дозволено участвовать в концерте.

Очевидно, и в выступлении студенческого хора была усмотрена «крамола».

Бывали и другие неприятности. Бедным курсисткам, а заодно и их профессорам, нередко доставалось в печати. Так как единственная их «вина» заключалась в том, что одни учились, а другие учили, неприятелям их приходилось изобретать несуществующие «вины».

Как-то в «Неделе» появился очерк «Студентки-медики». Автор — «со слов очевидца» — рассказывал о разговоре между профессором химии и студенткой, которая до поздней ночи добывала в лаборатории по способу профессора салициловую кислоту, кипятя «какое-то вонючье снадобье», да так и не добыла, хотя заглядывала в учебники и Менделеева и Меншуткина.

«Студент,— писал автор,— давно бы плюнул на способ профессора, если бы опыт не удавался; для него важен не метод, а самый факт; он успокоился бы, добыв салициловую кислоту по способу Менделеева, лишь бы вышла кислота, а для нее (т. е. студентки) важно сделать именно так, как сказал профессор. Вообще я мог бы привести массу случаев, где так и проглядывает раболепство перед авторитетом...» — и так далее и в том же роде.

Бородин сразу же написал в редакцию письмо, в котором пребольно отхлестал завравшегося писаку. В письме было сказано:

«Считаю обязанностью заявить, что во всем этом случае нет ни одного слова правды: 1) Никогда у меня подобного разговора со студентками не было; 2) Никогда ни одна студентка не добывала в лаборатории салициловой кислоты, так как приготовление органических кислот вовсе не входит в круг занятий студенток; 3) Никогда для приготовления салициловой кислоты не приходится «кипятить» никаких «вонючих снадобий»; 4) Никогда в науке не существовало способа приготовления этой кислоты, принадлежащего Менделееву или мне; 5) Никогда не бывало, да и не может быть такой тупоумной и невежественной студентки, которая бы, добывая органическую кислоту, обратилась бы за справкою о способе добывания к учебнику аналитической (!) химии (т. е. к руководству Меншуткина) вместо органической; 6) Наконец, кто такой мог быть «очевидцем» «случая», да еще в первом часу ночи, когда — как следует из рассказа — кроме меня и студентки никого не было?.. «Случай» этот действительно «крайне характерный», но совсем в другом смысле — он показывает, как далеко может доходить бесцеремонность в обращении с печатным словом...

Что касается до вывода автора, что «студентки с серьезной (?) литературой никогда не обращались, систематическое (?) занятие наукой для них еще дело новое, потеря двух-трех лекций (?) делает у них целый сумбур (?!) в голове», то это — неправда... Уровень образования

и развития студенток мне хорошо известен и по экзаменам приемным и переходным, и по репетициям, и по практическим занятиям, которыми я руковожу с самого основания курсов».

Дальше Бородин дает высокую оценку прекрасной подготовке студенток и заканчивает свое письмо так:

«Что же касается до вывода, что «для студента дело легкое отзудить (?!) по источникам (?!) лекцию, для студенток же это дело непривычное»,— то я убежден, что оно одинаково непривычное и для тех и для других, потому что по «источникам» можно только заниматься чем-нибудь специальным, а не отзудить лекцию».

Письмо написано сдержанно. Но можно себе представить, как был возмущен Бородин этой клеветой, направленной против женских курсов, против его любимого детища.

И все же, несмотря на всякого рода неприятности, курсы доставляли Бородину не только заботы и огорчения, но и радости.

В 1875 году он писал Л. И. Кармалиной:

«Академия наша находится на скамье подсудимых и ждет решения своей участи. Положение это исключительное, переходное крайне скверно отзывается на всех делах академии, а следовательно и на положении моей кафедры... Одно, что меня несколько хорошо настраивает, это — дела женских курсов, которые хотя и много отнимают у меня времени, но зато дают нравственное удовлетворение, совершенно отвечающее ожиданиям».

Чем же провинилась академия? Что привело ее на «скамью подсудимых», как выражается Бородин?

«Провинностей» у нее было много. Начать хотя бы с волнений, которые вызвало в академии назначение профессором физиологии Циона на место ушедшего Сеченова.

Отставка Сеченова была демонстрацией протеста. Накануне реакционная партия в конференции провалила Мечникова, кандидатура которого на кафедру зоологии была выдвинута Сеченовым. Для академии это было двойным ударом: мало того, что она отказалась от такого большого ученого, как Мечников, она еще в довершение всего лишилась Сеченова.

На вакантное место профессора физиологии каждая из двух партий предложила своего кандидата. Начались ожесточенные споры. Одни только «особые мнения» членов конференции составили толстый том. На выборах победил кандидат прогрессивной партии.

Казалось бы, спорить больше не о чем было. Но военно-медицинский инспектор Козлов рассуждал иначе. По его представлению военный министр назначил профессором физиологии Циона, которого, как тогда говорили, только что «прокатили на вороных». Под «вороными» подразумевались черные шары, которые клали в урну, когда голосовали против.

За тем, что происходило на конференции, с волнением следили студенты. Они были возмущены нарушением прав академии. Об этом говорили и в аудиториях, и в коридорах, и в студенческой читальне.

Читальня была излюбленным местом для студенческих сборищ. Там на столах, подоконниках и прилавках лежали кипами газеты, которые читались настолько усердно, что от них оставались одни клочки. Стены были увешаны объявлениями о сдающихся комнатах, об уроках, о дешевых обедах. Иной раз среди этих безобидных листков бумаги появлялись и пламенные революционные прокламации.

Это была студенческая крепость: инспектор во избежание неприятностей редко заглядывал в читальню.

Когда происходила сходка, читальня до отказа переполнялась студентами. Говорили с места, а тот, кто особенно воодушевлялся, вскакивал на стол и произносил речь оттуда.

Вот здесь-то, в читальне, и шло шумное обсуждение событий, которые произошли на конференции.

И результатов не пришлось долго ждать.

Студенты стали пользоваться каждым поводом для того, чтобы демонстрировать свое враждебное отношение к профессору, назначенному против воли большинства. Да и сам он, казалось, делал все для того, чтобы восстановить студентов против себя.

С той самой кафедры, с которой так недавно читал лекции Сеченов, он принялся всячески поносить своего предшественника, которому, к слову сказать, был многим обязан.

Он доказывал, что у Сеченова нет никаких научных заслуг и что репутация у него дутая.

Это было как раз в те годы, когда реакционная печать травила знаменитого физиолога, обвиняя его в «нравственном развращении молодежи», «в заражении ее революционными идеями».

Стараясь выслужиться перед правящими кругами, Цион повел борьбу против дарвинизма, против материализма, а заодно и против материалиста Сеченова.

Студенты были возмущены и так громко и решительно выражали свое негодование, что Цион обратился к начальству с просьбой поставить полицейских у дверей аудитории.

Но и полиция не защитила его от бури, которая разразилась, как только представился повод.

Однажды во время лекции на втором курсе профессор Цион, говоря о работе сердца, заявил, что сейчас вырежет сердце у живой собаки и покажет, как оно будет биться на тарелке вне организма. Такая ненужная жестокость возмутила аудиторию. Один из студентов встал и попросил профессора отказаться от этого опыта. Взбешенный такой «дерзостью», Цион вместо ответа, не долго думая, буквально вырвал сердце у несчастной собаки.

Это вызвало бурю негодования. В Циона полетело все, что только было у студентов под рукой. Циону пришлось спасаться бегством. Как и можно было ожидать, за этим последовали репрессии. Занятия на втором курсе были прекращены, а предполагаемые зачинщики арестованы.

Но это только подлило масла в огонь. Студенты собрались толпой на академическом дворе и потребовали для выяснения начальника академии.

Когда начальник явился, студенты заявили, что не разойдутся, пока он не обещает им добиться освобождения арестованных и удаления Циона.

«История Военно-медицинской академии за сто лет» эпически повествует о том, что полиция донесла о сходке градоначальнику, о том, как прибыл эскадрон конных жандармов и как жандармы «выжали» студенческую толпу на улицу, а оттуда через Неву на Литейный проспект.

В ответ студенты всех курсов перестали ходить на лекции.

Такие дела обычно не проходили студентам даром: их исключали без права поступления куда бы то ни было, их арестовывали и ссылали. Но на этот раз начальство старалось замять дело. Арестованные были освобождены, а Цион ушел в отпуск, после чего и совсем был отчислен.

Вот после этих-то волнений и была учреждена временная комиссия для управления или, вернее, для усмирения академии.

Вся эта обстановка, создавшаяся в академии, стоила немало здоровья Бородину. Его, такого благодушного человека, выводили из себя «подлейшие», как он писал, доносы Циона. Он всей душой был на стороне студентов.

На этот раз студенты победили, но до конца борьбы было еще далеко. После учреждения временной комиссии волнения усилились. Ярость студентов обрушилась на другого представителя реакционной партии — профессора Ландцерта. Став ученым секретарем, Ландцерт по-своему распоряжался делами академии.

Студенты устроили ему несколько шумных демонстраций. В комиссию для расследования беспорядков был назначен и Бородин. Но комиссия, как и следовало ожидать, «нашла невозможным указать виновных».

Как не похожа была в те дни академия на мирный храм науки! В промежутках между лекциями и практическими занятиями в коридорах и аудиториях, в студенческой читальне и в кухмистерской шли шумные споры, передавались из рук в руки запрещенные книги и подписные листы по сбору средств на революционную работу. Стопки нелегальных брошюр хранились не только под тюфяками в студенческих комнатах, но и в шкафах и столах химической лаборатории — позади колб и банок с реактивами.

Волнения происходили не только в академии, но и в других высших учебных заведениях. Сходки и демонстрации разгонялись жандармами и войсками. Студентов исключали, арестовывали, высылали по этапу «на родину». Студенческая крепость — читальня Военно-медицинской академии — была в 1879 году закрыта навсегда...

Мог ли Бородин не принимать все это близко к сердцу? Ведь для студентов он всегда был не только учителем, но и другом. Недаром они чувствовали себя у него как дома.

У Бородиных в квартире было тесно, но хозяева всегда готовы были еще больше потесниться, когда надо было приютить девушку, приехавшую поступать на курсы, или бездомного студента.

Своих детей у Бородиных не было, но вокруг было много чужих, нуждавшихся в помощи и родительской заботе. У Александра Порфирьевича был неиссякаемый запас любви ко всему, что он называл «элементом слабости, молодости, надежд и будущности». А Екатерина Сергеевна, которую болезнь так часто приковывала к постели, тоже нуждалась в том, чтобы видеть вокруг себя молодые, веселые лица. Тоскливо ей было долгими часами оставаться одной, в то время как Александр Порфирьевич работал в лаборатории, читал лекции, экзаменовал.

Так в доме появились воспитанницы.

Первой из них была Лиза Баланева, дочь бедной, больной женщины, которая жила в подвале того же дома. Бородины взяли Лизу к себе семилетней девочкой и вскоре полюбили, как родную дочь. Авдотья Константиновна, или «тетушка», как ее называл Бородин, тоже привязалась к девочке.

Александр Порфирьевич писал жене: «Лиза ведет себя очень хорошо. С тетушкой она ладит очень. Та ей купила теплые калоши; ей еще что-то шьют...»

Вместе с ребенком появились и новые заботы: то надо было перешить платье, которое стало узко и коротко, то купить полусапожки.

Александр Порфирьевич, несмотря на всю свою занятость, находил время, чтобы решать с девочкой арифметические задачи и диктовать ей диктовки. Ему не без труда удалось устроить ее в Еленинское училище, преобразованное потом в институт. По воскресеньям он отправлялся к ней и радовался ее успехам, как мог бы радоваться только отец.

«Выходит она ко мне — вся сияние. Я сразу-то и не сообразил, в чем дело. Оказывается, что у ней на левом плече какой-то красный бант пришпилен — знак отличия. Грешный человек, ёкнуло у меня родительское сердце, и глаза (стыжусь, ей-ей, стыжусь) покраснели от насморка. Послезавтра возьму девчонку домой. Два праздника сряду. Хотелось бы ее свозить куда-нибудь — в театр, в цирк, что ли...»

Но повез он Лизутку не в театр, не в цирк, а в Музей естественной истории. Девочка была в восторге. Да и сам Александр Порфирьевич был очень доволен. Ему особенно понравилось то, что в музее было много народу, как на самом многолюдном гулянье. «При входе,— писал он жене,— продаются объяснительные книжки по десять копеек; вход бесплатный и без билетов. Это очень хорошо!»

Естественные науки должны были — с точки зрения такого естественника и материалиста, как Бородин,— составлять основу образования.

Одно из его писем к Екатерине Сергеевне рисует такую картину.

Воскресенье. И Александр Порфирьевич и Лиза дома. Оба заняты делом: Александр Порфирьевич пишет ноты, а девочка читает ему вслух книгу о путешествии по Африке. Не без труда выговаривает она невероятные названия стран и племен, которыми пересыпана книга: «Мурембве»,

«Мукамба», «Унаниембе», «Пакаламбула», «Укавенди», «Мгого»...

«Все эти словечки Лизутка тщится передавать с возможным совершенством, видимо затрудняясь в том, где ей ставить ударения. Я, впрочем, очень доволен, что есть лектриса, и пишу под ее Укавенди и Мгого очень усердно».

Читая это, так и видишь добрую улыбку, которую Александр Порфирьевич старательно прячет от девочки.

Но не об одной только Лизутке так отечески заботился Бородин. На протяжении нескольких лет в его доме появляются одна за другой воспитанницы: Раида Сютеева, Лена Гусева, Ганя Литвиненко. Бородин шутя говорил, что у него урожай на девочек. Но были и «мальчики», о которых он заботился с отеческой нежностью.

У него был талантливый ученик, который, как и он, променял медицину на химию,— Александр Павлович Дианин. Ученик скоро стал ближайшим другом и помощником своего учителя. Глядя на него, Бородин вспоминал свою молодость: Дианин сделался для него таким же духовным сыном, каким он сам был для Зинина.

Как-то само собой случилось, что Дианин переселился к Бородиным и навсегда вошел в их семью.

Так росла эта семья, основанная не на кровном родстве, а на человечности. Со своими родными братьями Бородин не был особенно близок,— уж очень разные они были люди. Но и о них он постоянно хлопотал.

Много душевного тепла отдавал он и матери. В последние годы своей жизни Авдотья Константиновна совсем одряхлела. Дом ей пришлось продать, так как она была неумелой домовладелицей и запуталась в долгах. По настоянию Екатерины Сергеевны и Александра Порфирьевича она переехала к ним.

В юности она, дочь простого солдата, не могла получить образования, но у сына-профессора и она стала студенткой. Общий поток увлек и ее. Бородин писал шутливо: «Тетушка невольно поддалась гибельному направлению, влекущему женщин в бездну,— т. е. изучает медицину. Постоянно я застаю ее читающею: то курс акушерства или женских болезней, то специальную патологию, то хирургию, то гигиену, то судебную медицину. Вот-те и прогресс! Как есть передовая женщина! И очки, и волосы стриженые, и медицинские книжки читает!»

Недолго прожила Авдотья Константиновна у сына. В бумагах Бородина сохранилось несколько листков, испи-

санных нервным, искаженным почерком, с пропущенными буквами. Это история болезни, которую он вел, когда умирала мать. У ее постели ему пришлось снова вспомнить о том, что он врач.

Вскоре после смерти матери он должен был уехать из Петербурга, и вот что он написал жене, когда вернулся: «Подъезжая к дому, я почувствовал какое-то щемление, мне сделалось как-то тяжело увидать тот подъезд, из которого выносили тетушку еще так недавно, ту комнату, где я ее видал и живой и мертвой».

Любовь к матери — естественное чувство, свойственное даже эгоистическим людям. Но в сердце Бородина находилось место не только для близких, но и для дальних.

А. П. Дианин пишет:

«Как личность, как человек, Александр Порфирьевич положительно достоин удивления. Это была в полном смысле цельная личность, у которой никаких деланных принципов не было, все поступки вытекали прямо из его богато одаренной, гуманной, чисто русской натуры.

Гуманность его не имела границ. Он, можно сказать, искал сам случая, где бы он чем бы то ни было и кому бы то ни было мог быть полезен. Это положительно была его потребность... Он имел обыкновение записывать на разных лоскутках, что он должен был сделать неотложно. На этих лоскутках писалось: «сходить к Б. и попросить об Г.», «поместить в клинику А.», «выписать рецепт К.», «посоветоваться с Б. насчет Д.», «нельзя ли сделать что-нибудь для В.» и т. д. И если ему удавалось выручить кого-нибудь из тяжелого положения, он был крайне доволен...

Понятно, что учащаяся молодежь — студенты и студентки должны были чаще всего испытывать на себе широко гуманное отношение к ним А. П...»

Бородин жил только на жалованье, которого едва хватало на семью. Сообщая о расходах жене, он иной раз указывает даже, сколько копеек потрачено на соль. И все-таки он не только не отказывал людям в помощи, но и придумывал, как бы поделикатнее предложить деньги нуждающемуся студенту или курсистке.

А. П. Дианин продолжает:

«Не в одной материальной помощи сказывалось сердечное отношение А. П. к учащейся молодежи, еще чаще приходилось ему оказывать содействие в других тяжелых положениях, и до чего студенты привыкли обращаться к нему со всякими нуждами — привожу следующий харак-

терный случай: приходит студент, чуть не плачет и жалуется, что ему в уплату за что-то дали безденежный вексель и он не знает, что с ним делать; Александр Порфирьевич даже не удивился, что к нему обращаются за советом в таком деле, которое, без сомнения, выходило из пределов его компетенции; он только сказал: «батенька, я тут ничего не понимаю, а вот у меня есть один знакомый, который может дать дельный совет. Придите послезавтра, я вам приготовлю ответ». Затем, по обыкновению, писалось на каком-нибудь лоскутке: «сходить к Д. С. и спросить о векселе». В отношении к себе лично А. П. был крайне расчетлив и подчас отказывал себе в самом обычном комфорте, уступая его другим».

Две страсти владели Бородиным с детских лет — страсть к науке и страсть к искусству. Но чем старше он становился, тем все больше наполняла его жизнь заботами и радостями третья страсть — любовь к людям. А впрочем, он и тут оставался самим собою — цельным и нераздельным Бородиным. И в музыке, и в науке, и в общественной деятельности, и в частной жизни он был великим гуманистом, который все свои силы без остатка, без малейшей тени эгоизма отдавал людям, народу, человечеству.

Об одном из своих друзей Бородин писал, что тот сразу пришелся ему по душе, подкупил его «умом, образованием, свежестью и трезвостью взгляда на вещи, крайней простотой в обращении, горячим интересом ко всему жизненному и теплотою в своих человеческих отношениях; вообще в нем на первом плане стоит везде и во всем *человек* (подчеркнуто Бородиным). По-моему, это высшая похвала всякому деятелю, на какой бы ступени общественной иерархии он ни стоял».

Эта характеристика еще в гораздо большей степени применима к самому Бородину.



Глава двадцать шестая

НА ПОДЪЕМЕ

Когда думаешь о том, какое бремя чужих и своих забот нес на плечах Бородин, невольно начинаешь представлять себе согбенного этим бременем человека, с нахмуренными бровями, с морщинами, преждевременно изрезавшими лоб. Но такой портрет ни в какой степени не соответствовал бы оригиналу.

Бородин был всегда бодр, весел, приветлив, у него на каждый случай жизни находилась шутка, которая сразу вызывала улыбку на лицах окружающих.

Среди всяких дел и забот Бородин успевал и повеселиться и других развеселить.

Время от времени Александр Порфирьевич, его друг профессор Доброславин и некоторые другие профессора устраивали сообща «великий пляс», или «чертобесие»,— домашние костюмированные вечера.

М. В. Доброславина пишет: «Помню, что был он в то время очень красив, да, по-моему, красоту эту он сохранял до конца своей жизни».

Когда, смеющийся, оживленный, он появлялся в наряде Менелая с картонной короной на голове, или в виде китайского мандарина, или просто в обычном костюме студента-медика — в красной русской рубахе и высоких сапогах,— он сразу приносил с собой атмосферу искрящегося веселья и таланта.

В эту пору своей жизни — в начале семидесятых годов — он был на подъеме. Все он успевал, все у него спорилось.

В мае 1872 года он сделал на заседании Русского химического общества сразу три важных сообщения.

Первое из них было посвящено реакции уплотнения валеральдегида. Эта реакция, казавшаяся прежде такой туманной, теперь вырисовывалась во всей отчетливости. Выяснилось, что тут была не одна, а целая цепь реакций: сначала возникали промежуточные продукты, они взаимодействовали между собой, и только после этого получалась та сложная смесь веществ, которая доставила Бородину столько хлопот и затруднений.

Молекулы валеральдегида, в которых только пять атомов углерода, давали, соединяясь, большие молекулы с десятью и даже двадцатью атомами углерода.

Чтобы распутать весь этот клубок, нужно было обладать большим упорством и искусством экспериментирования, нужно было глубоко понимать сущность химических явлений.

Бородин не ограничился исследованием действия натрия на валеральдегид. Всеми средствами, которые были в его распоряжении, он принялся строить из молекулы валеральдегида более крупные молекулы. В ход пошли и щелочи, и соляная кислота, и хлористый цинк, и пятихлористый фосфор, и ангидрид фосфорной кислоты. Бородин попробовал действовать на валеральдегид и просто высокой температурой, без всяких реактивов. Оказалось, что все эти средства ведут к одному и тому же результату: получаются те же продукты уплотнения с выделением воды.

Во втором своем сообщении Бородин рассказал членам общества о том, что и другой альдегид — энантол — ведет себя точно так же, как валеральдегид, но только тут отнятие воды происходит еще легче.

Самым интересным было третье сообщение. На этот раз речь шла об уксусном альдегиде. При его уплотнении, или конденсации, как говорят химики, две его молекулы соединялись между собой; причем атомы их так перестраивались, что получалось соединение совершенно нового, прежде неизвестного типа.

Это был не альдегид и не спирт, а вещество, обладавшее и свойствами альдегида и свойствами спирта: альдегидоспирт.

Новое вещество было потом названо альдолем, а реакция такого рода — альдольной конденсацией.

С огромным интересом отнеслись химики к открытиям, сделанным Бородиным.

Через год — в августе 1873 года — состоялся в Казани Четвертый съезд русских естествоиспытателей.

Этот съезд был для Бородина и его лаборатории триумфом.

«...В нашей химической секции,— писал Бородин жене,— было много интересных сообщений, и между ними, скажу не хвастаясь, мои были одни из самых видных; достоинство и число их (7 штук!) импонировало сильно всем членам секции и выдвинуло нашу лабораторию сильно во мнении химиков и даже не химиков».

Бородин был горд не столько своими личными успехами, сколько успехами своей лаборатории. Из семи его сообщений четыре были посвящены работам его учеников: доктора Шалфеева, студентов Дианина и Лобанова и лаборанта Голубева. Из остальных трех работ одна была сделана Бородиным в сотрудничестве с его ученицей Луканиной. Это должно было особенно радовать Бородина. Ведь он знал, сколько преград пришлось преодолеть этой энергичной и способной женщине для того, чтобы получить образование и заняться научной работой.

Все семь сообщений вносили много нового в органическую химию.

Как смелые пионеры, осваивающие еще неизвестные земли, Бородин и его ученики открывали и изучали одно сложное органическое соединение за другим.

Бутлеров, председательствовавший на первом заседании, мог быть доволен: ведь это его теория строения дала возможность этому отряду химиков установить строение таких сложных веществ, как амарин или сукцинилдибензоин.

На обеде, который был дан в честь съезда, были провозглашены тосты за Казанскую химическую школу: за ее «деда» — Зинина, за «отца» — Бутлерова, за «дядю» — то есть за Бородина, который по химической работе приходился младшим братом Бутлерову, и за многочисленных «детей», то есть за учеников.

Был и другой обед, на котором после официальной части началось веселье.

Бородин писал жене:

«Пели «Гаудеамус», «Вниз по матушке, по Волге»; профессора пустились в пляс; оркестр валял Камаринскую, а ученые мужи задали выпляску на славу — кадриль, мазурку. Потом пошли возлияния и возлияния. Публика растрогалась — начали качать... Бутлерова (как популяр-

нейшего учёного всей Казани и бывшего ректора университета). После этого неожиданно подлетели ко мне, грешному: «Бородина! Бородина качать! Он не только хороший, честный ученый, но и хороший, честный человек!» Десятки дюжих рук подняли на воздух мое тучное тело и понесли по зале. Покачав на «воздусях», меня поставили на стул, и я сказал спич — в качестве представителя женских курсов. Вино развязало мне язык, и я сказал горячую речь, провозгласив тост за процветание специального образования женщин. Поднялся гвалт, и мне сделали шумную овацию».

Читая это, так и представляешь себе этих бородачей в сюртуках, отплясывающих кадриль. Могучие это были люди, умевшие и поработать на славу и повеселиться.

И какую точную характеристику дали Бородину его товарищи по науке: он был и замечательный человек и замечательный ученый. Но в те времена было так же трудно оценить вклад, сделанный Бородиным в науку, как трудно по первым всходам судить об урожае.

А урожай начали собирать только в наши дни.

Как удивились бы участники съезда, если бы им показали всевозможные вещи: детали машин, приборы, предметы домашнего обихода, сделанные из невиданного, небывалого материала — из пластмасс.

Многие из пластмасс, имеющих ценные свойства, получают на наших химических заводах при помощи реакции конденсации, которую открыл Бородин.

Для участников съезда было бы неожиданностью широкое применение, которое альдольные смолы получили в промышленности, начиная от изготовления политур и лаков и кончая изделиями электротехнической промышленности.

Бородин-композитор настолько знаменит, что заслонил от нас Бородина-химика.

Только в 1950 году, Институтом истории естествознания Академии наук была издана книга Н. А. Фигуровского и Ю. И. Соловьева, в которой показано, наконец, как много сделал Бородин для науки и для промышленности...

Открыв альдольную конденсацию, Бородин с жаром принялся за ее дальнейшее исследование. И вдруг ему в руки попался журнал немецкого химического общества, в котором сообщалось, что Вюрцу удалось получить продукт, совершенно похожий на тот, который открыл он сам.

Бородин послал в немецкий журнал краткую статью о своей работе, но от более обстоятельного изучения альдоля отказался.

Один из учеников Бородина, химик М. Гольдштейн, писал потом:

«Когда Бородина спросили, отчего он уступил Вюрцу исследование альдолев, он вздохнул и сказал: «Моя лаборатория еле существует на те средства, которые имеются в ее распоряжении, у меня нет ни одного помощника, между тем как Вюрц имеет огромные средства и работает в двадцать рук, благодаря тому, что не стесняется заваливать своих лаборантов черной работою». Каждый русский ученый поймет глубокую правду и гуманность этих слов».

Как же это случилось, что у Бородина отняли то, что принадлежало ему по праву?

Н. А. Фигуровский и Ю. И. Соловьев в своей книге рассказывают, что химические статьи Бородина, появлявшиеся в Бюллетене Академии наук и в журнале Русского химического общества, немедленно перепечатывались в немецких и французских журналах. О каждой его работе появлялось в этих журналах подробное сообщение, а, кроме того, у иностранных химических обществ были в Петербурге свои корреспонденты, которые писали за границу о всех выдающихся исследованиях русских химиков.

Недаром Менделеев во время своих путешествий при встрече с химиками так часто слышал вопрос: «Ну, что сделал нового ваш Бородин?»

Но Бородин был в невыгодном положении. Ведь у иностранных ученых было больше средств для работы и десятки лаборантов.

Немецкие и французские фабриканты не жалели средств на химические исследования, которые могли принести им прибыль. А Россия все еще продолжала оставаться страной, в которой парадоксально уживались рядом передовая химия и отсталая химическая промышленность.

И выходило так, что Кекуле или Вюрц могли не скупиться на реактивы, на приборы и работать «в двадцать рук», а Бородин должен был вкладывать в работу свои личные скудные средства и нанимать лаборанта на свои деньги даже тогда, когда этот лаборант нужен был ему не для собственных исследований, а для практических занятий со студентами.

А. П. Дианин говорит: «Бедность лабораторной обстановки доходила до того, что при одной из работ, где требовалась азотносеребряная соль, Александр Порфирьевич принужден был пожертвовать частью своего фамильного серебра».

На кафедре химии было два профессора и только один лаборант. Эта маленькая армия состояла из двух генералов и одного солдата. Хорошо еще, что находились добровольцы вроде Дианина, которые брали на себя обязанности лаборанта безвозмездно. И все-таки Бородину, по его словам, приходилось нередко самому быть и профессором и лаборантом.

Практическими занятиями по химии ведал сначала Зинин. Но он уже был стар и болен, и ему пришлось выйти в отставку. С 1874 года все заботы о занятиях со студентами легли на плечи Бородина.

Именно тогда и удалось Бородину осуществить свое давнишнее желание — сделать так, чтобы все студенты проходили лабораторную практику.

А. П. Дианин пишет:

«Задача была трудная, если принять во внимание скудные средства лаборатории, массу студентов (300—400 человек) и недостаток в помощниках. Кроме того — так как студенты, отвлекаемые другими практическими занятиями (например, анатомией), не могли являться в лабораторию одновременно, лаборатория должна была быть открытой целый день — с утра и до ночи,— и при этом требовался самый неустанный надзор за работающими, следить за правильным расходом светильного газа, реактивов и т. д. Очевидно, что одному было не справиться с такой задачей. Александр Порфирьевич привлек всех специально работавших в лаборатории,— каждый из них должен был вложить свою лепту в это дело. Немногие, даже из лиц близко стоявших к А. П., знают, какой массы времени, энергии, труда и даже личных издержек стоили ему эти занятия. Одно время он даже на личные свои средства содержал частного ассистента и лишнего служителя при лаборатории... Организация этих занятий составляет громадную заслугу А. П. перед академией».

Трудно было при таких условиях заниматься собственной научной работой. Бородин мог бы поступать так, как поступали другие: делать свои исследования руками учеников.

Но тут-то и проявилась та гуманность и порядочность, которые свойственны были Бородину и другим большим русским ученым. У Бородина было немало талантливых учеников. Они рады были бы за него поработать. Но он никогда не присваивал себе их труда. С его точки зрения, «руководить» научной работой совсем не значило пользоваться чужими руками.

Однажды в лабораторию зашел начальник академии. Бородин работал у своего стола, Дианин — у своего.

— Что вы тут поделываете, Александр Порфирьевич? — спросил начальник.

— Да вот оканчиваю одну работу, очень затянулась, пора напечатать.

Начальник только плечами пожал:

— Что это вы, Александр Порфирьевич? Ну, профессорское ли это дело? Вот молодому человеку,— начальник указал на Дианина,— это, конечно, нужно, профессору же это совсем непристойно.

У Александра Порфирьевича были совсем иные взгляды на то, что пристойно профессору.

Когда обо всем этом думаешь, удивляешься, как много успел сделать для химии Бородин. А ведь он еще умудрялся двигать вперед свои музыкальные произведения.

Друзья упрекали его в медлительности. Н. Н. Пургольд подарила ему даже как-то игрушечную черепаху. Но Бородин не обиделся, получив этот символический подарок. В письме к Пургольд он сам посмеивался над своей «ленью», хотя она и существовала только в воображении его нетерпеливых музыкальных друзей.

«Эта бумага (речь идет о нотной бумаге) и Ваша черепаха производят чудеса; из такого лентяя, как я, сделали человека, который сидит и пишет, пишет, пишет».

Что же он писал тогда? Ведь это было в том самом 1872 году, который был так заполнен работой над альдолем, организацией женских врачебных курсов и многими другими делами. Он только что закончил первую часть своей Второй симфонии. Но не о ней он пишет Н. Н. Пургольд.

Речь в письме идет о «Младе». Зимой 1871/72 года Стасов передал четырем своим товарищам — Бородину, Кюи, Мусоргскому и Римскому-Корсакову — предложение директора театра Гедеонова: написать музыку для оперы «Млада». Стасов не хотел сначала и браться передавать это поручение, думая, что все они заняты и откажутся: Бородин писал Вторую симфонию, Мусоргский — «Бориса Годунова», Римский-Корсаков — «Псковитянку», Кюи — «Анджело».

Но вышло не так. Все четверо охотно согласились. Бородин давно хотел написать оперу эпического характера на сюжет из жизни древних славян. Он только что «отрекся» от «Князя Игоря». Но одно дело написать одному всю опе-

ру, и другое дело сделать всего один акт. К тому же еще Бородин мог воспользоваться для «Млады» эскизами, которые были уже сделаны для «Игоря». На совещании у Гедеонова была распределена работа. Бородину достался четвертый акт, сочетающий в себе драматические элементы с изображением разбушевавшихся стихий. Сюда входили сцены в языческом храме, явление князю Яромиру теней древнеславянских князей, дуэты Яромира с Войславой и с верховным жрецом и сцена наводнения и общей гибели.

Все с жаром принялись за дело. Бородин и тут приступил к работе, как ученый. По его просьбе Стасов достал ему множество книг о жизни, религии и обрядах древних славян. Особенно пригодилось Бородину сочинение профессора Срезневского «Исследования об языческом богослужении древних славян».

«...В короткое время,— пишет Стасов,— Бородин создал ряд сцен, изумительных по вздохновению, глубоко историческому колориту и эпической красоте...

Особенно помню одно время: у него было легкое нездоровье, он недели с две оставался дома и почти все время не отходил от фортепиано. В эти дни он сочинил всего более, все самое капитальное и изумительное для «Млады», и когда я приходил к нему, он тотчас же с необыкновенным увлечением и огнем играл мне и пел все вновь сочиненное. Все товарищи его и сами создавали в то время изумительные сцены для «Млады»... но все они были невольно принуждены сознавать громадное в настоящем случае, подавляющее первенство Бородина и с глубокой симпатией дружбы и удивления преклонялись перед своим обожаемым товарищем. «Идоложертвенный хор Радегасту» и «дуэт князя Яромира с княжной Войславой» всего более поражали их, как и нас всех, ближайших знакомых Бородина.

Любопытно вспомнить, с какою точностью и добродушною покорностью относился при этом случае Бородин к требованиям театрального начальства. Гедеонов желал, чтоб собственно «музыкальные нумера» его оперы-балета были недлинны. Бородин до того строго выполнил это требование, что по часам выставил над каждым своим нумером, сколько минут, даже с половиной, продолжается каждая его сцена».

Мусоргскому совсем не нравилась такая покорность и точность в выполнении «заказа». Он с сердцем говорил Бородину, что он должен не ответ держать, а предписывать!

— А подрядчику как угодно!

Но таким уже был Бородин, что ко всему относился с точностью ученого, во все вносил не только вдохновение, но и математический расчет.

Из затеи Гедеонова ничего не вышло, хотя композиторы и выполнили свои задания. В последнюю минуту, когда уже были нарисованы эскизы декораций и костюмов, вдруг выяснилось, что на постановку нужно очень много денег, а денег-то и нет.

Пришлось композиторам спрятать свои произведения в портфели.

Но работа, сделанная Бородиным, не пропала. Финал «Млады» был впоследствии издан в инструментовке Римского-Корсакова. Он и в наши дни продолжает жить — только не в форме оперного произведения, а как симфоническая поэма.

Бородин был изумительным мастером того, что Балакирев называл «инструментальной драмой».

Слушая финал «Млады», ясно представляешь себе, как заклинания подземной богини Морены поднимают бурю, как один за другим бегут, затопляя сушу, огромные валы. Сквозь шум бури слышатся крики ужаса, тревожны сигналы труб. Буйство стихий делается все сильнее. И вот все кончено, все погибло. Наступает мрачное затишье.

Но вдали уже занимается заря. Над водным простором мощно парит песня. Светлое начало, воплощенное в образе прекрасной Млады, торжествует над силами зла и разрушения.

Работая над «Младой», Бородин не мог не ощутить, что опера ему по силам. Он все чаще задумывался о брошенном, но не забытом «Князе Игоре».

Лето 1874 года Бородины проводили в селе Рожнове, недалеко от Суздаля. Все вокруг дышало Русью: и древние города с их «детинцами», соборами, монастырями, и широко раскинутые поля, и песни крестьян, возвращающихся с полевых работ.

Для Бородина все это связывалось с образами, которые не переставали жить в его воображении с тех пор, как он изучал летописи. Давний, отброшенный замысел не хотел, чтобы о нем забывали. Он словно требовал, чтобы Бородин воплотил его в музыке.

Нужен был только толчок, чтобы Бородин снова решился взять на себя эту огромную задачу.

Таким толчком был его разговор с одним из учеников.

Стасов рассказывает в своей биографии Бородина:

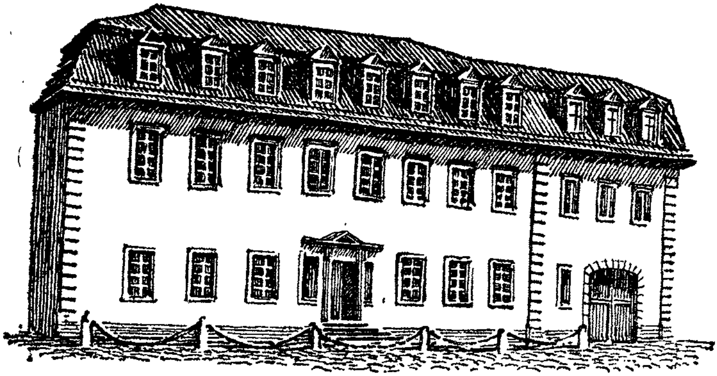
«Осенью или зимою 1874 года приехал с Кавказа молодой доктор В. А. Шоноров (ныне уже умерший), бывший слушатель Бородина на курсах Медико-хирургической академии и всегда глубоко симпатизировавший ему человек. Среди интимного, совершенно случайного разговора он услышал, что Бородин бросил свою оперу и даже и не думает продолжать. Шоноров с жаром стал доказывать своему учителю и другу, что это истинное преступление, что музыка его оперы поразительна и глубоко талантлива и что сюжет именно всего более соответствует натуре Бородина. Но Бородин уже и сам в это время снова начинал чувствовать аппетит к своей опере, не раз задумывался о ней, только все не решался. Разговор с Шоноровым глубоко подействовал на Бородина, дал ему окончательный толчок. Он решился продолжать оперу. На другой же день он, весь радостный и сияющий, точно от найденного счастья, прибежал ко мне в Публичную Библиотеку и объявил, что «Игорь» его воскрес и вот теперь заживет новою жизнью. Нельзя рассказать, как я был обрадован, как обнимал и поздравлял Бородина».

Сохранилось письмо, которое Стасов написал своему брату, Димитрию Васильевичу, в октябре 1874 года под свежим впечатлением поразившей его новости. В письме он несколько иначе рассказывает о том, как было дело:

«Кто меня удивил просто чуть не до обморока — это Бородин. Я был у него со Щербачевым, во вторник, и вдруг за чаем сам собою он объявил мне, что снова принимается (и уже окончательно) за предложенную ему мною оперу «Князь Игорь»... Почти весь вечер мы протолковали о том, как он туда употребит материалы из «Млады», первоначально назначенные для «Игоря». Он много играл, воодушевился (par extraordinaire[1]) — до того, что в половине третьего часа ночи, когда мы ушли, он, несмотря на дождь, пошел нас провожать почти до Кирочной и всю дорогу опять толковал о будущей опере. Сегодня вечером я уже отправляюсь к нему с летописями, Карамзиным и «Словом о полку Игореве». Только бы он не остыл и поскорее принялся,— а выйдут чудеса».

С тех пор Стасов только и думал о том, как бы не дать Бородину остыть. Бородин заходил к Стасову в библиотеку, и они вместе обсуждали разные перемены и улучшения в либретто.

[1] Сверх обыкновения (*фр.*).



Глава двадцать седьмая

ПРОВАЛ И УСПЕХ

А между тем незаконченная Вторая симфония все еще стояла, как поезд на запасном пути, и ждала своей очереди.

Не только нетерпеливый Стасов, но и другие товарищи Бородина не могли дождаться того часа, когда он возьмется, наконец, за эту вещь, которую они называли «богатырской» симфонией, «тузовой» симфонией, «львицей».

Чтобы заставить Бородина довести работу до конца, Людмила Ивановна Шестакова решила рискнуть: попросила дирижера Направника исполнить Вторую симфонию в одном из концертов Русского музыкального общества. Направник согласился.

Когда Бородин вернулся в Петербург, Шестакова поторопилась сообщить ему приятную новость. Бородин призадумался.

— Да, я очень рад,— сказал он.— Только я не успею кончить ее.

— Но это необходимо,— строго возразила Людмила Ивановна.

Пришлось Бородину сразу же приступить к делу. Но тут оказалось, что партитура первой части и финала куда-то исчезла. Не было никакой возможности найти их среди множества всяких бумаг и бумажек, нужных и ненужных, чистовиков и черновиков, нот, докладов, отчетов. Делать было нечего,— надо было вновь браться за оркестров-

ку этих частей, чтобы еще раз проделать уже сделанную трудную работу. А времени и без того было мало.

Помогло то, что всякому другому помешало бы. Бородин заболел: у него сделалось лимфатическое воспаление сосудов на ноге. Он писал Кармалиной: «Вот я это в лихорадке лежу, а сам порю горячку: карандашом лежа строчу партитуру».

Казалось, теперь все пойдет на лад. И вдруг — о, ужас! — исчезли две другие части симфонии: скерцо и анданте. Опять начались поиски, опять перерыли горы бумаги, которыми жизнь заваливала бесконечно занятого и рассеянного Бородина. А время шло. Музыкальное общество требовало сдачи партитур, а они еще не были не только переписаны, но даже и найдены.

Что тут было делать?.. Оркестровать в эти две части второй раз? Но тогда симфония не поспела бы к сроку.

Бородин и тут — в этой скачке с препятствиями — не потерял чувства юмора. Вот как он рассказывал обо всей этой истории в письме к Шестаковой:

«Я было хотел уже изобразить на лице уныние, как вдруг является — дай бог ему сто лет жизни! — вечный мой благодетель Бах и сообщает, что ноты у Вас на рояли, завернуты в афишу. Отцы! вот благодать-то! А я всем уже повадился рассказывать мною неумышленно сочиненную небылицу о том, как я взял этот сверток, положил в карман, уходя от Вас; как зашел в колбасную Парфенова, купил колбасу, положил туда же; купил горчицу — положил туда же; купил десяток яблоков — положил туда же; купил два лимона — положил туда же (каков карман-то должен быть? совсем поповский!); как все принес в целости, а партитуру обронил или позабыл. И таково мне жалостно становилось при мысли, что, может быть, теперь именно Парфенов (да еще не сам, а мальчишка его) завертывает в нее колбасы да сосиски, да еще может быть не свежие... Родная, пришлите партитурки с моим посланным А. П. Дианиным, сыном моим, если не по плоти, то по духу».

Наконец партитура была закончена и переписана. Но исполнение пришлось все же отложить из-за всех этих передряг.

И вот наступил день концерта — 26 февраля 1877 года.

Как прошел этот концерт и что при этом испытывали Бородин и его близкие, можно живо представить себе, читая воспоминания М. В. Доброславиной, А. П. Дианина и М. М. Ипполитова-Иванова.

М. В. Доброславина рассказывает:

«Мы с Екатериной Сергеевной и А. П. Дианиным были на хорах в зале Дворянского собрания и сидели с правой стороны от входа. Как сейчас вижу его, стоящим в конце зала у колонны с левой стороны, с заложенными назад руками.

Первая часть принята была очень холодно, и на попытки аплодировать послышалось шиканье. Вся симфония была принята таким же образом, и автора не вызывали. Что мы все чувствовали в это время, я и теперь не могу вспомнить без волнения. И это та самая симфония, которая потом вызывала восторги и в которой удивительное скерцо не проходило без повторения... Помню, что он все-таки был расстроен, и мы доказывали ему, что гений — потому он и гений, что стоит выше толпы и пониманию ее недоступен...»

С таким же чувством обиды за Бородина и за русскую музыку вспоминает о первом исполнении Богатырской симфонии и А. П. Дианин. По его словам, «публика устроила форменный скандал, напоминавший кошачий концерт».

«Мне,— пишет он,— жившему, можно сказать, одной жизнью с А. П., делившему с ним все радости и невзгоды на научном и музыкальном поприще, хорошо известно, какие тяжелые минуты ему приходилось переживать, и если бы не поддержка со стороны друзей (Стасов, Римские-Корсаковы, сестра Глинки — Л. Ив. Шестакова) и более просвещенной части общества, я думаю, что А. П. совершенно отказался бы от публичных выступлений с своими музыкальными произведениями. Правда, А. П. называл себя композитором, ищущим неизвестности, он чувствовал себя как-то неловко, конфузился, когда исполнялись его вещи. Но неизвестность — это одно, а быть предметом публичного глумления — это уже совсем другое».

М. М. Ипполитов-Иванов в своих воспоминаниях несколько иначе рассказывает о концерте. Он пишет, как в первый раз увидел Бородина на репетиции Второй симфонии. Бородин слушал, стоя у колонны. На все вопросы и замечания дирижера Направника он отвечал коротким кивком головы в знак согласия и только иногда просил взять темп «чуточку поскорее».

«Симфония,— пишет Ипполитов-Иванов,— у публики имела средний успех, но среди нас, молодежи,— огромный, и овация, устроенная нами, доставила ему, по-видимому, большое удовольствие».



Уже после смерти Бородина Репин написал его портрет. Он изобразил композитора стоящим у колонны в зале Дворянского собрания. М. В. Доброславина говорила, что этот портрет всегда напоминает ей вечер исполнения Второй симфонии.

Бородин стоит, заложив руки за спину, прислонившись к колонне. Лицо у него спокойное, немного грустное. Глаза глядят далеко.

Быть может, он вслушивается в звуки созданной им симфонии и видит перед собой не ряды слушателей в зале, не оркестр и дирижера, а широкие просторы воспетой им русской земли.

А может быть, как раз в эту минуту над ним и его произведением глумятся давние враги русской музыки, те самые, которые глумились и над Глинкой.

Светские господа, которые, забыв о правилах хорошего тона, устроили Бородину кошачий концерт, должно быть, думали, что он уничтожен. Но не его, а себя они выставили на позор и поругание перед лицом лучших из своих современников, перед лицом грядущих поколений. Победа не могла остаться за ними.

Может быть, поэтому столько достоинства, столько сознающей себя силы в облике Бородина на репинском портрете.

Репину не привелось написать портрет Бородина при его жизни. А между тем он хотел это сделать еще в 1872 году. В Москве тогда строилась гостиница «Славянский базар». Для ее концертного зала Репину было заказано большое панно «Славянские композиторы».

Во время работы над эскизами к этому панно в мастерской Репина побывал Стасов.

— Знаете ли,— сказал он,— вам необходимо поместить в картине еще две фигуры молодых наших тузов: это Мусоргского и Бородина.

Репин был с этим вполне согласен. «А. П. Бородина,— пишет Репин в своих воспоминаниях,— любили все: он был заразительно красив и нов, а Модеста Петровича Мусоргского, хоть и не все ценили, но все поражались его смелостью и жизненностью».

Когда Репин сказал строителю «Славянского базара» Пороховщикову, что хочет прибавить Мусоргского и Бородина к группе русских музыкантов, тот возмутился:

— Вот еще! Вы всякий мусор будете сметать в эту картину!.. Бородина я знаю. Но ведь это дилетант в музыке.

Он — профессор химии в Медико-хирургической академии... Нет уж, вы всяким мусором не засоряйте эту картину! Да вам же легче.

Для характеристики Пороховщикова надо сказать, что это был делец и реакционный публицист. Тургенев отзывался о нем как о Хлестакове.

И вот этот-то новый Хлестаков считал себя вправе судить о том, может ли Бородин стоять рядом с другими славянскими композиторами!

И такие же самозваные судьи из числа музыкальных критиков выносили Бородину обвинительные приговоры в своих журнальных и газетных статьях.

Они писали, что произведения Бородина «царапают слух», что его сочинения «усыпаны болезненными и уродливыми причудами», что его музыка — это «плод пресыщения, соединенного с недостаточным художественным образованием», что он пишет «не кистью, а шваброй или помелом».

Но, к счастью для Бородина, было и в его время немало истинных ценителей, которые понимали, как велик его гений. Один Стасов перевешивал всех противников вместе взятых.

Уже после смерти Бородина Стасов писал, сравнивая его и Мусоргского с другими композиторами, их современниками:

«Ну, да все-таки Мусоргский и Бородин выше их всех! Я им успел повторить обоим это еще при жизни 1000 раз. Предосадно было бы, если бы такие два так бы и издохли, ни от кого не услыхав, что они были за люди!!!»

Но не один только Стасов, и другие друзья Бородина не раз говорили ему, как высоко ценят они его талант.
После первого исполнения Богатырской симфонии Л. И. Шестакова написала ему письмо, в котором предсказывала симфонии славное будущее и напоминала, что так же враждебно был встречен и «Руслан» Глинки.

Людмила Ивановна была, вероятно, еще больше огорчена неудачей симфонии, чем сам Бородин,— ведь это она затеяла концерт.

В своих записках Шестакова рассказывает, как любил Бородина и его симфонию Мусоргский.

«Все время после 1872 года Модест Петрович был в самых искренних отношениях с Бородиным, который писал тогда оперу «Князь Игорь», а он—оперу «Хованщина». Они очень часто бывали у меня вместе; иногда присоединялся

к ним В. В. Стасов. Ежели Мусоргский не видел долго Бородина, то я получала от него следующую записку: «Голубушка Людмила Ивановна, вот о чем просить буду: мы с Бородиным хотели бы к Вам попасть в четверг, 22-го января, в 8 часов вечера, с целью Вас повидать и бородинскую Героическую симфонию си минор посмотреть. Буде не затруднит Вас, голубушка, разрешите нам видеть Вас,— ведь все хорошие музыкальные дела у Вас заводились и у Вас делались: я, как кот, к дому привыкаю. Бородин от себя войдет к Вам с челобитной». И эти вечера вдвоем или втроем были самые искренние и приятные».

Кроме кружка близких друзей, была и Бесплатная школа и молодежь, которая вокруг нее группировалась,— всё горячие почитатели Бородина.

А сколько было незнакомых, неведомых сторонников, которые заполняли хоры концертных залов и теснились у входов, чтобы хоть одним глазком взглянуть на своих любимых композиторов! Это они устроили Бородину овацию после исполнения Второй симфонии.

Скоро у него появился еще один могущественный друг и союзник.

Летом 1877 года Бородин поехал в Германию. На этот раз он отправился туда не по своим делам, а для того, чтобы устроить в Иенский университет «своих мальчиков», «своих птенцов», как он называл Дианина и Гольдштейна.

Они учились в Медико-хирургической академии, но, так же как и их учитель, избрали своей специальностью химию и должны были теперь работать в Вене над диссертациями, чтобы получить степень доктора философии.

Поездка эта оказалась гораздо более интересной и важной для Бородина, чем он мог ожидать.

Сидя в гостинице и просматривая газеты, он прочел, что в Иене состоится концерт, где будут исполняться вещи Листа, и что Лист сам приедет послушать их исполнение.

Бородин и прежде мечтал о том, что познакомится с великим венгерским композитором, которого он давно уже хорошо знал и любил по его произведениям.

Проще всего было бы дождаться в Иене приезда Листа. Ведь и ждать-то было недолго — всего два дня. Но Бородиным овладело такое нетерпение, что он на другое же утро отправился к Листу в Веймар.

О встречах с Листом он написал несколько писем жене. Когда эти письма прочел Стасов, он пришел в восторг и настоял на том, чтобы Бородин переработал их для печати.

В этой работе Александру Порфирьевичу помогала Екатерина Сергеевна. Она писала А. П. Дианину:

«Саша дописывает Листиаду и советуется и спрашивает меня во всех своих затруднениях. Он зачеркивает, убавляет, прибавляет то соли, то перцу, то меду в свою рукопись,— все по моему усмотрению и вкусу. Не скрою, что такая вера в мой вкус и чувство меры — очень лестны мне».

Первый вариант — «Мои воспоминания о Листе» — был написан Бородиным в 1878 году, но остался неопубликованным. И только через пять лет в журнале «Искусство» появился второй вариант — статья Бородина «Лист у себя дома в Веймаре».

Как не подходит слово «статья» к этому блестящему, высокохудожественному произведению! Это не только яркий портрет великого композитора, написанный другим великим композитором,— это мастерски сделанная картинка быта, эпохи.

Читая все, что Бородин написал о Листе, невольно начинаешь думать: что, если бы Бородин мог отдавать литературной работе больше внимания и времени? Он был бы тогда знаменит не только как композитор и ученый, но и как писатель. Его воспоминания о Листе по блеску, живости, остроумию напоминают лучшие страницы «Былого и дум» Герцена. И в то же время это необыкновенно своеобразное произведение, где в каждой строчке чувствуется Бородин с его тонкой наблюдательностью, с его благодушным юмором, с его глубоким пониманием искусства и жизни.

Репин писал Стасову:

«Я не могу начитаться письмами А. П. Бородина, вот это прелесть! Какая свежесть, образность, сила! Какая простота и художественность языка! Только Пушкину под стать. Я точно был в Веймаре у Листа с ним... Какие полные жизни картины и концертов, и уроков с учениками, и всех, всех слабостей Листа. Ну, что это за чудо — все эти его письма!»

Перелистывая страницы воспоминаний Бородина о Листе, не знаешь, какую считать лучшей,— настолько все хороши.

«Величавая фигура старика, с энергическим выразительным лицом, оживленная, двигалась передо мною и говорила без умолку, закидывая меня вопросами относитель-

но меня лично и музыкальных дел в России, которые ему, очевидно, недурно известны».

Разговор начался с Первой симфонии Бородина:

— Вы сделали прекрасную симфонию,— этими словами вместо всякого другого приветствия Лист встретил гостя.

Заговорили о русской музыке. От «Садко» и «Антара» Римского-Корсакова разговор перешел к «Исламею» Балакирева. Лист хорошо знал и ценил новую русскую школу.

В своей статье о Листе, приготовленной для печати, Бородин опустил некоторые подробности этого разговора, отчасти из скромности, отчасти для того, чтобы «гусей не раздразнить».

Зато в письме к жене он откровенно рассказал о том, с каким восторгом отзывался Лист о Первой симфонии.

— Я, собственно,— воскресный музыкант,— сказал Бородин, который так привык к упрекам друзей («он, дескать, только по воскресеньям занимается музыкой») и к насмешкам врагов («Бородин — дилетант в музыке»).

Лист остроумно возразил:

— Но ведь воскресенье это все-таки торжественный день. А вы имеете полное право торжествовать.

Для Листа было неожиданностью то, что Бородин профессор химии.

— Как, когда и где же успели вы выработать себе такую громадную технику? Где вы учились? Не в Германии же?

Бородин ответил, что в консерватории не учился.

Лист засмеялся:

— Это ваше счастье, мой дорогой. Работайте, работайте всегда, работайте даже если бы ваши вещи не игрались, не издавались, не встречали сочувствия; верьте мне, они пробьют себе почетную дорогу. У вас огромный и оригинальный талант. Не слушайте никого, работайте так, как вам свойственно.

Когда Бородин стал благодарить за эти добрые слова, Лист с досадой перебил его:

— Да я не комплименты вам говорю; я так стар, что мне не пристало говорить кому бы то ни было иначе, чем я думаю; меня за это здесь не любят, но не могу же я говорить, что пишут хорошие вещи, когда нахожу их плоскими, бездарными и безжизненными.

В течение нескольких дней Бородин и Лист не могли досыта наговориться. Казалось, что они не сейчас только познакомились, а были друзьями уже давно и встретились после долгой разлуки.

Особенно хороши те строки воспоминаний Бородина, где он рисует Листа среди учеников.

Лист никогда не задавал уроков. Каждый из учеников выбирал то, что ему нравилось. Если он играл то, что было Листу не по душе, тот останавливал его без церемонии.

— Бросьте, охота вам играть такую дребедень.

В кругу молодежи Лист совсем не был похож на профессора среди учеников. Это был скорее добрый отец среди детей или дедушка, окруженный внучатами.

«Он редко удерживается в тесных рамках исключительно преподавательских отношений и скоро начинает принимать близко к сердцу частную жизнь своих учеников. ...И во все это вносит столько теплоты, нежности, мягкости, человечности, простоты и добродушия! На моих глазах было несколько примеров подобных отношений, которые заставляют высоко ценить Листа как человека. Как видно, ни годы, ни долгая лихорадочная деятельность, ни богатая страстями и впечатлениями артистическая и личная жизнь не могли истощить громадного запаса жизненной энергии, которою наделена эта могучая натура.

Все это, вместе взятое, легко объясняет то прочное обаяние, которое Лист до сих пор производит не только на окружающую его молодежь, но и на всякого непредубежденного человека. По крайней мере полное отсутствие всего узкого, стадового, цехового, ремесленного, буржуазного как в артисте, так и в человеке сказывается в нем сразу».

Ну, разве это не портрет самого Бородина, человека огромной жизненной мощи и широты, с мужественной и в то же время нежной душой?

Через несколько лет Бородину пришлось писать о другом человеке, которого он любил, о своем учителе — Зинине. И опять он особенно подчеркивал те черты, которые были близки ему самому: соединение силы с человечностью.

Доброту иногда отождествляют со слабостью. Но не о такой маленькой, тепловатой доброте говорил Бородин, когда вспоминал об огненных людях — о Листе, о Зинине.

Давно ли Бородин стоял у белой колонны Дворянского собрания и, глубоко задумавшись, смотрел куда-то вдаль, словно не над ним глумилась «светская чернь», занимавшая первые ряды кресел.

И вот он в гостях у Листа. Он слушает, как великий музыкант играет с пианистом Зарембским в четыре руки Богатырскую симфонию.

Они играют с огнем, так что рельефно выступают даже такие тонкие детали, которые пропадали у других пианистов. Бородин восхищается исполнением, а Лист — симфонией, которую играют.

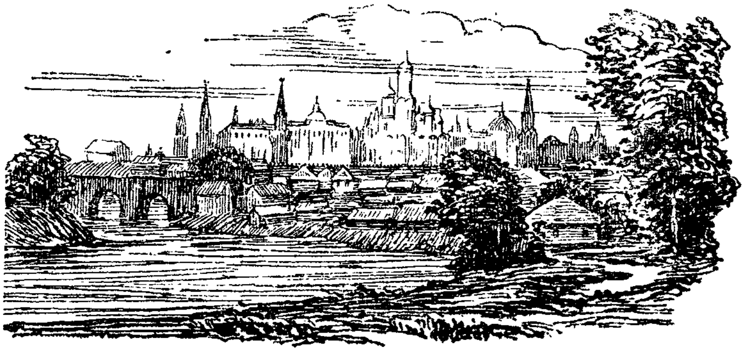
«Лист сел на мое место и бойко, с огнем, с энергией и увлечением сыграл финал. После этого он перебрал мою симфонию по косточкам, останавливаясь с большим вниманием на различных подробностях гармонизации, формы и пр., которые он находил наиболее оригинальными, и я имел новый случай убедиться, с каким горячим интересом он относится к музыкальному делу вообще и к русскому в частности. Трудно представить себе, насколько этот маститый старик молод духом, глубоко и широко смотрит на искусство; насколько в оценке художественных требований он опередил не только большую часть своих сверстников, но и людей молодого поколения; насколько он жаден и чуток ко всему новому, свежему, жизненному; враг всего условного, ходячего, рутинного; чужд предубеждений, предрассудков и традиций — национальных, консерваторских и всяких иных».

Временами Бородину казалось, что он не в Веймаре, а в Петербурге, на собрании балакиревского кружка. Так же как Балакирев, Лист импровизировал, создавая новые вариации вещей, которые он играл. Так приятно было слушать его в домашней обстановке, переворачивать стоящие перед ним ноты. Здесь, в этой комнате с окнами в сад у рояля, уже порядком пострадавшего от ретивых учеников, началась всемирная слава Бородина.

Лист немало сделал для того, чтобы Бородина услышали и оценили в Германии. А потом нашлись горячие почитатели и в других странах.

Симфонии и другие вещи Бородина с триумфом шли по Европе, по Америке, с каждым годом завоевывая новые города и страны.

В мощных звуках бородинских симфоний гремела слава и Бородину, и русской музыке, и русской земле, которая рождает таких богатырей.



Глава двадцать восьмая

ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА

Бородин говорил, что его заветная мечта — написать эпическую русскую оперу. Но как много и внутренних и внешних трудностей было на пути к осуществлению этой мечты!

В его воображении все отчетливее вырисовывалось мощное, монументальное здание будущей оперы.

Чтобы строить это здание, хотелось работать сосредоточенно, не разбрасываясь, не отрываясь ежечасно. Но так работать не удавалось.

Взявшись снова за «Игоря», Бородин сразу двинул дело вперед «львиной хваткой», как в таких случаях говорил о нем Стасов. Можно было подумать, что и дальше работа пойдет так же быстро. Но опять навалились всякие дела, и опера отошла на второй план.

Вот что писал об этом Бородин Кармалиной в апреле 1875 года:

«Вследствие учебных и ученых занятий, всяких комиссий, комитетов, заседаний и пр. и пр. мне почти не остается досугов для музыки. Я только урывками кое-когда улучу минутку, чтобы посмотреть что-нибудь новое, послушать других и т. д. Самому работать на музыкальном поприще почти не приходится. Если и есть иногда физический досуг, то недостает нравственного досуга — спокойствия, необходимого для того, чтобы настроиться музыкально. Голова не тем занята... Когда я болен настолько, что сижу дома, ничего *«дельного»* делать не могу, голова тре-

щит, глаза слезятся, через каждые две минуты приходится лазить в карман за платком,— я сочиняю музыку. Так и нынче, я два раза в году был болен подобным образом, и оба раза болезнь разрешилась появлением новых кирпичиков для здания будущей оперы. (Опера эта — «Князь Игорь». Материалы мне доставил В. В. Стасов. Либретто я стряпаю сам.) Написал большой марш «Половецкий», выходную арию Ярославны, «Плач Ярославны» для последнего действия, женский хорик в Половецком лагере, кое-что для танцев (восточных — так как половцы все-таки восточный народ). У меня уже накопилось немало материалов и даже готовых номеров, оконченных и закругленных (напр., хоры, ария Кончаковны и проч.). Но когда мне удастся все это завершить? недоумеваю. Одна надежда на лето...»

И вот наступило это долгожданное лето. Бородины уехали в Москву, где поселились не в «курятнике», как называл Александр Порфирьевич крошечную квартирку своей тещи, а в пустовавшей тогда просторной квартире главного врача Голицынской больницы. Был там и рояль — необходимое орудие производства.

Лето в Москве оказалось плодотворным. Когда Бородин вернулся в Петербург, ему было чем порадовать друзей. Он писал жене, которая осталась в Москве на осень.

«Признаюсь, я даже не ожидал, что мои московские продукты произведут такой фурор — Корсинька в восторге, Модест тоже, Людмила Ивановна приглашает Петровых послушать их. Особенно меня удивляет сочувствие к первому хору, который мы пробовали в голосах и — без хвастовства скажу — нашли ужасно эффектным, бойким и ловко сделанным в сценическом отношении. Кончак, само собою разумеется, тоже произвел то впечатление, какого мне хотелось; кроме некоторых неловкостей, чисто голосовых (которые надобно исправить), в пении он выходит очень хорош. Особенно он нравится Корсиньке. Ему же, равно и Модесту, ужасно нравится тот дикий восточный балет, который я сочинил после всего в Москве; помнишь? такой живой в $^6/_8$. Разумеется, все хором только и твердят, чтобы я писал поскорее остальное, не откладывая в долгий ящик. Кюи был у меня нарочно, чтобы послушать, но не застал; он, Стасов и Щиглев приходили за тем же к Корсакову, у которого я обещал быть,— но у нас как раз было заседание в этот вечер, и я не был у Корсакова».

В Москве у Бородина было достаточно времени для того, чтобы написать много нового, а в Петербурге он даже не мог найти нескольких часов, чтобы показать написанное Стасову.

Ни один влюбленный не ждет свидания с таким нетерпением, с каким Стасов ждал встречи с Бородиным. Он писал Бородину одно письмо за другим, в которых и требовал, и негодовал, и умолял.

Письмо от 17 сентября:

«Вчера вечером... следующие лица собрались у Римских-Корсаковых:

Николай Андреевич,

Надежда Николаевна,

Кюи,

Я,

Еще кто-то (фамилии не знаю).

Дело состояло в том, что некто Бородин, всеми нами обожаемый (особливо мною), обещался быть со своею новою музыкою у *Римск.-Корс.* именно вчера вечером, а «Князь Игорь» черт знает как нас интересует, особенно вдруг подвинутый вперед львиною хваткою.

Но мы Вас прождали понапрасну и разошлись, повесив нос. В два дня — и две неудачи! Третьего дня я Вас не застал (приезжал я со Щербачевым), *вчера* Вы забыли обещание!!!»

Письмо от 19 сентября:

«Вчера вечером мы опять ждали и... так и не дождались. Я в ужасе, что̀ если мне еще долго не придется услыхать «Игоря», про которого Римлянин рассказывает мне такие чудеса».

Бородин отвечал Стасову: «За горячее участие в судьбе «Игоря» и его безалаберного баяна (разумей меня грешного) крепко жму Вашу руку. До субботы».

И только 21-го Бородин побывал, наконец, у Стасова.

А дальше снова завертелось колесо. Снова пошли комиссии, комитеты, экзамены, диссертации, отчеты, лабораторные занятия и пр. и пр.

Бородин шутя говорил, что в такие дни он даже забывает, что когда-либо занимался музыкой. Он сравнивал себя с одним из шекспировских персонажей, который на все вопросы отвечал: «Сейчас, сейчас!»

«Некоторые из присяжных музыкантов,— говорил он,— не могут мне простить, что я, занимаясь лишь в часы досуга музыкой, создаю такие вещи, которые обращают

на себя огромное внимание, они же при всем старании не могут высидеть ничего путного. Ученые же коллеги косятся на мои занятия, видя в них поругание над ученой мантией. Вот если бы я «винтил» или занимался банковыми и биржевыми операциями — это было бы по-ученому».

И действительно, несмотря на то, что Бородин отдавал свои силы не одной только науке, но и музыке, он и в той и в другой области сделал неизмеримо больше, чем многие из «ученых в мантиях» и профессиональных музыкантов.

Гвардейский офицер Мусоргский бросил военную службу, чтобы все силы отдать музыке. Моряк Римский-Корсаков ушел для этого из флота. А Бородин не оставил химии и все-таки сумел стать одним из замечательнейших русских композиторов.

В этом нескончаемом споре между наукой и музыкой Бородин не мог отдать предпочтение ни тому, ни другому.

«...Я люблю свое дело, и свою науку, и академию, и своих учеников; наука моя — практическая по характеру занятий, а потому уносит множество времени; студенты и студентки мне близки и в других отношениях, как учащаяся молодежь, которая не ограничивается тем, что слушает мои лекции, но нуждается в руководстве при практических занятиях и т. д. Мне дороги интересы академии. Вот почему я, хотя с одной стороны желаю довести оперу до конца, но с другой — боюсь слишком увлекаться ею, чтобы это не отразилось вредно на моей другой деятельности. Теперь же, после исполнения хора из «Игоря», в публике стало уже известно, что я пишу оперу; скрывать и стыдиться нечего... Теперь волей-неволей придется кончать оперу. Немало этому помогает и горячее отношение к ней моих музыкальных друзей и большой интерес оперного персонала — Петровых, Васильева, Кондратьева и пр. ...»

«...Курьезно то, что на моем «Игоре» сходятся все члены нашего кружка: и ультрановатор-реалист Модест Петрович, и новатор в области лирико-драматической музыки Цезарь Антонович, и строгий относительно внешних форм и музыкальных традиций Николай Андреевич, и ярый поборник новизны и силы во всем Владимир Васильевич Стасов. «Игорем» пока все довольны, хотя относительно других вещей они во многом сильно расходятся. Вот Вам сказание о моем незаконнорожденном и еще не доношенном младенце «Игоре».

Не легко было Бородину с этим младенцем-великаном. Ведь, кроме множества внешних помех, были и огромные внутренние трудности, которые надо было преодолеть.

Проторенной дорожки в эпической опере не было. Глинка указал направление. Но «Руслан и Людмила» — это сказка. А Бородин хотел, чтобы в его опере ожило историческое прошлое русского народа. Его героями были не Руслан и не Черномор, а люди, которые действительно существовали,— князь Игорь и хан Кончак.

Чтобы создать такую оперу, надо было быть новатором.

Стасову принадлежала необыкновенно удачная идея — положить в основу оперы сюжет из «Слова о полку Игореве». Он знал, что такая задача по плечу и по вкусу Бородину. Работая над сценарием, он стремился извлечь из «Слова» все то, из чего можно было построить оперный сюжет. Так случилось, что в основе драматического действия оказалась личная судьба героев — Игоря и Ярославны, Владимира Игоревича и Кончаковны. Потому-то и кончался сценарий свадьбой сына Игоря и дочери Кончака.

Тема, так удачно найденная Стасовым, пленила Бородина. Но он скоро усомнился в правильности первоначального плана. Он задумался над тем, не будет ли ошибочным такое «третирование сюжета с драматической и сценической стороны». «Драматического здесь мало, движения сценического почти никакого».

Эти сомнения были одной из причин того, что Бородин отрекся от «Игоря». Очевидно, нужно было, чтобы прошло какое-то время и можно было заново пересмотреть весь замысел.

Прежняя традиционная драматическая форма не выдерживала эпического содержания: новое вино требовало новых мехов.

Это противоречие между замыслом Бородина и сценарием не сразу дало себя чувствовать.

Начался длительный период творческого преодоления первоначального плана, а вместе с этим и ломка обычных оперных традиций.

Прежде всего Бородину стало ясно, что эпическую оперу надо писать крупными штрихами, что нельзя ее мельчить. Образы должны быть монументальными.

«По-моему,— писал Бородин,— в опере, как в декорации, мелкие формы, детали, мелочи не должны иметь места; все должно быть писано крупными штрихами, ясно, ярко».

И вот, вместо того чтобы думать о деталях обычной оперной интриги, он сразу берется за создание человеческих образов.

Как Бородин-химик, отделив кристаллы, отбрасывал уже ставший ненужным раствор, в котором остались одни лишь примеси, так и Бородин-композитор постепенно удалял из либретто все мелочи, все, что было необязательно для обрисовки главных образов. Из оперы выпали купцы, рассказывающие Ярославне о том, что русская рать разбита и что Игорь попал в плен. Оказались лишними и готские девы и иноземцы — товарищи Владимира Галицкого, и длинный разговор Ярославны с Овлуром.

То, что могло бы стать пружиной действия в опере обычного, не эпического склада,— любовная интрига между молодой красавицей и пленником ее отца,— отходит в «Князе Игоре» на второй план. Главная женская роль в опере принадлежит не Кончаковне, а Ярославне.

Образ Ярославны был очень дорог Бородину. Когда он только приступил к работе над оперой, он начал с того, что написал «Сон Ярославны». И когда в 1874 году он вернулся к оставленному замыслу, его воображение снова было захвачено все тем же поэтическим образом:

Ярославна рано плачет в Путивле на стене, причитая...

В мировой поэзии немного найдется произведений, где так прекрасно была бы выражена сила любви, более могущественная, чем все силы природы. Ведь недаром Ярославна обращается и к солнцу, и к ветру, и к Днепру Словутичу, то упрекая их, то призывая на помощь к своей «ладе» — к своему милому:

«О ветер, ветрило? Зачем, господине, бурно веешь? Зачем несешь вражеские стрелы на своих легких крыльях на воинов моей лады? Мало ли тебе было в вышине под облаками веять, лелея корабли на синем море? К чему, господине, мое веселие по ковылю ты развеял?»

Только в народной песне, в народных плачах и причитаниях можно было найти образец для музыкального воплощения облика тоскующей Ярославны. И это сразу же давало направление всей работе. Не по старым, избитым тропам надо было идти и не обычную арию надо было создавать. Бородин смело ищет новую дорогу. И он ее находит. Ему удается создать в музыке то, что автор «Слова о полку Игореве» создал в поэзии.

В «Плаче Ярославны» до нас доходит не только живой голос женщины, которой давно уже нет на свете. В нем звучит вековечное горе многих матерей и жен. Это стон, который не умолкнет до тех пор, пока на всей земле не затихнет навсегда грохот битв.

Чтобы ярче оттенить образ Ярославны, Бородин противопоставляет ей Кончаковну. Не случайно ария Кончаковны была написана вскоре после «Плача Ярославны».

Обе они умеют сильно любить. Но русская женщина готова на самоотречение, когда этого требуют честь и долг. А Кончаковна — достойная дочь своего отца, восточного деспота. Что для нее честь и долг того, кого она любит? Она способна подвергнуть его смертельной опасности, лишь бы не отпустить.

И так же методом контрастов дает Бородин Игоря. Еще прежде чем образ Игоря нашел свое выражение в арии «О дайте, дайте мне свободу», Бородин создал для контраста образ Владимира Галицкого.

Он писал в 1879 году Стасову:

«Кое-что успел сделать: 1) Владимира Галицкого, который имел только три слова речитатива, сделал персонажем; написал ему два речитатива и весьма циническую песню, характеризующие его отношения ко всему вообще и к Ярославне в частности. Это — вставка в хоровую сцену 1-й картины 1-го действия. Для 2-й картины: написал дуэт Владимира Галицкого с Ярославною; женский хор и сцену с Ярославною; во всем этом еще рельефнее обрисовывается Владимир Галицкий. Теперь это вышла маленькая, но довольно рельефная роль. При всем цинизме я сделал его князем, и не слишком грубым, а то это был бы второй экземпляр Скулы. Это просто скверный гамен, цинический, но не лишенный некоторого изящества и вовсе не жестокий тиран».

Два князя — два разных взгляда на честь, власть, любовь:

> Пожил бы я всласть,—
> Ведь на то и власть,—

говорит Владимир Галицкий.

А для Игоря быть князем — значит служить русской земле, охранять ее, бороться с ее врагами.

Игорь — это воплощение идеи патриотического долга, героизма, воплощение чести.

> С честью пасть иль врагов победить
> И с честью вернуться.

А Галицкий совсем по-другому понимает значение слова «честь»:

Только б мне дождаться чести,
На Путивле князем сести,
Я б не стал тужить,
Я бы знал, как жить.

От чести пасть за родину Владимир Галицкий предпочел бы отказаться. Этот циничный «гамен» — «скверный мальчишка» — нужен был Бородину, чтобы оттенить характер Игоря, его мужество, его верность отечеству.

Но Игорю противопоставлен не только Владимир Галицкий. Еще ярче и значительнее контраст между русским князем и половецким ханом, образ которого также был создан Бородиным еще до того, как вырисовался образ Игоря. Так художник, накладывая тени, выделяет ими то, что должно стать самым светлым и ярким в картине.

Льстивыми речами и обещаниями искушает русского князя Кончак. Он предлагает Игорю все, что ему самому кажется желанным.

Все соблазны проходят перед Игорем. Страстные, томные песни и пляски невольниц зовут его к наслаждению.

Если хочешь, любую из них выбирай,—

говорит хан.

Он предлагает князю свою дружбу:

Ах, не врагом бы твоим,
А союзником верным,
А другом надежным,
А братом твоим
Мне хотелось бы быть,— ты поверь мне.

Хан властолюбив. Для него власть — это господство над порабощенными. И он обещает Игорю разделить с ним это господство:

Как два барса, рыскали бы вместе,
Кровью вражьей вместе упивались
И всех в страхе держали под пятой,
Чуть что,— так на кол или голову долой.

В этой сжатой формуле — весь Кончак.

Бородин, как ученый, сопоставляет в своем произведении три возможных взгляда на власть: власть для служения народу и родине (Игорь), власть, чтобы всех держать «в страхе под пятой» (Кончак), власть для того, чтобы «жить всласть» (Владимир Галицкий).

Мог ли Игорь принять предложение Кончака? Он и желанную свободу не взял из рук хана, потому что это бы-

ло бы изменой родине. Ведь, обещая ему свободу, Кончак поставил свои условия:

> Дай только слово мне, что на меня
> Меча ты не поднимешь.

Будь Игорь таким же коварным хищником, как Кончак, он дал бы слово — и нарушил его. Но он честен и прям, даже когда имеет дело с врагом.

Он отвечает:

> Лишь только дай ты мне свободу,
> Полки я снова соберу
> И на тебя ударю вновь.

Он сам добывает себе свободу, чтобы спасти Русь и сломить ее врагов.

Когда Бородин изучал в лаборатории новое вещество, он действовал на него реактивами, чтобы узнать его свойства. Работая над образами в опере, он тоже заставляет своих героев вступать во взаимодействие для того, чтобы они при этом лучше и ярче проявили себя. Он испытывает Игоря Кончаком, как золото пробуют кислотой. И так же точно моральная высота Ярославны выявляется с особенной силой в разговоре с Владимиром Галицким.

В каждой из таких сцен для Бородина главное не развертывание драматического сюжета, а яркий, контрастно-четкий показ образов.

Мусоргский писал поэту Голенищеву-Кутузову: «Да, бишь, находился у Л. И. Шестаковой... Бородин показывал фрагменты из «Игоря»,— много *настоящего*. Ты, говорят, скоро приедешь, стало быть, лучше объясниться при свидании... В амальгаме, очень симпатичной, драматического творчества Бородина сидит *лекция:* ты, как художник, ее почуешь мигом. Ты меня, надеюсь, понял: Бородин приказывает своим героям резюмировать из столкновения фактов, случайностей — как хочешь, все равно. При всей симпатичности сочинения слушателю нет вывода...»

Научная четкость и наглядность в изображении героев были правильно подмечены Мусоргским. Но было ли это недостатком оперы?

Нет, в этом была ее сила. Бородин-ученый и Бородин-художник в ней неразделимы. «Князь Игорь» это не амальгама науки и искусства, а их органическое единство.

Обобщение у Бородина нигде не переходит в отвлеченность. Он мыслит в масштабе веков и народов и в то же

время видит душу каждого отдельного человека. Его герои, при всей их монументальности и четкости контуров, остаются живыми людьми.

У Стасова в сценарии нет Скулы и Ерошки. Введя их в число действующих лиц, Бородин сделал оперу еще более жизненной, правдивой. Он и тут следовал не только художественной, но и исторической правде.

В летописи говорится о воинах из племени ковуев, которые входили в состав черниговского отряда. (Ковуи были когда-то кочевниками, но потом обрусели и переменили кочевой образ жизни на оседлый.) Во время решающей битвы они одни из всего русского войска обратились в бегство.

В бумагах Бородина есть запись: «Скула и Ерошка — из возмятошившихся ковуев черниговских Ольстина Олексича, бежавших с поля сражения. Пристали, естественно, к Владимиру Галицкому оба ковуи».

Но Скула и Ерошка понадобились Бородину не только для исторической правды и не только как контраст к образам героев. Они нужны были ему и для того, чтобы сделать более ярким и многогранным музыкальное содержание оперы.

Ведь древнерусская музыка воплощалась не только в героических песнях таких певцов, как Баян, но и в сатирических песенках скоморохов.

Шутки и прибаутки скоморохов придают опере еще более реалистический характер.

Все это дало возможность Бородину показать далекое прошлое так, чтобы оно казалось нам живым и близким...

Солнцу красному — слава,
Слава в небе! У нас
Князю Игорю слава,
Слава у нас на Руси!

Этот хор во славу князя Игоря, выступающего с войском в поход против половцев, Бородин написал для последнего действия оперы.

Но потом он перенес его в пролог, которого не было в стасовском сценарии.

Такое изменение плана, казалось, не вносило ничего нового: это была только перестановка. Но достаточно было переставить хор из последнего действия в пролог, чтобы вся опера зазвучала иначе. Ведь теперь с самого же начала на сцену выходил народ.

Недаром Бородин отводил этому хору такое важное место в опере.

Он писал Кармалиной: «Хор славления, исполненный в концерте Бесплатной школы, имел большой успех, а для судьбы моей оперы имел существенное значение».

Но, изменив начало оперы, Бородин должен был изменить и ее конец.

В первоначальном плане опера должна была кончаться свадьбой Владимира Игоревича и Кончаковны. Но эта традиционная свадьба в последнем действии тут была совсем неуместна. Она была явно из «другой оперы». И вот у Бородина в последнем действии народ славит Игоря, вернувшегося из плена.

А. Н. Молас (урожденная Пургольд) вспоминала потом, что в финале Бородин предполагал дать арию — клич князя Игоря к дружине с призывом к новому ответному походу.

А вот что пишет об этом академик Б. В. Асафьев: «Лично мне Стасов много рассказывал о ходе работы над «Игорем» и, между прочим, точнее и категоричнее говорил об эпилоге оперы, где, в сущности, вновь и ярче и сильнее народ славил выступление князя в поход на основе музыки «Славы» пролога...»

Профессору П. А. Ламму удалось восстановить по рукописям Бородина вариант арии Игоря. В плену, окруженный врагами, Игорь обращается к русским князьям, призывая их объединиться для общей борьбы с половцами.

Как и автор «Слова о полку Игореве», Бородин хотел подчеркнуть, что неудавшийся поход северского князя — только один эпизод многовекового столкновения народов. В этом столкновении на одной стороне была земледельческая Русь, на другой — кочевой Восток. Печенеги, половцы, татары сменяли друг друга, как кочующие волны моря, стремящиеся затопить землю.

Это была борьба двух эпох, культуры и варварства, передового и отсталого — та борьба, в которой выковывались и судьбы народов и судьбы людей.

Вот это Бородин и сумел показать в своей опере.

Один из творцов науки, друг Менделеева и Бутлерова, он оставался большим ученым и тогда, когда работал над оперой. Это сказалось не только в кропотливом изучении летописей. Каждый, кто занимается наукой, всегда начинает с изучения материала. Научный гений Бородина проявился в том, что он и в искусстве сумел подняться до общих законов, которым подчинены частные явления. Произведение на историческую тему стало в его руках не только

большим историческим полотном, но и большим научным обобщением.

Бородину неизвестно было и не могло быть известно то письмо Маркса к Энгельсу, в котором по поводу «Слова о полку Игореве» сказано, что «смысл поэмы — призыв русских князей к единению как раз перед нашествием монголов»[1].

Но именно это увидел Бородин в «Слове»: не просто поход одного из русских князей против половецких ханов Гзака и Кончака, а мощное движение целого народа против варварского нашествия.

Опера называется «Князь Игорь». Но Игорь представлен в ней не как отдельный человек, а как выразитель воли многих тысяч русских людей. Вот почему Бородину нужно было с самого же начала показать в опере народ в единении с вождем. Этого требовала и художественная и историческая правда.

Ипатьевская летопись рассказывает:

Когда Игорь увидел, что он собрал против себя всю землю половецкую, он сказал об этом своей дружине. Тогда все сошли с коней и решили с боем пробиться к Донцу, говоря: «если побежим и спасемся сами, а черных людей оставим, то это будет наш грех перед богом. Так умрем же или останемся живы все вместе». Сказав это, они сошли с коней и пошли, сражаясь. Игорь был ранен в руку, и печаль была великая в полку его.

Так, по свидетельству летописи, борьба с общим врагом объединила всех — и князей, и дружину, и «черных», то есть простых людей.

Делая народ действующим лицом, Бородин следовал исторической правде. Но для этого ему пришлось, так же как Мусоргскому в «Борисе Годунове», сломать общепринятые оперные традиции...

Весь этот огромный замысел не сразу получил четкие очертания. Либретто росло органически вместе с музыкой, по мере того как Бородин все глубже входил в работу. «Вон оно как сочиняется, *органически-то*, либретто!» — писал он Стасову.

Работая над либретто, Бородин углубился в изучение «Слова о полку Игореве», летописей, «Задонщины», «Мамаева побоища». В поисках музыкального материала он тоже обратился не к готовым образцам, а к первоисточникам.

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXII. С. 122.

Рядом с летописями на его столе появились сборники русских и восточных песен.

Как раз в эти годы Римский-Корсаков составлял свой сборник русских народных песен и работал над их гармонизацией. Ему помогали в этом все те, чьей памяти и музыкальному слуху он доверял. Таких было немного. Среди них Римский-Корсаков называет в своих воспоминаниях Екатерину Сергеевну и уроженку приволжских губерний Дуняшу Виноградову, которая много лет служила у Бородиных.

Каждый раз, когда Бородины уезжали в деревню, Александр Порфирьевич набирался там не только здоровья и бодрости, но и музыкальных впечатлений.

Как сказочный титан обретал свою мощь, прикасаясь к матери-земле, так и Бородин черпал новые творческие силы, когда соприкасался со стихией народных песен. Эти песни находили живой отзвук в его душе, будили его воображение.

Вот вдали в самом конце деревенской улицы послышалось пение. Это возвращаются с покоса крестьяне соседней деревни. Все слышнее голоса. Уже можно разобрать слова песни. Бородин внимательно прислушивается к тому, как подголоски то сливаются с основным напевом, то выводят свою собственную мелодию.

Сколько давнего сдержанного горя в этой протяжной песне!..

Крестьяне проехали мимо. Голоса затихают вдали. Уже не слышно ни песен, ни стука колес. Но глубокое и сильное впечатление осталось.

Под влиянием такой песни, услышанной в деревне, Бородин написал чудесный хор поселян для последнего действия «Игоря»:

Ох, не буйный ветер завывал,
Горе навевал...

Но Бородин не довольствовался случайно услышанными песнями,— он сам их разыскивал, как драгоценный материал для работы.

Одну такую находку ему посчастливилось сделать на родине А. П. Дианина, в селе Давыдове Владимирской губернии. Там Бородины провели три лета подряд — с 1877 по 1879 год.

С. А. Дианин рассказывает в своей статье «А. П. Бородин в селе Давыдове»:

«Подобно тому как в лесах близ Давыдова, уже основательно порубленных, все еще удавалось тогда найти,

наряду с молодой порослью, могучие сосны, ели и дубы, там оказывалось еще возможным отыскать и старинные напевы прекрасных народных песен, еще жившие в памяти отдельных немногочисленных представителей старших поколений. Александру Порфирьевичу посчастливилось напасть на одно такое сокровище, полностью нам, увы, неизвестное.

Дело было так. В поисках нужной ему песни Бородин обратился к знакомому ему крестьянину деревни Новское Ивану Петровичу Лапину; этот последний привел к Александру Порфирьевичу своего родственника, старика 73 лет, некоего Вахрамеича, жившего в деревне Новая Быковка. Вахрамеич, знавший много старинных песен, сообщил Бородину какой-то новый вариант песни «про горы Жигулевские», или «про горы Воробьевские», который и лег в основу темы «хора поселян» для IV действия «Игоря».

Бородин обрадовался, когда услышал еще один вариант этой песни, которую он знал и раньше по сборнику Прокунина и над напевом которой уже работал.

Слова песни так поэтичны, что их нельзя не привести целиком:

Ах вы, горы, горы
Воробьевские (4 раза).
Породили горы
Бел-горюч камень.
Из-под камня речка
Текла быстрая.
Как на той на речке
Част ракитов куст.
На том на кустике
Сидит сиз орел,
Во когтях он держит
Черна ворона.
Не бьет он, не мучит,
Все выспрашивает:
«Ты скажи, скажи мне,
Млад черный ворон!
Уж как, где летал ты,
Где полетывал?» —
«Летал во степях я
Во саратовских;
Видел во степях я
Диво дивное:
Что лежит средь поля
Тело белое.
Лежит, лежит тело
Молодецкое.
Прилетали к телу
Да три пташечки;

Как первая пташка —
То родная мать;
А вторая пташка —
Сестра милая;
А третья пташка —
Молода жена.
Уж как мать-то плачет,
Что река льется;
А сестра-то плачет,
Что ручей бежит;
А жена-то плачет,
Что роса падет.
Взойдет красно солнце —
Росу высушит».

Печальная музыка песни так же прекрасна, как ее слова.

Бородин пришел от нее в такое восхищение, что решил воспользоваться ею для «Князя Игоря».

Народные песни — вот материал, который стал основой «Игоря».

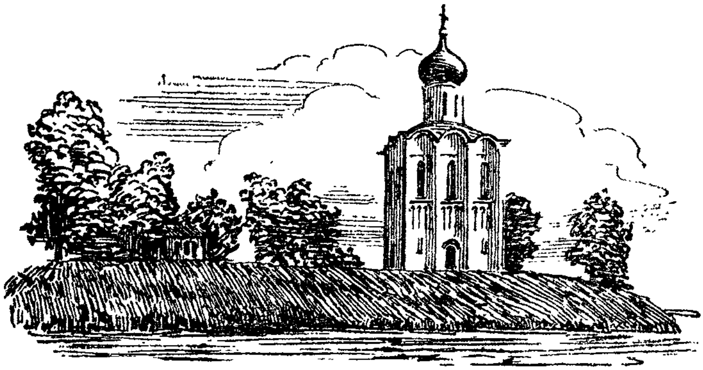
Но это не простое перенесение песен в оперу. Бородин так глубоко проник в дух народной музыки, что ему удавалось создавать напевы, которые трудно отличить от народных.

Бородин мог бы пойти и другим путем: сделать мелодической основой оперы интонации человеческой речи. Так он поступил, когда создавал партию Владимира Галицкого, где в мелодии слышится бесшабашная, пьяная речь гуляки, который еле держится на ногах. Восточный склад речи чувствуется в речитативах Кончака.

Но не от разговорных интонаций, а от песни шел Бородин в работе над оперой.

Он писал:

«Нужно заметить, что во взгляде на оперное дело я всегда расходился со многими из моих товарищей. Чисто речитативный стиль мне был не по нутру и не по характеру. Меня тянет к пению, кантилене, а не к речитативу, хотя, по отзывам знающих людей, я последним владею недурно. Кроме того, меня тянет к формам более законченным, более круглым, более широким. Самая манера третировать оперный материал — другая...» «Голоса должны быть на первом плане, оркестр — на втором. Насколько мне удастся осуществить мои стремления,— в этом я не судья, конечно, но по *направлению* опера моя будет ближе к «Руслану», чем к «Каменному гостю», за это могу поручиться...»



Глава двадцать девятая

В ВОДОВОРОТЕ

Надо быть очень целеустремленным и волевым человеком, чтобы, несмотря на все внешние преграды и внутренние трудности, упорно идти на протяжении многих лет к осуществлению своего замысла.

Таким был Бородин. Но и ему были знакомы минуты сомнения, когда в голову закрадывалась мысль: «А успею ли я дойти до цели? Хватит ли на это оставшихся лет жизни?»

Он писал в 1877 году Кармалиной:

«Мы, грешные, по-прежнему вертимся в водовороте житейской, служебной, учебной, ученой и художественной суеты. Всюду торопишься и никуда не поспеваешь; время летит, как локомотив на всех парах, седина прокрадывается в бороду, морщины бороздят лицо; начинаешь сотню вещей — удастся ли хоть десяток довести до конца? Я все тот же поэт в душе: питаю надежду довести оперу до заключительного такта и подсмеиваюсь подчас сам над собою. Дело идет туго, с огромными перерывами... Хотел бы к следующему сезону кончить, но едва ли удастся. Много написано, еще более находится в виде материала, но все это еще нужно оркестровать, труд механический, громадный, особенно ввиду больших хоровых сцен, ансамблей и пр., требующих применения больших голосовых и инструментальных масс».

Друзья с волнением следили за его работой и всячески заботились о том, чтобы она двигалась быстрее.

В сезон 1878—1879 года Римский-Корсаков, стоявший тогда во главе Бесплатной музыкальной школы, включил в программу арию Кончака, заключительный хор и половецкие пляски из «Князя Игоря». Нужно было переложить эти номера для оркестра. Бородин обещал это сделать, но, как всегда, всевозможные дела мешали ему выполнить обещание.

Время от времени Римский-Корсаков отправлялся на Выборгскую сторону, чтобы узнать, как дела у Бородина, написал ли он уже что-нибудь из обещанного.

Но Бородина не часто удавалось застать дома. Обычно оказывалось, что он на заседании, на лекции или уехал с утра по делам женских курсов и еще не вернулся.

Да и в тех случаях, когда Бородин бывал дома, его редко можно было увидеть за фортепиано или у конторки, за работой над оркестровкой.

Римскому-Корсакову было бы еще не так досадно, если бы он нашел своего друга в лаборатории: с этим скрепя сердце приходилось мириться. Но трудно было примириться с тем, что Бородин все больше и больше времени отдавал не музыке и не науке, а делам, которые не имели отношения ни к тому, ни к другому.

Вместо листков бумаги, исписанных нотами или химическими формулами, на его письменном столе лежали кипами счета и расписки. С утра до вечера он занимался проверкой счетных книг, составлением докладов и отчетов, писанием деловых писем.

Римский-Корсаков с замиранием сердца спрашивал:

— Александр Порфирьевич, написали ли вы?

Александр Порфирьевич с чуть заметной усмешкой отвечал:

— Написал.

— Что же вы написали?

— Да вот видите,— указывал Бородин на стол,— множество писем.

Римского-Корсакова такие шутки только раздражали.

— Ну, а переложили ли вы, наконец, половецкие пляски?

— Переложил,— отвечал Бородин так же невозмутимо.

— Ну, слава богу, наконец-то! — говорил со вздохом облегчения Римский-Корсаков.

Но радоваться было рано.

— Я переложил их с фортепиано на стол,— продолжал так же спокойно и серьезно Бородин.

Окончательно потеряв терпение, Римский-Корсаков в отчаянии осыпал его градом упреков:

— Ведь вещи стоят в программе, пора и партии расписывать!

Бородину было тоже невесело, хотя он и отшучивался по привычке.

Чтобы как-нибудь выйти из положения, Римский-Корсаков предлагал ему свою помощь в оркестровке.

И вот до поздней ночи они сидят вместе за работой. Вокруг на веревке листы, покрытые желатином, чтобы карандаш не стирался, и развешанные для просушки. Комната больше похожа на прачечную, чем на кабинет.

Наконец еще один номер оперы, необходимый для очередного концерта, сделан. Но ведь в опере много таких номеров!

Римский-Корсаков уже мысленно видел впереди тот торжественный день, когда «Князь Игорь» будет в первый раз исполняться на сцене. А между тем большая часть оперы все еще была только гениальным замыслом. Не было твердого плана. Некоторые номера уже можно было считать более или менее законченными, но другие были лишь едва очерчены.

Автор легко может представить себе все свое произведение в целом задолго до его окончания, а со стороны видны только груды не связанных между собой набросков, начала без концов и концы без начал.

В таком положении постороннего, но не равнодушного наблюдателя был Римский-Корсаков.

Он знал, как велико дарование Бородина, но он знал также, как много помех на пути у этого необыкновенно одаренного человека и как трудна его жизнь.

Дело было не только в конференциях, заседаниях, лекциях. Дома у Бородина тоже не было покоя, который так нужен был для работы над оперой.

Через много лет Римский-Корсаков писал в своей «Летописи»:

«Зная его доброту и податливость, медицинские студенты и всякая учащаяся молодежь прекрасного пола осаждали его всевозможными ходатайствами и просьбами, которые он самоотверженно старался удовлетворить. Его неудобная, похожая на проходной коридор, квартира не позволяла ему запереться, сказаться не дома и не принимать. Всякий входил к нему в какое угодно время, отрывая

его от обеда или чая, и милейший Бородин вставал не доевши и не допивши, выслушивал всякие просьбы и жалобы, обещал похлопотать. Его задерживали бестолковым изложением дела, болтовней по целым часам, а он казался вечно спешащим и недоделавшим то того, то другого. Сердце у меня разрывалось, глядя на его жизнь, исполненную самоотречения по инерции».

Но было ли это действительно самоотречением по инерции?

Нет, он отдавал людям себя, свое время и силы не по инерции, не по слабости воли, а потому, что это было его потребностью. Он не раз говорил, что любит своих студентов и студенток. Ему дороги были интересы этой молодежи, в которой было будущее страны. Даже если бы его квартира не была проходным коридором, он все равно не запирал бы дверей перед теми, кому он был нужен.

Трудно представить себе, чтобы по его распоряжению студенту или студентке сказали: «Александр Порфирьевич сегодня не принимает».

Но и помимо таких посетителей, в доме было достаточно много людей, о которых Александр Порфирьевич заботился опять-таки не по инерции, а по доброй воле: такова была его деятельная, далекая от какого-либо эгоизма натура.

«Не считая воспитанниц,— пишет Римский-Корсаков,— которые у них в доме не переводились, квартира их часто служила пристанищем и местом ночлега для разных родственников, бедных или приезжих, которые заболевали в ней и даже сходили с ума, и Бородин возился с ними, лечил, отвозил в больницы, навещал их там. В четырех комнатах его квартиры часто ночевало по нескольку таких посторонних лиц, так что спали на диванах и на полу. Частенько оказывалось, что играть на фортепиано нельзя, потому что в соседней комнате кто-нибудь спит...»

В такой обстановке, разумеется, трудно было работать. Римского-Корсакова приводил в ужас беспорядок, который царил в доме у Бородиных. Обедали, когда другие ложатся спать. Ложились спать чуть ли не на рассвете.

Римский-Корсаков пишет, что Бородин был человеком неприхотливым:

«Он спал немного, но мог спать на чем угодно и где попало. Он мог обедать по два раза в день, а мог и совсем не обедать. То и другое с ним часто случалось. Бы-

вало, придет он к кому-либо из знакомых во время обеда: ему предлагают прибор. «Так как я сегодня уже обедал и, следовательно, привык обедать, то я могу пообедать еще раз»,— говорит Бородин и садится. Ему предлагают вина. «Так как я вина вообще не пью, то сегодня я могу себе это позволить»,— отвечает он. В другой раз — наоборот: приходит он, пропадавши целый день, к вечернему чаю домой и преспокойно садится пить чай. Жена спрашивает его, где он обедал. Тогда только он вспоминает, что не обедал вовсе. Ему подают, и он ест с аппетитом. За вечерним чаем он пьет одну чашку за другой, не замечая их счету. Жена спрашивает его: «Хочешь еще?» — «А сколько я выпил?» — в свою очередь спрашивает он.— «Столько-то».— «Ну, тогда довольно». И многое в этом роде».

Екатерина Сергеевна любила своего мужа, но не умела по-настоящему о нем заботиться. Так уж повелось: Александр Порфирьевич ухаживал за ней, как терпеливая сиделка, возился с ней по ночам, когда ей не спалось и ее мучила астма. А сам считал себя здоровым и приноравливался к ее привычкам.

После бессонной ночи он вставал рано и брался за свои бесчисленные дела, не успев хоть сколько-нибудь восстановить свои силы. Он сам понимал, что так долго продолжаться не может, и пытался бороться с такими порядками. Но Екатерина Сергеевна насмешливо называла «богадельней» то, что Александр Порфирьевич считал правильным образом жизни.

И только когда она уезжала в Москву к матери, Александру Порфирьевичу удавалось наладить в доме более спокойную и размеренную жизнь.

«Ты уж не сердись, дружок,— писал он жене,— а я скажу тебе прямо, мне теперь, право, не под силу становится наш безобразный обычай ложиться в 3 и 4 часа. Я последнее время в Павлове очень поиспакостился вследствие этого обычая. Поэтому, повторяю, дружок, не сердись, что я буду всеми силами отстаивать *«богадельню»*, благодаря которой я опять пришел несколько в порядок».

А в другом письме он говорит о том же самом в шутливой форме:

«Образ жизни установился у нас (извините!) бо... бога... богадел... не решаюсь выговорить... словом, встаем в 7 часов (а я раньше еще), ложимся в 11—12; в виде

исключения раз только легли около 1 часа! Простите... извините... А впрочем, это хорошо сказывается на всех нас, членах бородинской богадельни».

Домашнее неустройство с годами все росло. У Александра Порфирьевича не было даже удобной комнаты, где он мог бы сосредоточенно работать.

Он писал в одном из своих писем к жене, что у него первый раз в жизни есть, наконец, настоящий кабинет, «как у людей».

Что же это был за кабинет?

«Это такая паскудная комната,— писал Александр Порфирьевич,— что положительно хуже всех в доме; только и можно существовать, когда печка не топится и обе двери настежь открыты; понимаю, что ты должна была страдать ужасно, закрыв окна, заперев двери, заставив себя мягкой мебелью... Как рабочая комната, наоборот, она очень удобная».

Видно, у Александра Порфирьевича была одна мерка для себя и совсем другая для Екатерины Сергеевны. Для нее эта комната — чуть ли не ад, а для него — предел мечтаний, хотя вряд ли ему удобно было работать с открытыми настежь дверьми.

Совместная жизнь Александра Порфирьевича и Екатерины Сергеевны сложилась совсем не так, как должна была сложиться. Он всегда был по горло занят, а у нее свободного времени было слишком много.

Екатерина Сергеевна не любила быть одна и окружала себя приживалками, которые от нечего делать ссорились между собой.

Неуютно было у них в доме. Как ни терпелив был Бородин, но и он жаловался иногда, что у них «толчея, базар, приходят, уходят, едят, пьют».

В бородинскую ладью, и без того нагруженную до краев, то и дело принимали новых пассажиров, потерпевших кораблекрушение в житейском море. То это был неудачливый брат Екатерины Сергеевны, то еще кто-нибудь из родственников.

Но с внешними неудобствами Бородин всегда готов был мириться. Труднее было выносить внутренний разлад.

В характере Екатерины Сергеевны было нечто совершенно чуждое здоровой и цельной натуре Александра Порфирьевича. Это чуждое он называл словом, которое придумал Достоевский: «надрыв».

«Не скрою, что *надрыв* этот значительно усиливается протопоповизмом протопоповской семьи. Мама, как и ты, ужасно любит травить себе и другим душевные язвы. А как вы вместе сойдетесь, воображаю, что это такое! Надрыв— надрыв такой, что хоть вон беги из дому. Господи, когда же это все хоть сколько-нибудь прояснится, просветлеет; мрак и мрак, в прошедшем, в настоящем и в будущем!»

Удивительно ли, что у этого сдержанного и долготерпеливого человека вырвались однажды из глубины души горькие слова:

«Нет, мудрено быть одновременно и Глинкой, и Семеном Петровичем, и ученым, и комиссионером, и художником, и чиновником, и благотворителем, и отцом чужих детей, и лекарем, и больным. Кончишь тем, что сделаешься только последним».

Так бы и случилось, если бы Бородину не удавалось иногда вырываться из водоворота, который бил и трепал его.

Лето! Как часто, измученный служебной и домашней суетой, всякими делами и заботами, он мечтал о деревенском приволье, об отдыхе, который всегда так хорошо сочетался у него с любимым трудом!

И вот, наконец, приходило это долгожданное лето. После долгих сборов Бородины отправлялись «налегке», как шутя писал Александр Порфирьевич, в деревню. «Налегке» это означало — с огромным «сундучиной», со множеством мешков, мешочков, корзинок, пледов, зонтиков, а главное — со складной конторкой, за которой Александр Порфирьевич привык работать.

Немало забот доставляла упаковка и перевозка рояля. Если рояль не удавалось взять с собой в деревню, Бородину и отдых был не в отдых.

Особенно полюбилось ему село Давыдово, в двадцати с лишним верстах от Владимира.

Чем дальше уходила и чем выше в гору поднималась дорога, тем легче дышалось и отраднее становилось на душе у путников. Они радовались, узнавая знакомые места. За ближними лесами виднелись дальние, и горизонт делался все шире, словно его кто-то раздвигал.

Вот она, русская земля, которая так дорога была Бородину, та ширь, которая была ему по душе!

Холмистый Владимир с деревянными лесенками по зеленым склонам, строгие белые стены Димитровского собо-

ра с лепными фигурками людей и зверей, словно страницы древней книги с затейливыми рисунками.

А за Владимиром — Боголюбовский монастырь и похожая на девушку-красавицу церковь Покрова на Нерли, современница «Слова о полку Игореве».

Все напоминало Бородину о любимой работе, которой он мог, наконец, отдаться целиком. Пусть у него впереди всего два или три месяца, он уж постарается не тратить времени даром.

Поля по скатам холмов, купы деревьев около селений и зубчатая линия леса вдали. Проселок ведет к одному из этих селений.

Вот и широкая улица села Давыдова. Трехоконные домики с тесовыми и соломенными крышами. А за домиками, по задворкам, по течению ручьев — старые липы, ольхи, дубы.

В одном из этих домиков Бородиным предстоит провести лето. Александр Порфирьевич полон надежд. Здесь так сухо, так легко дышится. Лучшее место для Екатерины Сергеевны трудно было бы и найти.

Деревенская жизнь понемногу входит в свою колею. Александр Порфирьевич в крестьянской рубашке навыпуск, в высоких сапогах шагает десятки верст по лесным зарослям и болотам. Это те прогулки, о которых он пишет друзьям: «Ходи всю жизнь — не находишься, гуляй — не нагуляешься, гляди — не наглядишься».

Наткнувшись где-нибудь среди чащи на озеро, окруженное вековыми соснами, он садится на зеленый мох и слушает, как в одну величавую симфонию сливается и шум вершин над головой, и скрип стволов, и перекличка птиц, и дальний стук топора.

В деревне не только природа, но и люди поражали его своей жизненной мощью.

С этими людьми он близко сошелся. Он слушал их песни. И они тоже не оставались равнодушными к музыке, когда у Бородиных играли или пели.

«А слушателей-то, что слушателей было! — вспоминал потом Бородин об одном таком импровизированном концерте,— чуть окна не высадили. Мы уж отворили окна-то из предосторожности. Сначала показались в них только макушки голов, потом и целые головы, а там, глядишь, головы очутились в комнате, а на окнах-то локти да груди (это значит, уж очень увлеклись, слушая музыку-то, почитай —

в горницу влезли!). Да слушают-то не просто, а с замечаниями,— это-де лучше, а это-то хуже».

Во время полевых работ Бородин любовался ловкостью и силой деревенских парней и девушек. Особенно полюбился ему один, о котором он говорил, что это «образец русского парня» — «умный, способный в высшей степени, деятельный, работящий, умелый на все, за что ни примется, а принимается он за многое, чуть ли не за все. А что за сила! Надобно видеть, когда он молотит, пилит, дрова рубит — сердце радуется... совсем Илья Муромец».

Все эти впечатления не пропадали даром.

Сложна работа, претворяющая соки земли, воздух, солнечный свет в ветви и листья могучего дуба. Но еще сложнее та напряженная деятельность творческого разума, которая превращает приходящие извне впечатления в произведения искусства.

За крестьянским домом, где жил Бородин, на задворках, благоухающих скошенным сеном, стояла под старой липой складная конторка. За этой конторкой Александр Порфирьевич проводил долгие часы, не замечая, что солнце уже совершило весь свой путь по небу и начинает склоняться к дальнему лесу.

В такие дни работа быстро подвигалась вперед. Опера росла не по дням, а по часам.

Бородин торопился порадовать своих друзей, которых он так мучил зимой, и в ответ приходили письма, полные ликования.

«Дорогой Александр Порфирьевич,— писал Римский-Корсаков,— вы не поверите, как вы меня обрадовали, что много написали в Игоре. Пишите больше, пользуясь летом, пишите как можно сокращеннее, грязнее, но только скорее. Увертюру (говорю вам это секретно от Баха) лучше не писать бы теперь, и всегда после успеете, когда опера будет готова... Что квартет кончили — хвалю, а что оперу пишете, так за это так бы и расцеловал».

А письмо «Баха» — Стасова — еще горячее. Он восхищается «слоновой и львиной натурой» Бородина. Пишет, что Бородин совмещает в себе и Глинку, и Генделя, и Бетховена, и Шумана, но не как повторение, а как продолжение того, что они сделали.

«Вы меня черт знает как восхитили и вообще известием о всем сочиненном и известием о переменах в либретто. Все это выдумано ужасно умно и чрезвычайно та-

лантливо. Жаль мне купцов... но в самом деле по-Вашему будет лучше и выгоднее распорядиться...

Но вот о чем нет в Вашем письме никакого известия: это об «Увертюре». А я крепко на нее надеюсь для концертов нынешней зимы, вместе с удивительной арией Кончаковны. Ведь Вы ее давно обещали и давно пора, чтобы все, наконец, услыхали это чудо из чудес. Ведь правда, вы не забудете ее для нынешней зимы?..

Если б Вы только видели, как меня порадовала Ваша работа и забота о либретто. Вот, кто так хлопочет и глубоко вдумывается в свою оперу, в сцены, в личности, в положения, только тут и жди настоящего дела, настоящей оперы».

Оттуда же, из Давыдова, Бородин написал друзьям, что закончил первый струнный квартет.

Когда слушаешь этот квартет, чувствуешь себя как бы перенесенным в царство русской народной песни. Широким потоком льется она, сочетая в себе печаль и радость, страдание и утешение.

Так только Бетховен умел мерить всю глубину скорби человеческой и в то же время верить в светлое будущее. Недаром девизом Бетховена были слова: «Через страдание — к радости!»

Этот великий друг людей был близок по духу Бородину. Как возмущался Бородин теми критиками, которые недооценивали Бетховена!

Музыкальный теоретик Ларош высказал как-то мысль, что с Бетховена начинается упадок музыки. Музыка, утверждал Ларош, вовсе не способна выражать какие-либо чувства. Ее дело «сочетать звуки приятным для слуха образом».

«Это черт знает что такое! — с негодованием писал Бородин.— Я, право, подозреваю, что у Лароша мозги не в порядке».

Быть всего только «усладителем слуха» — такая роль не прельщала Бородина. В музыку он вкладывал всю силу своего духа, всю свою веру в жизнь.

Бросая вызов проповедникам «искусства для искусства», Бородин сделал девизом первого квартета музыкальную фразу Бетховена.

Но эту бетховенскую тему он развил по-своему, самобытно, как мог ее развить только он один. Его квартет — это смелое сочетание строгой классической формы с русской

песенностью. В широком дыхании мелодии чувствуется мощь русской природы, среди которой создавал этот квартет Бородин...

Но время шло. Об этом напоминали и желтые листья и лампы, которые все раньше приходилось зажигать по вечерам. Пора было думать и об отъезде.

Не хотелось Бородину покидать Давыдово, где ему так удачно работалось.

«По правде сказать,— писал он,— смерть жаль расставаться с моим роскошным, огромнейшим кабинетом, с громадным зеленым ковром, уставленным великолепными деревьями, с высоким голубым сводом вместо потолка,— короче, с нашими задворками. Смерть жаль приволья, свободы, крестьянской рубахи, портков и мужицких сапогов, в которых я безбоязненно шагаю десятки верст по лесам, дебрям, болотам, не рискуя наткнуться ни на профессора, ни на студента, ни на начальника, ни на швейцара».



Глава тридцатая

ДЕЛА МУЗЫКАЛЬНЫЕ

И вот Бородин опять в Петербурге, в том же водовороте, и опять опера отложена до лучших времен. Снова приходится ему разрываться между академией и женскими курсами, которые, как на беду, еще в 1876 году были переселены с Выборгской стороны в Николаевский военный госпиталь. В любую погоду надо тащиться через весь город, чтобы прочесть лекцию студенткам.

Только вечерами иногда удается Бородину послушать музыку, побывать в концерте, встретиться с товарищами-композиторами.

Когда Екатерина Сергеевна чувствовала себя хоть сколько-нибудь лучше, она играла ему его любимые вещи. Их сблизила когда-то музыка. И она оставалась для них главным связующим звеном.

С ее мнением о своих произведениях он считался еще больше, чем с мнением своих музыкальных друзей.

«Будучи великолепной пианисткой и чудной музыкантшей,— пишет Ипполитов-Иванов,— она очень часто и всегда верно отмечала недочеты в сочинениях А. П. и не было случая, чтобы он с ней не согласился».

Музыкальные друзья Бородина всегда интересовались отзывами Екатерины Сергеевны об их произведениях.

«В среду,— писал Александр Порфирьевич Римскому-Корсакову,— мы были с Катей в «Снегурке», и оба наслаждались вот по этих пор (показываю рукою на горло).

Предсказания Ваши, что Кате не понравится Снегурочка — не сбылись. Она редко от чего была в таком восторге, как от красот Снегурки».

Если Екатерина Сергеевна была настолько больна, что не могла покинуть постель, она лежа слушала музыку, которая доносилась из соседней комнаты — из гостиной, когда там собирались товарищи ее мужа.

Но и в музыкальной жизни кружка не все шло спокойно и гладко. Давно уже не было прежнего согласия.

В комнату Екатерины Сергеевны доносились из гостиной не только звуки музыки, но и громкие голоса спорящих.

Разлад делался с каждым годом все более ощутимым. На одной стороне были Римский-Корсаков и Кюи, на другой Мусоргский. А Бородин всех понимал и никого не винил. Он умел смотреть на жизнь трезвым взглядом ученого.

Когда в кружке происходили споры и схватки, Бородин относился к этому спокойно и без горечи. Он понимал, что так и должно было случиться.

«Я не вижу тут ничего,— писал он,— кроме естественного положения вещей. Пока все были в положении яиц под наседкою (разумея под последнею Балакирева), все мы были более или менее схожи. Как скоро вылупились из яиц птенцы,— обросли перьями. Перья у всех вышли по необходимости различные; а когда отросли крылья,— каждый полетел, куда его тянет по натуре его. Отсутствие сходства в направлении, стремлениях, вкусах, характере творчества и проч., по-моему, составляет хорошую и отнюдь не печальную сторону дела. Так должно быть, когда художественная индивидуальность сложится, созреет и окрепнет (Балакирев этого как-то не понимал и не понимает). Многих печалит теперь то обстоятельство, что Корсаков поворотил назад, ударился в изучение музыкальной старины. Я не скорблю об этом. Это понятно: Корсаков развивался обратно, нежели, например, я. Он начал с Глинки, Листа, Берлиоза, ну, разумеется, пресытился ими и ударился в ту область, которая ему неизвестна и сохраняет интерес новизны».

Как-то у Шестаковой между былыми соратниками произошла схватка. Мусоргский с волнением писал после этого Людмиле Ивановне:

«Измена лучшим, всесильным замыслам искусства совершалась в том самом очаге, где когда-то кипела новая

жизнь, единились новые силы и мысли, обсуждались и ценились новые задачи искусства...

Все писанное здесь почувствовалось и созналось в Вашем доме, дорогая моя. «Истина не любит ложной обстановки». Лжи не было у Вас, у нас, у них — и стены самые не лгали в тот приснопамятный вечер: все было правда, и какая правда! — отречение господ названных (Кюи и Корсакова) от завета искусства «по правде» беседовать с людьми.

В пятницу пятого марта я неизменно Ваш, голубушка; сдается, Бородин не выдаст, поздно и незачем. О, если бы Бородин озлиться мог!»

Но Бородин не «озлился». Он находил такое распадение кружка естественным. Так всегда бывало во всех отраслях человеческой деятельности. По мере развития индивидуальность начинает брать перевес над школой, над тем, что человек унаследовал от других. Общий музыкальный склад, свойственный кружку, остался, но у каждого определился свой путь.

Письмо Мусоргского Шестаковой было написано в 1876 году. А в следующем, 1877 году в жизни кружка произошло событие, которое, казалось, могло снова его сплотить.

«Балакирев, милый, даровитый Балакирев, воскресает для музыки! — писал Бородин.— Балакирев опять почти тот же Милий Алексеевич, с увлечением отстаивающий всякие ре-бемоль мажоры и си миноры, малейшие детали музыкальных произведений, о которых прежде и слышать не хотел. Опять он бомбардирует Корсакова письмами по поводу Бесплатной школы, принимает самое живое участие в составлении программы ее концертов; сам пишет свою «Тамару»; окончил четырехручное переложение «Гарольда» — Берлиоза, по заказу одного парижского издателя,— словом, ожил».

Но этот «воскресший» Балакирев был уже не прежний Балакирев. Что-то в нем надломилось. Он не вернулся к своим прежним материалистическим взглядам, но он снова стал музыкантом, он снова жил в стихии музыки. И одно это не могло не радовать его друзей.

Бородин с юмором рассказывает, как Балакирев снова появился у него в доме.

Бородин получил известие, которым ему захотелось поделиться с Милием Алексеевичем. Председатель немецкого

музыкального общества сообщал Бородину о блистательном успехе Первой симфонии на концерте в Баден-Бадене:

«Многочисленные музыканты, присутствовавшие при исполнении, отзываются с глубоким уважением и удивлением о Вашей симфонии. Все мы жалеем, что Вы не могли быть свидетелем Вашего триумфа».

Бородин сразу же поспешил написать об этом Балакиреву, зная, что тому это будет приятно,— ведь сам он с благодарностью помнил те вечера, когда они за роялем обсуждали каждый такт этого произведения, которое тогда только рождалось.

Балакирев сразу же откликнулся на полученное письмо.

«Только что получил он мою эпистолу,— рассказывает Бородин,— как является к нам сам, собственною особой, сияющий, радостный, теплый, поздравил меня с успехом и сообщил, что он уже слышал об этом от Анненкова у Пыпина. Нужно заметить, что Балакирев не был у нас лет девять. На этот раз он держал себя, как будто он был у нас всего два дня тому назад. Как водится, засел за фортепьяно, наиграл кучу хороших вещей и — о ужас! — пропустил свой обычный час ухода! ушел чуть не в 12 часов. Расспросив подробно — когда и куда едем, он успокоился, что остаемся еще несколько дней, и обещал наведаться. Через день является, опять веселый, сияющий, с грудою нот в четыре руки, потому что *«ему непременно нужно было»* с Катей проиграть в четыре руки танцы Grieg'a (Walpurgisnacht) [1], симфонию Swendsen'a [2] и пр. Играл, болтал, рассуждал руками, с большим оживлением и ужасно обрадовался, что мы еще остаемся два-три дня в Питере, ибо иначе ему пришлось бы расстаться чуть не на целые три месяца! Разумеется, играл «Тамару» и пр: Через два-три дня является снова и опять с нотами в 4 руки, торопил Катю, чтобы сесть поскорее сыграть, восторгался и пр. Ну, как будто этих промежуточных *девяти лет* excusez du peu [3] и не было».

Прошло еще несколько лет, и Балакирев опять стоял во главе Бесплатной школы и дирижировал концертами. Как и прежде, собирались то у одного члена кружка, то у другого, чтобы послушать новое, только что созданное произведение.

---

[1] «Вальпургиеву ночь» Грига (*нем.*).
[2] Свендсена.
[3] Извините за такой пустяк (*фр.*).

Бородин не щадил ни времени, ни усилий, чтобы поддерживать с Милием Алексеевичем дружеские отношения.

И все-таки прошлое не вернулось. Могли быть еще вспышки прежних чувств, но восстановить единство кружка уже было невозможно.

Римский-Корсаков пишет в «Летописи»:

«Балакирев приходил очень редко. Придет, поиграет что-нибудь, да и уйдет пораньше. По уходе его все вздохнут свободнее; начинается оживленная беседа и наигрывание новых или только что задуманных сочинений и проч. ...»

Немного времени удавалось Бородину в этот период его жизни — в начале восьмидесятых годов — уделять музыке. Но те часы, которые он проводил за роялем или за своим высоким бюро, не пропадали даром. Они оставались в исписанных листках нотной бумаги, в новых прекрасных произведениях.

В 1880 году Бородин написал симфоническую поэму «В Средней Азии». Сохранилась программа этого произведения:

«В однообразной песчаной пустыне Средней Азии впервые раздается чуждый ей напев мирной русской песни. Слышится приближающийся топот коней и верблюдов, слышатся заунывные звуки восточного напева. По необозримой пустыне проходит туземный караван, охраняемый русским войском. Доверчиво и безбоязненно совершает он свой длинный путь под охраной русской боевой силы. Караван уходит все дальше и дальше. Мирные напевы русских и туземцев сливаются в одну общую гармонию, отголоски которой долго слышатся в степи и, наконец, замирают вдали».

Поразительно мастерство, с которым Бородин сумел написать на эту тему яркую, почти зримую картину, пользуясь палитрой оркестра. Это звукопись, которая спорит по красочности с живописью.

Как хорошо передает английский рожок, с его теплым, выразительным звуком, томную восточную мелодию! И как удивительно передан звуковой фон картины — звенящая тишина пустыни!

Слушая симфоническую поэму «В Средней Азии» и другие вещи Бородина, созданные им в те же годы, с трудом веришь, что они написаны между делом вечно спешащим, занятым человеком,— так в них все совершенно и закончено.

Он каким-то чудом находил силы и время и для серьезной музыки и для музыкальной шутки.

Однажды маленькая Ганя Литвиненко попросила его поиграть с ней в четыре руки.

— Но, позволь,— сказал он,— ты ведь ничего не умеешь играть, детка.

— Да нет же, смотри, я умею играть вот что.

И она сыграла одним пальцем каждой руки самый простенький мотив, то, что дети называли «котлетной полькой».

Уступив желанию ребенка, Александр Порфирьевич сымпровизировал на этот мотив своеобразную, забавную польку. Он показал ее приятелям — Римскому-Корсакову и Лядову. Они много смеялись и тоже попробовали написать вариации на эту неизменяемую тему. Присоединился к их затее и Кюи. В конце концов получились 24 вариации и 14 маленьких пьес для фортепьяно, которые были изданы под названием «Парафразы».

«Парафразы» очень понравились Листу. Кто-то написал об этом в музыкальном фельетоне. Тут-то и поднялась настоящая буря в стакане воды. Враждебные русской музыкальной школе критики обрадовались случаю напасть на Бородина и его товарищей. Они заявили, что Лист не мог одобрить такое сочинение, которое только компрометирует его авторов. Узнав об этом, Лист написал Бородину: «Разрешите и мне скомпрометироваться вместе с Вами». И он добавил к польке свое вступление...

Так Бородин, несмотря на все свои дела и заботы, умел оставаться веселым и жизнерадостным человеком и быть добрым отцом своих «многочисленных приемных дочурок».

Откуда только он черпал силы!



Глава тридцать первая

УТРАТЫ И НАДЕЖДЫ

В 1880 году Бородин писал своей ученице Луканиной:

«Разумеется, неумолимое время, накладывающее свою тяжелую руку на все, наложило ее и на меня. Борода и усы седеют понемногу; жизненного опыта прибывает, а волос на голове убывает. Правда, я, как человек живой по натуре и рассеянный к тому же, как-то не замечаю в себе перемены. Слава богу, здоров, бодр, деятелен, впечатлителен и вынослив по-прежнему; могу и проплясать целую ночь, и проработать не разгибаясь целые сутки, и не обедать...»

«Впечатлителен и вынослив...» Эти два свойства редко встречаются в одном человеке. Чем впечатлительнее люди, тем сильнее они чувствуют удары, которые наносит им жизнь. И не всегда тонкая душевная организация выдерживает эти удары.

К счастью для Бородина, он был и впечатлителен и вынослив в одно и то же время.

У него навертывались слезы на глаза, когда он слушал хорошую музыку или ему рассказывали что-нибудь волнующее. Без этой отзывчивости, чуткости к людям, к искусству он не был бы самим собой.

Но в то же время он был необыкновенно стойким человеком и умел собой управлять. И эта сила характера помогала ему жить и бороться, не впадая в отчаяние и не делаясь пессимистом, когда судьба посылала ему тяжелые испытания или отнимала у него близких друзей.

В феврале 1880 года умер Николай Николаевич Зинин. Его ученики Бородин и Бутлеров написали о нем статью, которая была напечатана в «Журнале Русского физико-химического общества». В каждой строчке, написанной ими, чувствуется горячая любовь к учителю.

Стоя у еще не закрытой могилы, Бородин думал о том, как много сделал Зинин для русской науки. Завидная доля выпала ему: на его глазах зарождалась, развивалась и протекала научная работа трех поколений созданной им школы. И вот у гроба его собрались не только его дети по науке, но и внуки и даже правнуки. Он дожил до преклонных лет, но не пережил себя как ученый. До последнего года, пока болезнь не приковала его к постели, он работал в лаборатории. До последних дней болезни, в постели, он не переставал читать, следить за успехами науки, понимать и принимать близко к сердцу все, что в ней делалось...

И когда Бородин начал свою надгробную речь, в ней звучала не только скорбь, но и гордость за человека, который сумел так прожить свою жизнь!

«Не к телу усопшего учителя обращаю я речь мою; оно глухо и немо... К вам, собравшимся здесь почтить память покойного, обращаю мое слово. На венке, который несли студенты, вы читаете: *Дедушке русской химии.* Но все ли из вас знают, как велики заслуги, упрочившие за покойным это почетное имя? Вспомним же об этих заслугах, прежде чем бросить горсть земли на гроб дорогого учителя».

Но не только о прошлом говорил Бородин. Он говорил о молодых членах многочисленной семьи русских химиков, о тех, кому принадлежит будущее науки.

Он всегда верил в это славное будущее. Но он не мог не видеть и тех преград, которые суровая действительность воздвигала на пути передовых русских ученых.

На опустевшее место Зинина в Академии наук была предложена кандидатура Менделеева. Казалось, кто мог быть достойнее этого, чем великий создатель периодического закона? Но при баллотировке Менделеев не получил необходимых двух третей голосов, потому что реакционеры из «немецкой партии» положили ему черные шары.

То, что произошло при баллотировке в академии, было только одним из многих проявлений реакции, которая все усиливалась в стране.

1 марта 1881 года народовольцами был убит Александр II. Но террором нельзя было изменить строй и свергнуть самодержавие. На место одного Александра сел другой, и реакция стала еще более жестокой.

Правительство беспощадно расправлялось со всеми, кого можно было заподозрить в революционных идеях. Усилились репрессии против студенчества.

Композитор Ипполитов-Иванов в своих воспоминаниях рассказывает, как Бородин выбивался из сил, выручая то одного, то другого арестованного студента, бегая по приемным власть имущих, проявляя большую настойчивость и терпение:

«В одну февральскую ночь во втором часу раздается у Ильинских звонок, появляется Александр Порфирьевич, занесенный снегом и промерзший до последней возможности; оказалось, что он с восьми часов вечера до часу ночи провел на извозчике, разъезжая по учреждениям, разыскивая кого-то из арестованных, и все это делалось без всякой рисовки, а из чистого чувства человеколюбия и отеческого отношения к молодежи. В его академической квартире, непосредственно соединенной с лабораторией, была постоянная толчея. Иногда появлялись студенты с курьезными просьбами одолжить его шинель сходить «в Коломну» (так называлась Коломенская часть при устье Фонтанки) навестить больного товарища».

Тяжело отразились эти события и на положении любимого детища Бородина — женских курсов. Власти и прежде с явным недоброжелательством относились к «стриженым девкам», как называл курсисток реакционный публицист Катков. А теперь это отношение выразилось и в административных мерах.

Врачебные женские курсы находились в ведении военного министерства, так же как и Военно-медицинская академия. При новом царе на пост министра был назначен генерал Ванновский, вместо считавшегося либералом Милютина.

Как тот щедринский градоправитель, который въехал в город на белом коне, сжег гимназию и «упразднил науки», Ванновский начал свою деятельность с похода против Высших женских курсов.

Считая «неудобным» дальнейшее состояние курсов при военном ведомстве, он, недолго думая, распорядился прекратить прием новых слушательниц. Тем, которые уже учились, тоже не дали спокойно продолжать занятия. Было

«признано необходимым» освободить Николаевский госпиталь от курсов. Попросту говоря, курсам предложено было убираться на все четыре стороны. И это несмотря на то, что они, по признанию того же Ванновского, уже дали стране 150 женщин-врачей, которые добросовестно делали свое дело и в мирное время и на войне.

Началась длительная агония курсов. Историю их болезни и умирания можно проследить по письмам Бородина.

Он пишет в июне 1882 года Н. В. Стасовой: «Мы все еще в том же неопределенном переходном положении и не знаем сами, что с нами будет...»

«Мы» — это женские курсы.

В августе того же года он пишет жене, что собирает деньги, «чтобы выручить наши курсы».

Дальше идет длинный ряд писем к разным лицам и учреждениям, где Бородин благодарит за помощь «нашим бедным курсам» всех тех, кто принимает близко к сердцу судьбу «несчастного учреждения».

Он пишет: «Курсам приходится переживать, может быть, самую трудную пору своего существования. С основания их минуло всего десять лет, тем не менее они имеют уже свое прошлое и хорошее прошлое, дающее им право на уважение и симпатии лучшей части русского общества. Честь же и слава той части общества, которая без всякого официального призыва спешит на помощь юному учреждению и несет свою лепту, чтобы выручить из беды погибающие курсы».

Бородин ведет переговоры о передаче курсов из военного ведомства в какое-либо другое. Но их, как он сам писал, «перевести было некуда; никто не брал из-за недостатка средств».

Как с осиротевшим ребенком, возился Бородин с курсами, стараясь найти для них приемных родителей. Но желающих взять «ребенка» на воспитание не было. Появилась было надежда, что его усыновит Городская дума, но дело снова затормозилось. Правительственная комиссия не торопилась с решением.

«Мы как в лесу,— писал Бородин химику Алексееву в 1883 году,— ничего не знаем, ничего и ни от кого не можем добиться... Положение это крайне томительное и отзывается отвратительно на всем, что касается курсов».

Год шел за годом, курсы хирели, но Бородин не переставал за них бороться.

А. П. Дианин пишет:



«Когда для Александра Порфирьевича стало ясно до очевидности, что курсы должны погибнуть, нужно было видеть этого необыкновенного человека, с каким удвоенным вниманием, даже нежностью он стал относиться к самым ничтожным мелочам, касающимся курсов. Так только мать ухаживает за любимым больным ребенком, для спасения которого истощены все средства и которого медики давно уже приговорили к смерти. Когда же пришлось ломать лабораторию и перевозить из нее вещи в академию, А. П. не выдержал и просто расплакался».

Какая это трагедия для ученого — ломать лабораторию, которая создана его же руками!..

Тут действительно приходилось ломать. Ведь в лабораториях и вытяжные шкафы, и многие другие установки, и приборы составляют одно целое со стенами, с полом.

Этот разгром был для Бородина наглядным выражением того неуважения, с которым правители России относились к русской науке.

И все-таки Бородин не терял надежды, что придет время, когда его любимые курсы воскреснут. Часто в разговоре с друзьями он с гордостью перечислял имена своих бывших слушательниц, которые всей своей работой уже доказали, что женщина может быть и прекрасным врачом и серьезным ученым.

Есть русская поговорка: «Пришла беда — отворяй ворота».

Так было в те годы и с Бородиным. Одна беда шла за другой.

Еще тогда, когда он читал лекции курсисткам в Николаевском госпитале, в одной из палат в том же здании умирал Мусоргский.

Бородину и Стасову с трудом удалось его устроить в госпиталь,— ведь он давно уже не был военным.

Помог молодой врач Бертенсон. Бывшего гвардейского офицера положили в госпиталь как «вольнонаемного денщика ординатора Бертенсона».

Друзья надеялись на выздоровление Мусоргского и строили планы, как они отправят его в Крым. Много часов проводили они у его постели. Приходили и сестры Пургольд — в замужестве Римская-Корсакова и Молас,— с которыми его связывала старая дружба.

В эти последние дни жизни Мусоргского Репин тут же в палате написал его портрет. Всех поразило, как верно

передал художник не только его внешний облик, но и могучий, неукротимый характер.

Сидя в госпитале у постели умирающего друга, Бородин, наверное, не раз вспоминал свою первую встречу с ним — тоже в больнице.

Мусоргский был тогда начинающим композитором. Все у него было впереди. И вот так рано обрывается эта жизнь. Какой огромной высоты достиг он в «Борисе Годунове» и «Хованщине». С потрясающей силой выражены там и трагедия отдельных людей и трагедия народа. И как много еще он мог бы сделать!..

16 марта 1881 года Мусоргский умер.

И снова Бородину пришлось идти по улицам Петербурга за похоронными дрогами.

С Зининым его связывала любовь к химии, с Мусоргским — любовь к музыке. Зинин был учителем, Мусоргский — боевым товарищем.

И тот и другой словно требовали, чтобы Бородин оставался на посту, не оставлял дела, которому они отдали все свои силы.

Тяжела была рана, которую нанесла Бородину смерть Мусоргского.

Ипполитов-Иванов рассказывает:

«В конце 1881 г. театральная дирекция возобновила «Бориса». М. А. Балакирев приобрел билет и пригласил Римских, Бородина, Ильинских, Стасовых и меня. С непередаваемым чувством грусти собирались мы в ложе. В течение спектакля я несколько раз наблюдал, как А. П. Бородин смахивал набегавшую слезу; а сцену смерти Бориса от волнения он не мог слушать и вышел из ложи. Настроение было тяжелое, и все чувствовали глубокую жизненную драму великого русского музыканта».

Все эти тяжелые переживания бросили словно тень на произведения, которые писал в те годы Бородин. В них звучит сдержанная, но глубокая скорбь.

Таков романс на слова Пушкина «Для берегов отчизны дальной».

Стихи Пушкина так прекрасны, что для них не легко было найти музыкальное выражение. Бородину это удалось. По необыкновенной простоте, мелодичности, глубине и искренности чувства этот романс напоминает лучшие романсы Глинки.

Тогда же Бородин решился сделать то, что он так долго откладывал: написать арию Игоря.

И здесь звучит тема скорби и страдания:

Ни сна, ни отдыха измученной душе!
Мне ночь не шлет отрадного забвенья.
Все прошлое я вновь переживаю
Один, в тиши ночей...

Но скорбь, нарастая, переходит в гнев, в жажду борьбы и победы:

Ужели день за днем
Влачить в плену бесплодно
И знать, что враг терзает Русь...

Игорь был близок по духу самому Бородину! Недаром Глазунов, характеризуя великих русских композиторов, говорил: «Я сравнил бы Бородина с домосковским князем-витязем».

И Бородин тоже, как и его герой, чувствовал себя в плену.

Как часто в своей научной, музыкальной, общественной работе он натыкался на стену чиновничьей косности и великосветского пренебрежения к тому, чем жила лучшая часть русского общества! Об эту стену разбился Мусоргский. Балакирев пытался пробить ее — и остался на всю жизнь искалеченным.

Но Бородин не терял оптимизма. Он обращал свои взоры к будущему, к той молодежи, которая была живым воплощением этого будущего.

Вокруг, около старых дубов, поднималась молодая поросль: юные химики, юные музыканты. Чего недоделали старики, сделают они.

С какой любовью писал Бородин о семнадцатилетнем Глазунове, которого он ласково называл «даровитым мальчонком».

В произведениях этого мальчика слышалась совсем не детская мощь. Отрадно было Бородину видеть в нем не подражателя, а продолжателя.

Для всего кружка появление Глазунова было большой радостью. Стасов гордился необыкновенными успехами этого «юного Самсона», «Орла Константиновича».

Никто не мог заменить ушедшего Мусоргского, но отрадно было видеть приход нового, свежего пополнения.

Римский-Корсаков рассказывает, как в Бесплатной школе была исполнена под управлением Балакирева Первая симфония Глазунова и как была поражена публика, когда

перед ней, на вызовы, предстал автор в гимназической форме.

Был и другой молодой композитор, на которого старшее поколение смотрело с надеждой и который еще раньше, чем Глазунов, примкнул к «Могучей кучке».

Анатолия Лядова Владимир Васильевич любил с такой же нежностью, как своего «Глазуна». Плохо было только то, что «Лядушка» ленился и писал не так много, как хотелось нетерпеливому Стасову, который говорил ему: «Да вы, точно морж, который зажмурил свои глазки и дремлет на солнышке на своей полярной льдине».

Кроме Глазунова и Лядова, в музыкальных собраниях участвовали Аренский и Ипполитов-Иванов — ученики Римского-Корсакова по консерватории.

Молодые члены кружка относились к старшим с чувством преклонения, а Балакирева немножко побаивались.

В воспоминаниях Глазунова рассказывается об одном собрании у Балакирева, на котором присутствовали и молодые и старые композиторы, в том числе и Чайковский.

В кружке очень любили «Бурю» Чайковского, программа которой была составлена Стасовым, ценили «Ромео и Джульетту», «Франческу» и многие другие его вещи.

Он в свою очередь восхищался мастерством Римского-Корсакова, высоко ставил первую часть Богатырской симфонии и хор поселян из «Игоря» Бородина.

К назначенному часу, рассказывает Глазунов, все собрались у Балакирева. С особенным волнением ждали прихода Чайковского молодые композиторы. «Чайковский соединением простоты с достоинством и утонченной, чисто европейской выдержкой в обращении произвел на большинство из присутствовавших самое благоприятное впечатление. Мы как-то свободно вздохнули. Петр Ильич влил своим разговором свежую струю в условия нашей несколько запыленной атмосферы и непринужденно заговорил о предметах, о которых мы помалкивали отчасти из-за чувства преклонения, связанного с каким-то страхом перед авторитетом Балакирева и других членов кружка».

Балакиревский кружок уже не был прежним объединяющим центром, магнитом, который держал всех вместе. И вот образовался новый центр музыкальной жизни.

Каждую пятницу у Митрофана Петровича Беляева, страстного любителя музыки, устраивались квартетные вечера. Эти пятницы начали посещать Бородин, Римский-Корсаков, Глазунов, Лядов.

С появлением новых участников обновился репертуар: стали исполнять не только квартеты Бетховена, Гайдна, Моцарта, но и современные русские. После ужина Глазунов или кто-нибудь другой садился за рояль и играл свою новую вещь, которая тут же «вспрыскивалась» шампанским.

Но дело не ограничивалось этими встречами в домашней обстановке. Беляев был богатым человеком и, подобно Третьякову, тратил немало денег на искусство — только не на картины, а на музыку. Чтобы еще раз послушать Первую симфонию Глазунова и его только что законченную сюиту, Беляев снял большой зал и устроил в нем оркестровую репетицию. Репетиция прошла прекрасно и послужила началом «Общедоступным русским симфоническим концертам», которые Беляев организовал со следующего же сезона.

Чтобы напечатать произведения все того же Глазунова, которыми Беляев не уставал восхищаться, он создал нотное издательство. Там потом издавались не только Глазунов, но и Римский-Корсаков, и Бородин, и другие русские композиторы.

Так возник новый, «беляевский кружок», который немало сделал для русской музыки.

В первую же программу симфонического концерта Беляева были включены Вторая симфония Бородина и посвященная Бородину симфоническая поэма Глазунова «Стенька Разин».

«Весь концерт,— писал Бородин,— очень похож на концерт Бесплатной школы: публика та же, восторженный прием, вызовы авторов и — публики мало».

Вскоре Беляев обратился к Бородину с предложением, которое могло сильно подвинуть вперед работу над «Игорем».

Бородин писал жене:

«Ко мне нагрянул М. П. Беляев, который основал издательскую фирму в Лейпциге и выпросил у меня право издания Игоря, а издает он прелестно! Он сам предложил мне 3 000 р.— цена у нас неслыханная за оперу! После смерти Даргомыжского «Каменного гостя» наследники продали за 3 000 р.— так и то руками разводили да ахали все! Все сочинения посмертные Мусоргского — Хованщину, Сорочинскую ярмарку, хоры и отдельные пьесы — все Бессель вместе купил за 600 р.— которых и то не выплатил. Снегурочка продана за 1 500 р.— которые Бессель то-

же не выплатил все. И это очень большая цена. Но при этом Бессель не печатает *партитуры*, а Беляев *напечатает* партитуру *на трех* языках — русском, немецком и французском, клавираусцуг и четырехручное переложение! Ввиду могущего мне предстоять расхода на переводы текста Беляев сверх 3 000 р. накинул еще 500 р.; следовательно — все за 3 500 р. Это недурно!»

А как раз накануне Бородин писал Екатерине Сергеевне о том, как хотелось бы ему пожить на свободе, развязавшись с казенной службой, которая отнимает столько сил и времени:

«Да трудное дело! Кормиться надобно; пенсии не хватит на всех и вся, а музыкой хлеба не добудешь».

Нелегко доставался Бородину этот «хлеб», которым он так щедро делился со всеми, кто окружал его. «Около меня такая непроходимая бедность»,— говорил он; и ему тяжела была мысль, что он не всегда в состоянии выручить тех, кто в этом нуждается.

И он сам и его домашние должны были ограничивать себя даже в необходимом. Екатерина Сергеевна отказывала себе в том, чтобы лишний раз поехать на извозчике, хотя ей было трудно ходить пешком.

И вот теперь появилась надежда, что на какое-то время станет немного легче.

А главное, предложение Беляева было еще одним толчком извне, который нужен был для того, чтобы Бородин закончил, наконец, оперу.

Как-то в день рождения Л. И. Шестаковой он подарил ей свой портрет с надписью:

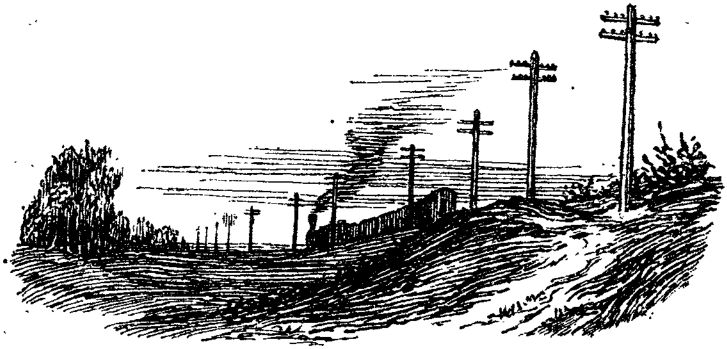
«Дорогой всему нашему музыкальному кружку, горячо любимой и уважаемой Людмиле Ивановне Шестаковой, на память от искренно ей преданного автора неоканчиваемой оперы «Князь Игорь».

А товарищи жаждали окончания оперы.

Римский-Корсаков приходил к Бородину и со слезами говорил, что дело русской музыки погибает и что «Игоря» необходимо закончить во что бы то ни стало.

— Вы, Александр Порфирьевич, занимаетесь пустяками, которые в разных благотворительных обществах может сделать любое лицо, а окончить «Игоря» можете только вы один.

Такое горячее отношение не могло не тронуть Александра Порфирьевича, и он обещал заняться «Игорем» летом.



Глава тридцать вторая

БОРЬБА С ВРЕМЕНЕМ

Есть в письмах Бородина тема, которая чем дальше, тем чаще повторяется в разных вариациях, становясь в конце концов как бы лейтмотивом жизни. Эта тема — неумолимый и неуклонный бег времени:

«А время-то бежит со скоростью курьерского поезда...»

«Просто ума не приложу: куда девается время? Черт знает что такое! Не успеешь опомниться — глянь: новая неделя начинается. Куда девалась прошедшая неделя, понять не можешь, а между тем она канула в вечность. Даже жутко подчас становится».

«Не успеешь оглянуться — и половина года уже прошла».

«Ты не поверишь, как летит время в этом водовороте, в этой бесконечной толчее жизни; дни мелькают за днями, точно телеграфные столбы мимо поезда на железной дороге, который несется на всех парах. Иногда, право, становится даже страшно, когда подумаешь, как бежит время, куда бежит и ради чего бежит».

И эта же тема слышится в музыкальных произведениях Бородина восьмидесятых годов.

Вот Второй струнный квартет, написанный в 1881—1882 годах.

В нем тема беспощадного бега времени сочетается с другой темой, которую можно было бы выразить словами: «Как прекрасна, как полна очарования эта убегающая жизнь!»

В первой части — в аллегро — звучит то задумчивая русская песня, то страстная и томная восточная пляска.

В скерцо перед слушателями проходит изменчивый и причудливый карнавал. Кружит голову плавный, качающийся ритм вальса.

Третья часть — это ноктюрн. Здесь тема красоты жизни выражена особенно ярко. Музыка переносит нас куда-то на юг, где теплой, благоуханной ночью душа переполнена ощущением счастья. Но счастье, о котором поет виолончель, давно прошло. Эта ночь была когда-то и не повторится больше.

В финале все отчетливее слышится другая тема — неустанный и торопливый стук колес. Это само время бежит «со скоростью курьерского поезда». И дни мелькают за днями, словно телеграфные столбы.

Напрасно силятся скрипки удержать своими стонами этот бег, вернуть прошлое. Оно невозвратимо. И все-таки как прекрасна жизнь!..

Еще явственнее бег времени в скерцо, которое написано в 1885 году.

Настойчиво и торопливо несется жизнь. На миг — раздумье, какое-то светлое воспоминание или, быть может, надежда. И опять быстрая скачка — все вперед и вперед!..

Е. Г. Дианина (та, которую когда-то называли Лизуткой) вспоминала потом, что Александр Порфирьевич любил наигрывать на виолончели певучую тему из ноктюрна второго квартета. Он так погружался тогда в мечтательное настроение, что почти не замечал, что происходит вокруг.

О чем он думал тогда?..

Быть может, он вспоминал о первых днях своей любви. Ведь не случайно квартет посвящен Екатерине Сергеевне.

Он никогда не переставал ее любить и жалеть. Но с особенной силой он почувствовал, насколько она ему дорога, когда в июне 1886 года ему телеграммой сообщили, что она при смерти.

Всю ночь под стук колес Александр Порфирьевич не мог заснуть ни на минуту. Он не знал, что его ждет в Москве, застанет ли он Екатерину Сергеевну в живых.

Когда он приехал, оказалось, что она жива, но ее состояние почти безнадежно. Как врач, он хорошо это понимал. Она почти не выходила из забытья, бредила временами, была страшно слаба.

Когда Екатерина Сергеевна приходила в себя, она сознательно и спокойно, безо всякой тревоги говорила, что умрет, и радовалась только, что умрет при Александре Порфирьевиче и у него на руках. А он не хотел верить в то, что все уже кончено, и упорно боролся за ее жизнь, как боролся и раньше — столько лет!..

В эти ночи, когда он то и дело поправлял ее подушки, поддерживал ее голову, пересаживал ее с кровати на кресло, давал лекарство, считал пульс,— все его помыслы были об одном: только бы она выжила! Забылось все трудное, что было между ними когда-либо. Осталась одна бесконечная жалость.

Состояние больной делалось все хуже. Пульс еле прощупывался, речь становилась невнятной, сознание терялось.

Самой тяжелой была последняя из этих ночей, когда не оставалось уже никакой надежды.

Но к утру Екатерине Сергеевне стало неожиданно лучше. Она очнулась и приободрилась, хотя была очень слаба.

Та, которая только что была умирающей, шутливо называла себя «новорожденной». Она и в самом деле, словно родилась во второй раз.

Александр Порфирьевич сразу же поспешил написать письмо домой своей воспитаннице Лене Гусевой, чтобы утешить ее и «всех тех, кому дорога Катя». Он просил Лену приехать поскорее.

«Захвати с собой,— писал он,— моего Игоря; которого береги, как самого Роднушу».

Роднуша — это он сам, так его называла Лена, которая любила его, как любили все, кто с ним соприкасался.

Александр Порфирьевич снова вспомнил о своем «Игоре», едва только появилась надежда, что можно будет жить, дышать, работать.

Болезнь жены не могла не напомнить ему о краткости жизни, о том, что пора кончать то, что начато.

Но трудно было ему работать! Екатерина Сергеевна попрежнему нуждалась в его неусыпных заботах. Она не могла ни ходить, ни лежать и спала, сидя в кресле. Ее выздоровление казалось только отсрочкой. Он боялся, что она долго не проживет.

Из Раменского, куда они переселились на дачу, Александру Порфирьевичу приходилось часто ездить в Москву к теще, которая тоже очень тяжело болела. Никого из

близких около нее не было, и заботы о ней легли на плечи Александра Порфирьевича.

«Понятно,— писал он Шестаковой,— что при таких условиях мудрено писать оперу или вообще музыку».

В том же письме он просил Людмилу Ивановну внести от его имени деньги на венок «дорогому нам всем Листу». Неумолимое время унесло и этого друга вслед за Мусоргским и Зининым.

Три раза в своей жизни бывал Бородин у Листа. И каждый раз эти встречи были для них обоих праздником.

«Нам нужно вас, русских,— говорил ему Лист.— Вы мне нужны, я без вас не могу — без вас, русских. У вас живая жизненная струя, у вас будущность, а здесь кругом большей частью мертвечина».

Листу посвятил Бородин свою «Среднюю Азию» — своих «Верблюдов», которыми тот так восхищался.

Когда Бородин был последний раз в Веймаре, он не застал Листа дома и оставил у него свою карточку. Найдя эту карточку, он пришел в большое волнение и немедленно велел одному юному пианисту обойти все отели, найти Бородина и притащить его. Старик не мог и нескольких часов подождать, пока приезжий объявится сам.

Все это не могло не вспомниться Бородину, когда он в Раменском получил известие о смерти Листа.

Сентябрь в тот год выдался ясный и солнечный. Екатерина Сергеевна уже бродила по саду с палочкой в руках. Александр Порфирьевич много времени проводил за роялем, импровизировал. С «Игорем» спорила Третья симфония, которая была задумана уже давно. Основная тема первой части звучала печально. Это был след всего тяжелого, что пришлось пережить.

В этом же месяце умерла мать Екатерины Сергеевны. Грустно было им приходить в опустевшую квартирку, где жила Екатерина Алексеевна. Но их тянуло туда, как «на могилку».

Пора было думать о возвращении в Петербург. Ведь жизнь настойчиво требовала своего,— в академии начались занятия.

С неспокойным сердцем расставался Александр Порфирьевич с женой. Он не раз оставлял ее в Москве на осень, но сейчас все было по-другому: она еле бродила, да и матери не было с ней рядом.

В Петербурге Александр Порфирьевич сразу же с головой ушел в работу. Снова он писал Екатерине Сергеевне, что «кипит, как в огне», что у него «бездна» разных дел, требующих немедленного выполнения.

«Машина» пошла, как всегда, полным ходом.

Но сам-то Бородин уже был не тот. Он, считавший себя здоровяком, стал жаловаться на боли в сердце. Дианин выслушал его — и пришел в ужас: состояние сердца было угрожающее. Другие врачи — друзья Александра Порфирьевича — тоже выслушали его и пришли к такому же выводу.

Они стали настаивать на том, чтобы он бросил на время всякую работу и взялся за лечение. Но он и слушать не хотел таких советов. Перейти даже временно на положение инвалида,— на это он не мог согласиться. Это значило бы перестать жить,— ведь жить для него значило работать.

Врачи не решились откровенно сказать больному, насколько серьезно его состояние, и он продолжал себя вести по-прежнему.

Он писал жене успокоительные письма: «Летом я порядком поиспортился здоровьем от всех треволнений, но теперь опять вошел в свою колею».

А колея эта была такая, что она и здорового человека быстро расшатала бы.

Александр Порфирьевич писал жене:

«Утопаю в кипах исписанной бумаги разных комиссий, тону в чернилах, которые обильно извожу на всякие отчеты, отношения, донесения, рапорты, мнения, заключения — ничего путного не заключающие. Господи! Когда же конец этому будет!

Спешу строчить доклад и прекращаю письмо...»

«Я в настоящее время буквально завален работой — и работой спешной, потому тороплюсь ликвидировать и сдать дела по комиссиям. Это неприятная работа, скучная, надоевшая донельзя, с которой смерть скучно возиться.

Мало осталось у Бородина времени для того, чтобы осуществить свои самые дорогие, заветные замыслы. Но и это время у него безжалостно отнимала та «царская служба», о которой он говорил: «служил 30 лет и выслужил 30 реп».

Всю жизнь он вел борьбу с «безумным», по его выражению, бегом времени, чтобы успеть отдать людям все сокровища своей мысли, своего таланта.

Но это была борьба не просто с временем, а с тем временем, в которое ему привелось жить. Ведь нет отвлеченного астрономического времени. Всякое реально существующее время — не только астрономическое, но и историческое. У каждого года, десятилетия, века — свои особенности.

За те же «астрономические» годы Бородин успел бы несравненно больше, если бы не «царская служба», если бы его берегли и ценили, если бы на его пути не воздвигали всяческих преград. Достаточно вспомнить, как много здоровья стоила ему гибель курсов, когда ему пришлось ломать им же созданную лабораторию!

Есть у шахматистов выражение «цейтнот». Это значит, что время игры истекает и надо торопиться доигрывать партию.

В таком «цейтноте» оказался и Бородин. Он радовался, когда успевал в перерыве между лекцией и обедом дописать еще один кусочек, малую толику «Игоря». А работы над оперой было еще много. Эту работу невозможно было затиснуть в такие «щелки».

Беляев и друзья торопили его. Стасов сердился на «апатию», которая, как ему казалось, овладевала иногда Бородиным. Но это была не апатия, а болезнь. Во время разговора или слушания музыки он вдруг начинал дремать, чего с ним никогда раньше не было.

Апатия, равнодушие к жизни были не в натуре Бородина.

Износилось сердце, но дух был по-прежнему силен.

Бородин, как и раньше, любил жизнь, любил людей и старался, чтобы вокруг него всем было хорошо и весело. Один из его знакомых, М. М. Курбанов, рассказывает:

«Во время вечерних бесед Бородин, несмотря на усталость от лекций и разных комиссий, был незаменимый и очаровательный собеседник, очень интересно высказывавший обычно массу оригинальных и остроумных мыслей и непрерывно смешивший своих собеседников. Другой на его месте, при жизни, лишенной комфорта и ухода, при массе занятий и забот, не только не мог бы шутить и каламбурить, но просто, вероятно, никуда бы не годился, будучи совершенно за день истомленным. И А. П. я часто видел непомерно уставшим, но, несмотря на это, ввиду своего удивительного характера и воспитанности, он умел эту

усталость скрывать перед другими, что обходилось ему, должно быть, не дешево...»

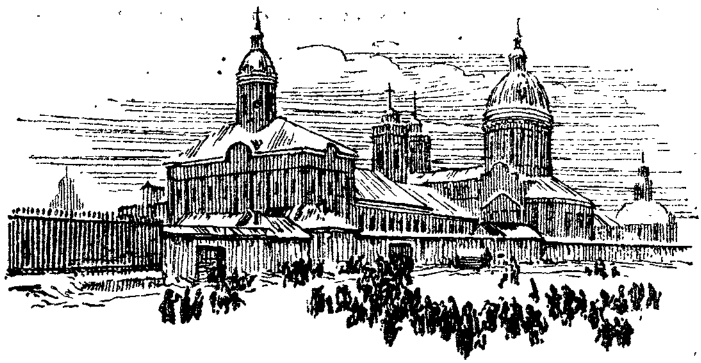
С темой «бега времени» не только в музыке, но и в душе Бородина спорила тема любви к жизни.

Лучшим отдыхом для него было играть с детьми. В. Н. Римский-Корсаков рассказывал, что, придя к ним, Александр Порфирьевич брал детей за руки, кружился с ними и заставлял их петь хором на разные лады:

Динь-дин!
Бородин!

Его умиляло и поражало то, что маленький пятилетний Боря Дианин уже сам разбирает аккорды, мажоры, миноры, наигрывает «Матушку-голубушку», марш Шопена, «Парафразы».

Но Бородин не был просто добрым дедушкой, для которого последнее и единственное утешение — внуки. Он сам еще торопился жить. Ему столько надо было успеть!..



Глава тридцать третья

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

В декабре 1886 года у Бородина собрались его друзья послушать только что законченный второй акт «Игоря». От Дианина они знали о плохом состоянии его здоровья. Они с тревогой вглядывались в утомленное лицо Александра Порфирьевича.

Певец Ильинский пел арию Игоря «Ни сна, ни отдыха измученной душе».

Как подходили эти слова к самому Александру Порфирьевичу!..

Этой же зимой Бородин снова испытал то, что друзья называли охлаждением к «Игорю». Он в таких случаях не любил даже, когда с ним заговаривали на эту тему. Но это было не охлаждение к старой работе, а увлечение новой. Ему хотелось закончить Третью симфонию, в которую он уже вложил столько души.

На рождество он поехал к жене в Москву. Там ему удалось, наконец, продвинуть симфонию дальше.

Но когда он вернулся в Петербург, между ним и роялем опять оказалась преграда в виде всяческих комиссий и комитетов. И все-таки он нет-нет да и садился за рояль и импровизировал.

М. В. Доброславина рассказывает:

«Помню, пришел он к нам однажды неожиданно к обеду, после которого мы, видя его в хорошем расположении духа, заговорили об Игоре. По обыкновению, ему это было неприятно, и он рассердился.

«Вот,— сказал он,— я пришел к вам сыграть одну вещь, а теперь, за то что вы мучаете меня с Игорем, я и не сыграю».

Тогда мы стали просить прощенья, давали слово никогда, ничего об Игоре не говорить и умоляли его сыграть. И он сыграл. Это было анданте к Третьей симфонии».

Доброславиной запомнилась суровая «раскольничья» тема, как называл ее Бородин.

Года за два до этого Бородины провели лето в Павловской слободе Звенигородского уезда — в «раскольничьем краю». Александр Порфирьевич с жадным вниманием вслушивался в старинные церковные напевы раскольников. Один напев напоминал тему из «Плясок смерти» Листа. Бородин тогда записал эту погребальную мелодию.

И теперь, преображенная, прошедшая сквозь его творческое воображение, эта мелодия стала темой анданте Третьей симфонии.

«Сколько было вариаций, я не помню,— продолжает Доброславина,— знаю только, что все они шли crescendo [1] по своей силе и, если можно так выразиться, по своей фанатичности. Последняя вариация поражала своею мощностью и каким-то страстным отчаянием.

Я не особенно люблю эту музыкальную форму; мне она кажется деланной, искусственной, а потом иногда утомительной и скучной. Но у Ал. Порф. в его своеобразной, ему присущей, гармонии это было так хорошо, что мы только переглядывались и млели от восторга. Он видел, какое впечатление это производит на нас, играл много и, играя, намечал инструментовку.

Как сейчас вижу я его за фортепьяно; его немного сутуловатую фигуру и полные руки, которые как-то неуклюже двигались по клавишам.

Играя, он всегда немного посапывал, и глаза у него делались какие-то неопределенные и загадочные. Как хотелось мне всегда в такие минуты найти слова, которые выразили бы ему весь мой восторг и обожание!

Не помню, в каком месяце это было; но, вероятно, незадолго до его кончины, потому что за фортепьяно я видела его в последний раз».

В симфонии не случайно прозвучала тема смерти. В этот год Александр Порфирьевич не раз чувствовал на себе ее дыхание, когда проводил ночи у постели больной жены.

---

[1] С возрастающей силой звука.

В памяти не изгладились еще впечатления того дня, когда хоронили мать Екатерины Сергеевны. Да и о собственной недолговечности он не мог не думать.

С. А. Дианин рассказывает, что его отец вошел как-то утром в каминную и увидел, как Александр Порфирьевич бросает в огонь пачки писем. А. П. Дианин спросил, что означает это занятие. Бородин объяснил, что не хочет, чтобы эти письма после его смерти попались на глаза посторонним людям.

Видно, врачи — коллеги Александра Порфирьевича — напрасно полагали, что от него можно скрыть опасность его положения.

Но он не любил думать о смерти... Он писал как-то: «Попробуй жить согласно принципу memento mori [1] — есть, пить, работать, отдыхать, веселиться и в то же время непрестанно думать, что люди смертны, что я человек и тоже смертен, что смертного часа никто не знает, и, может быть, я сейчас же, сию минуту умру. Да тут руки наложишь на себя, чтобы избавиться от такой жизни. Умрешь поскорее, чтобы спастись от смерти».

Как-то он провел вечер у Людмилы Ивановны Шестаковой, пил чай, рассказывал о своих планах на будущее. Пока он жил, он хотел ощущать всю полноту жизни. Страх смерти был не в характере Бородина. У него было ясное научное мировоззрение. Жизнь и смерть, горе и радость были в его представлении естественными явлениями. Он понимал страдание и наслаждение, как две необходимые стороны бытия. Да и некогда было ему размышлять о смерти.

Это была философия не в поучение другим, а для самого себя.

Какие же у него были планы на ближайшее будущее? Он мечтал о том, чтобы снова увидеть Екатерину Сергеевну, побыть с ней вместе на масленице, на пасхе. А там и долгожданное лето в деревне!

«Хорошо бы выехать туда как можно ранее,— с первыми теплыми лучами солнца, с первыми птицами, с первою травкой, пробивающейся сквозь оттаявшую землю! У нас, впрочем, теперь тоже было тепло, но по-осеннему! Глупые цветы (anemone [2] и др.) ошиблись и приняли это тепло за весеннее, зацвели вновь! Теперь их разубедил

---

[1] Помни о смерти (*лат.*).
[2] Анемоны.

холод: снег, по Неве идет лед, хотя и очень скудный, не мешающий плавать на лодках. Ах, как я люблю тепло! даже пакостное петербургское тепло!»

Сколько тут в этих немногих словах любви к жизни, к природе!

Его сердцу была близка родная русская природа, и как хорошо умел он о ней говорить! Одно лето он провел на Волге, и вот что он писал о реке, которая «чудовищным змеем» вилась перед его глазами:

«Верст на 30 раскинулась она перед моими глазами своим прихотливым плесом, с грядами да перекатами, с зелеными берегами, крутогорьями, луговинами, лесами, деревнями, церквами, усадьбами и бесконечною, дальней синевой. Вид — просто не спускал бы глаз с него! Чудо что такое!..»

Как он ни старался выкроить несколько дней, ему не удалось поехать в Москву на масленицу. А ведь ему хотелось сыграть Екатерине Сергеевне финал Третьей симфонии!

Числа двенадцатого или тринадцатого февраля Дианин работал в лаборатории. За стеной в соседней комнате что-то импровизировал на рояле Бородин.

По словам Дианина, он «никогда еще до того не слыхал у Александра Порфирьевича такой мощи и красоты, хотя и другие его вещи всегда ему сильно нравились. Импровизируемая вещь не была мажорной по настроению и представлялась очень оригинальной, даже по сравнению с другими вещами того же автора».

«Он довольно долго гремел за стеной, играя эту могучую музыку,— рассказывает А. П. Дианин,— потом перестал играть и через несколько мгновений появился в лаборатории взволнованный, со слезами на глазах.

«Ну, Сашенька,— сказал он,— я знаю, что у меня есть недурные вещи, но это — такой финалище... такой финалище...» Говоря это, Александр Порфирьевич прикрывал одною рукою глаза, а другою потрясал в воздухе... От этого финала не сохранилось ни одной строчки — ничего не было записано».

Финал Третьей симфонии!.. Не был ли он финалом всей музыкальной жизни Бородина?

Как ни омрачали жизнь горести, болезни, тревоги, его произведения всегда были полны света.

Только Пушкин мог так, до конца, сохранять мудрую ясность:

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть...

М. В. Доброславина рассказывает:

«14 февраля 1887 г. он пришел к нам и просил прийти завтра, т. е. 15-го вечером,— говоря, что ему хочется повеселить «девчонок». Это было на масленой, и он просил, если можно, закостюмироваться, т. к. это придаст веселья и непринужденности. Я соорудила нечто вроде русского костюма, а Ал. Порф. тоже надел, если не ошибаюсь, голубую шелковую рубашку и пунцовые шаровары.

От нас он пошел к проф. Егорову и очень просил и их прийти также на вечеринку, говоря, что будет очень интересно, и они увидят нечто такое, чего они еще не видели и никогда больше ие увидят.

К назначенному часу все были в сборе. Общество было небольшое, но очень тесное, и все веселились от души. Вскоре после начала Ал. Порф. провальсировал, не помню с кем, и подошел ко мне. Мы стояли и разговаривали, когда в зал вошел проф. Пашутин и подошел поздороваться с Ал. Порф. и со мной. Он приехал с обеда, был во фраке, и Ал. Порф. спросил его, почему он такой нарядный. Я сказала, что из всей мужской одежды я больше всего люблю фрак; он идет одинаково ко всем и всегда изящен. Ал. Порф. заявил со своей обычной шутливой галантностью, что если я так люблю фрак, то он всегда будет приходить ко мне во фраке, чтобы всегда мне нравиться.

Последние слова он произнес растягивая и как бы закоснелым языком, мне показалось, что он качается; я пристально взглянула на него, и я никогда не забуду того взгляда, каким он смотрел на меня,— беспомощного, жалкого и испуганного. Я не успела вскрикнуть «Что с вами?», как он упал во весь рост. Пашутин стоял возле, но не успел подхватить его.

Боже мой! Какой это был ужас! Какой крик вырвался у всех! Все бросились к нему и тут же на полу, не поднимая его, стали приводить его в чувство. Понемногу сошлись все врачи и профессора, жившие в академии. Почти целый час прилагали все усилия, чтобы вернуть его к жизни. Были испробованы все средства, и ничто не помогло. Не могу забыть отчаяния одного врача, который сидел, схватив себя за голову, и все повторял, что не может простить себе, что не применил в первую же минуту кровопускания.

И вот он лежал перед нами, а мы все стояли в наших шутовских костюмах и боялись сказать друг другу, что все кончено.

Помню, что последним пришел проф. Манасеин, когда уже все было испробовано. Он наклонился над ним, послушал сердце, махнул рукой и сказал: «Поднимите же его...»

И его подняли и положили, и все было кончено».

* * *

Жизнь оборвалась. А дело жизни осталось недоделанным. Не доведена была до конца работа над оперой. Не закончена была Третья симфония.

Кое-что было уже сымпровизировано, но не записано. Многое записано, но не приведено в порядок и осталось в набросках на обрывках бумаги, на оборотной стороне отчетов, докладов, деловых писем.

А сколько еще было такого, что роилось в воображении в виде пока еще смутных замыслов и образов!.. У человека творческого труда всегда есть в сознании такая «подпочва», которая только через какой-то срок превращается в возделанный слой, дающий всходы.

Кончившаяся, но незавершенная жизнь...

Утром, в необычно ранний час, Стасов всполошил всех в доме у Римских-Корсаковых. Разбуженные дети на всю жизнь сохранили воспоминание об этом утре, о том, как взволнован был Стасов.

Николай Андреевич был удивлен и встревожен его ранним приходом. Стасов был сам не свой.

— Знаете ли что, — сказал он, — Бородин скончался!

И он рассказал, как, веселый и оживленный, среди собравшихся у него гостей, Бородин упал недвижимым: «Словно страшное вражеское ядро ударило в него». Так и не удалось ему закончить «Игоря»!

И сразу же у Стасова и Римского-Корсакова возникла одна и та же мысль, одна и та же забота: что делать с неоконченной оперой и с другими неоконченными и неизданными сочинениями Бородина?

Надо было сберечь все, что было возможно.

Николай Андреевич немедленно оделся, и они вдвоем с Владимиром Васильевичем отправились на Выборгскую сторону, куда они столько раз ездили к живому, полному энергии и щедро расточавшему эту энергию Бородину.



Вот и академия, Естественно-исторический институт, коридор, квартира Бородиных, где хозяйка бывала только гостьей и где не было больше хозяина.

Двери в темную переднюю были открыты настежь, как всегда, когда в доме покойник.

Небольшой зал, рояль, на котором столько раз играл Александр Порфирьевич. В передней, в зале, в столовой — друзья, близкие, студенты, профессора, знакомые и незнакомые — «все народы», как он часто шутил.

Направо от зала — «красная комната», где в эту зиму жил Бородин. Диван с персидскими и туркестанскими коврами (он любил восточные ковры), стол, в беспорядке заваленный бумагами, высокая конторка.

Стасову еще так легко было представить себе Бородина за работой: Александр Порфирьевич стоит у конторки, опершись на нее левым локтем и немного наклонившись влево, в правой руке — перо, на конторке нотная бумага. Он думает, и глаза сверкают, будто в них дрожат капельки слез.

Долго перебирали Римский-Корсаков и Стасов бумаги на столе и в ящиках стола, бережно откладывая каждый клочок, на котором видны были нотные значки.

Все эти рукописи Римский-Корсаков отвез к себе на квартиру. Надо было привести в порядок и сохранить для будущего это сокровище...

И вот наступил день похорон. Проводить Бородина собралась несметная толпа: вся Военно-медицинская академия, женщины-врачи десяти выпусков, химики и музыканты, актеры и хористы, люди самого различного общественного положения и различных занятий, профессора и семьи профессоров, все, о ком он заботился, кому помогал, те, которые с ним встречались, и те, которые знали его и любили только по его произведениям.

Екатерина Сергеевна была в Москве, и ей не решились еще сообщить о смерти мужа,— ведь она сама еле жила. Но вся их несколько необычная семья — ученик, ставший Бородину сыном, девочки, которых он вырастил и которые сделались для него своими,— была здесь. Да кому он только не был родным?

Узнав, трудно было его не полюбить, а полюбив, уже нельзя было разлюбить.

Щиглев, друг его детства, теперь уже пожилой человек, преподаватель музыки и композитор, дирижировал на выносе тела студенческим хором.

Этим хором столько раз управлял сам Александр Порфирьевич! У него даже была серебряная дирижерская палочка с надписью славянскими буквами: «Студенты Медико-хирургической академии А. П. Бородину. 6 декабря 1880 года».

Как гордились студенты своим дирижером и своим профессором!..

Они подняли гроб и понесли на руках. А за ними двинулась длинная вереница венков.

Вот серебряный венок с надписью: «Основателю, охранителю, поборнику женских врачебных курсов, опоре и другу учащихся — женщины-врачи 10 выпусков. 1872—1887 гг.».

Вот другой венок, с золотыми лентами, на которых черными буквами написано: «Великому русскому музыканту — от товарищей и почитателей».

Не близок путь от Выборгской стороны до Александро-Невской лавры. Но всю дорогу студенты несли на руках гроб своего учителя.

Литейный мост. Нева под снегом, точно мертвая. А какой она бывала своевольной, своенравной, когда во время ледохода или наводнения преграждала Александру Порфирьевичу путь к друзьям и в Бесплатную школу!..

Медленно движется бесконечная процессия. Эти тысячи людей сроднила скорбь об умершем. Ученые и музыканты вечно спорили о том, кому должен принадлежать Бородин — искусству или науке. Теперь им больше не о чем было спорить.

Прохожие на панели снимали шапки, крестились, спрашивали:

— Кого же это хоронят так торжественно?

Александро-Невская лавра. Здесь погребены Глинка и Даргомыжский, который умер в расцвете творческих сил, когда Бородин только начинал. Как радовался Даргомыжский этому блистательному началу!..

Рядом с могилой Мусоргского приготовлена могила для Бородина. «Львиная пара»,— говорил о них Стасов...

Эпилог

ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Всю жизнь Бородин боролся с временем, как пловец в его песне боролся с волнами.

Казалось, время победило. Как ни спешил Бородин, как ни старался заполнять трудом каждый час, отрывая эти часы от сна и отдыха, все-таки их не хватило, чтобы все завершить.

Но, к счастью, он был не один. Была могучая кучка друзей, годы дружбы не пропали даром. Римский-Корсаков и при жизни Александра Порфирьевича помогал приводить в порядок «Князя Игоря». Он хорошо знал не только то, что было уже записано, но и то, что Бородин успел только сымпровизировать.

К тому же они оба были птенцами одного гнезда. Римский-Корсаков мог поэтому работать над бородинскими рукописями почти как сам Бородин.

Был еще и молодой Глазунов с его изумительной музыкальной памятью. Он многое успел запомнить наизусть.

Римский-Корсаков рассказывает:

«После похорон Александра Порфирьевича на кладбище Невского монастыря я вместе с Глазуновым разобрал все рукописи, и мы решили докончить, наинструментовать, привести в порядок все оставшееся после А. П. и приготовить все к изданию, приступить к которому решил М. П. Беляев. На первом же месте был недоконченный «Князь Игорь». Некоторые нумера его, как первый хор, половецкая пляска, плач Ярославны, речитатив и песня

Владимира Галицкого, ария Кончака, арии Кончаковны и кн. Владимира Игоревича, а также финальный хор, были окончены и оркестрованы автором; многое другое существовало в виде законченных фортепианных набросков, прочее же было лишь в отрывочных набросках, а многое и вовсе не существовало. Для II и III действий (в половецком стане) не было надлежащего либретто и даже сценариума, а были только отдельные стихи и музыкальные наброски или законченные, но не связанные между собой нумера. Содержание этих действий я твердо знал из бесед и совместных обсуждений с Бородиным, хотя многое в проектах он изменял, отменял и вновь вставлял. Менее всего сочиненной музыки оказывалось в III акте».

Прошло несколько недель. Предварительная работа была закончена, и Римский-Корсаков созвал ближайших друзей на совет.

Собрались в квартире, где Бородин провел столько лет своей жизни. На стол рядом с грудами рукописных нот поставили его портрет, чтобы он был, как говорит Стасов, «молчаливым свидетелем и как бы председателем собрания».

«Рассмотрели либретто, приготовленное самим автором, рассмотрели музыку, как уже вполне законченную, так и оставшуюся в набросках и черновых эскизах. Потом рассмотрели прочие сочинения Бородина, еще не опубликованные или недоделанные: некоторые части III-й симфонии, струнный квартет, романсы. После этого Н. А. Римский-Корсаков подробно изложил свой план действия, который не мог не быть одобрен всеми присутствовавшими».

План был такой: Глазунов должен был досочинить все недостающее в третьем акте и записать на память увертюру, наигранную много раз автором, а Римский-Корсаков должен был наоркестровать, досочинить и привести в систему все остальное недоделанное и неоркестрованное Бородиным.

Стасов пишет:

«Римский-Корсаков теперь уже в третий раз приступил к этому высокому и трогательному делу: заканчиванию для публичного исполнения и всеобщего пользования музыкальных творений крупных русских композиторов после их внезапной смерти; однажды он кончил и поставил на сцену «Каменного гостя» Даргомыжского, другой раз — «Хованщину» Мусоргского; теперь очередь пришла и для «Игоря» — Бородина. Нельзя было уже вперед не быть глубоко

уверенным, что такой высокий художник, как Римский-Корсаков, исполнит свое дело с таким священным почтением к памяти усопшего композитора, с таким мастерством и великолепным результатом, как этого не в состоянии был бы исполнить ни один из всех его сотоварищей, какие у нас есть налицо. Собрание радостно утвердило все его предположения...»

Начиная с весны, Римский-Корсаков и Глазунов с жаром принялись за дело, постоянно советуясь между собой.

Как они работали, рассказывает Глазунов в записке, написанной им по просьбе Стасова.

Когда читаешь эту записку, видишь, какой сложный труд выполнили друзья Бородина.

Для увертюры Глазунов выбрал и переписал темы из самой оперы по плану автора. Заключение второй темы он отыскал в набросках, ходы басов — в середине увертюры — нашел на лоскутке.

Пролог, к счастью, был у Бородина готов целиком. Набат для первой картины был найден в эскизе. Русский хор во втором действии Глазунову удалось записать по памяти.

Кое-что ему и Римскому-Корсакову пришлось досочинить, особенно в третьем действии. Но они старались держаться как можно ближе к стилю автора и к его намерениям. Четвертое действие оказалось вполне законченным.

Эту мозаичную работу Римский-Корсаков и Глазунов выполнили так тщательно и любовно, что не отличишь от целого тех кусочков, которые принадлежат не самому Бородину.

Они радовались, когда им удавалось найти в бумагах еще один лоскуток, еще один набросок.

Как надо было любить Бородина, чтобы суметь отречься от себя и перевоплотиться в него!..

И время было побеждено: опера, которую Бородин называл «незаканчиваемой», была закончена.

Произведения Бородина были изданы... Стасов со свойственной ему энергией хлопотал и о памятнике на могиле Бородина и о том, что было еще нужнее, чем памятник из гранита и бронзы.

Чтобы сохранить для будущих поколений живой облик своего великого друга, Стасов попросил Репина написать портрет Бородина.

«Как я жалел, дорогой Илья, что Вы не были сегодня на репетиции. Мне кажется, если б у Вас даже *мало* было расположения и времени теперь писать Бородина, все-таки

Вас бы тут что-то словно ужалило, и Вы бы помакнули свои кисти в краску. Что это за колосс, что за грандиозная сила, красота, страсть, очарование! У меня чуть не все время слезы дрожали в глазах. Такого после Глинки не было — это родной брат Мусорянина нашего бедного».

Вот тогда-то Репин и написал портрет Бородина. Словно живой, стоял композитор у белой колонны концертного зала.

Но Стасов не ограничился этим. Он обратился ко многим из тех, кто знал и помнил Бородина мальчиком, студентом, молодым ученым.

По его просьбе о Бородине написали воспоминания брат умершего, Щиглев, старик Гаврушкевич, профессор Доброславин.

Больше всего могла рассказать Екатерина Сергеевна. Но она была смертельно больна. Она так хотела умереть на руках у мужа, а он опередил ее.

Весть о смерти Александра Порфирьевича привез ей в Москву Дианин. Это был для нее такой удар, что она снова тяжело заболела.

Весной, немного оправившись, она взялась за собирание материалов для биографии, которую подготовлял Стасов. Писать она была не в состоянии и вынуждена была диктовать свои воспоминания.

Она пережила мужа только на четыре с половиной месяца.

Собрав все, что можно было, Стасов написал биографию Бородина и напечатал ее вместе с теми письмами, которые были в его распоряжении.

Он приложил к биографии также и статьи Бородина о музыке. Эти глубокие по содержанию и блестящие по форме статьи было не легко разыскать в старых номерах «С.-Петербургских ведомостей», где они были напечатаны. Вместо подписи стояла первая буква фамилии — «Б», а иногда и последняя — твердый знак.

Так спасено было от разрушающего действия времени много живых черт, мыслей Бородина и событий из его жизни.

Когда Стасов писал эту биографию, главной его целью было: показать гениального композитора во весь рост.

Ведь не все понимали еще тогда, как велик Бородин, или не хотели это признать.

Когда-то Лист писал: «Высшее общество ожидает, чтоб

они (русские композиторы) имели успех в других местах прежде, чем аплодировать им в Петербурге».

Произведения Бородина с триумфом исполнялись во многих странах мира. Перед ним преклонялись на родине студенческая молодежь и вся передовая интеллигенция. У него были последователи и продолжатели. Но «высшее общество» все еще воздерживалось от аплодисментов.

После смерти Бородина был дан концерт, посвященный его памяти. Статья Стасова об этом концерте заканчивалась словами:

«Могучая опера «Князь Игорь» — достойный брат «Руслана»... Таких глубоко вдохновенных и оригинальных созданий мало на свете».

Редактор зачеркнул слова «на свете» и заменил их другими: «в русской музыкальной литературе». Этому маленькому человечку показалось страшновато поставить великана Бородина рядом с лучшими на свете композиторами.

А в «Энциклопедии Брокгауза и Эфрона» было сказано весьма осторожно и сугубо «объективно»:

«По мнению одних, в числе которых находится Лист, Бородина нужно было считать одним из наиболее выдающихся европейских композиторов; по мнению других — он человек большого таланта, принявший «худое» направление...»

Время Бородина настало по-настоящему только после Великой Октябрьской социалистической революции.

Пришел тот слушатель, которого не хватало Глинке и о котором мечтали Мусоргский и Бородин. Этот слушатель — весь народ. Искусство для немногих избранных стало искусством для всех.

Все свои дарования, все силы отдал музыке, науке, народу этот великий музыкант, ученый, патриот, гуманист, Человек с большой буквы.

1952

ПИСЬМА

1. А. К. КЛЕЙНЕКЕ

Гейдельберг. 25/13 ноября 1859 г.

Ну вот я и устроился — живу как следует порядочному человеку. Квартира моя (Friedrichstrasse № 12) состоит из комнаты, разгороженной драпировкою на спальню и гостиную...

...Комнатка оклеена красивыми синими обоями, потолок изящно расписан, пол обит весь ковром; на стенах зеркала, картины и кронштейн с статуйкою эскулапа! — точно на смех. Кроме этой комнатки, у меня есть еще прихожая, которая ничем не замечательна и заключает в себе только шкаф для платья. За все это, с прислугою и постельным бельем, я плачу 11 гульденов (6 р. 60 к.) в месяц, дрова покупаю сам; дрова здесь буковые, и мера дров стоит 14 гульденов (с перевозкою); этого мне хватит на всю зиму. Обедаю я в час в отеле Badischer Hof[1], где обедают все наши русские; 8 блюд с полубутылкою вина стоят один гульден (60 к.). В доме у меня ванны; от моей квартиры до отеля $1^1/_2$ минуты ходьбы, до лаборатории две минуты. Ergo — мне очень хорошо. Гейдельберг очень миленький и чистенький городок — до того чистенький, что о калошах здесь нет и речи. По субботам неуклюжие немки моют не только тротуары, но и улицы. Местоположение города необыкновенно живописно: с одной стороны горы (на одной из них чудные развалины замка, обросшие плющем), с другой стороны прекрасная река. Вид из моих окон бесподобный — прямо перед окнами на-

[1] «Баденский двор» (*нем.*).

чинается огромная гора — Kanzel, с башнею на вершине. Не находя более нужным заниматься анатомией Гейдельберга, я займусь физиологией этого города. Город имеет увеселения: театр и концерты симфонического общества. На одном из этих концертов мне удалось быть. Музыка очень порядочна. Но театр — это просто черт знает что такое! Кроме двух или трех персонажей, остальные никуда не годятся. Но пьеса «Der Verschwender»[1], которую я видел, воистину удивительна. Трудно выдумать что-нибудь бессмысленнее. А немцы сидят и восхищаются. Я абонировался на книги и ноты. Абонемент на книги стоит 48, а на ноты 60 к. в месяц. За фисгармонику плачу я по 4 гульдена в месяц. Общество иностранцев образует здесь свои кружки и не знакомится с немцами. Русских здесь много; между ними даже две литераторши — Марко-Вовчок и еще какая-то барыня, пописывающая статейки. Есть даже русские литературные вечера.

Русские разделяются на две группы: ничего не делающие, т. е. аристократы Голицыны, Олсуфьевы и пр., пр., и делающие что-нибудь, т. е. штудирующие; эти держатся все вместе и сходятся за обедами и по вечерам. Я короче всех сошелся, конечно, с Менделеевым и с Сеченовым — отличным господином, чрезвычайно простым и очень дельным. Общество же немцев невыносимо до крайности: чопорность, сплетни ужасные,— если Вы два-три дня сряду были в доме, где есть взрослые дочки и, чего Боже сохрани, играли с ними в четыре руки,— поверьте, что на другой же день об Вас будут говорить как о женихе. А дамы то здешние! просто ужас! — рожа на роже. Общество немецких студентов еще противнее: школьничество ужасное — сущие мальчишки. Представьте себе, что все они разделены на партии, из которых каждая имеет своего на́большего: сеньора. Студенты разных партий отличаются костюмами и цветами; у одних фуражки желтые, у других красные и третьих — белые и т. д. Кроме этого, у каждого студента шелковая перевязь через плечо; у сеньора шляпа трехугольная; фасоны фуражек самые курьёзные! — прибавьте к этому еще огромные ботфорты престранной формы — и вы будете иметь понятие о костюме немецкого студента. По воскресеньям студенты пьянствуют, и редкая неделя проходит без дуэли; повод к дуэли всегда один и

---

[1] «Расточитель» (*нем.*).

тот же: один студент назовет другого dummer Junge[1]. И это ведется с незапамятных времен. Вот консерватизм-то! — Дуэли эти впрочем ограничиваются кучею формальностей, самых нелепых, которые, однако же, всегда исполняются с точностью.

Погода в Гейдельберге великолепная,— все ходят в легоньких пальто или пледах; в cache-nez нет никакой нужды. Окна в комнатах ежедневно отворяются. На ивах листья еще совершенно зеленые и, что всего удивительнее, на открытом воздухе цветут розы. Просто диковина! Зато в комнатах б. ч. холодно; печи здесь пренелепые — накаливаются в полчаса, но зато в полчаса и остывают. Двойных рам и в заводе нет, вьюшки очень редки. Не знаю, как дальше будет, а до сих пор живется хорошо. Прощайте. Пишите мне по адресу: Friedrichstrasse № 12. Ребят наших целую. Братьям Успенским, Васильевым и т. д., а равно и Михею Щиглеву — поклон и решпект. Теперь, думаю, что без особого повода долго не напишу Вам, ибо жизнь моя теперь сосредоточится в лаборатории, о занятиях же я напишу Максе. Еще раз прощайте.

А. Бородин

2. М. А. БАЛАКИРЕВУ

1864—67 гг.

Письмо Ваше получено мною сегодня часа в два, но, к моему прискорбию, я быть у Вас не могу: мне самому крепко нездоровится; к тому же я страшно устал, ибо, несмотря на нездоровье, с восьми часов утра работал в лаборатории. В силу этого решительно не в состоянии таскать ноги и через час ложусь спать. Завтра я к Вам заверну непременно. В болезни моей виноват косвенным образом Кюи: я вчера вечером съел у него «гуся с капустой» (c'est si peu français[2]); этот подлец гусь мне и расстроил брюхо. Музыка спит, жертвенник Аполлону погас, зола на нем остыла, музы плачут, около них урны наполнились слезами, слезы текут через край, сливаются в ручей, ручей журчит и с грустью повествует об охлаждении моем к искусству на сегодня. Прощайте, милейший друг, выздоравливайте.

Ваш А. Бородин

[1] глупый мальчишка (*нем.*).

[2] «Это совсем не по-французски» — намек на французское происхождение Кюи.

3. М. А. БАЛАКИРЕВУ

1865—66 гг.

Мы с Вами симпатизируем, как видно, друг другу: я тоже болен; Вы помните, что у меня разболелась щека еще у вас, в понедельник. С тех пор я мучаюсь страшно и сегодня первую ночь спал, а то несколько суток сряду одолевала меня сильная боль, мешавшая спать и даже лежать. Я еще не выхожу, ибо не совсем еще прошла боль. У меня музыкальных новостей только одна: от скуки стал писать финал, и притом прямо на оркестр; 10 страниц уже написал. Прощайте, голубчик. Выздоравливайте скорее и приходите к нам. Мы по вас очень соскучились. Жена моя вам кланяется.

А. Бородин

4. М. А. БАЛАКИРЕВУ

1866—69 гг.

При всем моем желании спасти Вас от съедения мышами, мышьяка не посылаю и не советую употреблять, ибо Вы можете перетравиться, и таким образом квартира № 39 в доме Бенардаки останется без жильца, а музыка без деятеля. На всякий случай я заблаговременно начну писать реквием, ибо в покойниках недостатка не будет: или вы уморите мышей, или они вас уморят.

Чтобы Вас не доводить до отчаяния, дам Вам практический совет купить мышеловку; это и полезно, и безопасно, и занимательно. Затем прощайте.

А. Бородин

5. М. А. БАЛАКИРЕВУ

22—30 января 1867 г.

Благодарю Вас, голубчик Милий Алексеевич, за весточку. Я так было увлекся вашею чешскою темою, что захотел писать Вам непременно по-чешски; меня остановило только незнание чешской грамоты. Зато увлечение мое этою темою выразилось в другой форме: я предпринял ряд вариаций (на присланную тему) под заглавием: 60 Variationen über ein böhmisches Thema für das Pia-

noforte componirt und Herrn Mily Balakireff zugeeignet von A. Borodin [1].

Посылаю Вам для образца одну из 60 вариаций, наиболее блестящую и, по моему убеждению, наилучшим образом передающую характер чешской музыки.

От души желаю, чтобы моя чешская вариация преследовала вас повсюду так, как меня преследует тема. Заглавие я дал немецкое; так как вообще немецкий язык для славян есть международный язык. Я в этом убеждаюсь каждый день, сидя в Петербурге. Недавно я беседовал с одним чехом на немецком языке о Вас, и он (не зная, что я знаком с Вами) убеждал меня купить Ваши русские песни, говоря, что это такой мейстерштюк, который каждый музыкант должен основательно изучить. Чех, о котором я говорю, никто другой, как старичок Гунке. Как видите, и в Питере чехизм преследует Вас своей любовью. А Вы к нему несправедливы, желая ему турецкой палки. При всей поэтичности этой палки я, подобно чехам, предпочитаю прозаическую немецкую. Может быть, это зависит и от того, что турецкой я не знаю, а с немецкою отчасти уже свыкся. Что же касается до разочарования Вашего относительно чехов, то я это предвидел и, если припомните, предсказывал Вам. Таковы все австрийские славяне. Чехи из них самые лучшие. Если они не понимают путной музыки, то это еще не беда; итальянское сладкогласие и жалкие, рутинные оперы и у нас грешных привлекают сердца и уши. Как ни обольщайтесь, а и у нас путного-то не жалуют. Что касается до меня, я разочаровываюсь в нашей братии, видя, как быстро мои приятели полонизируются и германизируются. У чехов германизация подействовала более на внешнюю сторону быта; в них остался чешский дух, чешские стремления. А у нас? — каждый норовит корчить француза или англичанина, раболепствовать перед судом Европы; ни малейшего проявления национальной самостоятельности, полная безличность. Может быть, впрочем, я и пересаливаю немного: я сегодня сердит. Вообще я в последнее время часто бываю сердит. Ну, полно! Написал бы еще, да что-то не клеится. Ваша тема и моя вариация так намозолили память моей жены, что она просит Вас не присылать более тем. Она от души Вам кланяется и желает всякого успеха. Прощайте, друг мой, до свидания.

А. Бородин

---

[1] «60 фортепианных вариаций на богемскую тему. Сочинены и посвящены г-ну Милию Балакиреву А. Бородиным» (*нем.*).

6. М. А. БАЛАКИРЕВУ

26—27 июня 1867 г.

Получил я Вашу эпистолу и, к сожалению моему, должен отказать себе в удовольствии видеть Вас спящим у нас на квартире. Причина заключается в том, что квартира наша более похожа на курятник, нежели на жилье высших существ, изображающих из себя образ и подобие Божие. Идти к нам от железной дороги пешком не советую: это даль страшная; всю Москву придется пройти. Если же непременно хотите узнать тракт и маршрут, то вот он: к Красным воротам, потом по Мясницкой мимо почтамта, перейдя Лубянскую площадь по Ильинке, потом через весь Кремль к Большому Каменному Мосту, потом через Малый Каменный мост, направо до Якиманки, потом пройдите всю Якиманку до Калужских ворот (NB. Ворот собственно никаких здесь не имеется на лицо, это одна фантазия), от Калужских ворот по Калужской улице до Голицынской больницы, а там спросите квартиру Протопоповой.

Мы очень рады видеть Вас в первопрестольном Иерихоне, как Вы остроумно его называете. Но, во всяком случае, предварительно напишите, когда будете, а то легко может случиться, что Вы нас не застанете, ибо мы иногда уезжаем в окрестности. Когда можно Вас навестить?

До свидания.

А. Бородин

7. Е. С. БОРОДИНОЙ

19 сентября 1868 г.

Пишу тебе, мой милый «Остаточек», не карандашом, как было условлено, но чернилами, и не на железной дороге, но на письменном столе у тетушки. На дороге писать оказалось неудобным; притом все равно письмо должно пойти завтра. Доехал я вполне благополучно, только почти вовсе не спал; теснота была непомерная: как сельди в бочке. Начало моего путешествия грозило быть неудачным: я опоздал несколькими секундами для получения билета, кассу закрыли у меня перед носом. Без сомнения, я мог всегда сесть без билета, заплатить потом штраф, но беда в том, что у меня был багаж, который теперь не принима-

ют иначе как по предъявлению билета. В сущности, ничего не оставалось, как воротиться домой. Так и сделали почти все. Только я, да еще двое, упросили начальника станции посадить нас без билетов и, в виде одолжения, позволить взять багаж неофициально на свой страх, с обязательством купить билет и сдать багаж в Химках. После некоторых колебаний начальник станции согласился, приказал снести чемодан в багаж и показать наши физиономии «багажному», чтобы не вышло путаницы. Так уладилось затруднение, для меня крайне неприятное, ибо пришлось бы вернуться и на другой день повторить все тяжелые минуты расставания, прощания и прочих атрибутов отъезда. Штрафу пришлось заплатить всего 65 коп. На дороге я тебя вспоминал часто: кроме 12 часов перед Тверью и 4 часов ночи, когда я тебя воображал проснувшеюся, я вспоминал тебя ежеминутно, то по поводу отличных раков, то по поводу белых (и очень дорогих) слив, осетрины и пр., наконец, по поводу общества, меня окружавшего. Ты была бы очарована им: такие подурафьи, что перед ними Авдотьюшка Петровнушка просто мудрец. Вообрази, целая семья ведь такая. Началось с того, что папа́ взял четыре билета в спальные вагоны, но, увидав, что на каждую особу выдали по 2 билета (т. е. спальный и обыкновенный дорожный), он вообразил, что это лишнее, и отдал все четыре дорожные билета ни с того ни с сего какому-то первому попавшемуся жандарму, который, без сомнения, был рад ни за что ни про что получить 20 рублей и преспокойно продал эти билеты кому-нибудь. Когда кондуктор стал осматривать билеты во время поезда, папа́ вынужден был взять второй раз 4 билета, да еще заплатить штраф за то, что сел без билетов. Должно заметить при этом, что вся семья, имея места в спальных вагонах, поместилась, по необъяснимой причине, в обыкновенном вагоне, следовательно, за спальные-то заплатила даром. Далее: юный член семьи, молодой человек лет 25, потерял с шеи галстук, который вся семья потом отыскивала, да так и не отыскала. И как ухитриться потерять галстук, надетый на шею?! Молодой человек этот имел, впрочем, все признаки Митрофанушки. Даже в сортир ходил не один, а адресовался за этим к своей «тете Марфусе», которая его провожала туда и ждала у двери, пока племянничек распростается. В заключение самое тетю Марфусю постигла беда: на Бологовской станции тетя Марфуся при первом ударе колокольчика заметалась как угорелая и, не разобрав дела, бросилась не в тот поезд и угодила об-

ратно в Москву, вместо того чтобы следовать в Петербург с прочими домочадцами. Ошибка была открыта, когда поезд уже был далеко. Тут же убедились и в том, что тетя Марфуся удрала совсем налегке; без шляпы, без верхнего платья, без багажа, даже без билета и без денег. Во избежание дальнейших бед пассажиры сжалились над растерявшеюся семьею и надоумили папа́ телеграфировать тете Марфусе и заявить о случившемся начальнику станции. В силу этого, тетя Марфуся не доехала до Москвы, но слезла на следующей станции ожидать нового Петербургского поезда, причем папа́ внес вновь деньги за билет и оставил багаж и платье тети Марфуси у начальника станции. Я был ближайшим соседом семьи и служил ей долгое время предметом любопытства. Меня осыпали вопросами самого наивного свойства, напр.: «Вы, вероятно, из иностранцев? откуда? должно быть из Одессы? или из Германии? Вы не актер ли? и т. д. Видя, что я смеюсь без зазрения совести, они в свою очередь начинали смеяться добродушнейшим смехом, прибавляя: «какие Вы веселые, такой у Вас право веселый характер». Смеялся, впрочем, не я один, но весь вагон хохотал без всякого стеснения. Какова была бы твоя радость обрести сразу 4 таких субъекта! Ведь это почище всякой Авдотьюшки Петровнушки, Анетоськи и др.

Погода все время стояла хорошая, только около Валдая был небольшой дождь. Вообще было очень тепло, даже ночью, так что теплых носков я и не трогал. Но как заметно, что осень в Питере начинается раньше, чем в Москве: чем ближе к Петербургу, тем лист желтее, а в Питере почти совершенно желтый. Питер меня встретил со слезами радости, т. е. проливным дождем, в силу чего я не взял чемодана и прямо проехал налегке к тетушке, которая мне была несказанно рада. Ночую у тетушки, а завтра отправляюсь домой. О тетушке, Рудневе и пр.— в следующем письме. Смерть спать хочется, да и устал я. Спи с Богом, моя радость,— «спитте».— Целую тебя, мою милую, и обнимаю крепко, равно как и всех наших.

Маме скажи, что яблоки совершенная противоположность грушам, так и тают во рту, или правильнее так и т а я л и, ибо последнее яблоко растаяло во рту перед Колпинской станцией. От Тетушки кому следует, что следует. До свидания

А. Бородин

8. Е. С. БОРОДИНОЙ

30 сентября 1868 г.

Голубушка ты моя, боль ты моя сердечная, если бы ты знала только, какою скорбью переполнилось мое сердце при вести о твоих страданиях, моя милая. Веришь ли мне, что я всякую ночь в условный час просыпаюсь, и мысль о тебе, как электрическая искра, пронизывает меня. Мне живо представляется, что, может быть, ты в эту самую минуту не спишь, страдаешь и думаешь в то же время обо мне, который мог бы в данную минуту облегчить твои страдания. Мне становится по временам очень грустно, именно вследствие невозможности знать, что с тобою делается. Бывают минуты, когда я хочу тебе написать даже, чтобы ты возвращалась в Петербург. Но окружающая меня Петербургская сырость скоро напоминает мне о том, что тебе благоразумнее пробыть еще некоторое время в Москве. На температуру пожаловаться нельзя: тепло, постоянно градусов 8 и даже 9, к вечеру только холоднее, но зато туман как саван одевает гранитный город и пронизывает его жителей зловещею сыростью. У нас в квартире, впрочем, ничего, сносно, хотя топка еще не начиналась. Зато другое неудобство: вонь из каминной невыносимая, проникающая во все части здания; в этом виноваты наши милые инженеры, которые до сих пор не могли поправить печи, служащей тягою. Только теперь принялись за работу, когда мы все рапортом вошли об этом. В нижнем коридоре канава еще до сих пор не зарыта, и народ валится часто по неосторожности или незнанию...

...Относительно дома нашего скажу тебе еще, что у нас две обновки: 1) зажигательная машинка (водородное огниво Деберейнера) у меня на столе, вместо спичек. Удобно, и нет вони; 2) машинка для приготовления зельтерской воды, лимонада газового и прочих шипучих напитков — вещь прелестная, удобная и приятная. Обе вещи казенные, из нашего кабинета, но так как они там стоят даром, то я перенес их к себе и пользуюсь ими.

Разумеется, нечего мне и писать, что я рад за бедного Алея, если ему лучше, и от души желаю избавиться от «всякие скверны» и притом как можно скорее. Относительно квартиры — думаю, что тебе следует остаться на той же: к маме ехать неудобно; боюсь, чтобы тебя не заела там сырость. Поклоны... ...твой

А. Бородин

9. Е. С. БОРОДИНОЙ

16 ноября 1869 г.

Ах Вы мой глупенький Писойчик; что это Вы разволновались так. «А те нобль тре же реконне тон сан»; по твоим страхам я узнаю тебя — мою милую, мою хорошую, мою глупую умницу. Ну, как тебе не стыдно волноваться из-за пустяков? Что же касается до сна твоего, то ты им даешь мне прекрасную мысль: мне непременно нужен «Сон Ярославны» для «Игоря». Тот, который сочинил мне Бах (В. Стасов), мне не нравится, нужно что-нибудь пострашнее. Вот я и придумал изобразить, что Игорь во сне сбрил себе оба уса. А какая это широкая тема для музыки! Кстати о музыке. Сегодня был третий концерт Бесплатной школы — самый лучший и самый удачный. Шли: «Святая Елизавета» Листа, «Садко», Концерт Литольфа (Голландский), исполненный Лешетицким, и В-ду́рная[1] симфония Шумана. «Елизавета» — верх совершенства, благоухание, прелесть с начала до конца! Редко что меня пробирало так, как «Елизавета». Что за интродукция! что за хоры! Даже Nächtficher Zug[2] на меня не действовал так сильно, как Елизавета! Зато и успех ее, сверх моего ожидания, был громадный. Балакирева вызывали после каждого номера несколько раз. И, я признаюсь, меня поразило чутье публики: всего менее понравился марш крестоносцев — самый доступный и самый блестящий номер по внешнему эффекту. Это вроде того, как было с моей симфонией: помнишь, всего лучше принято было andante, а не скерцо, несмотря на то, что последнее несравненно доступнее и эффектнее.

«Садко», в новой редакции, где исправлены многие промахи оркестровки и усовершенствованы прежние эффекты,— прелесть. Публика приняла пьесу восторженно, и Корсиньку вызвали — три раза. Перед самым концом «Елизаветы» приехали Константин Николаевич с сыном, прослушали «Садко» и уехали; по-видимому, великий князь нарочно приехал послушать музыку своего подчиненного. Об исполнении и говорить нечего — это просто совершенство. Меня особенно удивляют хоры: когда они успевают разучивать такие трудные и сложные вещи? А как славно поют. Только Калинин один и ехидствует против Школы из всех на-

[1] Си-бемоль мажорная (*нем.*).

[2] «Ночное шествие» (*нем.*) — Ф. Листа.

ших знакомых. Разумеется, я не говорю о тех ехидствующих, которые состоят под высоким покровительством великой княгини Елены Павловны. Злоба их не имеет предела: Серов в Journal de St.-Pétersbourg[1] и Фаминцин в «Музыкальном Сезоне» — неистовствуют так, что страх! Балакирева и весь кружок мешают с грязью и не скупятся на самые площадные ругательства и самые гнусные клеветы. Три №№ «Сезона» исключительно посвящены словоизвержениям против Милия. Но, как на зло им, прием Милию в каждом концерте все теплее и теплее. А сегодня публика приняла Милия просто восторженно и вызывала много раз и после «Елизаветы», и после «Садко», и после симфонии. Прием этот служит лучшим ответом на оскорбления и клеветы обскурантов и Михайловского дворца с его гнусными клевретами. Если дела пойдут так, то выйдет, что Е. П.[2] даром потратилась на основание музыкального журнала. Я даже уверен, что он, вопреки желанию редактора и издательницы, послужит скорее средством, чтобы упрочить музыкальное значение Милия. Отношением Е. П. с братьею к Бесплатной школе и Милию возмущены даже многие профессора консерватории: Лешетицкий, Венявский и пр. Даже Рубинштейн возмущен этим и не велел своей семье ходить даром в концерты Музыкального общества. А между тем Е. П. всеми силами хлопочет о подорвании Бесплатной школы; билеты в Музыкальное общество, разовые, на хоры, спустила до 50 к., в зал — до 2 р., лишь бы привлечь больше публики. Пригласили опять солистку en vogue[3] и для 2-го концерта — Лавровскую. Публики там, говорят, действительно было много — полный зал. Но это скорее — салон, нежели концертный зал. Такого же одушевления действительно художественной музыкой, как в Бесплатной школе,— и помину нет! Признаюсь, я никак не думал, чтобы Бесплатная школа могла окупить свои концерты, и ужасно боялся за нее. Во втором концерте Музыкального общества я не был — из всего, что там игралось, для меня было интересного только — Festklänge[4] Листа. К тому же я ужасно устал. Это было в субботу (вчера), когда у нас была длиннейшая и жаркая конференция. В эту конференцию, между прочим, выбраны в ординарные профессора: Сорокин и Зарыкин. В эту же конфе-

[1] «Петербургская газета» (*фр.*).
[2] Елена Павловна — великая княгиня.
[3] известную (*фр.*).
[4] «Праздничные звуки» (*нем.*).

ренцию Сеченов потерпел два жестоких поражения по поводу представленных им кандидатов. Вообще, чем больше я изучаю эту личность, тем более убеждаюсь в том, что это далеко не честный господин, и даже далеко не столь глубоко сведущий, как об нем трубят хористы нигилизма. Внешний эффект и популярность — вот его идеалы, и для них он готов продать отца родного. Прежде я многое дурное в его поведении приписывал его страстности, увлекательности, ерундоватости,— теперь я убедился, что многое (и большая часть его поступков) просто сознательно не честны; слово расходится у него с делом на каждом шагу. Да, впрочем,— ну его совсем!..

...Завтра я у Людмы: ее рождение завтра. У нас опять наведен Литейный мост, и на Неве ни льдинки, и все это покрыто густым туманом, конечно, не всегда: иногда все это застилается просто дождем. Грязь, сырость, слякоть — непомерные. Прощай, моя радость, целую тебя крепко, будь весела и здорова. Маму крепко обнимаю и целую. Поклоны...

10. Е. С. БОРОДИНОЙ

Пятница 28 ноября 1896 года

Извините, милая моя Кокушка, что до сих пор не писал Вам, времени не было. Не то что у меня времени не было, а вообще не было времени в Петербурге: ни времени года, ни времени дня или ночи. Не разберешь — что это: день ли, ночь ли, зима ли, осень ли. Черт знает, что такое! Вообрази, что несколько дней мы работали в лаборатории с утра до ночи при газе: в 9 часов утра газ зажигался, да так и горел до ночи. На улице облака тумана, застилающие и небо, и Неву, и улицу, и дома. Сверху идет не то дождь, не то изморозь. Хоть убей, не разберешь ничего. Тепло кажется — два градуса тепла, а выйдешь, тебя охватывает таким сырым холодом, что так и вздрагиваешь невольно. Это относительно астрономического времени. Теперь относительно Академического. Подобно отсутствию или полнейшей несостоятельности астрономического года, наблюдается полнейшая несостоятельность учебного года. Пока Дмитрий Александрович был в Москве, поставили мост, и обычные каникулы осенние прекратились. Через полторы недели мост снова развели, лед пошел сильный, перевозу не было несколько дней. Настали вторые осенние каникулы.

Вскоре Нева очистилась. Снова установился перевоз через Неву. В течение нескольких дней не замечалось льда на Неве. Сегодня мост воздвигли снова. Нева чиста. Грязь вдруг высохла, вместо 2-х градусов тепла, и в воздухе, и на термометре 2 градуса мороза. Небо очистилось. Ясно. Хорошо. Надолго ли? Это вопрос. Вообще этакой мерзейшей осени я не запомню и, глядя на серую атмосферу, мокрые мостовые и пр., всякий раз радуюсь, что тебя здесь нет. Не только тебе, но мне зачастую невообразимо скверно от этого безвременья и всех атмосферических прелестей Северной Пальмиры — прах ее побери. Теперь обо мне. Я все время сидел дома и главным образом был занят устройством моей лабораторийки. Устройство это, вследствие безвремения и вследствие общего свойства всех казенных работ, тянулось безбожно долго. Сегодня лаборатория окончательно готова. Последнее дело — удлинение газопроводной трубы, висящей в центре комнаты — сегодня окончено. Остается привинтить блоки к вентиляторам и устроить шнурки у тяг, как мне надобно. Но это я не считаю, это я сделаю сам. Это дело четверти часа. Какие я завел милые вещицы в лаборатории — просто прелесть! Приедешь, увидишь — сама полюбуешься. Сегодня у меня была Маша и пробыла до вечера...

...Она тоже чувствует сильно это одиночество моей квартиры, какую-то бездомность, отсутствие чего-то «жило́го», точно сарай какой-то или кладовая. Я думал, что это чувствуется только мною одним. Этим отсутствием чего-то «жилого» в нашей квартире я объяснил, почему мне приятнее сидеть (даже без дела) в лаборатории, нежели до̀ма. То же самое чувствуется и Михайловною. И все это вследствие отсутствия Вас, моя неоцененная Кокушка. Приедете Вы — и квартира наша зацветет жизнью, проснется, начнет дышать; каждый уголок станет жилым, и квартира перестанет быть складочным местом мебели и всякой домашней утвари; перестанет быть амбаром, где только спит сторож, стерегущий хозяйское добро по ночам. Сторож этот — я. А именно спать ужасно скучно в пустой и нежилой квартире. Ты знаешь, странное чувство это: тишина, именно абсолютная тишина, мешает иногда спать. И как бываю я рад иногда, когда слышу храп полупьяного сторожа, легкую поступь «барыни на коридоре», скрип сапогов консерватора или даже треск паркета. Это странно, но верно. Покой требует жизни вокруг себя, жизнь — движения, движение немыслимо без звуков... На днях я

ужасно радовался тому, что лопнула труба в коридоре, и ее пришлось чинить по ночам. Стук, ходьба, движение, жизнь. Теперь для меня как нельзя более понятен смысл одной юмористической брошюрки на немецком языке: «Über das Unglück allen zu sein und besonders allein zu schlafen»; Eine von der Akademie dei Sposi beati dĕkrönte preisschrift [1]. Я читал ее очень давно, еще в детстве, и не понимал тогда всей глубины ее смысла, полного житейской правды. Я думаю, даже Ева была создана, собственно, для того, чтобы Адаму не было скучно спать в пустом раю. Пустом — потому, что кроме Адама там были только бесплотные ангелы да скоты. Не было человека. А с другой стороны, нельзя не сообразить, что зачастую Адаму не спалось именно потому, что у него была Ева. Вот тут и раскидывай умом. Ну да полно об этом...

Твои именины провел до́ма и доедал шоколадные конфетки, за которые благодарю. Остатки сегодня преподнес Маше. Тороплюсь. Прощай. Поклоны...

А. Бородин

11. Е. С. БОРОДИНОЙ

3 декабря 1869 г.

Получили Ваше письмочко, милая Кокушка, маленький Писойчик. Сначала очень огорчились тем, что Вы захворали, потом очень обрадовались, что выздоровели. Письмо твое пришло без меня; я был на той стороне. Поехал туда в воскресенье, воротился во вторник. Нева наша, как я тебе писал уже, ведет себя самым непристойным манером. В воскресенье был перевоз, и я с Заболоцкими и Петром отправился через перевоз в концерт Бесплатной школы. Это был четвертый концерт; исполняли увертюру «Кориолан», Es-дурный [2] концерт Листа (Н. Г. Рубинштейн), хор дервишей и ход дев Рогданы Даргомыжского, три мелких фортепианных пьесы (Berceuse Ласковского, романс Чайковского и восточную фантазию Балакирева), играл их тоже Рубинштейн, за всем этим шла симфония C-dur [3] Шуберта. Зал был полон и ова-

---

[1] «О несчастии, происходящем от одинокой жизни и в особенности — от спанья в одиночестве». Сочинение, удостоенное премии Академией счастливых супругов.

[2] ми-бемоль мажорный № 1.

[3] до-мажор.

ции сильные, как Рубинштейну, так и Балакиреву, пьеса которого, впрочем, видимо, не понравилась публике. Большинство было озадачено этою восточною фантазией и ничего не поняло в ней. Впрочем, пьеса эта, действительно, немного длинновата и запутана; в ней слишком видится технический труд сочинительства; это сознается даже поклонниками Балакирева. Жаль, но что делать. Приезд Рубинштейна громом поразил Музыкальное общество. Хотя об этом и было извещено уже заранее, но там все думали и надеялись, что, может быть, это не состоится. Когда же Рубинштейн аккуратно, как было извещено еще в первом объявлении, явился в Петербург к 4-му концерту Школы,— Музыкальное общество первым делом отложило свой концерт, имевший быть в субботу, т. е. накануне концерта Школы. Они женировались дать концерт при Рубинштейне и без его участия: было бы действительно срамнó, просто срамнó. А Николай Григорьич молодец. Он ни к кому из Музыкального общества даже не поехал. Е. П., взбешенная донельзя всем случившимся, была настолько бестактна, что не приняла Н. Г. (тот по обязанности являлся к ней, как всегда). От нее Н. Г. был у Раден и там спросил баронессу Раден: «Что, великая княгиня, вероятно, нездорова? потому, не может же быть, чтобы она была так мелочна и не приняла меня только из-за того, что я играю в Бесплатной школе». Ну уж играл он! — просто сукин сын! Черт знает что такое! Этот концерт Листа был верх совершенства в исполнении: что за ансамбль, сколько огня и увлечения у обоих, как хорош был оркестр! Вряд ли скоро удастся услышать еще подобный ансамбль. Овации и Н. Г., и М. А. были вполне заслуженные. Исполнение было просто удивительное. Из концерта вся наша компания и дирекция Бесплатной школы пошли вместе с Рубинштейном к Донону, где мы отлично отобедали н очень приятно провели время. Н. Г. был кордиален, любезен и доволен до невозможности и первый предложил тост за представителя современной русской музыки — М. А. Балакирева. В тот же вечер Н. Г. уехал в Москву. В то время, когда здешняя консерватория ехидствует по отношению к нашему кружку, Московская ухаживает за нами. Корсинька, Кюи и я — получили весьма милые письма оттуда с предложением, или правильнее просьбою, принять участие в учебнике для хорового пения, составляемом профессором Московской консерватории А л ь б р е х т о м. Нас просят написать несколько хориков в 3 и 4 голоса. Н. Г.

ужасно извинялся передо мною, что не был у меня, и ссылался на боязнь застрять за рекою, так как шел сильный лед. Отношениями Рубинштейна к нашему кружку вся консерваторская петербургская клика недовольна и злобствует с пеною у рта, не щадя никого и ничего. Клевета за клеветою разглашаются и устно, и печатно. Но в печати они уже теперь начинают сильно завираться и, вероятно, скоро попадутся. Милий в эмпиреях, хотя физически он страдает: у него разболелась рука, так что он дирижировал уже с болью в руке. От этого самого после концерта боль и опухоль значительно увеличились. В силу этого обстоятельства приходится отложить концерт Славянского комитета, назначенный на будущее воскресенье...

...Скоро напишу еще тебе. Тороплюсь; нужно к Чистовичу по делу. Тетушка всем вам кланяется. Целую тебя и Маму. Будь здорова. Пиши.

12. Е. С. БОРОДИНОЙ

7 декабря 1870 г.

Неужели?! Неужели я тебя скоро увижу? Увижу не в Москве, не в Голицынской больнице, не в Гранатном переулке, а у нас, в нашем доме, в нашей квартире, словом — *дома.* Да! чуть не два года, как ты оставила свой домчик, золотая моя. И опустел же он порядком, позапустился, позаглох, позатих, точно давно покинутая усадьба, владельцы которой разбрелись на все четыре стороны. Из всех твоих поручений хозяйственных я, кажется, не исполню ни одного. Шторы снять и отдать в стирку нет резона; они совсем сопрели, стали ветхи, как Пановский; так и ползут от малейшего насилия. Притом без них и неудобно. Когда-то их еще вымоют! да и выдержат ли они еще стирку — это Бог знает! Пожалуй, развалятся вконец. Полы натирать—нет резона. Приедешь—придется убираться и разбираться, следовательно, предстоит ломка и возня. Мебель чистить — нет резона на том же самом основании. Кофе и сахару куплю и даже, пожалуй, велю кофе изжарить. Чай есть. Вот и все. Чистку же предпринимать теперь нельзя; мне возиться некогда, т. е. положительно нет времени. Тетушка же уподобилась нашим шторам: пришла окончательно в ветхость, стала слаба, потеряла и память, и энергию, и сообразительность, и силы. Ты не можешь себе представить, до чего она одряхлела, и как быстро идет

она к упадку. Нет сомнения, что у нее развивается какой-нибудь мозговой процесс. Она на меня производит крайне тяжелое впечатление. Она сама чувствует, что разрушается быстро, и только и толкует о том, чтобы переписать духовную, да поскорее устроиться в богадельню...

...Обнимаю тебя крепко и целую еще крепче.

13. Е. С. БОРОДИНОЙ

10 декабря 1870 г.

Ненаглядная ты моя, в моих опасениях за твое здоровье и благосостояние я совсем одурел и нагородил тебе под первым впечатлением невообразимую чепуху. Боюсь даже, не перепугалась бы ты не на шутку. Оказалось, что когда мы обжились даже одни сутки,— стало и тепло, и хорошо. Насчет коридоров, сортира, водопроводов распоряжения сделаны, и ты можешь смело приехать. Твое последнее письмо наполнило меня невообразимою грустью. Бедная Пипка, право бедная! Что это, что нигде-то ты не можешь путем устроиться. Теперь, впрочем, у нас можно будет тебе жить, даже при тетушке, так как она поместится в кабинете, и даже уже поместилась. Мы можем поместиться в остальных комнатах. Особенно удобно было бы тебе поместиться в столовой нашей, как комнате самой теплой и самой покойной. Обедать же мы можем, пожалуй, хоть и в гостиной. Кабинета у меня все равно не было фактически. Теперь у меня есть моя лабораторийка, которая будет заменять и кабинет, как я всегда этого желал. Я туда уже перенес все книги и письменные принадлежности. Приезжай, ничего. Жили же в номерах, а это куда лучше будет. Насчет печей я сделал надлежащие распоряжения и приспособления. Сухости в комнатах больше не будет, за это я ручаюсь. В этом отношении, следовательно, тебе бояться нечего. Делай, впрочем, как полагаешь лучше. Но на мой взгляд, тебе приехать будет лучше, чем оставаться там. Что касается до лечения кислородом, то оно оказывается очень действенным, чему есть уже много примеров. Даже колокол Симонова ты напрасно хаешь; теперь Симонов с женою разошелся, и порядки в заведении его совсем другие. Радость ты моя! Как я-то буду рада [1] твоему при-

---

[1] орфография подлинника.

езду; как я тебя поеду встречать-то! Насчет Мамы ты не задавайся такими черными мыслями. С болезнью Мамы живут люди по десяткам лет; и нет никакого резона предполагать непременно, чтобы исход был скорый и печальный. Ты теперь сильно встревожена, и потому тебе все кажется мрачнее, нежели в действительности. Поверь мне: Courage! Vorwärts![1] Трогайся из Москвы с Богом, будь только осторожна в дороге; не простудись, не пей горячего чаю, не ешь горячего, не выходи разогретая из вагона, не сиди там около окон — и доедешь наиблагополучнейшим образом. Наконец, если бы даже тебе было здесь в некоторых отношениях неловко, если бы тебя мучила мысль, что ты меня в чем-нибудь стеснишь или по-твоему: «будешь мучать», то откинь эти мысли; нравственно за тебя я буду страдать везде, если тебе нехорошо, это все равно — с тобою ли или нет. Против физических же неудобств и стеснений (спанья, позднего укладывания и т. д.), так ведь это вздор, который всегда можно устранить. Итак, я тебя жду. Приезжай смело, не бойся ничего.

Еду нарочно с тем, чтобы бросить письмо в ящик на железной дороге, так что ты получишь вместе оба письма. Я было думал послать тебе телеграмму, да боялся испугать тебя.

14. Е. С. БОРОДИНОЙ

24—25 октября 1871 г.

Благодарю тебя, моя дорогая «поэтесса», за твои пародии на «фальшивую ноту». Ты спрашиваешь меня, которое из трех стихотворений мне больше всех нравится? По содержанию — последнее (ветреное); по правильности и совершенству стиха — больное (содержание его мне не нравится, ты сама это знаешь; я ужасно не люблю жалких слов). Каламбур твой насчет «ветрогона» — очень хорош. Опробую его вполне; желаю только, чтобы он оправдал данный мне эпитет на деле... (Для проверки прочел сейчас еще раз твои стихотворения и, по правде сказать, ветреное оказывается лучшим и по стиху; в «жалком» у тебя не хороши рифмы: «страдал*а*» и «звучало»; *а* и о,— это не хо-

---

[1] «Смелее! Вперед!».

рошо, не правильно). Надино, т. е. первое стихотворение, самое слабое. Продолжай, поэтесса, продолжай. Может быть, со временем, сделаешься вторым Пушкиным или Лермонтовым. Одно не хорошо: — ты и к вещам из области реальных вещей относишься как поэтесса, вследствие чего я не могу выполнить твоих поручений, пока не получу от тебя толкового ответа...

...Я — весь хлопоты. Работы в новых лабораториях подвигаются страх как медленно, вследствие беспрерывных задержек самого разнообразного свойства. Я ежеминутно должен следить за работами, направлять их и понукать, а то — или ничего не делается или делается не так, как следует. Сорокин еще болен, и обязанность секретаря приходится нести мне. Вчера, в субботу, я делал и доклад в конференции вместо Сорокина. В лаборатории начал работать, но правильно работать не удается; беспрерывно отвлекают меня разные разности... Музыкою в это время, разумеется, я не занимаюсь вовсе. Некогда, совершенно некогда. Вчера вечером, впрочем, был у Пургольд; там производилась вся «Псковитянка» целиком, в последовательном порядке, акт за актом. Музыка невообразимой красоты, но — как справедливо заметил Стасов — холодноватая, бесстрастная; за исключением, впрочем, сцены веча, которая изумительно хороша по силе, красоте, новизне и эффекту. Словом — это музыка первый сорт, во всех отношениях. Кроме меня было у Пургольд много народу: вся наша компания (кроме Милия, которому было послано приглашение, но который и тут уклонился), Азанчевский, театральные господа разные, Фим, Людма, Никольский, Стасовы и т. д. Исполнение было на двух роялях. На одном играла Надежда Пургольд, на другом Корсинька подыгрывал все, что она не могла выполнить одна. Выходило все очень хорошо. Пели — Модинька, Васильев и Александра Пургольд. Не понимаю, что Балакирев так упорно уклоняется от нашего кружка и, очевидно, избегает всяких свиданий. Боюсь я, что у него в самом деле голова не в порядке. А может быть, просто самолюбие его грызет. Он такой деспот по натуре, что требует себе полного подчинения до мелочей самых ничтожных. Он никак не может понять и признать свободы и равноправности. Малейшее сопротивление его вкусам и даже просто капризам для него невыносимо. На всех и на все он хочет наложить свое ярмо. Между тем он сам сознает, что мы все уже выросли, стоим крепко на своих ногах и в по-

мочах не нуждаемся. Это его, видимо, досадует. Он не раз высказывал Людме: «Что мне слушать их вещи, теперь они настолько созрели, что я для них стал не нужен, они обходятся без меня» и т. д. Натура его такова, что требует непременно несовершеннолетних, с которыми бы он возился, как нянька с ребенком. Вот он и таскает к себе Милорадовича, Помазанского и даже, как говорят, «флакон с духами», т. е. Щербачева, хотя ясно сознает, что из последнего никакого толка выйти не может. Помазанского он совсем загонял, заставляя его писать русскую увертюру, где девять десятых сочинено самим Милием, потому что он не дает Помазанскому ни малейшей свободы поступить против его желания. Увертюра, впрочем, очень хороша, интересна по темам и разработке, прелестно оркестрована и т. д. Но все это Милий, Милий и Милий, Помазанского тут нет как личности. А между тем отчуждение Милия, явное уклонение от кружка, резкие отзывы о многих, особенно о Модесте, охладили значительно симпатии к Милию. Если пойдет так, то легко может случиться, что он останется изолированным, а это, в его положении, равносильно моральной смерти. Мне, да и не одному мне, а и другим тоже, глубоко жаль Милия, да что делать. Даже Людма, которая прежде могла его еще кое-как настраивать на лад, утратила всякое влияние. Может быть отчуждению его причиною также странный и неожиданный поворот в пиетизм, самый фанатический, самый наивный. Милий, например, не пропускает ни одной обедни, всенощной, вынимает часть из просфоры, с азартом крестится на каждую церковь и т. д. Очень может быть, что при этих условиях ему неприятно сталкиваться с обществом, которое не сочувствует всему этому; может быть, он даже боится бестактной и бесшабашной митральезы упреков — Владимира Стасова, который, где бы его ни встретил, начнет сразу «докладывать» ему, что все это вздор, что ему «непонятно», как Милий, человек умный и пр., и пр. К тому же значительная доля упреков падает и на апатию его относительно музыкального дела, особенно за прошлый год. Стасов, например, никак не может простить Милию отношения последнего к концерту в пользу «Каменного Гостя» Даргомыжского, только потому, что Милий без всякой причины откладывал концерт и тянул безбожно дело. Людма не может простить необъяснимое равнодушие к «Руслану», когда Милий, уговорив Людму взять ложу нарочно для него, вдруг просидел этот вечер у Жемчужникова

без всякой нужды и на следующие представления не ходил ни разу. Модинька оскорблен несправедливыми и высокомерными отзывами Милия о «Борисе», высказываемыми бестактно и резко в присутствии людей, которые вовсе не должны бы слышать этого. Корсинька обижен равнодушием к «Псковитянке» и скорбит о поведении Милия. Кюи тоже негодует на апатию Милия и отсутствие желания с его стороны узнать даже, что делается в нашем музыкальном кружке. Прежде бывало Милий первым интересовался малейшею новинкою, даже в самом зародыше. Как бы то ни было, но пропасть между ним и нами разверзается все больше и больше. Это ужасно больно и досадно. Больно главным образом потому, что жертвою этого всего сделается именно сам Милий. Остальные же члены кружка теперь живут более согласно, чем когда-либо. Особенно Модинька с Корсинькой, с тех пор как живут в одной комнате, сильно развились оба. Оба они диаметрально противоположны по музыкальным достоинствам и приемам; один как бы служит дополнением другому. Влияние их друг на друга вышло крайне полезное. Модест усовершенствовал речитативную и декламационную сторону у Корсиньки; этот, в свою очередь, уничтожил стремление Модеста к корявому оригинальничанию, сгладил все шероховатости гармонизации, вычурность оркестровки, нелогичность построения музыкальных форм,— словом, сделал вещи Модеста несравненно музыкальнее. И во всех отношениях наших ни тени зависти, тщеславия, безучастия; всякий радуется искренно малейшему успеху другого. Отношения самые теплые, не исключая и Кюи, который, например, нарочно прибежал ко мне только для того, чтобы послушать конец финала моего. Один только Милий чуждается этой семейной равноправности! Ну, да что об этом! — Пора кончить...

...Ну, будь здорова, не хандри и не измышляй себе никаких болезней новых; довольно и того, что есть. Целую тебя без конца.

А. Бородин.

15. Е. С. БОРОДИНОЙ

5 октября 1873 г.

Собачка, получил ваше милое письмо. Действительно, я тебе писал и даже пишу теперь реже, чем вначале, после приезда. Но бога ради, ты не тревожься этим. Причиною

этому: 1) обыкновенная судьба всякой переписки, где сначала пишут рьянее, а потом реже; так всегда бывает и со всеми; 2) вначале у меня было меньше дела и разных срочных забот; теперь просто беда, одно погоняется другим, очнуться некогда. Я тебе написал письмо во вторник, но, вообрази,— затерял, забельшил сам не знаю куда и как. Когда долго не пишешь, то отчет день за день становится очень трудным, но, тем не менее, я постараюсь изложить тебе обстоятельно все по порядку. Начинаю с субботы. Взял я *Лизутку* домой. Воскресенье я провел почти весь день дома. Утром располагал работать — не дали. Был прием. Пришли: *Соколов*, Сорокин (который только что воротился из Крыма), Кондратьев, Шестов, Кюи, студенты разныя, барыни учащиеся...

...В понедельник, в 11 часов, повез я Лизутку в музей естественной истории, в Академию наук. Она была в восторге. Народу в музее было так много, как мудрено себе представить на самом многолюдном гуляньи. При входе продаются объяснительные книжки по 10 к., вход бесплатный и без билетов. Это очень хорошо! Оттуда мы пошли сначала отдохнуть в Румянцевский сквер, потом зашли к Зинину на минутку и поехали обедать к Вильмсу...

...Во вторник, утром — я, по обыкновению, читал лекции и проч. Вечером пошел к Кюи, который приглашал меня еще в воскресенье. У него был всякий люд: Бессель, М о д и н ь к а; Л я д о в, С а р и о т т и, К о м и с с а р ж е в с к и й (с женою), Стасовы и пр. Исполняли «Тизбу». Бессель сообщил мне, между прочим, что Фиф принес в одно общество мои романсы с намерением ужасать публику безобразием новой музыки и начал глумиться над ними. В обществе был пианист Г а р т в и г с о н, ученик Листа, солист датского короля. Тот пришел в ужасный восторг от романсов, начал горячо защищать их и сел играть, говоря, что из них можно и н у ж н о сделать фортепианные вещи, и что вещи эти будут очень хороши. Фиф, не ожидавший этого, огорчился и очень удивился такому заявлению. Когда я еще сидел у Кюи, началась пальба с крепости; ветер свистел и завывал все сильнее и сильнее. Кто-то пришел и сообщил, что вода сильно поднялась, и через Литейный мост прекратили езду. Я бросился домой. Кюи просил меня остаться у него ночевать, но я не остался. Иду по улице — ветер валит с ног; мелкие камешки, щепки, песок летят по улице и бьют по лицу точно розгами. Вода в Неве поднялась в уровень с тротуа-

ром. Суда прибило к берегу. Не прошло двух минут — улицу начало заливать. Я — бегом на мост. Не пускают. Насилу я проскочил через огромную щель, образовавшуюся в мосту на месте соединения плавучей части с береговою. Я пробежал бегом по мосту, который качался, как корабль, и трещал, как будто его ломали тысячи рабочих рук. Рев ветра и прибой волн, седые гривы которых хватали чуть не на мост, дополняли картину, освещаемую, как молнией, выстрелами. Суда подрейфовало и навалило на мост. Около нашего берега тонула барка с известью, возле нее другая — с капустою; судорабочие в ужасе кричали о помощи и, к счастью, по обломкам добрались до берега, промокшие до костей. Доски, бревна, мачты летели и ломались как лучинки. На ломавшиеся барки, до половины погрузившиеся в воду, нанесло новые барки с дровами, плот, несколько мелких судов. Все это крушилось, трещало, качалось; доски летели, как щепки; крики людей, рев ветра, выстрелы с крепости, гул волн — все это смешалось в общий ужасный шум, где нельзя было бы расслышать собственного слова. Вдали вспыхнуло зарево пожара и дополняло картину. К счастью, люди все спаслись. Я был последний перешедший через мост. Прихожу домой — у нас шум, крик, переполох. Подвальный этаж начало заливать. Все выбирались наверх. По лестницам сновали бабы и служителя, шлепая по воде, уровень которой постоянно подымался. Вскоре все перетащили, что можно, в коридор, представлявший подобие цыганского табора. Самые разнородные предметы теснились в кучу: сундуки, рухлядь, платье, посуда, дети, белье, кошки, образа, мебель, женщины, перины, подушки, самовары и пр. Перетащив лабораторию, т. е. все ценное, подверженное порче, я пошел с Митей на улицу. До половины улицу залило водою. Мы прошли далее. На площади около гауптвахты все было покрыто выступившею водою, мы могли дойти только до Астраханской улицы, далее идти было уже невозможно. Посреди улицы плавала белая масса, которую мы сначала приняли за человека — оказалось, что это были гуси и утки, загнанные бурею и барахтавшиеся в импровизированной реке. Путь к Самсоньевскому мосту был залит. Несчастные извозчики, застигнутые наводнением, ехали вброд. Лошади по колено тонули в воде. Этакого наводнения я никогда еще не видал. Оказалось потом, что в других местах было еще хуже — на Караванной, Морской и пр.

Васенька наш был очень испуган наводнением и, задрав хвост, стрелою пробежал по воде, прямо ударился в каминную и успокоился только через некоторое время, устроившись на ночь на платье К. Е. На другое утро, когда вода сбыла, вид погрома был ужасный: вся Нева около берега и близ моста была усеяна досками, обломками, между которыми плавали кочны капусты, дровами и пр. Одну барку нанесло поперек на нашу водокачальню, и, когда уровень воды понизился, барка переломилась пополам, представляя очень странный вид какой-то гигантской сломанной детской игрушки...

...Да! кажется, я тебе не писал: я получил от редакции Настольного Энциклопедического словаря почтительнейшую просьбу сообщить ей точные биографические данные о моей особе. Получил еще Устав консерватории при лестном письме и пр. Ну прощай, пора спать. Завтра у меня лекция в 9 утра, а теперь 1 час ночи. Спитте![1] Поцелуй наших. Дотр фамил онн' де плезир, де диссипасион и пр.

Твой *А. Бородин*

16. М. Н. РИМСКОМУ-КОРСАКОВУ

18 октября 1873 г.

Милостивый государь Михаил Николаевич, Ваш папенька дал мне трубу, не совсем, а только поиграть. Теперь я в большом затруднении. Папенька Ваш просил возвратить ее поскорее, а маменька, не любящая вообще шумных игрушек, просила продержать ее подольше. Не находя возможным выполнить оба желания одновременно, я решился обратиться к Вам с просьбою вывести меня из затруднительного положения: пересылаю игрушку Вам, предоставляя на Ваше усмотрение, как поступить с нею далее. При этом считаю нужным предупредить Вас: не берите этой трубы в рот — она медная. Простите, что я позволяю себе давать Вам подобные советы, Вы еще так молоды; я старше Вас, больше живу на свете, а потому опытнее (кроме того, я учился медицине). Мне хорошо известно, что молодые люди Вашего возраста склонны к подобного рода увлечениям и без всякой осторожности берут в рот все, что попадает под руку. Я сам когда-то

[1] орфография подлинника.

имел эту привычку, правда, очень давно, но впоследствии совершенно отстал от нее. Итак, поверьте, что если я позволил себе дать подобный совет, то единственно из желания добра молодому человеку.

Передайте мой искренний привет Вашей милой маменьке и извинитесь перед папенькой, если я задержал игрушку слишком долго.

Примите уверения, милостивый государь, в истинном почтении и преданности.

А. Бородин

17. Е. С. БОРОДИНОЙ

31 октября 1873 г.

Сегодня мне — 40 лет! Пока было 39 и 364 дня, все еще считал себя моложе, а теперь 40! На Руси привыкли считать сороками, как в других местах сотнями, гроссами и т. д. Сорок сороков церквей на Москве, говорит народ; сорок тысячей — в сказках русских и былинах равносильно тьме, тысячам тысяч, несметному количеству и пр. В такой знаменательный в моей жизни день — как могу провести время лучше, как не в беседе с тобою? Поэтому, совершив свой утренний туалет и напившись чаю, я уселся с вытянутою ногою строчить тебе письмо (хотя не далее как вчера послал тебе эпистолу). Это, впрочем, совершилось не ранее 10 часов, так как утренний туалет мой длинен. Помимо обычных омовений — присоединилась возня с ногою. Производится она таким образом: сажусь я на пол в костюме негра, работающего на плантациях. Отмачиваю корпию, промываю ранки, прижигаю их ляписом, если нужно, кладу свежую корпию, намазанную свинцовой мазью, потом компресс, потом начинается бинтование по всем правилам десмургии: бинт, туго намотанный, накладывается, и начинается наложение ходов один возле другого от самых пальцев до колена — элегантно, красиво, плотно, чтобы бинт давил везде равномерно; благодаря моим толстым и круглым икрам, приходится каждый раз делать renversé, то есть переворачивать бинт, делая небольшую складку, чтобы не образовалось слабозавернутых мест и мешков — godet. Как это меня переносит в годы студенчества, когда я, оттопырив от старания нижнюю губу, артистически накладывал повязки; только тогда я их накладывал на чужие ноги, а теперь на свою.

День рожденья я встретил в обществе и притом, как подобает сорокалетнему соломенному вдовцу, в обществе двух прекрасных Елен — разумей: Марьи Васильевны Доброславиной и Марьи Алексеевны Богдановской. (Нужно сознаться, однако, что обе Елены по справедливости должны быть названы не «прекрасными», но «брюхатыми»; как это ни прозаично, но фактически верно). Как Елены, не усвоившие себе распущенности своего прототипа Оффенбаховского, они были с своими Менелаями. Мои Парисы (т. е. Митя и Иринарх) как на беду ушли; Катерины Егоровны тоже не было, ибо она отправилась на крестины к брату. Я был один. Тем не менее, я все соорудил как следует, благодаря посаженой дочке — жене Франца. Митя и Иринарх скоро вернулись, и все сели в кружок около меня. Я — в халате, подобно хивинскому хану, лежал на кушетке, так как хирурги требуют для ноги непременно вытянутого и горизонтального положения. Поднялись, разумеется, всякие невинные сплетни, пересуды, переливание из пустого в порожнее. Между тем в столовой накрыли «стол»: «чай был», «колбаса была», «сыр был»; Иринарху была котлетка, так как он не ест ни сыра, ни колбасы. Я велел подать себе перлового супу и при всех изображал Андрея Васильевича Репу. Побеседовав еще малую толику до $12^1/_2$, гости — брюхатые и небрюхатые — разошлись по домам, а хозяева предались приятному отдохновению. Вот тебе правдивый и незатейливый отчет о торжественном событии. Для полного состава собравшихся навестить меня не доставало Сорокиных. Но это было в порядке вещей: Юлишка взгомозила Богдановскую идти ко мне и, по обыкновению, надула ее, и сама не явилась. Я душевно был рад, что не пришел никто из музыкальной братии, а то и я, и другие были бы в фальшивом и неприятном положении. Писание письма прервано на минутку приходом Сунина, водопроводчика. В сей самый знаменательный день будет поставлен трап у нашей раковины, и навсегда устранится вонь от раковины. Этот трап, таким образом, будет служить памятником 40-летнего юбилея моего. Газ устроен, колокольчик в порядке, вонь от раковины устранится; остается повесить шторы и драпировки — и все готово к твоему приезду. По правде сказать, я никогда не скучал так по тебе (т. е. по твоем отсутствии), как нынче. Может быть, этому причиною, отчасти, и самое Avec le pied, при котором мне

не приходится трепаться и, следовательно, разбрасываться. Но это-то и досадно, что когда ты приедешь, я как раз выздоровлю, заведу свою машину, и опять пойдет колесом та же возня. Буду приходить домой на минутку, озабоченный, занятой, торопиться и пр. Наконец, по временам буду не от мира сего. Да Ко́кушка, очень желают Вас видеть. Теперь даже нет риску приехать тебе. Наступили холода; хотя морозов нет, тем не менее настолько холодно уже, что у нас делается сухо. Приезжай, я буду ждать тебя теперь в недалеком будущем. Напиши мне заранее, берешь ли ты с собою Машу или Надю, и когда думаешь приехать в действительности. А я теперь, по случаю Avec le pied, читал разные литературные вещи, между прочим, «Благонамеренные речи» Щедрина в последней книжке «Отечественных записок». Ну, я тебе скажу, Щедрин дошел уже до такой простоты отношений, что без церемонии выписывает, как мужики ругаются по матерному, рассказывает, как «ночью куда хочешь без мыла влезешь» и тому подобное. Черт знает что! Наряду с самыми последними плодами литературы, я прочел идиллию Феокрита «Сиракузянки» — она написана за 280 лет до рождества Христова. Что это за прелесть! Простота, естественность, сколько жизни, и как все реально. Отними только имена: Праксиноя, Эвноя, Горго и т. д.— ну совсем беседа наших современных барынь, как ловко обрисованы особенности женской натуры! Изумительно. Дописал...

...Целую тебя крепко, особенно крепко по случаю торжественного дня. Поцелуй всех и собирайся в путь.

18. Л. И. КАРМАЛИНОЙ

15 апреля 1875 г.

Любовь Ивановна, передо мной два письма. Одно из них — Ваше ко мне. Другое — мое к Вам. Первое — давно написано, послано и получено. Второе — только сейчас начато; будет послано, если будет окончено; будет получено, если дойдет по назначению. Первое помечено: 6 Апреля. Второе — 15 Апреля. В первом, после слова «апреля» значится: «1874 года». Во втором — 1875 года. Первое по содержанию — милое, простое, хорошее, приветливое. Там на первой странице написано: «Я не хочу, чтобы Вы меня забыли»; на последней странице: «Если Вы ленивы или Вам некогда, то не отвечайте. Мое письмо доказательство,

что я Вас хорошо помню». Второе письмо — еще не написано, следовательно, содержание его пока неизвестно. Одно могу сказать: если Бюффон прав, что «le style c'est l'homme» [1], то стиль моего письма должен быть очень нелепый, такой же нелепый, как и самый человек, которому принадлежит стиль.

Ну разве не нелепо писать в апреле 1875 г. ответ на письмо, полученное в апреле 1874 г., и притом человеку, которому искренно симпатизируешь? Допускаю на время, что Бюффон прав, и что стиль — человек. Ставлю себя в положение этого человека (предполагая, что это мой стиль), как ему бедному должно быть неловко перед Вами, перед собой, передо мною. Так и вижу, как ему хочется спрятаться от нас, забиться в какую-нибудь мышиную норку, чтобы не встречаться с нами. Если у него, как у человека, есть лицо и руки, то он непременно закроет первое последними, чтобы не видали, как он краснеет всякий раз, когда я напоминаю ему о Вас. Если у него есть уши, то он непременно затыкает их ватою, чтобы не слыхать моих ядовитых упреков и насмешек по поводу его лени и распущенности. Если мой стиль — не только человек, но еще дворянин, то он непременно стыдится своего герба, ибо ему кажется, что девиз этого герба гласит: «Не делай никогда сегодня того, что можешь отложить до завтра» — мудрое правило, которого держится упомянутый дворянин и которого держались все его доблестные предки. Бедный стиль! Бедный человек! Как скверно он должен чувствовать себя во время нашей беседы с ним. А между прочим, он очень хороший человек, очень добродушный, незлобивый, на меня никогда не сердится, не обижается моими иногда очень резкими укорами, живет со мною в ладу и очень любит меня так же, как и я его. Еще хорошая черта в нем та, что он человек очень доверчивый и всегда склонен верить, что его слова будут приняты так же просто, как он их говорит; не будут комментироваться невыгодным для него образом и не подадут повода к ложным толкованиям.

В этом я, впрочем, схожусь с ним совершенно. Наконец, сверх того он помнит евангелическое изречение: «Блажен человек иже и скоты милует». Отсюда — совершенно, впрочем, произвольно — он заключает, что если следует миловать бессловесных скотов, которые никогда не

[1] «стиль — это человек».

бывают ни в чем виноваты, то тем более следует миловать одаренных словом: человека и стиль его, которые всегда в чем-нибудь и перед кем-нибудь да виноваты, а потому всегда нуждаются в помиловании. Отсюда — пропаганда всепрощения и желание широкого применения идеи всепрощения, полного, безотносительного, безусловного. Во имя этой идеи-то я и решаюсь просить великодушного прощения пишущему эти строки, хотя он, может быть, этого и не заслуживает. Чувствую и сознаю, что молчание мое было бессовестно долгое, невозможное в обиходе всякого порядочного человека. Допускаю (я, как видите, сегодня очень щедр на допущения), что Вы меня простили, не сердитесь и даже не прерываете моей болтовни. Если это так, то продолжаю мою беседу (надоел — так бросьте). Всякий человек более или менее эгоист и охотно говорит о себе. Я — человек, следовательно, не лишен этой слабости. Потому начинаю с себя. Мне в этот длинный промежуток времени жилось всяко: более скверно, впрочем, чем хорошо. За выходом одного из наших профессоров химии доля труда, который нес последний, пала на меня, и эта новая деятельность, требовавшая предварительной организации учебного труда, поглощала у меня много времени. Далее, Академия наша находится на скамье подсудимых и ждет решения своей участи. Положение это исключительное, переходное, крайне скверно отзывается на всех делах Академии, а следовательно, и на положении моей кафедры. Множество хлопот, забот, нужной и ненужной возни при относительно туго подвигающемся успехе дела, плохих финансовых делах кафедры и проч., далеко не располагают к хорошему настроению духа и оставляют очень мало досугов для любимых занятий. Домашние дела идут тоже не блестяще: бедная жена моя все хворает, и нынешний год более, чем предыдущие. Одно, что меня несколько хорошо настраивает, это — дела женских курсов, которые хотя и много отнимают у меня времени, но зато дают нравственное удовлетворение, совершенно отвечающее ожиданиям. Вследствие учебных и ученых занятий, всяких комиссий, комитетов, заседаний и пр., и пр., мне почти не остается досугов для музыки. Я только урывками кое-когда улучу минутку, чтобы посмотреть что-нибудь новое, послушать других и т. д. Самому работать на музыкальном поприще почти не приходится. Если и есть иногда физический досуг, то недостает нравственного досуга — спокойствия, необходимого для того, чтобы настроиться музыкально.

Голова не тем занята. Я нынче только издал фортепианное переложение первой симфонии моей — и только. Аранжемент второй симфонии так и застрял на половине. Однако же подобно чахоточному больному, который хотя и на ладан дышит, но все толкует о том, как уедет на юг, будет пить козье молоко, гулять в роще и проч., я тоже толкую об опере, которую собираюсь писать. Только между чахоточным и мною та разница, что он может приводить в исполнение свои планы, когда поправляется здоровьем, я же — наоборот, когда заболею. Когда я болен настолько, что сижу дома, ничего «дельного» делать не могу, голова трещит, глаза слезят, через каждые две минуты приходится лазить в карман за платком,— я сочиняю музыку. Так и нынче, я два раза в году был болен подобным образом, и оба раза болезнь разрешилась появлением новых кирпичиков для здания будущей оперы. (Опера эта — «Князь Игорь». Материалы мне доставил В. В. Стасов. Либретто я стряпаю сам). Написал большой марш «Половецкий», выходную арию Ярославны, «Плач Ярославны» для последнего действия, женский хорик в половецком лагере, кое-что для танцев (восточных — так как половцы все-таки восточный народ). У меня уже накопилось немало материалов и даже готовых номеров, оконченных и закругленных (напр., хоры, ария Кончаковны и проч.). Но когда мне удастся все это завершить? — недоумеваю. Одна надежда на лето. Но летом я должен доркестровать вторую симфонию, которую давным-давно обещался доставить куда следует и, к стыду моему, не доставил до сих пор. Нужно еще окончить переложение ее для фортепиано, которого давно ждет Бессель. Еще — к ужасу Стасова и Модеста (Мусоргского) — набросал струнный квартет, который тоже нет времени докончить. Странно! Стыдно! Жалко! Смешно! А ведь ничего не поделаешь? Подобно Клоду Фролло в «Notre Dame de Paris» [1], останется только написать на стене по гречески — «fatalité» [2] — и успокоиться. Больше ничего не придумаю. Вероятно, вы уже слышали кое-что о наших музыкальных делах от наших музыкальных друзей и пр. Кюи действует — много сделал в Тизбе своей. Модест пишет «Хованщину» и тоже сделал порядочно. Корсинька возится с Бесплатною школой, пишет всякие контрапункты, учится и учит всяким хитростям музыкальным. Пишет

[1] «Собор Парижской богоматери».
[2] «судьба».

курс инструментовки — феноменальный, которому подобия нет и никогда не было. Но тоже не имеет времени пока и оставил работу в ожидании досугов. Он выступил в посту с концертом Бесплатной школы, что Вам, без сомнения, уже известно. Музыки не пишет пока. Без сомнения, Вы много слышали о разладе, распадении и проч. нашего кружка. Я на это смотрю не совсем так, как Людмила Ивановна и многие другие. Пока я не вижу тут ничего, кроме естественного положения вещей. Пока все были в положении яиц под наседкою (разумея под последнею Балакирева), все мы были более или менее схожи. Как скоро вылупились из яиц птенцы — обросли перьями. Перья у всех вышли по необходимости различные; а когда отросли крылья — каждый полетел, куда его тянет по натуре его. Отсутствие сходства в направлении, стремлениях, вкусах, характере творчества и проч., по-моему, составляет хорошую и отнюдь не печальную сторону дела. Так должно быть, когда художественная индивидуальность сложится, созреет и окрепнет (Балакирев этого как-то не понимал и не понимает). Многих печалит теперь то обстоятельство, что Корсаков поворотил назад, ударился в изучение музыкальной старины. Я не скорблю об этом. Это понятно: Корсаков развивался обратно, нежели, например, я. Он начал с Глинки, Листа, Берлиоза, ну, разумеется, пресытился ими и ударился в ту область, которая ему неизвестна и сохраняет интерес новизны. Я начал со стариков и только под конец перешел к новым. Но пора кончить. В заключение скажу Вам, что, несмотря на эфемерное знакомство наше с Вами, мы с женой часто вспоминаем Вас и то высокое художественное наслаждение, которое Вы доставили нам в последний вечер. Остается желать, чтобы Вы скорее навестили Петербург и не забыли нас. А пока жму Вам дружески руку и прошу прощения за безалаберное письмо нелепейшего из Ваших почитателей

А. Бородина

19. Е. А. КУЛОМЗИНОЙ

Москва, 29 июля 1875.

Много времени прошло, много, как говорится, воды утекло с тех пор, как я получил Ваше милое письмо, многоуважаемая Лизавета Александровна. Вот и зима прошла, и весна, боюсь сказать — и лето прошло; если не

прошло, то на исходе. Убирают хлеб, жнут, цветут астры, осенние цветы, рябина краснеет порядком, клубника и земляника стали предметом для приятных воспоминаний, малина отживает последние дни; дети, отпущенные на вакацию, начинают зубрить, переводить и писать заданные уроки. Вот на днях был ровно год, как Вы приходили к нам пешком с одним из отпрысков Вашей семьи из Губачева в благословенное Рожново. Это было накануне Смоленской божией матери. Помните, как Вам громоздили импровизированную постель из дверных досок и ящиков в комнате Марьи Александровны? Как мы приятно, семейно провели тогда вечер! Я с наслаждением вспоминаю прошлое лето, Губачево с его радушием и истинно родственной теплотой и заботливостью. Рожново — с его архаическою простотою нравов, свободою, широкораскинутыми полями с волнующейся рожью, запущенным поросшим садом, моею любимою липою, где я работал и ленился одинаково, с наслаждением забывая вполне всю мелкую возню, все дрянные дрязги, которыми преисполнена жизнь. Да, много времени утекло... А я, к стыду моему, только теперь собрался писать Вам! Только теперь посылаю Вам слово благодарности за все расположение, всю готовность приютить нас нынешний год в Вашем соседстве. Скверно, мерзко, пакостно... Ну, словом, не приищу эпитета, которым бы окрестить мое отношение к Вам. Этому причиною, впрочем, отчасти та неустойчивость, неуверенность, постоянное колебание, которые фаталистически преследовали меня во всем, что окружало меня нынешний год. Находясь в зависимости от окружающих обстоятельств, я, в свою очередь, был нерешителен, сидел у моря и ждал погоды, не знал как отвечать Вам на Ваши любезные приглашения и предложения. Так шли дни за днями, недели за неделями. Вопрос о передаче Академии в Министерство Народного Просвещения и все последствия отсюда не позволяли мне располагать летом вполне по моему усмотрению. Вопрос этот затянулся неимоверно, и это отразилось очень неприятно на моей академической деятельности. Все ремонтные работы по лаборатории, все проекты по организации учебных занятий, вопрос о бюджете кафедры и пр., пр.— все затянулось до решения главного, жизненного вопроса Академии. А между тем время шло; я не знал, где и как мне придется проводить лето. Вот почему я не мог отвечать Вам; отвечать надобно было категорически, а я сам не знал что мне предстоит летом. Вследствие необходимости

побывать в течение лета в Петербурге по случаю капитального ремонта лаборатории и организации учебного кабинета, я вынужден был отказаться от мысли заехать слишком далеко и решился остаться в Москве. Несколько раз я думал совершить прогулку к Вам в Губачево для освежения, но и это не состоялось по разным причинам, о которых говорить не стоит. Вот я и сел писать Вам. Любо — читайте, не любо — бросьте. О себе писать мне нечего; я всю зиму завален был делом по кафедре, по Академии, всяким комитетам и комиссиям. Собирался снять с себя фотографическую карточку и прислать Вам, но (опять приходится краснеть) не собрался до сих пор; вышлю Вам осенью с повинною за промедление. Музыкой почти не занимался вовсе, если не считать издания моей первой симфонии в 4 руки и управления хорами в студенческом концерте, и еще кое-чего. Катя, бедная, всю зиму хворала, ждала лета и питала себя розовыми надеждами на поправление здоровья. Х о-х ó л о к работал всю зиму в качестве лаборанта на лекциях и в лаборатории неистово, с остервенением и упорством «Володимерца»; в университет не перешел, так как это оказалось по разным причинам невыгодным, и работает для диссертации, с целью получить диплом доктора химии за границею. Ботаника пока сложена в ящик «до востребования». Музыка его идет вперед и очень успешно. Л и з а выросла — толстая, красная, мясистая, здоровенная, перешла хорошо в третий класс и, несмотря на то, что становится огромною «девчищею» (простите выражение), с увлечением игрáет в куклы. Другая наша питомица, Р а и д а, вышедшая замуж и оставшаяся зимою у нас, подарила меня здоровенным внуком, при рождении которого я исполнял отчасти должность повитухи (où va se nicher la chimie!) [1]. Не ограничиваясь этою ролью по отношению к младенцу, я действовал в качестве крестного отца и столь же успешно, как и в первом случае. Из наших общих знакомых я могу, хочу и обязан сообщить Вам о милейшей, добрейшей чудодейственнейшей, неизменной Марии Александровне, которую я уважаю все более и более по мере того, как я ее узнаю. Это добрейшая, честнейшая, откровеннейшая, бесхитростнейшая натура в свете. Если бы она была господом богом, к ней бы вполне применялась первая заповедь: «Аз есмь... да не будут тебе инии... разве мене». И воистину, не оты-

[1] «Куда только не затесается химия!»

скать другой Марьи Александровны Миропольской. Говоря о ней, я невольно вспоминаю наши с ней похождения в тот день, когда мы ездили поклониться Суздальской святыне. Помните, как она Вас серьезно упрекала в том, что Вы «юродствуете»? Я, кажется, никогда в жизни не смеялся так, как тогда! В этом отношении она осталась совершенно верна себе и чудит по-прежнему. Так, например, в Москве она сумела отыскать где-то такие изумительные очки, что второго экземпляра их — держу пари́ — не найдешь ни за какие деньги. Вообразите себе: стекла стариннейших часов с ладонь величиною, совсем круглые и выпуклые, закрывающие половину лица! Что за изумительнейшая оправа! Ну, словом, хоть в любую археологическую коллекцию. Сознавая несколько, что как будто зазорно щеголять в таких очках, милейшая Марья Александровна вздумала прятать их от взоров проходящих. Для этого она устраивала (и надобно сознаться, очень хитро) нечто в роде трубы из большого платка; в глубине этой трубы помещались очки и лицо Марии Александровны. Но этого ей показалось недостаточно, поэтому она вздумала закрываться маленьким зонтиком, как будто от солнца; не забудьте, что это зимой в пасмурную погоду, когда над Петербургом висят непроглядные серые тучи! Я всегда пророчил ей, что ее заберут в участок; искренно рад, что пророчество не сбылось. Она, по обыкновению, очень усердно и хорошо занималась, невообразимо волновалась перед экзаменами; перед каждым экзаменом бегала и уверяла всех, что на этом экзамене непременно провалится и, разумеется, выдерживала экзамен не хуже других. Теперь она уже на третьем курсе. Помимо занятий своих, которых нынешний год было ей по горло, она возилась, по обыкновению, со всякими нуждающимися в помощи, и все это искренно, тепло, просто, без всяких фраз, без книжных принципов! Право, это в высшей степени симпатичная натура, и я от души ее уважаю, хотя и не мо́г не посплетничать; что делать! Если есть латинская пословица: «человеку свойственно ошибаться», я бы должен прибавить русский парафраз ее: «человеку свойственно посплетничать». Это было бы даже правильнее с естественноисторической точки зрения. Ошибаться свойственно не только человеку, но и всем животным: птица ошибается, принимая пугало на огороде за человека; рыба ошибается, принимая искусственную мушку за настоящую, и т. д.; следовательно, свойство это — не характеристическая черта

человека в отличие от животных. Сплетничать же свойственно только одному человеку. Я — человек, поэтому и т. д. Всю эту quasi [1] философскую тираду я выписываю, чтобы оправдать себя в маленькой сплетне по отношению к Марии Александровне. Не знаю собралась ли она к Вам? Она собиралась и соблазняла нас съездить к Вам. Я ее не видел еще с Петербурга и не знаю, где она теперь. Что касается до нас, мы живем в Москве, на краю города, за Калужскими воротами, в Голицынской больнице. С нами повторилась басня о разборчивой невесте, которая разбирала, разбирала женихов и кончила тем, что вышла за калеку! Впрочем, действительно мудрено было найти что-нибудь подходящее к тем условиям, которые нас связывают. Кате, помимо всего, это доставляет громадное нравственное удовлетворение, так как тут же живет ее мать, великолепнейшая, эпическая старушка, доброты неописанной, которую я люблю как родную мать. Мы с Александром Павловичем неистово купаемся в Москве-реке; купанье, которое здесь действительно великолепно, единственное преимущество перед Рожновым, все же остальное заставляет нас часто вспоминать с любовью Рожновскую природу, хотя, впрочем, и здесь очень и очень недурно. Что касается до людей, то здесь они также очень милые и радушные. Из этого, однако, не следует заключить, чтобы я позабыл милых людей, с которыми судьба столкнула меня в прошлое лето. Наоборот, я с удовольствием вспоминаю о моих Суздальских и Владимирских знакомых за их любезность, радушие и гостеприимство, я храню о них самое приятное воспоминание и всегда рад отплатить им тем же, если только представится случай...

...Катя и я жмем Вам обоим крепко руку, благодарим еще раз за всю заботливость и ласки и желаем всего хорошего. Хохолок просит передать самый горячий привет и почтение.

Искренне преданный *А. Бородин*

20. Е. С. БОРОДИНОЙ

С. Петербург 19 сентября 1875

Я не писал тебе до сих пор, сначала в ожидании весточки от тебя, потом в ожидании тебя самой. Теперь положение выяснилось и — скажу прямо — к лучшему. По-

[1] якобы *(лат.)*.

ложим, что я устроил тебя у Сорокиных, что, в случае неудобства пребывания у них, оставалась еще комната у Марии Александровны Миропольской, которая просто навязывала ее мне. Но все-таки в Москве тебе лучше будет, при всей тесноте, угарах и т. д. и т. д. У Сорокиных ты была бы непременно стеснена; у них постоянно чужой народ; наконец, при всей их любезности тебя бы иногда шокировало некоторое отсутствие деликатности Юли, раздражали бы дружеские подтрунивания Сорокина, словом, отсутствие отпечатка «строгого» общества. Жить у себя дома тебе было бы немыслимо; не только ты, но и я с трудом переносил и отчасти еще переношу всю мерзость и свинство обстановки, которая меня окружает. В первые дни я даже серьезно думал перебраться к Сорокину. Пыль, вонь, известка, холод, сквозной ветер, коридор взрыт (прокладывают газопроводные трубы), стук по всему зданию; у нас в комнате и в прихожей — точно после пожара: наша мебель, мебель Шабановой, все вещи из каминной (которую красили в то время), пройти негде и на всем этом густой слой пыли и поверх всего — Александра Андреевна, как Марий на развалинах Карфагена, закутанная в бесчисленные платки и изучающая акушерскую премудрость (к экзамену в Калинкинской больнице). Об устройстве чего бы то ни было нечего и думать — ни дома, ни в лаборатории. Сделав распоряжение об устройстве постели в кабинете, я велел мыть окна, затопить печь в моей лаборатории и удрал на целый день. Вплоть до сегодня я находился в бегах. Приехал я как раз вовремя и попал в канцелярию к самому назначению экзаменов и распределению лекций. Мой экзамен был во вторник, а лекции начались в понедельник. Страшный холод и сырость в здании (9—10½ градусов только!) вынудил меня взбунтовать всех профессоров наших; я написал (если не сгоряча, то с холоду) грозный ультиматум начальству Академии, заявляя категорически, что мы не будем читать лекции, если будет так холодно. Все профессора подписались, и я потащил протест новому начальнику. Он немедленно сделал распоряжение о топке. О печке в нашей квартире пока думать нечего; ставить ее теперь нельзя. Инженеры обещают, что будет тепло, ибо они прочистили каналы и перевели их выгодным для нашей квартиры образом. Посмотрим! С «Начальством» я познакомился в первый же день в канцелярии: он подошел ко мне и спросил с кем имеет честь говорить и реко-

мендовался. С ним, кажется, дело обещает пойти на лад; это человек очень энергический, честный и независимый, знающий и умный. Теперь у нас немного получше; мы поразобрались и почистились. Сегодня вставляли рамы в окнах и начали оклеивать обоями прихожую, где обои были содраны вследствие инженерных работ по переводу каналов для отопления. Спальню свою я перевел из кабинета в прежнюю спальню, так как в диване зеленом оказались клопы. Сплю на кровати Катерины Егоровны. Вещи с железной дороги взяты. Александр Павлович приехал и поместился в моей лаборатории. Завтра возьмут Лизу домой, и я начну обедать дома. Что же ты ничего не делаешь с кухаркой-то? Вообрази, не знаю откуда, но К. Е. знает о том, что у нас будет кухарка из Москвы; не Лиза ли проболталась? В течение этого времени я перебывал у многих: Сорокиных, Доброславиных, Стасовых, Mr. и M-me Dmitri Stassoff (M-me у них чуть не умерла), Корсаковых (Надежда беременна), Людмилы Ивановны и пр. Вести о моей музыкальной деятельности в Москве распространились в первый же день с быстротою молнии: Стасов Владимир с Щербачевым разлетелись ко мне на другой же день и, разумеется, не застали меня. Вслед за тем я получил целый ряд излияний Владимира Васильевича, который, однако же, до сих пор еще не слыхал моей музыки и услышит только в воскресенье. Признаюсь, я даже не ожидал, что мои московские продукты произведут такой фурор: Корсинька в восторге, Модест тоже, Людмила Ивановна приглашает Петровых послушать их. Особенно меня удивляет сочувствие к первому хору, который мы пробовали в голосах и — без хвастовства скажу — нашли ужасно эффектным, бойким и ловко сделанным в сценическом отношении. Кончак, само собою разумеется, тоже произвел то впечатление, какого мне хотелось; кроме некоторых неловкостей, чисто голосовых (которые надобно исправить), в пении он выходит очень хорош. Особенно он нравится Корсиньке. Ему же, равно и Модесту, ужасно нравится тот дикий восточный балет, который я сочинил после всего в Москве; помнишь? такой живой, в $^6/_8$? Разумеется, все хором только и твердят, чтобы я писал поскорее остальное, не откладывая в долгий ящик. Кюи был у меня нарочно, чтобы послушать, но не застал; он, Стасов и Щиглев приходили за тем же к Корсакову, у которого я обещал быть, но у нас как раз было заседание в этот вечер, и я не был у Кор-

сакова. Сегодня Кюи приходил еще раз ко мне, но я уходил из дому; по дороге зашел я к нему, но успел проиграть с ним только четырехручное переложение симфонии, которое он весьма одобрил во всех отношениях. Вообще, в этом году никто не бранит меня за бездеятельность по музыкальной части. Кюи кончил «Анджело» и передал в печать; опера пойдет в бенефис Мельникова около декабря. Корсаков написал 36 фуг и 16 канонов; Модест кончил первый акт «Хованщины» и кое-что сделал для других актов. Вот тебе все о музыке. Целую тебя без конца, Маму обнимаю и целую. Спешу на лекцию.

Твой *А. Бородин*

21. Л. И. КАРМАЛИНОЙ

Москва, 1 июня 1876 г.

Искренно и глубокоуважаемая Любовь Ивановна, большое Вам спасибо и за память, и за желание перекинуться мыслями. Если я не отвечал Вам тотчас же на Ваше милое и теплое письмо, то единственно потому, что оно застало меня в эпоху самой лихорадочной академической деятельности. Под конец учебного года я так завален всякими комиссиями, комитетами, экзаменами, диссертациями, отчетами, лабораторными работами и проч., что совершенно не пригоден для дружеской переписки. В эту эпоху я вполне напоминаю того Фрэнсиса, в одной из хроник Шекспира, который на все вопросы способен отвечать только: «Сейчас! сейчас!» Понятное дело, что я в это время всего менее музыкант и даже совершенно забываю, что когда-либо занимался музыкою. А так как фон Вашего письма главным образом художественный, то я и отложил ответ до наступления вакаций, Ваше особое мнение относительно нашего музыкального кружка меня очень радует, хотя я с ним и не согласен. Мы расходимся, впрочем, кажется, более с внешней стороны, нежели в корне дела. Мы не совсем одинаково понимаем самое слово «распадение кружка». Ведь и Вы тоже находите между нами большое различие, и Вы говорите даже, что произведения каждого из членов кружка до того различны и разнообразны по характеру и духу и проч., но ведь в этом-то и выражается факт «распадения». (Понят-

ное дело, что вражды, личного нерасположения одного к другому нет, да и быть не может при том взаимном уважении, которое связывает нас как людей). А если я нахожу такое распадение естественным, то потому только, что так всегда бывает во всех отраслях человеческой деятельности. По мере развития деятельности, индивидуальность начинает брать перевес над школою, над тем, что человек унаследовал от других. Яйца, которые несет курица, все похожи друг на друга; цыплята же, которые выводятся из яиц, бывают уже менее похожи, а вырастут, так и вовсе не походят друг на друга — из одного выходит задорный черный петух, из другого смиренная белая курица. Так и тут. Общий склад музыкальный, общий пошиб, свойственный кружку, остались, как в приведенном примере остаются общие родовые и видовые признаки куриной породы, а затем каждый из нас, как и каждый взрослый петух или взрослая курица, имеют свой собственный личный характер, свою индивидуальность. И слава богу! Если думают, что мы разошлись как люди с Балакиревым, то это неправда: мы все его горячо любим по-прежнему и не щадим ни времени, ни усилий, чтобы поддерживать с ним прежние отношения. По настоянию вечно энергической и горячей Людмилы Ивановны Балакирев принялся писать свою недоконченную «Тамару». Давай бог! Что же касается до остальных нас, то мы продолжаем интересоваться каждым проявлением музыкальной деятельности друг у друга. Если не все у каждого из нас нравится остальным, то это опять-таки естественно — в частности, вкусы и взгляды непременно различны. Наконец, у одного и того же в различные эпохи развития, в различные времена взгляды и вкусы, в частности, меняются. Все это донельзя естественно.

Вы спрашиваете об «Игоре»? Когда я толкую о нем, то мне самому становится смешно. Я напоминаю отчасти Финна в «Руслане». Как тот, в мечтах о любви своей к Наине, не замечал, что время-то идет, да идет, и разрешил задачу, когда и он, и Наина поседели и состарились,— так и я все стремлюсь осуществить заветную мечту — написать эпическую русскую оперу. А время-то бежит со скоростью курьерского поезда: дни, недели, месяцы, зимы проходят при условиях, непозволяющих и думать о серьезном занятии музыкою. Не то, что не выбе-

рется часа два досужего времени в день,— нет! не выберется нравственного досуга; нет возможности отмахнуться от стаи ежедневных забот и мыслей, не имеющих ничего общего с искусством, которые родятся и кишат постоянно перед Вами. Некогда одуматься, перестроить себя на музыкальный лад, без чего творчество, в такой большой вещи, как опера,— немыслимо. Для такого настроения у меня имеется в расположении только часть лета. Зимою я могу писать музыку только когда болен настолько, что не читаю лекций, не хожу в лабораторию, но все-таки могу кое-чем заниматься. На этом основании мои музыкальные товарищи, вопреки общепринятым обычаям, желают мне постоянно не здоровья, а болезни. Так было и нынче на Рождество: я схватил грипп, не мог заниматься в лаборатории, сидел дома и написал хор славления для последнего действия «Игоря»; точно так же, во время легкой болезни я написал «Плач Ярославны» и т. д. Летом я написал больше, разумеется, ибо писал и в то время, когда бывал здоров; а вообще я хвораю редко. Всего у меня написано акта полтора, а всех четыре будет. Пока я доволен тем, что написано. Довольны и другие. Хор славления, исполненный в концерте Бесплатной школы, имел большой успех, а для судьбы моей оперы имел существенное значение. Нужно заметить, что я вообще композитор, ищущий неизвестности, мне как-то совестно сознаваться в моей композиторской деятельности. Оно и понятно. У других она — прямое дело, обязанность, цель жизни,— у меня отдых, потеха, блажь, отвлекающая меня от прямого моего, настоящего дела — профессуры, науки. Кюи в этом случае мне не пример... Я люблю свое дело, и свою науку, и Академию, и своих учеников; наука моя — практическая по характеру занятий, а потому уносит множество времени; студенты и студентки мне близки и в других отношениях, как учащаяся молодежь, которая не ограничивается тем, что слушает мои лекции, но нуждается в руководстве при практических занятиях и т. д. Мне дороги интересы Академии. Вот почему я, хотя, с одной стороны, желаю довести оперу до конца, но с другой — боюсь слишком увлекаться ею, чтобы это не отразилось вредно на моей другой деятельности. Теперь же, после исполнения хора из «Игоря», в публике стало уже известно, что я пишу оперу; скрывать и стыдиться нечего; я в положении девушки, которая лишилась невинности и репутации, и этим приобрела себе известного ро-

да свободу. Теперь волей-неволей придется кончать оперу. Немало этому помогает и горячее отношение к ней моих музыкальных друзей и большой интерес оперного персонала — Петровых, Васильева, Кондратьева и пр. Нужно заметить, что во взгляде на оперное дело я всегда расходился со многими из моих товарищей. Чисто речитативный стиль мне был не по нутру и не по характеру. Меня тянет к пению, кантилене, а не к речитативу, хотя, по отзывам знающих людей, я последним владею недурно. Кроме того, меня тянет к формам более законченным, более круглым, более широким. Самая манера третировать оперный материал — другая. По-моему, в опере, как в декорации, мелкие формы, детали, мелочи не должны иметь места; все должно быть писано крупными штрихами, ясно, ярко и по возможности практично в исполнении как голосовом, так и оркестровом. Голоса должны быть на первом плане, оркестр — на втором. Насколько мне удастся осуществить мои стремления,— в этом я не судья, конечно, но по направлению опера моя будет ближе к «Руслану», чем к «Каменному Гостю», за это могу поручиться. До сих пор курьезно то, что на моем «Игоре» сходятся все члены нашего кружка: и ультрановатор-реалист Модест Петрович, и новатор в области лирико-драматической музыки Цезарь Антонович, и строгий относительно внешних форм и музыкальных традиций Николай Андреевич, и ярый поборник новизны и силы во всем Владимир Васильевич Стасов. «Игорем» пока все довольны, хотя относительно других вещей они во многом сильно расходятся. Вот Вам сказание о моем незаконнорожденном и еще недоношенном младенце «Игоре».

Теперь перехожу от незаконного ребенка к законной жене моей Катерине Сергеевне. Она очень благодарит Вас за теплые слова, обращенные к ней, и просит передать привет Вам и Вашему мужу, которого, к сожалению, не могла принять, так как лежала больною. Вообще ее здоровье очень плохо, что немало горя вносит в наш, в других отношениях светлый, домашний мирок. Впечатление мое на Николая Николаевича меня искренно радует, ибо в данном случае оно обоюдное; знаете, мне Н. Н. сразу пришелся по душе, сразу подкупил меня умом, образованием, свежестью и трезвостью взгляда на вещи, крайней простотою в обращении, горячим интересом ко всему жизненному и теплотою в своих человеческих отношениях; во-

обще в нем на первом плане стоит везде и во всем человек. По-моему, это высшая похвала всякому деятелю, на какой бы ступени общественной иерархии он ни стоял. Узнав Вас и его, я теперь понимаю то влияние, которое вы имеете на нравственную сторону быта той среды, где Вы действуете. Я прежде много слышал о вас обоих и от Милия, и от Людмилы Ивановны, и от моих учеников, которых судьба забросила на Кавказские горы, а потому, оставляя в стороне художественные интересы, я очень рад был сойтись с вами как с людьми.

Упомянув о моих учениках, я обращаюсь к Вам с большою просьбою относительно одного из них, самого любимого мною. Это некто Владимир Алексеевич Шоноров, младший врач артиллерийской бригады Шарапа в Майкопе. Он теперь находится в Садовой, где буквально погибает от лихорадки. Нельзя ли его как-нибудь выручить оттуда и перевести в здоровую местность и такой город, где бы он мог заниматься своею наукою. Рекомендую Вам сего юношу, как одного из самых дельных и удавшихся учеников Боткина. Он не остался при Академии только по совершенной случайности, что по домашним обстоятельствам не держал экзамена со всеми своими товарищами, а позднее, и притом, как человек не крепкого здоровья, стремился вон из Петербурга, на юг. За ним пока есть один недостаток — он непозволительно молод и неопытен, как красная девушка. Но от этого недостатка он излечивается с каждым днем. Я о нем, т. е. о Шоноров е, вскользь упоминал Николаю Николаевичу, но не решался попросить его тогда. Передайте ему мою просьбу, скажите, что я прошу за него как за сына: я действительно его очень люблю. Я и жена моя жмем вам обоим руки и желаем всего лучшего.

А. Бородин

22. Л. И. КАРМАЛИНОЙ

С. Петербург, 19 января 1877 г.

Искренно и глубокоуважаемая Любовь Ивановна, время нашей ежегодной переписки наступает, и я, как видите, берусь за перо. На это, впрочем, есть еще другой повод: желание высказать Вам слово благодарности за моего Шонорова. Шоноров мне в подробности описал, как Вы его приняли, обласкали, как он упивался музыкой, ко-

торой не слыхал с самого выезда из Петербурга. Я от души смеялся, когда читал его рассказ о том, как он попал к Вам. Робкий, небывалый, застенчивый, как красная девушка, и не знавший ничего о моем письме к Вам, он должен был показаться ужасно забавным. Если он сколько-нибудь оправился потом, так только благодаря Вашему такту, любезности и той искренной простоте обращения, которая сразу привязывает к Вам тех, с кем Вы заговорите. Нужно заметить, что у Вас и у Николая Николаевича особенная способность покорять быстро юные сердца. У вас обоих множество поклонников между нашей учащейся молодежью, как между студентками, так и между студентами, приезжающими с Кавказа, между молодыми врачами и проч. Впрочем, оно так и должно быть: молодость всегда, сразу, чутьем оценивает неподдельную доброту и теплоту в отношениях с людьми.

От молодых перейду к старым. Мы, грешные, по-прежнему вертимся в водовороте житейской, служебной, учебной, ученой и художественной суеты. Всюду торопишься и никуда не поспеваешь; время летит как локомотив на всех парах, седина прокрадывается в бороду, морщины бороздят лицо; начинаешь сотню вещей,— удастся ли хоть десяток довести до конца? Я все тот же поэт в душе: питаю надежду довести оперу до заключительного такта и подсмеиваюсь подчас над собой. Дело идет туго, с огромными перерывами. Только летом чуточку подвинул дело. В моем «Игоре» меня удивляет то, что большая часть вещей удовлетворяет два совершенно противоположных музыкальных лагеря. Впрочем, большинство людей, балующих меня своим вниманием, отдает предпочтение элементам хоровым и вообще массовым. Что выйдет из «Игоря» — не знаю. Хотел бы к следующему сезону кончить, но едва ли удастся. Много написано, еще более находится в виде материала, но все это еще нужно оркестровать,— труд механический, громадный, особенно ввиду больших хоровых сцен, ансамблей и пр., требующих применения больших голосовых и инструментальных масс. А тут еще вышел казус: Музыкальное общество назначило играть в одном из концертов мою 2-ю симфонию; я был в деревне, ничего не знал об этом. Приезжаю — хвать! — ни первой части, ни финала у меня нет; партитура того и другого пропала. Я их куда-то засунул; искал, искал и так и не мог найти. А музыкальное общество между тем требует; наступила пора переписывать партии.

Что делать? Я на беду заболел: воспаление лимфатических сосудов на ноге. Делать нечего, пришлось вновь оркестровать. Вот я это в лихорадке лежу, а сам порю горячку: карандашом, лежа, строчу партитуру. Тем не менее к четвертому концерту, как предположено было, переписка партий не поспела, и теперь симфония пойдет в пятом, кажется, в пятницу на будущей неделе,— наверно не знаю. Зато я нахожусь в положении, в котором не был, вероятно, ни один из профессоров Императорской Медико-хирургической академии: две мои симфонии пойдут в одну неделю, 25-го — Es dur'ная [1] в Бесплатной школе, 28-го — H-moll'ная [2] в Музыкальном обществе.

О музыкальных делах наших вообще Вы, вероятно, знаете из газет. Но, вероятно, Вы не знаете приятной, в высшей степени отрадной вещи: Балакирев, милый, даровитый Балакирев, воскресает для музыки!.. Балакирев опять почти тот же Милий Алексеевич, с увлечением отстаивающий и оспаривающий всякие Des-dur'ы и H-moll'и [3], малейшие детали музыкальных произведений, о которых прежде и слышать не хотел. Опять он бомбардирует Корсакова письмами по поводу Бесплатной школы, принимает самое живое участие в составлении программы ее концертов; сам пишет свою «Тамару»; окончил четырехручное переложение «Гарольда» Берлиоза, по заказу одного парижского издателя, словом — ожил. Тем не менее он еще не показывается нигде в концертах, в театрах и у знакомых (кроме Людмилы Ивановны и Стасовых). Где причина такой перемены? Никому неизвестно...

Для пения теперь пишется мало в нашем кружке; ветер повеял неожиданно поветрием на камерную музыку: Корсаков написал, кроме прежнего квартета, квинтет для фортепиано с духовыми и струнный секстет; Кюи затеял было квартет, но, кажется, бросил; я почти окончил струнный секстет. Модест один упорно действует по оперной части: разом пишет «Хованщину» и «Сорочинскую Ярмарку». О крайне любезном сочувствии Листа и герцога Веймарского к нашему кружку, в Байрейте, Вы, вероятно, знаете от Кюи. Но довольно, я утомил Вас. Найдется время — черкните словечко; помните, Вы обещали ежегод-

---

[1] Ми-бемоль мажорная.
[2] Си минорная.
[3] Ре-бемоль мажоры и си миноры.

но писать по одному письму. Жму крепко руку Вам и Николаю Николаевичу, которого искренно благодарю за Шонорова. Жена шлет Вам привет.

Искренно преданный

А. Бородин

23. Е. С. БОРОДИНОЙ

Иена 28/16 июня 1877.

Как это мы с Александрушкой — вдруг!... Подлинно — «вдруг» — очутились в самом, так сказать, сердце неметчины. Из Вержболова я тебе писал несколько строчек наскоро, перед отправлением поезда в Эйдкунен. Не знаю, дошло ли письмо; открытое письмо было. Из Берлина не писал, потому что мы не останавливались в отеле, а пробыли только несколько часов...

...По мере приближения к Иене, панорама, раскидывавшаяся перед нами, все делалась интереснее, красивее, разнообразнее. Однообразные равнины, намозолившие нам глаза с самого Петербурга до Галле, миновались. Волнистые зеленые поля выросли в горы, скудные лесочки северной Пруссии — в роскошные аллеи пирамидальных тополей, в густые, сочные леса; появились древовидные акации и, наконец, виноградники, сплошь покрывавшие склоны гор. «Бледный, больной день», как называет Тургенев наши Петербургские ночи, сменился темною синевою южной ночи. Когда мы въехали в Иену, было уже совсем темно. В Иене остановились в отеле «zum schwarzen Baer»[1] (не там, где были с тобою); поужинали и, усталые от дороги и массы вынесенных залпом новых впечатлений, заснули богатырским сном на пружинном тюфяке, покрытые немецкою периною, погрузив голову в жиденькую немецкую подушченку. Встали сегодня в 8 часов утра совсем свежие и бодрые, напились кофе с масло-хлебом — Semmel mit Butter. Прошлись по городу. Затем я пошел к Гейтеру, который оказался больным тифом (я не видал его). От него отправился к Gutzeit'у[2], приват-доценту, исправляющему временно должность профессора за Гейтера. Узнал от него все необходимые сведения, крайне благоприятные для наших мальчиков во всех отношениях...

---

[1] «Черный медведь» (*нем.*).
[2] Гутцейту (*нем.*).

...29/17 июня. Встали в 6 часов — бодрые, свежие; оделись, умылись, прихохонились и спустились вниз в шпейзе-циммер пить кофе. Впрочем, повествования в сторону. До сих пор я описывал тебе, так сказать, внешнюю сторону нашего путешествия, теперь перейду к описанию впечатления на меня и мальчиков вообще на внутреннюю сторону нашего бытия. Начать с того, что мальчики както забывали курить дорогой; сидя в купе для некурящих, они выходили покурить только на станцию или кое-когда курили в окно. Чем дальше, тем курили меньше. Переезд на чужую почву на обоих, как и следовало ожидать, произвел громадное впечатление. Гольдштейн был особенно подавлен стройностью и целесообразностью прусских порядков, чистотою, отсутствием суеты, бестолковщины, быстротою всех железнодорожных операций. Вместе с тем, он как-то «сократился» (в смысле выражения Маши Исполатовской). Наш Шашенька чувствовал себя как-то отчужденным, точно под надзором полиции. Оба вели себя чинно, с достоинством и ничего не растеряли, везде поспевали вовремя — все как следует. В Берлине он все чувствовал себя совсем чужим и, по его уверению, если бы поехал один, совсем приуныл бы. От Аквариума оба были как во сне, в таком упоении, о котором могу судить только я, испытавший это на себе. Гольдштейну, по-видимому, смерть не хотелось расставаться с нами ни на минуту. По мере приближения к Иене, Шашенька приходил все более и более в восторг от окружающей совсем незнакомой ему природы Тюрингенского леса. От Иены совсем раскис. Не отходит от окна, любуясь «чудищами»-горами, ходит по городу, который ему пришелся совсем по душе, и наслаждается вполне всем,— в особенности же целыми садами изумительных роз, наводняющих город, могучими липами и тополями. Древности, развалины, постоянные осязательные следы истории культуры произвели на его впечатлительную натуру глубокое и сильное действие. Ему кажется просто сном, что мы живем — между домами, где жили: слева от нас — Шиллер, справа — Гёте, рядом — Несс-Эзенбек, поблизости — философ Фихте и куча других столпов немецкой литературы, науки и немецкой мысли вообще. К порядкам здешним он, к удивлению моему, привык сразу. За табльдотом, за кофе, на улицах — держит себя так, как будто век жил за границею. Про чай совсем забыл и думать. И обед, и пиво, и даже немецкий сыр с тмином

потребляет с удовольствием, как будто никогда иначе не жил. Ходит везде один, как большой, выставляет платье и башмаки за двери, даже при встрече с прохожими, приветствующими его серьезным мычанием, отвечает также серьезно — «м о й е н»!! С Гутцейтом чокался и держал себя очень мило, передавал за табльдотом кушанья спокойно, без всякой застенчивости. Не ожидал! Даже вино и пиво на него здесь не действуют, то и другое он пьет совсем исправно. Я теперь иду к декану университета «устроять» моих птенцов. Мне, признаюсь, как-то самому ужасно смутно все, точно сон. Подумай, в понедельник еще мы были в Питере, а в среду я уже в Иене! Об анализе собственных ощущений пока ничего не пишу, скажу только, что я как-то помолодел душою, переживая прожитое давно. Ну, пока прощай, голубка моя, целую тебя без счета; не могу никак вообразить себя здесь без тебя, ужасно мне это дико: я здесь, а ты бог знает как далеко от меня. Все мне кажется: приду в отель, и ты непременно должна быть там, я тебе буду рассказывать все, что сделал, видел, и вдруг... Дико, ужасно дико мне!

24. Е. С. БОРОДИНОЙ

Иена 3 июля 1877 (21 июня ст. ст.)

Насилу дождался весточки от тебя, моя золотая. Что это с тобою было, голубушка? Отчего тебе так плохо было на пути в Москву? Обыкновенно ты переносишь дорогу сравнительно сносно и даже чувствуешь себя лучше иногда, чем дома. Что в Москве тебе может быть плохо, это я скорее понимаю; одних нравственных причин для этого вполне достаточно. Боже мой, как мы часто тебя поминаем! Что, если бы ты была здесь! Здесь очень, очень хорошо! И вообрази, что мальчиков удалось устроить так, как мы с тобой никогда не жили...

...Вид из окон комнат божественный, какого у нас с тобою ни в одной квартире не было; кругом сады, за домом начинаются уже нивы и огороды, воздух превосходный. Сегодня вечером ждем Гольдштейна из Лейпцига и варим в первый раз чай. В довершение всего, Александрушка видел в двух шагах, целые полдня... угадай кого? Впрочем, все это вышло так необычайно и так хорошо, что требует подробного описания; потому начну a b o v o. Сидим мы

30 июня в гостинице и просматриваем газету; вдруг читаем, что 2-го числа июля будет в Иене, в соборе, концерт церковной музыки; большинство вещей новых, в том числе 4 Листовских: Benedictus [1] для скрипки, фортепиано и органа, «Ave maris stella» [2] для мужского хора и органа, «Ave Maria» [3] для органа и «Cantico del Sole» [4] для баритона, хора и фортепиано, вдобавок еще (как уже это попало в число церковных вещей — не понимаю!) «marche funèbre» [5] Chopin'а для виолончели, фортепиано и органа, сделанный Листом. Понятное дело, мы поспешили запастись билетами. В то же время узнали мы, что, может быть, сам Лист приедет в Иену послушать, так как он теперь в Веймаре. Надобно заметить, что я собирался уже съездить к Листу, но все не решался и откладывал. Тут я сейчас же решил отправиться к нему на другой же день. Из Иены в Веймар — все равно, что из Петербурга в Царское Село, всего 3/4 часа езды по железной дороге. Вот 1-го числа, в воскресенье, т. е. на другой же день, я поехал в 11 часов 51 мин.; приезжаю в Веймар и, рассчитывая, что Лист обедает около 1 часа, как и все в Германии, я решился сначала пообедать и затем уже отыскать его. Оказалось, что никто не знает, где он живет, наконец, я узнал уже в магазине художественных предметов его адрес: Marienstrasse [6] 1—17, совсем на конце города, около парка. Иду. Оказалось, что ошибся домом, зашел напротив. Спрашиваю: где живет Лист. «Какой Лист? Никакого Листа тут не живет».— Ну, поблизости нет ли? — «Нет... тут все известны: вот живет Oberstweinert [7], а еще рядом Lieutenant Winkler или Winkel [8] что ли и т. д. Anà, Anà! вот спрашивают, нет ли тут поблизости какого-то Листа»,— закричала расспрашиваемая мною немка другой немке в том же доме. Наконец, вмешался длинный и неуклюжий немец: «Стойте! вот тут напротив живет, кажется, какой-то д о к т о р Лист». Иду напротив. Домик малюсенький, каменный, двухэтажный, угловой и весь обвитый диким виноградом. Железная решетка. Калитка ведет сначала в садик, очень чистенький, изящный. В саду

---

[1] «Благословен» (*лат.*).
[2] «Слава звезде морей» (*лат.*).
[3] «Слава Марин» (*лат.*).
[4] «Хвалебные песнопения с солистами» (*ит.*).
[5] «Похоронный марш» Шопена (*фр.*).
[6] «Мариинская улица» (*нем.*).
[7] полковник Вейнерт (*нем.*).
[8] лейтенант Винклер или Винкель (*нем.*).

гуляет какой-то господин в соломенной шляпе. «Здесь живет г. доктор Лист?» — «Здесь! но только теперь он обедает; после обеда ляжет отдохнуть и раньше 4 1/2 часов его видеть нельзя». Тьфу ты, пропасть! подумал я и пошел бродить по городу. А посмотреть есть кое-что. Каждая улица, каждая площадь, каждый уголок говорит о прошлом искусства, славном прошлом! Вот дом, где жил Гете весь остаток долгой жизни и умер в 1832 году, следовательно, жил там всего 56 лет. Вот маленький, простой, старинной архитектуры домик; на дверях написано: «Hier wohnte Schiller!» [1] Тут он и умер в 1805 году, тут и комната, где он работал, его домашняя утварь. В небольшом расстоянии оттуда кладбище, где наряду с гросгерцогами, в одном с ними склепе, два гроба, дубовых, украшенных лавровыми венками; в них покоятся останки великих поэтов (в одном склепе с коронованными гросгерцогами!). Тут дом Виланда, там дом Гердера и т. д. Сколько в этом крохотном городке мыслилось, писалось, создавалось! — Проболтавшись по городу до 4 1/2 часов, спешу в Marienstrasse, к заветной решетке, вхожу в калитку. Вот уже и карточку визитную вынул. Гляжу — господина в соломенной шляпе нет, а сидят в саду две дамы; одна очень изящная и с виду не немка. «Ist Herr Doctor zu sprechen?» [2] — собезъянничал я по-немецки.— «O, ja wohl! Oben, eine Treppe» [3] Ну, слава богу! Пошел я это «ейне треппе», ан хвать! а карточку-то потерял! Воротился искать карточку (потому последняя была, другой не оказалось). Вышел даже за решетку. Вдруг бежит за мною одна из дам: «Ist das die Karte die Sie suchen?» [4] — и вручает оброненную карточку. Я поблагодарил, поднял почтительно, по-немецки, высоко шляпу и направился вновь «ейне треппе гох». Ну, думаю, как это какой-нибудь вольно практикующий врач Лист? Не успел я отдать карточки, как вдруг перед носом, точно из земли, выросла в прихожей длинная фигура, в длинном черном сюртуке, с длинным носом, длинными седыми волосами. «Vous avec fait une belle symphonie!» [5] — гаркнула фигура зычным голосом, и длинная рука протянулась ко мне.— «Soyez le bienvenu! je suis ravi, il n'y a que deux jours que je l'ai joue chez le grand-duc qui en est charme la premiere partie

[1] «Здесь жил Шиллер» (*нем.*).
[2] «Можно переговорить с г. доктором?»
[3] «Конечно! Этажом выше» (*нем.*).
[4] «Не эту ли карточку вы ищете?» (*нем.*)
[5] «Вы сочинили прекрасную симфонию!» (*нем.*)

est excellentel votre Andante est un chefs-d'oelvre, le scherzo est ravissant, et puis ça, c'est ingénieux!» [1]...— и длинные пальцы пошли наглядно изображать известные тебе «клевания». «C'est d'une originalité est d'une beauté» [2]...— и пошел, и пошел! сильная рука его крепко сжала мою руку и усадила меня на диван. Мне оставалось только откланиваться и благодарить. Величавая фигура старика с энергическим красивым лицом, оживленная, двигалась передо мною и говорила без умолку, закидывая меня вопросами. Разговор шел то на французском, то на немецком языке, перескакивая ежеминутно с одного на другой. Когда я сказал Листу, что я, собственно, Sonntagsmusiker [3], он сострил даже: «Aber Sonntag ist immer ein Feiertag» [4], и что «Вы-де имеете полное право «Feiern», т. е. торжествовать. Он ужасно доволен моим пианизмом в переложении и говорит, что это обличает во мне музыканта «опытного и крайне талантливо владеющего современною фортепианною техникою», только относительно одного места сделал мне замечание, что можно бы аранжировать немного легче для левой руки. Именно то, где клевания даны в Secondo [5], и перекрещиваются руки играющих,— манера Надежды Николаевны; место, измененное мною согласно ее советам. Он меня расспрашивал об успехе симфонии, об отзывах и пр. Когда я сказал, что сам сознаю многие недостатки, требующие исправления, что у меня, например, часто встречаются неловкости, что я (как мне и ставили в упрек) слишком часто модулирую и вообще зашел слишком далеко и т. д. Лист постоянно прерывал меня: «Dieu préserve!» «n'y touchez rien!», «ne changez pas!», «Vous ne modulez jamais ni trop, ni mal!». «Sie sind wohl sehr weit gegangen (und das ist eben Ihr Verdienst). Sie haben aber nie verfehlt!» [6]. «Не слушайте, пожалуйста, тех, кто Вас удерживает от Вашего направления; поверьте! Вы на настоящей дороге, у Вас так много художественного

---

[1] «Добро пожаловать! Я в восторге, всего два дня тому назад я играл ее у великого герцога, который ею очарован. Первая часть превосходна. Ваше Анданте — шедевр, скерцо — восхитительно, и затем это остроумно придумано» (*фр.*).

[2] «это так очаровательно и так красиво» (*фр.*).

[3] «Воскресный музыкант» (*нем.*).

[4] «Но воскресенье — всегда праздник» (*нем.*).

[5] Вторая партия (*ит.*).

[6] «Боже сохрани!», «Ничего не трогайте!», «Не изменяйте!», «Вы не модулируете ни слишком часто, ни неудачно!», «Вы, конечно, зашли весьма далеко (и в этом именно Ваша заслуга). Но вы ни разу не сбились с правильного пути!» (*фр.* и *нем.*).

чутья, что Вам нечего бояться быть оригинальным; помните, что совершенно такие же советы давались в свое время и Бетховенам, и Моцартам, и пр., и они никогда не сделались бы великими мастерами, если бы вздумали следовать таким советам». Словом — оставалось только благодарить, то по-немецки, то по-французски. Он расспрашивал о Корсакове, о котором очень высокого мнения. («Mr Rimsky est un très grand talent!»)[1] Рассказывал, как ужасно провалился «Садко» Корсакова в Вене, как А. Рубинштейн, дирижировавший «Садко», привез Листу партитуру и сказал: «Эта вещь провалилась у меня, но Вам, наверное, понравится». И, действительно, она понравилась: «Садко» он ставит очень высоко. Спрашивал об исполнении Christus'a[2]. Когда я сказал, что хоры прошли хорошо, что только Stabat mater speciosa[3], к сожалению, не могла быть исполненною с органом, а шла с фисгармоникою,— он сказал: «Тут есть громадные трудности; во втором издании я сделаю иначе; нужно, чтобы орган прямо вступал с голосами и сопровождал их сплошь». Я заметил, что Корсаков сделал особенную уловку... «Угадываю! — перебил Лист,— он заставил вступить орган немножко раньше голосов, так? я знаю, что значит дирижировать подобные вещи! он поступил очень умно!» и т. д. «Жаль, что Вы не слыхали, как у меня играет Ваша «компатриотка», M-lle Vérà Timanoff[4], вот эту вещь»,— указал он на «Исламея», лежавшего тут же на фортепиано так, что, видимо, ее только что играли. «У меня сегодня утром была matinée[5], и она как раз сегодня ее играла». Как я потом узнал, он, заставляя ее играть эту вещь, говорил: «M-lle Vérà! tranchez la question orientale à votre manière[6]. Она играла «Исламея» на последнем собрании у грос-герцога»,— прибавил Лист.— «Вы знаете, что гросгерцог очень хорошо знает ваши вещи и очень их любит. У нас в Германии их, разумеется, не гутируют; Вы знаете Германию? здесь пишут много; я тону в море музыки, которой меня заваливают, но боже, до чего это все плоско (flach)! ни одной живой мысли! У вас же течет живая струя; рано или поздно (вернее, что поздно)

[1] «Г-н Римский-Корсаков — очень большой талант!» *(фр.)*
[2] «Христос» — оратория Листа.
[3] «Стояла мать» *(лат.)* (католическое песнопение).
[4] М-ль Вера Тиманова *(фр.)*.
[5] «утреннее собрание» *(фр.)*.
[6] «М-ль Вера! Разрешите-ка восточный вопрос по Вашему методу!» *(фр.)*

она пробьет себе дорогу и у нас». Затем отечески пожурил меня, что я до сих пор не издал партитуры, что это необходимо; что не ради меня, но ради дела необходимо распространять мои вещи; нужно, чтобы они давались и т. д. Спрашивал меня еще: «Судя по Вашей карточке, Вы должны были усвоить себе химию en maitre [1]; как, когда и где же успели Вы выработать себе такую громадную технику? где Вы учились? не в Германии же?». Когда я сказал, что не был в Консерватории, он засмеялся: «C'est votre botre bonheur mon cher Monsieur! travaillez, travaillez toujours [2], работайте, если бы Ваши вещи даже не игрались, не издавались, не встречали сочувствия; верьте мне — они пробьют себе «почетную дорогу», у Вас громадный и оригинальный талант, не слушайте никого, travaillez à votre manière! [3]) Когда я благодарил его за любезность, он с досадой перебивал меня: «Да я не комплименты Вам говорю; я так стар, что мне не пристало говорить кому бы то ни было иначе, чем я думаю; меня за это не любят, но не могу же я говорить, что здесь пишут хорошие вещи, когда нахожу их плоскими и бездарными — безжизненными». Узнав, что я живу не в Веймаре, а в Иене, он сказал: «Ба! значит, мы завтра с Вами увидимся? où logez Vous?» [4]. Я, разумеется, отклонил какой бы то ни было визит с его стороны. «Ну, вот что! tenez! je Vous invite demain pour le diner dans le Baeren» [5] (отель «Zum Schwarzen Baeren» [6], где мы остановились с Александрушкой и откуда только в этот же день утром переехали). «Sie sind also mein Gast für Morgen, Vergessen Sie nicht! [7] — напомнил он мне на прощание. Просить его играть я не решился; было бы слишком бесцеремонно. Я тебе, разумеется, передаю только суть разговора и при всем желании не в состоянии был бы не только буквально воспроизвести, но даже уловить всего, что Лист наговорил в сравнительно короткое время. Говорит он превосходно на обоих языках, громко, бойко, с увлечением, быстро и много; можно бы подумать, что он француз. При этом он не си-

---

[1] «мастерски» (*фр.*).

[2] «В этом Ваше счастье, дорогой мой господин! Работайте, продолжайте работать» (*фр.*).

[3] «работайте собственным методом!» (*фр.*)

[4] «где Вы остановились?» (*фр.*)

[5] «Слушайте, я приглашаю Вас завтра на обед к «медведю» (*фр.* и *нем.*).

[6] «Черный медведь».

[7] «Итак, завтра Вы мой гость, не забудьте этого!» (*нем.*)

дит ни минуты на месте, ходит, жестикулирует и на духовную особу вовсе не походит.

...Он так меня «замотал», по твоему выражению, что, прощаясь с ним, я даже забыл спросить, что это за обед, на который он приглашал меня; в котором часу, нужно ли быть во фраке или нет. Обо всем этом я вспомнил уже на дороге из Веймара в Иену. Приехав в Иену, я нашел на станции Александра и Гольдштейна, только что прибывшего из Лейпцига. Мы сейчас же пошли в ближайший немецкий кабачок, и я должен был подробно рассказать мальчикам о свидании с Листом, причем мы выпили несколько кружек пива. На другой день меня взяло раздумье: как я пойду на обед? а ну, как там дамы да бомонд, а у меня, кроме дорожного платья, ничего нет? Я порешил извиниться перед Листом и не пойти вовсе. Но как и где это сделать? Очевидно, что Лист не остановится в гостинице «Zum Baeren»; он в Иене свой человек. Наконец, мы все втроем отправились в собор, в надежде, что так как концерт будет там, то, наверное, там знают, когда Лист приедет и где остановится. Пошли мы, собственно, зря, между прочим, наудачу. Подходим к собору — там гудит орган. Мимо нас прошмыгнул какой-то господин в маленькую дверь, боковую (главные двери были заперты). Мы за ним. Входим; нет никого почти; человек пять всего. Под старинными готическими сводами так и раскатывается D-moll'ная [1] фуга Баха. Мы сели. Видим, народу прибывает понемногу. Чей-то зычный голос прокричал: «Na! jetzt Kann man doch anfangen; rasch hinauf, die Herrn Sänger! wir haben wenig Zeit; es muss noch einmal Alles durchgenommen bis der M e i s t e r noch nicht da ist!» [2] Оказалось, что мы случайно попали на репетицию концерта (который должен был быть еще в 4 часа вечера, а было только 10 с чем-то). Можешь представить, с каким наслаждением мы, совсем неожиданно, выслушали почти весь концерт. Исполнители были превосходные, б. ч. все придворные певцы Веймарской капеллы, солисты (т. е. оперные певцы); хор составлен б. ч. из студентов и Singverein'a «Pauliner» [3] университетского. На нас никто не обращал внимания; никто не приглашал, но никто и не гнал нас. Мимо нас таскали ноты, виолончели, скрипки,

---

[1] Ре минорная (*нем.*).

[2] «Ну! Теперь можно начинать; поднимайтесь скорее сюда, господа певцы! у нас мало времени; нам надо еще раз все пройти до приезда маэстро!» (*нем.*)

[3] певческого общества «Паулинер» (*нем.*).

шмыгали оперные певицы. Вдруг, около 12, все заполошилось, устремилось к двери с выражением напряженного внимания. «Der Meister kommt! Der Meister, der Meister ist da!» [1]. Распорядители концерта во фраках и белых галстуках забегали, засуетились. Двери широко распахнулись, и выступила характерная, черная фигура Листа под руку с тою дамою, которую я видел в саду у него и в которой не признал немки. Я не ошибся тогда — это была дочь Горчакова, по мужу баронесса фон Мейендорф (он был посланником, кажется, в Веймаре). Она была еще довольно молодая, очень симпатичная женщина, хотя далеко не красавица. Оставшись вдовою, она поселилась навсегда в Веймаре, и Лист у нее как родной в семье. За ними следовал весь штат Листовских учеников и учениц; правильнее учениц, потому учеников всего был один — Зарембский, поляк, очень даровитый пианист. Вся эта юная толпа очень непринужденно и бесцеремонно ворвалась в собор и, треща на всевозможных языках, посыпалась на скамейки. Чего тут не было? и немки, и голландки, и польки, и наша соотечественница M-lle Vérà, т. е. Тиманова. Лист, по-видимому, ее особенно жалует, потому — усаживаясь с баронессою Мейендорф и композитором Л а с с е н о м, он спохватился, где M-lle Vérà, и видя, что она сидит в заднем ряду, без церемонии вытащил ее и посадил около себя. Он слушал очень внимательно, хотя б. ч. с закрытыми глазами. Когда дошла очередь до его вещи, он встал и, окруженный распорядителями, направился на хоры. Вскоре у дирижерского пюпитра показалась его большая седая смелая голова, энергическая, но спокойная и уверенная. Издали он очень похож на П е т р о в а — та же маститость, то же сознание, что он «у с е б я д о м а» везде, где действует. Дирижировал он без палочки, рукою, спокойно, определенно и уверенно; замечания делал очень мягко, спокойно и коротко. Когда очередь дошла до вещей с участием фортепиано, он ушел вглубь хора, и вскоре седая голова его показалась за роялем. Мощные, сильные, круглые звуки рояля полились как волны под готическими сводами древнего собора. Играл он божественно! что за тон, что за сила, что за полнота, что за пианиссимо, что за m o r e n d o! [2] Мальчики мои так и кисли от восторга. Когда дошло дело до Marche funebre Chopin'a [3], очевидно было, что вещь эта вовсе

[1] «Маэстро приехал! Маэстро, маэстро здесь!» *(нем.)*
[2] замирая *(ит.)*.
[3] похоронный марш Шопена *(фр.)*.

не была аранжирована: Лист импровизировал партию фортепиано, в то время как орган и виолончель играли по нотам; каждый раз при повторении он играл иначе, даже совсем не то, что прежде. Но что он сделал из этого! Уму непостижимо! Орган внизу тянет пианиссимо аккорды и терции; фортепиано с педалью дает pp [1], но полные удары; виолончель поет тему. Эффект выходит поразительный: совершенно как будто отдаленный похоронный звон густых колоколов, из которых один ударяет прежде, чем другой перестал гудеть. Я никогда, нигде ничего не слыхал подобного. Потом, что за crescendo! [2].— Мы были на седьмом небе. Я только тогда вспомнил о намерении подойти к Листу и просить извинения, что не могу принять приглашение на обед, когда он уже уходил под руку с баронессою Мейендорф, окруженный своим штатом юных пианисток, которые довольно бесцеремонно тормошили великого Meister'a [3], и хотя, видимо, очень ухаживали за ним, но без почтительного страха. Подойти к нему не было возможности, я решил проводить его в отель «Zum Bäerer» и там faire mes excuses [4] (на беду был перед этим дождь, и я бессовестно выпачкал сапоги). Проходя к двери, я был остановлен Тимановой, которая очень радушно и с радостью подбежала ко мне: «Лист сказал нам, что Вы в Иене; давно ли Вы здесь?» и т. д. Я сообщил ей, между прочим, о намерении уклониться от обеда. «И не смейте думать! Вы ужасно обидите Листа! Он на Вас рассчитывает, и еще в Веймаре объявил нам всем, что Вы обедаете у него сегодня. Идите за мной!» Прежде чем я успел сказать ей что-либо, бойкая девчонка схватила меня за руку и втащила в пестрый кружок ее подруг: «Вот это самый и есть Herr Borodin, mein Landsmann!» [5],—представила она меня—это M-lle... M-lle...» и т. д.; я ни одного имени не помню. «До обеда далеко, обед в два часа еще, Meister пошел отдохнуть немного, пойдемте есть вишни пока!». Пестрая толпа высыпала на улицу и потащила меня за собою; мы, как мухи, облепили чье-то чужое крыльцо, мигом расхватали вишни у стоявшей тут же торговки. Меня поместили между Тимановой и какой-то очень милой пианисткой из Дюссельдорфа; рассыпав вишни на бумагу на коленях, они бесцеремонно пригласили меня к

[1] пианиссимо — очень тихо *(ит.)*.
[2] постепенное усиление звука *(ит.)*.
[3] маэстро *(нем.)*.
[4] принести мои извинения *(фр.)*.
[5] «господин Бородин, мой земляк!» *(нем.)*

участию: «Helfen Sie doch!»[1]. Александрушка с Гольдштейном на противоположной стороне любовались этою своеобразною пестрою картиной. На вишни все накинулись, как школьники, барышни смеялись и трещали на всевозможных языках. Я точно сто лет был знаком с ними. Наконец, пора было идти в отель «Zum Bäeren», который был очень недалеко. Идем, гляжу — Александрушка с Гольдштейном около отеля сидят и ждут: скоро ли мы пройдем. Я указал на них Тимановой; она окинула обоих быстрым, но внимательным взглядом и, очевидно, одобрила. В отель пришли мы, однако, слишком рано; там было отведено особое помещение для нас, пока готовили стол в шпейзезале. Барыни без церемонии начали прихорашиваться перед зеркалом и даже пошли подпудриваться. «Der Meister ruht noch! Der Meister ist noch nicht da!»[2] — слышалось. Зарембский подошел ко мне и начал говорить разные любезности по поводу моей симфонии на русском языке с сильным польским акцентом. С ним была его невеста — берлинка, тоже пианистка, очень хорошенькая, но кокетища несообразная. Оба — в самых чудовищно-оригинальных костюмах, с воротничками «с версту», как говорит Павлыч, открытыми до невозможности, в шляпах изумительного фасона, с распущенными длинными волосами — представляли крайне странное зрелище. Все в них било на эффект. Тиманова, напротив, была одета очень просто, но со вкусом; немки — просто и без вкуса. Все трещало невероятно. Наконец, пробило два часа, все двинулось в шпейзезаль. Стол был сервирован прекрасно, убран цветами и т. д. Лист пришел с распорядителями и с неизбежною своею дамой — баронессой Мейендорф, композитором Лассеном и еще кое-кем. Увидев меня, он закричал: «Ah! soyez le bienvenu!»[3] — и сейчас же начал меня знакомить с баронессой, Лассеном, своим другом Гилле, главным распорядителем. Мне уже было резервировано место за столом; Лист сидел на конце, во главе стола; я возле Листа, по левую руку; по правую сидела, напротив меня, баронесса. Она сейчас же вступила со мною в беседу, наговорила тысячу вещей и сообщила, что это она именно с Листом играла мою симфонию у гросгерцога два дня тому назад; симфонию и она, и Лассен, очевидно, знают очень

[1] «помогайте же!» *(нем.)*
[2] «Маэстро еще отдыхает! Маэстро еще нет!» *(нем.)*
[3] «А, добро пожаловать!» *(фр.)*

подробно. Лист был очень любезен и разговорчив, подливал соседям вино, шутил. Расспрашивал меня подробно о наших музыкальных делах, равно как и баронесса, которая все дела наши, как видно, хорошо знает. Между прочим, речь зашла об опере: баронесса высказалась, что ей «Маккавеи» очень не нравится, что все так рутинно и бесцветно. Она весьма сочувственно отозвалась о «Псковитянке» и жалела, что ее не дают. Об операх Серова Лист, по-видимому, не особенно высокого мнения и рассказывал мне, как Серов хотел поставить «Юдифь» непременно за границею и как Лист ему прямо сказал, что она непременно провалится за границею. «Серов, конечно, надулся на меня очень, но я высказал ему всю правду: по-моему, там творчества немного»,— прибавил Лист. Расспрашивал о моей второй симфонии, о том, как она прошла, какие были отзывы etc.; я рассказал, как было. «Restez vous longtemps à Iena? Eh bein je vous prends par le collet; venez me voir encore à Weimar; nous ferons votre symphonie ensemble!» [1] Я пояснил, что не могу играть с ним. «Eh bein! c'est madame la baronne qui voudra bein jouer la symphonie avec Mr Lassen! Avez vous un bon éditeur?» [2] — «Постойте, я Вам представлю Канта, моего издателя из Лейпцига, il pourra vous être utile, tenez» [3]. Он позвал Канта и представил его мне. Обед прошел оживленно и весело. Возле меня сидела по другую сторону придворная певица Анна Lankow, очень разбитная и веселая, я ей подносил кушанья, и мы подливали друг другу вино. После обеда Лист пошел отдохнуть. Баронесса тоже исчезла. Мы еще поболтали малость и отправились гурьбой в собор. Я хотел, по немецкому обычаю, заплатить за обед — оказалось, что Лист уже заплатил за всех и не велел принимать ни от кого платы. Lankow очень любезничала со мною и даже взяла мою записную книжку и написала свое имя; «Sie sollen mich nicht vergessen!» [4] — прибавила она. В соборе я уже поместился не на взятом мною месте, а в Листовской компании. Имя Листа не стояло на афише. Когда я спросил его, кто же будет играть фортепианную партию, он промычал что-то и соврал, что Науман (ор-

---

[1] Долго ли вы пробудете в Иене? Ну, так я Вас хватаю за шиворот; приезжайте еще повидаться со мною в Веймар; мы сыграем вместе Вашу симфонию!» (*фр.*)

[2] «Ну, хорошо! баронесса не откажется сыграть симфонию с г-ном Лассеном! Есть ли у Вас хороший издатель?» (*фр.*)

[3] «может быть, он Вам окажется полезным, поверьте мне!» (*фр.*)

[4] «Вы не должны забывать меня!» (*нем.*)

ганист приезжий). Зачем? — не знаю. Только мы с Павлычем и Гольдштейном отлично видели за фортепиано седую типичную голову Листа. Марш Шопена он играл опять по-новому; не так, как на репетиции; очевидно, это импровизация. «Вот так всегда он врет! никогда не скажет, что он играет — чудак!» — сказала Тиманова. После концерта, когда гросгерцог, поговорив с Листом, уехал, публика бесцеремонно обступила Листа и рассматривала его без стыда, в том числе и наши мальчики, которые как-то очутились у него под самым носом. В это время ко мне подбежал Гилле с приглашением отправиться после концерта к нему, где соберется вся Листовская компания. Процессия двинулась по направлению к дому Гилле, который живет довольно далеко от собора. Лист шел впереди, под руку со своею неизменною дамою, затем я под руку с Гилле, Лассен и весь штат учениц Листа; густая толпа публики, несмотря на дождь, накрапывавший порядочно, провожала нас. Прохожие — солдаты, студенты, купцы, офицеры, дамы и пр.— при встрече с Листом останавливались и почтительно раскланивались. Наши мальчики без зазрения совести шли чуть не рядом с Листом и продолжали его рассматривать. Подходя к дому Гилле, заслышали уже чад от жареных Bratwürstchen. «Es riecht schon nach Bratwürstchen, vir sind schon da!» [1] — загудели молодые ученики, и вся толпа ввалила гурьбою в сад к Гилле, где действительно застилало дымом от колбас, которые жарились на открытом огне. Вход был убран цветами. Гилле был в отчаянии: «Alles ist verlohren, wir kriegen Regen!» [2], а закуска приготовлена была в саду. Действительно, пошел маленький дождь. Все поразбрелись по беседкам и перенесли туда столы. Я расположился с баронессою, которая много беседовала со мною; она очень простая и милая женщина. «Если вы хотите послушать Листа,— сказала она,— приходите всего лучше ко мне. Он иногда капризничает, и Вы не сможете заставить играть его, а я всегда сумею это сделать; кроме таких-то и таких-то дней, я всегда дома. Venez quand Vous voulez, Vous serai toujours le bienvenu» [3]. Я поблагодарил, но заметил, что, не рассчитывая на такие визиты, я не взял никакого другого платья, кроме дорожного. «Это все равно,

[1] жареные сосиски. «Уже чувствуется запах жареных сосисок, мы уже пришли! (*нем.*)

[2] «Все потеряно, сейчас пойдет дождь!» (*нем.*)

[3] «Приходите, когда хотите», Вы всегда будете желанным гостем» (*фр.*).

приходите в чем хотите, у меня вечера самого интимного характера, и посторонних никого не бывает; я выездов больших сама не люблю». Затем я получил еще кучу приглашений в Веймар — даже не помню теперь путем от кого именно. Помню только, что от M-lle Vérà, у которой буду непременно. Мне очень хочется послушать ее. Как она может играть «Исламея», рапсодии и концерты Листа и пр. решительно не понимаю!.. до того у нее крохотные рученки: вообрази себе? Наконец, настала пора ехать в Веймар, все направились на станцию железной дороги. Лист был сильно утомлен и вдобавок страдал, по-видимому, болью в желудке: катар желудка — его обычная болезнь. Он както осунулся. Баронесса, Лассен и Гилле уложили его в вагоне 1-го класса, и он заснул. Между тем произошли неожиданные курьезы: не хватило мест в вагонах для всей компании. Хотели прицепить новый вагон. Опять вышла какая-то неурядица. Наконец, оказалось, что где-то на дороге соскочил с рельсов вагон, и пришлось Иенскому поезду простоять на станции около 1 $^{1}/_{2}$ часа. Компания, сильно умаявшаяся, приуныла сначала, потом все пошло по-старому: расселись пить пиво и пр., болтали, смеялись. Лист спал в вагоне глубоким сном. Наконец, поезд тронулся, и мы распрощались.

Представь ты себе, что такие концерты бывают в Иене ровно один раз в год и далеко не всегда в то время, когда Лист в Веймаре. Ну, не особенное ли счастье! Положим, я увидал бы, пожалуй, Листа и в Веймаре и услыхал бы его, но мальчики-то! А? Гольдштейн приехал как раз накануне концерта из Лейпцига, где ничего не слыхал о концерте, и тотчас после концерта уехал.

Понятное дело, что я непременно поеду в Веймар: и к Листу, и к баронессе, и M-lle Vérà, остальных, разумеется, побоку. Вот, мое золото, как твой Academiker [1] кутит. Как мы жалели, что ты не с нами!

Но довольно болтать об этом. Все это так смутно мне, точно сон; точно какой-то Venusberg [2] в «Тангейзере», где только роль Венеры играет Лист. Я до сих пор как в чаду.— Теперь о тебе: уезжай, голубка, поскорее в деревню, я долго тоже не пробуду. Постараюсь приехать поскорее, дай только хорошенько устроить дела наших мальчиков. Целую тебя крепко, будь здорова, моя Радость. Маму, Лизу, Ганю и т. д. целую.

Твой А. Бородин

---

[1] Академик (*нем.*).
[2] «Венерина гора» (*нем.*).

25. Е. С. БОРОДИНОЙ

Иена. 12 июля 1877 г. (30 июня ст. ст.)

Только что вчера послал тебе письмо, дорогая моя, как сажусь снова писать. На этот раз специально описываю мое пребывание в Венусберге (т. е. в Веймаре). Я тебе писал раньше, что получил приглашение от баронессы Мейендорф, которая хотела устроить так, чтобы я мог наслушаться Листа со всем комфортом. Вскоре я получил приглашение через Гилле быть у Листа в воскресенье на matinée [1]. Затем узнал, что Лист в субботу едет в Берлин. Рассчитывая, что едва ли он может иметь matinée в воскресенье, когда только в субботу отправляется в Берлин, я не поехал в воскресенье и решил быть у Листа в понедельник, помня, что это у него свободный день. В 11 ч. 52 м. поехал в Веймар и прямо направился к M-lleVérà, т. е. Тимановой, которая меня очень приглашала к себе еще на концерте в Иене. «Что ж это Вы не были вчера на matinée? — был первый вопрос ее.— А как Вас ждали! как Лист Вас ждал! Он уверен был, что Вы непременно будете! А как он хорошо играл вчера! и мы как хорошо играли!» Так мне сделалось досадно! Но делать нечего — не воротишь. Я просидел у Тимановой до 2 часов; она мне много играла и хорошо играла, сыграла весь репертуар пьес, которые должна была играть в концерте в Киссингене в пятницу. От нее я узнал неожиданным образом, что урок Листа, т. е. занятия с учениками, перенесены в виде исключения на понедельник. Ну, думаю, тем лучше: пойду к Листу в часы занятий его с учениками, посмотрю как он занимается с ними. Нужно заметить, впрочем, что он никого не пускает к себе в часы занятий. Пообедав, я купил перчатки и отправился с визитом к Мейендорф, потому что к Листу было еще слишком рано. «Ах, как жаль, что Вы не были вчера у Листа на matinée, он очень ждал Вас! Гилле известил нас, что Вы непременно будете!» — были слова баронессы. Она очень милая, простая, в высшей степени образованная и музыкальная. Проболтав с нею около часа и получив приглашение на вечерний чай — с Листом, я откланялся. Прихожу к Листу в 4½ часов и, следуя советам Мейендорф, велел доложить, что я такой-то, приехавший из Иены к занятиям Листа с учениками. Без этого, по словам Мейендорф, человек Листа иногда, от избытка усердия,

---

[1] утреннее собрание.

категорически отказывается даже доложить Листу о приезде в подобные часы. Вхожу. Какой-то голландский пианист играет пьесу Таузига. Лист стоит около рояля. Человек 15 окружают рояль. «Ah! Vous voila enfin» [1] — закричал мне седой «Meister» [2] — дайте же мне Вашу руку! Что ж это Вы не были вчера? А Гилле уверил меня, что Вы непременно будете. Мне было ужасно досадно. Я показал бы Вам, что еще не дурно играю сонату Шопена с виолончелью и пр.». Далее он рекомендовал мне своих учеников: «Это все знаменитые пианисты, если не в настоящем, то в будущем непременно». Толпа беззастенчиво расхохоталась. Я тут встретил почти всех тех, с которыми уже познакомился в Иене, в день концерта. «А мы совсем неожиданно перенесли урок на понедельник»,— сказал Лист,— а всему виною die kleine M-lle Vérà [3], которая со мною делает все, что хочет; захотела, чтобы урок был сегодня,— нечего делать, должен был перенести на сегодня». Все рассмеялись опять. «Однако, за дело, господа. Гм..... сыграйте-ка нам...». Прерванные занятия продолжались. Лист останавливал иногда учеников и учениц, садился, сам играл и показывал, делал разные замечания, б. ч. полные юмора, остроумия и добродушия, вызывавшие обыкновенно смех даже со стороны того, кому делали замечание. Он не сердился, не горячился; ученики не обижались. «Veruchen Sie es einmal à La Vérà zu spielen» [4] — говорил он, желая кого-нибудь заставить прибегнуть к какой-нибудь мошеннической уловке, употребляемой Тимановой, чтобы вывернуться из затруднения во всех случаях, где ее руки оказывались слишком маленькими. Он добродушно смеялся, когда кому-нибудь не удавалось. Когда кто-нибудь говорил, что он не может сыграть того-то и того-то,— Лист усаживал его все-таки за рояль, прибавляя: «nun zeigen Sie uns, wie sie das n i c h t können» [5]. Во всех своих замечаниях он был, при всей фамильярности, в высшей степени деликатен, мягок и щадил самолюбие учеников. Когда дошла очередь до Тимановой, он заставил ее сыграть рапсодию Es-дурную [6], которую она приготовила к концерту в Киссингене. Сделав ей несколько мелких, но очень дельных замечаний, он сел

---

[1] «А! Вот Вы, наконец!» (*фр.*)
[2] «маэстро» (*нем.*).
[3] маленькая м-ль Вера (*нем.*).
[4] «Попробуйте-ка это сыграть по способу Веры» (*нем.*).
[5] «Ну, покажите нам, как Вы этого не можете» (*нем.*).
[6] Ми-бимоль мажорную.

за рояль и наиграл своими железными пальцами некоторые места. «Это должно быть торжественно, как трумфальное шествие!» — воскликнул Лист, вскочил со стула, подхватил Тиманову под руку и начал шагать величественно по комнате, напевая тему рапсодии. Все снова расхохотались. Когда Тиманова сыграла во второй раз рапсодию и превосходно сыграла, с соблюдением всех оттенков, Лист обратился ко мне и сказал: «Das ist doch ein famoser Kerl, die kleine Vérà» [1]. «Если Вы также сыграете в концерте,— обратился он к Тимановой,— то знайте — какие бы овации Вам ни выпали на долю, все это будет меньше того, чего Вы стоите!» Слезы радости навернулись на раскрасневшемся лице Тимановой. Он потрепал ее по щеке и поцеловал в лоб; она схватила его руку и поцеловала ее. Вообще у него ученицы целуют руку без церемонии; он их целует в лоб, треплет по щеке, по плечу, иногда ударит довольно крепко по плечу, заставляя обратить внимание на что-либо. Вообще между ним и учениками отношения ужасно простые, фамильярные и сердечные, нисколько не напоминающие отношения учеников к профессору, а скорее детей к отцу или внучат к дедушке. Подчас в замечаниях его проскальзывает некоторое ехидство. Особенно он, по-видимому, любит пройтись насчет Лейпцига. «Ах, не играйте так! играйте вот как!» — показал он одной ученице. «Так только играют в Лейпциге,— прибавил он,— там пояснят Вам, что это «чрезмерная секста», и воображают, что этого довольно, а как ее сыграть путем, никогда не покажут». Или: «В Лейпциге нашли бы, что это очень мило»,— заметил он по поводу довольно бесцветно и дрянно выполненного места из шопеновского этюда. Нужно заметить, что Лист никому ничего не задает сам, а предоставляет каждому выбирать, что ему угодно. Впрочем, ученики всегда спрашивают предварительно, приготовить ли им такую-то пьесу, потому что случается, что когда ему начнут играть что-нибудь, не нравящееся ему, он остановит без церемонии и скажет: «Бросьте! что Вам за охота играть такую дребедень». Собственно на технику, постановку пальцев и пр. он обращает ужасно мало внимания, а главным образом упирает на передачу выражения, экспрессию. Впрочем, за редким исключением, у него все ученики — владеющие уже хорошо техникою, хотя учившиеся и играющие по разным системам. Собственно своей, личной манеры, Лист ни-

[1] «Это все же славный малый, маленькая Вера!» (*нем.*)

кому не навязывает.— Когда урок, продолжавшийся часа два с половиною, кончился, Тиманова стала просить Листа, чтобы он перенес следующий урок с пятницы на субботу, потому что ей неудобно приготовить что-нибудь по случаю концерта.

«Вот этак она всегда со мною делает!» — ткнул на нее пальцем Лист, обращаясь ко мне. «А я... ну, как я ей откажу? она всегда хочет быть права́ и заставляет меня сделать по-своему. Ну что же, господа,— обратился он к прочим ученикам,— согласны ли Вы будете отложить на субботу? А?» — «Конечно! Конечно!» — затрещали все. «Ну! так и будет! В субботу». Вообще Лист, видимо, ужасно жалует Тиманову. Когда она сыграла одну вещь (действительно великолепно), он воскликнул: «Браво! этого из вас никто не сыграет!» — обратился он к остальным ученикам. Всех учеников при мне играло 2; ученицы—3. Когда ученики стали уходить, Лист провожал их в прихожую и помогал некоторым одеваться; ученицы многие, прощаясь, целовали руку, он их целовал в лоб. Вообще он, по-видимому, ужасный бабник. Когда все ушли, он посмотрел им вслед и, обратившись ко мне, сказал: «Какой все отличный народ, если бы Вы знали! Сколько здесь ж и з н и!» На это я сказал ему: «Если это действительно ж и з н ь, vie, alors c'est Vous, chère maitre, qui en étes le créateur» [1]. Когда я взял шляпу, он сказал: «Куда же вы?» Я пояснил, что иду в отель, а затем к баронессе Мейендорф. «Прекрасно! значит мы увидимся скоро! До свидания!» Видимо, он порядочно устал.— Поезда распределены были так глупо, что мне пришлось остаться ночевать в Веймаре: последний поезд в Иену отходил в 8 ч. 22 м., а я приглашен был к чаю к $8^1/_2$ ч. Заняв комнатку в маленькой буржуазной гостинице «Thüringer Hof» [2], я отправился к баронессе. Когда я вошел, Лист был уже у нее. Мы поболтали о разных разностях; вошел человек и доложил, что чай готов. Лист поднялся, предложил руку баронессе, и мы двинулись в столовую. Хозяйка представила мне своего сына, юношу лет 16, и мы вчетвером уселись за изящно сервированным столом: я — по правую, Лист — по левую руку баронессы; больше никого не было. Чай приготовляла сама хозяйка в спиртовом английском приборе. К чаю поданы были всевозможные закуски, вино и пиво,— словом, как у нас с тобой. Только серви-

---

[1] «то тогда Вы — ее творец, дорогой маэстро» (*фр.*).
[2] «Тюрингенский двор» (*нем.*).

ровка была не в пример лучше нашей. Лист за чаем был очень разговорчив, и мы с ним много болтали о музыке. После чаю хозяйка повела нас в гостиную к роялю. Прежде всего она подсунула Листу одну из его рапсодий, прося показать: как играется то-то и то-то. Это была, без сомнения, очень прозрачная женская хитрость, которую раскусить, разумеется, было немудрено. Лист рассмеялся: «Вам хочется, чтобы я сыграл ее? Извольте, только прежде всего я хотел бы сыграть симфонию M-r Бородина с самим автором. Куда хотите: на примо или secondo?» [1] — обратился он ко мне. Я — руками и ногами! Наконец, я уговорил сесть баронессу: она согласилась только на «Andante» [2]. Лист сел на secondo. И как же мне курьезно было слушать симфонию свою в таком исполнении! Курьез был тем более курьезный, что я был единственный слушатель. Лист не удовольствовался, однако, этим. «Баронесса очень любезна, но мне все-таки хочется проиграть эту вещь с Вами; не может быть, чтобы Вы не могли играть ее; Вы так превосходно аранжируете для фортепиано, что я не верю, будто Вы совсем не играете. Садитесь!» Не говоря более, он взял меня за руку и усадил на secondo, а сам сел на primo. Я было на дыбы. «Allez, jouez donc! autrement Liszt Vous en voudra, je le connais moi» [3],— шепнула баронесса. Я хотел было начать Andante, которое было раскрыто, но Liszt перевернул ноты, и мы начали финал, потом скерцо, потом первую часть; так и проиграли всю симфонию, со всеми повторениями. Лист не давал мне останавливаться по окончании одной части, перевертывал ноты и говорил: «Allez toujours!» [4] Когда я врал или недоигрывал, он мне замечал: «Зачем пропускаете, это так хорошо!» Когда кончили, он по нескольку раз проиграл отдельные места симфонии, восхищался красотою, свежестью, оригинальностью. По косточкам разобрал все до мельчайших подробностей. Andante, по его мнению, такой chef d'oeuvre [5], каких немного можно насчитать; «et quand à la forme — rien de trop, rien de superflus; et tout est beau!» [6]. О модуляциях моих он говорил, что

[1] на первую или вторую партию (*ит.*).

[2] «Анданте» (*ит.*) — вторая часть симфонии.

[3] «Ну, играйте же! иначе Лист на Вас рассердится, я его знаю» (*фр.*).

[4] «Продолжайте!» (*фр.*)

[5] шедевр (*фр.*).

[6] «А что касается до формы, то нет ничего лишнего, ненужного; и все — прекрасно!» (*фр.*)

ставит их в образец своим ученикам. Указывая на некоторые из них, он заметил, что ничего подобного нет ни у Бетховена, ни у Баха, ни у кого другого: что при всей новизне, при всем своеобразии, это так гладко, естественно и правильно, что нельзя сделать ни малейшего упрека. О первой части он очень высокого мнения; все педали, особенно последняя на С[1], ему ужасно нравятся. Об остальных частях нечего и говорить. Между прочим, он дал мне несколько мелких, но практических советов (плод очень внимательного отношения к симфонии) на случай, если я буду издавать симфонию вторым изданием...

...В заключение он сказал, что я вполне мастерски, tout à fait en maitre[2], владею фортепиано, что ему крайне удивительно, так как я не пианист. «Это не то, что симфонии наших-то...» «Знаю, о ком Вы говорите»,— перебила баронесса. Когда мы кончили, он сказал: «Мы знаем мало Вашей музыки, но зато, как видите, изучили Вас весьма основательно». Потом он и баронесса стали настойчиво просить, чтобы я спел мои романсы и показал что-нибудь из оперы. От пения я решительно отклонился. «Ведь у Глинки тоже не было настоящего голоса, однако, он пел свои вещи»,— приставала баронесса. Чтобы отвязаться, я сыграл им женский хорик из «Игоря», который обоим очень понравился. Наконец, я, в свою очередь, стал просить, чтобы Лист что-нибудь сыграл. Они взяли с меня слово, что я еще приеду к ним в Веймар, покажу 2-ю симфонию и т. д. Лист приставал, нет ли у меня манускриптов, чтобы я показал ему. Порешили, что я приеду в субботу на урок к нему, а вечером к баронессе, переночую в Веймаре и буду в воскресенье на Matinée. Лист сел за фортепиано и сыграл рапсодии свои и еще что-то, не помню чье. Играл, впрочем, немного: было уже поздно. Играет он изумительно! Что за тон! какие изумительные оттенки: pp, p, f, ff, что за crescendo и diminuendo![3], что за огонь! В 12 часов мы разошлись. Я проводил Листа (который плохо видит ночью) под руку до квартиры его, но он меня все-таки проводил еще до угла, чтобы направить на ближайшую дорогу к отелю моему. Каково? слышал Листа, да еще при какой домашней обстановке — никого, кроме меня и хозяйки дома! Я был точно в чаду и долго не мог

---

[1] До — нота.
[2] вполне мастерски *(фр.)*.
[3] Постепенное усиление и уменьшение звука *(ит.)*.

заснуть. Утром я уехал в Иену и в тот же день телеграфировал Бесселю, чтобы он прислал Листу вторую симфонию и романсы. В то же время послал письмо в Гамбург Кранцу, который, как мне передавали, издал мои романсы в немецком переводе. Я просил его прислать их мне. Свезу баронессе и Листу, если получу своевременно.

Замечательно, что в Веймаре множество совершенно незнакомых лиц со мною раскланивается: оказывается, что б. ч. из них видели меня в Иене с Листом. Да и в самой Иене есть много таких. Вот, голубая моя, как твой благоверный в честь попал! Пока я тебе пишу это письмо, наши мальчики по очереди жарят на пианино, которое сегодня принесли. Очень хорошенький, совсем новый инструмент; 3 талера в месяц, с настройкой. Сколько времени пробуду в Иене, определить еще не могу. Сегодня был у Прейера, здешнего физиолога. Ну, до свидания, мое Золото, Голубка моя ненаглядная. Целую тебя крепко. Поцелуй маму, Лизу, Ганю и пр., твой

А. Бородин.

26. Е. С. БОРОДИНОЙ

Марбург. 23 июля 1877 г. (11 июля ст. ст.).

Дорогая моя, что значит, что ты не пишешь ни строчки? Я по два раза каждый день бегаю на почту узнавать: нет ли письма, и все понапрасну. Одно еще успокаивает меня: случись с тобою что-либо серьезное, наверное мне дали бы знать немедленно — не мама, так Алексей, не он, так Захаровы; из Давыдова, если ты там, наверное написали бы Павлычу. Но все-таки меня это беспокоит; бога ради напиши хоть несколько строчек. Представь себя на моем месте? за тридевять земель от тебя и не знаю, не ведаю даже, где ты!

Я, наконец, покинул Иену, как видишь. Гейтер настолько поправился, что мог принять меня и поговорить насчет диссертаций моих птенцов. А разговор такой был необходим: Гейтер чудак, взглядов теоретических и штандпунктов его я не знаю, диссертации могут почему-нибудь не удовлетворить его; пришлось бы переделывать, дополнять и т. д. Особенно диссертация Гольдштейна требовала переговоров. Он нашел работы птенцов более нежели удовлетворяющими условиям диссертаций, показал мне

кучу диссертаций, сделанных в Иенской лаборатории. С удовольствием могу сказать, что все они в подметки не годятся диссертации Павлыча и б. ч. куда слабее диссертации Гольдштейна. Пока я торчал в Иене, оба мальчика писали свои диссертации, и у Павлыча почти все кончено. Мальчиков я устроил, насколько возможно, по всем статьям. Оставив в стороне ученую деятельность, я добыл им даже 2 фунта хорошего чаю,— дело почти невероятное в Иене...

...Теперь юноши вполне устроены, и моей опеки более не требуется. Шашенька взял себе немца, по найму, для Conversations-Stunden [1]; это оказалось необходимым... Я перезнакомился домашним манером со многими профессорами, получил кучу приглашений к другим; был на заседании здешнего Общества естествоиспытателей, где Гекель (тузовая личность, стоящая Дарвина) делал сообщение о полипах и медузах; осмотрел все кабинеты и музеи; наконец, приглашен был на очень интересный кнейп (кутеж) студентов Земледельческого института (как бывший профессор Лесной академии, я имел совершенно законный повод). Вечер был прекурьезный: студенты и профессора кутили вместе, говорили речи, тосты, пили пиво, чокались и т. д. Профессора были, собственно, почетными гостями. Те и другие немножко подпили. На вечере были комические представления, китайские тени, изображавшие события из студенческой жизни некоторых студентов, находившихся тут же, тени до того были похожи иа оригиналы, что каждого сразу узнавали, и раздавался гомерический хохот. Содержание некоторых из изображаемых эпизодов было далеко не скромное и весьма пикантного характера. Зато каких я профессоров здесь видел! Хоть сейчас в любой музей или на выставку. Одному например — 91 год, и он еще пил пиво, говорил речи, предлагал тосты и т. д. Но что всего удивительнее, так это необыкновенный порядок, не нарушавшийся в течении всего вечера. Один из студентов председательствовал. «Silentium! (Молчание!) Ad loca! («По местам!») — скомандует председатель, и мгновенно все стихает, все на своих местах. «Слово принадлежит такому-то студенту или профессору!» — водворяется мертвая тишина, пока оратор говорит. Представления, пение, музыка, тосты, речи — шло как по маслу. Тексты песен, отлично переписанные, лежали перед каждым гостем. Вместе с тем все

[1] уроков разговорного языка.

держали себя очень непринужденно. Теперь понятно, отчего в немецкой армии удивительная дисциплина!

21-го числа, в субботу, я расстался с мальчиками. Так как путь лежал через Веймар, то я остановился в Веймаре, моем Венусберге, чтобы в последний раз побывать у моей седой Венеры (Листа). Прежде всего я отправился к Мейендорф с прощальным визитом. Оказалось, что в четверг от Бесселя пришли все мои вещи: романсы и вторая симфония. Мейендорф с Листом играли уже накануне симфонию в четыре руки, остались ужасно довольны ею, и Лист назначил играть ее в воскресенье на Matinée, куда должен был прийти и гросгерцог. Мейендорф пригласила меня на вечерний чай, с тем, что кроме меня и Листа, никого не будет, чтобы просмотреть мои романсы втроем. От нее я пошел к Листу на урок. Лист очень рад был видеть меня: «Soyez le bien venu, cher Mr Borodine. Nous avons joué hier Votre deuxieme symphonie! Superbe!» [1] — поцеловал он кончики своих длинных пальцев. Урок прошел; Лист удержал меня. Пришел Зарембский, с которым Лист хотел пройти мою 2-ю симфонию к завтрашней Matinée. Неугомонный старик опять засадил меня. «L'Andante — Vous le jouerez! et puis je Vous remplacerai, je ferai le final mieux que Vous, n'est-ce pas?» [2]—засмеялся Лист. И действительно, он шельмецки сыграл финал! Когда я просил его сделать мне замечания по поводу симфонии, высказать откровенно свое мнение и дать совет, так как я желаю от него вовсе не любезностей, но хотел бы извлечь пользу в художественном отношении,— он сказал мне: «Ne changez rien! laissez la telle qu'elle est; elle est d'une construction parfaitement logique. En general, le seul conseil que je puis vous donner c'est: — suivez Votre voie, n'ecoutez personne; Vous êtes toujours partout logique, ingenieux et tout a fait original. Rappelez Vous que Beethoven ne serait jamais ce qu'il est devenu, s'il allait ecouter tout ce qu'on lui parlait; rappelez Vous toujours la fable de Lafontaine: «Le père, le fils et l'âne».Travaillez à Votre manière, n'écoutez personne! Voila mon conseil, si Vous voulez m'en demander un!» [3] Затем, перебирая, в частности, симфонию,

---

[1] «Добро пожаловать, дорогой г-н Бородин. Мы вчера играли Вашу вторую симфонию! Превосходно! (*фр.*)

[2] «Вы сыграйте Анданте! а потом я Вас сменю, я ведь сыграю финал лучше, не правда ли?» (*фр.*)

[3] «Не меняйте ничего! оставьте ее такою, какова она есть; она построена совершенно логично. Вообще я могу дать Вам единственный совет: следуйте Вашим путем, никого не слушая. Вы во всем

он сказал, что критика имела право высказать разве неудовольствие, почему я, например, вторую тему 1-й части не сделал amoroso [1] или что-нибудь в этом роде, но чтобы симфония была дурно «построена» из тех элементов, которые лежат в основании ее — этого критика не имела права говорить. «C'est d'une construction parfaitement logique!» [2] — повторял Лист, переходя от одной части к другой. «Говорят, что нет ничего нового под луною, а ведь вот это — совершенно ново! Ни у кого Вы не найдете этого!» — повторял великий «Мейстер» по поводу разных частностей. «У меня был вчера один немец,— сказал мне Лист,— он приносил мне свою, уже третью симфонию; я ему сказал: нам, немцам, далеко до этого, и показал Вашу 2-ю симфонию. Tenez [3]!» Впрочем, он сделал мне несколько мелких технических замечаний, собственно, относительно удобства письма для аранжемента, на случай второго издания. Зарембскому 2-я симфония нравится больше, чем первая.

Вечером у Мейендорф мы втроем перебрали почти все мои романсы; Лист б. ч. аккомпанировал, я пел, объясняя ему текст. Вообрази: Мейендорф больше всего понравилась — «Морская Царевна»! Лист нашел, впрочем, «que c'est trop poivré!» — «C'est du paprika» — засмеялся я. «Non, c'est du Cayenne!» [4] — заключил Лист. Потом они толковали все о том, кто бы у них мог это спеть, и просили меня перевести романсы на немецкий язык. Утром, на Matinée, в виду массы пианистов и приехавшего скрипача Сорè (читай по-русски), пришлось сыграть только одно скерцо моей симфонии и сыграно было гораздо хуже, чем в субботу. Лист плохо видит и врал; кроме того, он был рассеян: в этот день должна была приехать его дочь, которую он ждал с нетерпением.

После обеда я был у Зарембского, слушал его фантазию с оркестром — талантливое произведение в Листовском роде. Зарембский хотел со мною посоветоваться относительно оркестровки. Как пианист Зарембский черт знает как та-

---

всегда логичны, изобретательны и совершенно оригинальны. Вспомните, что Бетховен никогда не сделался бы тем, чем он был, если бы слушал все, что ему говорили; вспоминайте всегда басню Лафонтена: «Отец, сын и осел». Работайте по Вашему методу, не слушайте никого! Вот мой совет, если Вы желаете его от меня получить!» (*фр.*)

[1] нежно, страстно (*ит.*).

[2] Здесь: совершенно логичное построение (*фр.*).

[3] «Вот видите» (*фр.*).

[4] «что здесь слишком много перцу!» — «Это паприка!» — засмеялся я. «Нет, это кайенский перец!» (*фр.*)

лантлив, равно как и композитор. Вообще его ожидает блестящая будущность. Нужно заметить, что у Листа много талантливых учеников. Но, что меня больше всего порадовало и тронуло: манера их ужасно напоминает твою; нет ни еврейской суетливости Гольдштейна, ни пошлости бабьего touché perlé [1]; темпы умеренно-скорые, простота, полнота тона, благородство исполнения. Таков и сам Лист. Как жаль, что ты его не слыхала! Распростившись с Листом, я от него оторвался не вдруг: из Веймара попал в Марбург, где жила, умерла и похоронена Св. Елизавета, вдохновившая великого Мастера. На месте, где она похоронена (1231 г.), построена ее мужем часовня и потом собор — один из самых изящных в готическом стиле, настолько же полный поэзии и красоты, как и образ самой Елизаветы в творении Листа. Тут же богатая серебряная рака, где лежали ее мощи, вынутые во время реформации, чтобы положить предел поклонению католических пилигримов. Собор и рака — очень хороши. Но я записался, больше нет бумаги. Пора кончить. Целую тебя крепко, равно и маму.

А. Бородин.

27. Е. С. БОРОДИНОЙ

Гейдельберг. 30 июля 1877 г. (18 июля ст. ст.)

Никогда еще я так далеко не уезжал от тебя и, кажется, никогда ты мне не была так близка, как теперь. Пойми только — я в Гейдельберге!!! Еще по дороге из Марбурга в Бонн я проезжал от Обер-Ланштейна по Рейну; мимо меня, как в панораме, проносились давно знакомые берега, которые мы видели еще с тобою. Можешь думать, что я должен был перечувствовать — глупая! (Прости, что бранюсь!) В Бонне я пробыл всего 1½ дня; описывать не буду. Тебе не интересно. Из Бонна я отправился по Рейнской железной дороге в обетованную землю, мою Мекку, Медину, Иерусалим — назови как хочешь,— словом, в Гейдельберг. Опять, в обратном порядке, проносились передо мною знакомые, давно не виданные берега Рейна, но уже на большем протяжении — от Бонна до Майнца. Я проезжал мимо нашего Бингена, где мы останавливались, помнишь?.. Господи, сколько я пережил в это время!! От Майнца пошли всякие Бенегеймы, Генненгеймы и пр., мимо

[1] «жемчужная» пальцевая техника (*фр.*).

которых мы с тобою ездили столько раз!! Я был до того возбужден, до того взволнован, что не заметил даже, как настал вечер (5 часов); только позже гораздо я вспомнил, что с утра, с 6 часов, я ничего не ел и не пил (несмотря на нестерпимый жар). Я пожирал глазами каждую горку, дорожку, каждый домик, деревеньку — все мне сразу напомнило счастливые времена. Подъезжая к Гейдельбергу, я спрятал лицо в окно, чтобы скрыть набегавшие слезы, и крепко сжал ручку зонтика, чтобы не разреветься, как ребенок. Я с замиранием сердца караулил тот садик, что выходил на железную дорогу от Гофмана; садик, где я тебя видел на другой день после Вольфсбруна. Помнишь?.. Укараулил-таки!! Узнал его сразу!! Почуял его!! Без сомнения, тебе случалось видеть во сне места, которые ты как будто давно когда-то знала; места, где ты наперед знаешь, что будет впереди, где ты спешишь осмотреть каждый уголок и уверена, что все тебе знакомо. В таком состоянии был я. Я бросился в омнибус и велел везти себя прямо в «Badischer Hof» [1], где я останавливался в первый раз, в 1859 году; где потом обедал за табльдотом. Вот она — Hauptstrasse! [2] Теперь будет Darmstaeter Hof» [3]; теперь «Derara», теперь «Goldner Engel» [4] и т. д. Все до мельчайших подробностей воскресало в моей памяти. Вот и Karpfengasse; милая Karpfengasse, где ты была у меня в первый раз (помнишь, где я тебе показывал шкаф с бельем; не нашел ничего умнее?); где была лаборатория Erlenmeyer'a. Вот и «Badischer Hof»! Та же зала, те же лестницы. Я взял номер и, оставшись один, не выдержал (грешный человек) — разревелся, как дитя. Наплыв чувств, которые охватили меня, я даже не умею тебе описать. Умывшись и приведя себя в приличный вид, я вспомнил, что надобно пообедать и пошел в Speisesaal [5]. И — вообрази! совершенно машинально, бессознательно, я сел именно на то самое место, где сидел тому назад семнадцать лет за табльдотом! Пообедав наскоро, я побежал осматривать «святые места». Прежде всего на «Schloss» [6]. Чего я не перечувствовал, пробегая те дорожки, те галереи, где мы бродили с тобою в первую пору счастья! Как бы я дорого дал в эту минуту, чтобы ты была со мною! Вот и та глухая, мрачная, тенистая аллея,

---

[1] «Баденский двор» (*нем.*) — название гостиницы.
[2] Главная улица (*нем.*).
[3] «Дармштадтский двор» (*нем.*) — название гостиницы.
[4] «Золотой ангел» (*нем.*) — название гостиницы.
[5] столовая (*нем.*).
[6] «Замок» (*нем.*).

те нависшие каменные своды, под которыми мы пробирались с тобою как-то ночью. Помнишь, ты уцепилась за меня от страха? Хотелось, страх как, сходить к Гофману в домчик со скрипучей лесенкой. И хочется, и боюсь спросить: а ну, как домик давно срыт, сломан, Гофманов и в помине нет?..

...Долго бродил я, до ночи, осматривая каждый уголок. Всех мелочей не «переказать», как говорит Па. Мне все не верилось, что я наяву вижу все это, что я наяву хожу по этим знакомым местам: я трогал стены домов рукою, прикасался к ручке двери знакомых подъездов,— словом, вел себя, как человек не совсем в своем уме. На другой день я пошел сначала осматривать специальности, потом сидел «у себя» за табльдотом и ел, казалось, то самое кушанье, которое приготовлено было 17 лет тому назад. Оно показалось мне необыкновенно вкусным! И стул, на котором я сидел, был необыкновенно удобен; это тот самый плетеный стул, на котором я привык сидеть,— словом, «мой» стул. И соседи мои — давно знакомы мне, хотя я их вижу в первый раз. После обеда я отправился прямо, горною дорогою,— в Мекку: — в Вольфсбрун. Дорога знакома, как свои пять пальцев; только ее расчистили, сделали шире к моему приезду. В Вольфсбруне я нашел все в порядке, только к моему приезду успели выстроить там крытую галерею, которой прежде не было. Я сел против самого фонтана, где плавают форели. Вода в четыре струи текла из волчьих мордочек, как и прежде; текла, не прерываясь, 17 лет! Вот уж буквально можно сказать: много воды утекло с тех пор! Ко мне вышла девушка, лет 15, с приветливою улыбкою. Должно быть, она собиралась сказать мне: «Насилу-то опять собрались к нам! Что давно не были?» — Ничего она не собиралась сказать, кроме: «Wünschen Sie Bier, oder sonst noch was?» [1] Меня она и не узнала. Да где же узнать, когда ее не было еще в то время и на свете? Не берусь описать всех ощущений, которые я пережил, сидя перед фонтаном и упорно глядя на бегущую воду, мерно, однообразно, без конца падавшую в бассейн, где апатично плавали глупые рыбы, в ожидании попасть сегодня же на жаркое. Господи, сколько я пережил! Какая это была смесь счастья и горечи! Долго просидел я за своей кружкой пива, наконец, поднялся и пошел уверенным шагом по нижней дороге, по берегу Неккара — словом, тою дорогою, которою

[1] «Угодно Вам только пива или еще чего-либо?» (*нем.*)

мы шли домой с тобою. Напрасно искал я камня, на котором мы сидели, напрасно искал той скалы перед воротами в город, где я тебя толкнул и вышиб зонтик, как сумасшедший... Неумолимая рука «прогресса» уничтожила эти святыни: проложила вдоль берега железную дорогу. До чего мне жаль было видеть эти места! Ворота Karlsthor[1] остались, как были, нетронутыми. Я раза четыре без всякой нужды прошел взад и вперед под воротами (к немалому удивлению прохожих). Усталый, подавленный вереницею воспоминаний, я ввалился в свой номер и грохнулся на кровать. Вскоре я заснул, как убитый. Солнце стояло высоко, когда я проснулся. Я пошел по своим делам. Потом с Лоссеном, профессором химии, прошел на Molkenkur, оттуда на Schloss[2]. И зачем тут быть Лоссену? Ведь он ничего не понимает? После обеда я собрался с духом и, справившись предварительно о существовании Гофманов (в адрес-календаре), бойко направился к самой заветной святыне прошлого. Боже! Что наделали немцы! Улицы Bergheimerstrasse и в помине нет; это какая-то Литейная, Тверская, Hauptstrasse[3]. Дом на дому домом погоняет! Ищу № 14; куда тебе! Такого и нет! Наконец, я в закоулочке нашел заветный дом. С трепетом подхожу: «Здесь живет профессор Гофман?» — «Профессор Гофман две недели тому назад умер». Коротко и ясно. Так меня и огорошило. Умер! «А Frau Professor[4] здесь; как прикажете доложить?» Я сказал. Выходит Софья Петровна, вся в черном. Она очень радушно, даже радостно встретила меня. В самое короткое время она успела рассказать мне подробности о смерти Гофмана (он умер от удара); о пансионе, который она продолжает содержать; о своих детях: маленькая Мери замужем, в Лондоне, имеет уже свою маленькую Мери. Гейнрих (которого Богдася Марко-Вовчок посадил в бадью с дождевой водой; помнишь?) давно в Гамбурге; Чарли, маленький Чарли, которого я спас, вытащив стеклянный шарик, угодивший ему в самую гортань,— кончает курс в политехническом училище. Я пошел в «столовую». Цела, голубушка, цела! и стол длинный цел, голубчик! И тощие «миссы» и «мистрисы» целы, точно консервы какие-нибудь сохранились. И говорят точно Лихачев, и также чопорно

---

[1] «Карловы ворота» *(нем.)*.
[2] «замок» *(нем.)*.
[3] «Главная улица» *(нем.)*.
[4] жена профессора *(нем.)*.

и чинно кушают кофе. Софья Петровна много расспрашивала с участьем о тебе; представила меня своей молоденькой племяннице — англичанке Л у л у́ (ей Богу, так!); эта Лулу́ очень молоденькая, миленькая и ублюдок: родилась и росла в Москве, училась в Гейдельберге и жила в Лондоне — словом, черт знает что такое! Она представлена мне была как невеста одного русского — доктора Бедряги. Вскоре пришел и доктор Бедряга — юноша, д о к т о р ф и л о с о ф и и И е н с к о г о у н и в е р с и т е т а (как и наши мальчики будут!), москвич, страстный меломан, хороший пианист и племянник... вообрази! — Николая Андреевича Римского-Корсакова! Вот вереница-то точек соприкосновения со мною! По имени он меня хорошо знает. Он очень милый малый, зоолог; переживает теперь как раз всякие «Вольфсбруны, Шпейергофы» и проч., по уши влюбленный в свою невесту. Разумеется, не обошлось без сопоставления их настоящего романа с нашим — прошедшим. Я как-то точно влез в его шкуру, что нас в минуту сблизило, как давно знакомых. Пошли в сад — н а ш с а д, куда я пришел к тебе на другой день после Вольфсбруна. Увы, скамеечки нет! давно нет! Но вообще сад остался по-прежнему, только цветы поэзии и любви уступили место огурцам и капусте, которые в изобилии насажены хозяйственною рукою Софьи Петровны. Она оставляла меня пить чай. Я отказался; положил сходить вечером на Шпейергоф. Получив приглашение на завтра к обеду, я откланялся и направился «ко святым местам», мимо кладбища, как бывало ходил с тобою. Увы, и здесь услужливые немцы насадили такую цивилизацию, что ничего узнать нельзя, как и вообще в окрестностях Гейдельберга: всюду дороги великолепные; всюду, даже на Königstuhl [1], можно проехать в экипаже; об ослах и помину нет. Кстати ли рассказывать ощущения на Шпейергофе? Понятно, что в общем то же, что и на Вольфсбруне; хотя куда слабее! На другой день Софья Петровна накормила меня московскою кулебякою с капустой и передала всякие сведения о Гейдельбергских знакомых...

...Вот, моя золотая, где я и каково мне! Целую тебя ∞ раз (т. е. бесконечно большое число, помноженное само на себя бесконечно большое число раз; попробуй! сосчитай!) Ох, пора кончить, тороплюсь. Маму поцелуй. Теперь — в Вюрцбург и в Мюнхен; оттуда через Иену — домой (остановлюсь в Вильне).

Твой *Я*.

[1] «Королевский трон» (*нем.*).

28. Е. С. БОРОДИНОЙ

Магдебург, 30 мая 1881 г.

Голубушка, дорогая моя, прости, что только сегодня собрался написать тебе. Никак не выберешь времени. Всего меньше я принадлежу себе... Переночевав в Берлине, я утром 28-го мая в 8 ч. 40 м. отправился в Магдебург; приехав в 10 ч. 50 м., я думал остановиться в «Kaiserhof» [1], близ собора, где должен был проходить 1-й концерт. Но тут случилось «нечто совсем непредвиденное», как говорит обыкновенно Достоевский. Динстман, которому я поручил донести вещи до отеля, вдруг ни с того ни с сего говорит: «А у нас-то вчера что было, вот так торжество!» — «А что?» — «Да разве не знаете? «высокого гостя» встречали мы!» — «Кого?» — «А старика Листа!» Тут он стал рассказывать, как перед приездом Листа магдебургская публика в громадном количестве наводнила дебаркадер и с оглушительным ура! (Hoch!) встретила Листа при выходе из вагона и таким же манером проводила его. Молодежь махала шляпами, а дамы «не то, что платками, а чуть не подолами махали!» — картинно выразился динстман. Войска, стоящие в Магдебурге, собрали полковую музыку и устроили ему серенаду тотчас же по приезде в отель.— «А где он остановился?» — «А вот тут»,— указал динстман на Koch's Hotel! [2] — «Тащи туда вещи!» Через полминуты я был в отеле Koch, в 34 №; еще через полминуты в № 1, где стоит Лист. Черногорец, его камердинер, сразу узнал меня, обрадовался, рассыпался в итальянских приветствиях, распахнул двери, и через секунды две обе руки мои были в железных руках Листа. ...

29. Е. С. БОРОДИНОЙ

Веймар, 7/19 июня 1881 г.

Прости, дорогая моя, что не писал тебе до сих пор. Прежде всего я не был уверен, что ты *«проследовала»* в Москву... Далее, я не писал отчасти за недосугом. Меня до того здесь замотали и закружили, что я и *«пересказать»* не умею...

...Из Магдебурга я выехал 2/14 июня в 11 часов утра и не в Лейпциг, а... простите... извините... нечаянно... в Вей-

[1] гостиница «Императорский двор» (*нем.*).

[2] гостиница Коха (*нем.*).

мар, в мой Венусберг. Помимо «Седой Венеры» меня увлекло туда еще одно событие: последнее представление «Фауста» Гете — целиком, всего, в два вечера; первый вечер — I часть, второй вечер — II часть; оба представления, каждое, от $5^1/_2$ часов до 11! Страсть как длинно. Сценическая постановка совсем особенная; сцена разделена на три этажа или яруса, так что, не спуская занавеса, действие переходит из неба в ад, из комнаты Гретхен — в сад и т. д. Я только теперь понял, насколько неизмеримо выше стоит «Фауст» как драма сравнительно с «Фаустом» — оперой. Весь ум, едкость, юмор, глубина чувства — все это в драме выступает резко; ничего этого в опере нет и в помине. Кроме того, я пришел к заключению, что «Фауст» должен быть исполняем, безусловно, с немецким текстом, особенно Гретхен, безусловно, должна быть исполнена по-немецки и немкою. Мефистофель Девриент — верх совершенства! Лассен сделал музыку для пения и мелодрамы, но без нее, пожалуй, было бы лучше. Но я увлекся или, правильнее, отвлекся. О концертах в Магдебурге не пишу. Одна программа составляет целую брошюру; повествование же потребовало бы целого тома. Скажу только, что «Антар», помимо небольших уклонений в темпе в двух местах, прошел превосходно; в звуковом отношении несравненно лучше, чем у нас; прозрачность, чистота, pp, ff [1] и пр. оттенки изумительные. Никиш — великолепный дирижер, изучил «Антара» прекрасно и дирижировал наизусть. Первые две части массе, по-видимому, менее понравились, но после третьей и — к удивлению — четвертой сильно и дружно хлопали. Вообще же все отзываются об «Антаре» весьма лестно и хвалят его. Он имел положительный успех. Вообще фонды нашего музыкального кружка стоят здесь очень высоко, выше, чем я думал. Моя симфония доставила мне такую почетную известность в музыкальной части Германии, что не успеваю я назвать мою фамилию, как следуют приветствия и самые жаркие похвалы: «Так это Вы автор той превосходной симфонии, которая имела такой громадный успех в Баден-Бадене в прошлом году?» Дело дошло до того, что пришлось писать мои автографы на память, даже на деревянном веере, каким-то совсем мне незнакомым барышням, которые меня просили об этом в шпейзезале. Ухаживают за мной и ублажают меня невероятно. Об Листе и баронессе Мейендорф уже и говорить нечего; это само собою разумеется. Но Маг-

[1] очень тихо, очень громко.

дебургские певицы, пианистки и музыканты меня замотали. Ридель оказался душевнейшим человеком, и мы с ним сошлись, точно сто лет знакомы; дочки его, очень миленькие молодые девушки, ухаживали за мной, как за родным, жена его тоже, я на прощанье преподнес им даже два букета и две коробки конфет, потому что они меня угощали невероятно, водили, показывали Магдебург и т. д. Шарвенка, пианист берлинский (у которого жена русская — Зинаида Петровна (aus Wjatka!) [1], взял с меня слово, что я проездом в Россию через Берлин остановлюсь и проживу у него до отъезда хоть несколько дней. Англичане, американцы и—черт знает чего еще нет—завели со мною дружбу такую и любезны до невероятия. Как сыр в масле катаюсь; просто даже совестно! А Лист — это совсем Балакирев! Что это за душевный человек! Вот уж «дружелюбные друзья», как ты говоришь! Представь себе, когда я приехал в Веймар, он спросил где я остановился, «вероятно, в «Rusisscher Hof»? [2] — сказал он мне. Я и проговорись, что не люблю ужасно этого отельного житья, и Луттер (один пианист из Ганновера) хотел устроить меня на частной квартире. Старик взгомонился: «Постойте, Луттера теперь здесь еще, наверное, нет; погодите, я Вам найду помещение. «Pauline, Pauline! [3] (его прислуга). Вот надобно пристроить Herrn Borodin [4] на частной квартире. Знаете что? сходите-ка туда-то и туда-то»,—и пошел выгружать ей всякие адресы. «Если бы это было лет десять назад, я бы Вас ни за что не отпустил от себя, и Вы бы должны были жить у меня»; но «Voyez, je suis logé comme une démoiselle! allez! [5] куда бы я дел Вас теперь?» — прибавил Лист. Я всячески отбояривался, благодарил и проч. Но Лист заставил-таки дождаться Паулины, которая отыскала мне комнатку, маленькую, но чистую и «freundlich» [6], как говорят немцы. Перед моими окнами — сад дома Гете; по другую сторону — сад, через который можно пройти к Листу; в 70-ти шагах — гросгерцогский парк,— и везде заливаются соловьи; чуть ли не в двух шагах Лист и Мейендорф (баронесса, которая так мила со мною). На прощанье Лист сказал мне: «Demain, r. 8 heures du matin je Vous fais une visite officielle; je veux voir si

---

[1] «из Вятки!» *(нем.)*
[2] гостиница «Русский двор» *(нем.)*.
[3] «Паулина, Паулина!» *(нем.)*
[4] господина Бородина *(нем.)*.
[5] «видите, у меня помещение, как у девушки! подите-ка!» *(фр.)*
[6] «приветливую» *(нем.)*.

Vous êtes bien logé» [1]. Ему очень нравится моя «Средняя Азия», и он пристал ко мне, чтобы я сделал 4-х ручное переложение к завтраму. «Tenez! je vais Vous donner du papier. Spiridion! bringen sie das Notenpapier, was ich da habe» [2],— обратился он к черногорцу своему, но, не дожидаясь исполнения приказания, мой Балакирев поплелся сам рыться в шкафу, вытащил мне бумагу и сам отметил карандашиком, где начать писать primo и где secondo. Случилось так, что я бумагу должен был оставить у него и не мог зайти за нею. Что же ты думаешь? милый старик на другой день утром, в 8—9 часов утра (когда я ушел пить кофе), притащил мне сам бумагу и оставил вместе с визитной карточкой своей. Вернувшись домой, я нашел то и другое и пошел к нему поблагодарить за хлопоты и любезности. «Allons, c'est que je veux, que Vous vous mettiez à travailler la reduction pour le piano» [3],— отвечала моя седая Венера. Он под разными предлогами тащил меня к себе и к баронессе. Кроме того, передал мне на другой же день, что князь Витгенштейн убедительно просил меня прийти с ним и баронессою, так как гросгерцог очень желал бы повидаться со мною и придет тоже туда с дочерьми. «Je viendrai Vous chercher ce soir à 9 heures» [4],— закончил Лист. Я пробовал отговорить его заходить за мною; сказал, что у него болит нога, что лучше я зайду к нему. «Ne me contrariez pas, mon cher M-r Borodine, laissez moi faire ce que je dois; je viendrai vous chercher à 9 heures» [5],— повторил упрямый Балакирев. Так как я теперь не нечаянно попал в Веймар, то надобно было одеться как следует: cravate blanche, habit noir u chapeau-claque [6]. Как только молодежь листовская узнала об этом событии, один меня ссудил шляпою, другой помог мне закрепить галстук и даже пришел ко мне с женою, англичанкою, осмотрели меня, хлопотали; наконец, в 9 пришел мой Балакирев. Увидав переложение «Средней Азии», дописанное до половины, Лист схватил его — «Les

---

[1] «Завтра, в 8 часов утра, я Вам сделаю официальный визит; я хочу посмотреть, хорошо ли Вы устроились» (*фр.*).

[2] «Постойте! я дам Вам бумаги. Спиридион! принесите нотную бумагу, которая там у меня лежит» (*фр., нем.*).

[3] «Ну вот! Чего я хочу, так это того, чтобы Вы принялись за работу над фортепианным переложением» (*фр.*).

[4] «Я зайду за Вами сегодня в 9 часов вечера» (*фр.*).

[5] «Не противоречьте мне, дорогой мой г-н Бородин, предоставьте мне делать то, что я считаю нужным; я зайду за Вами в 9 часов» (*фр.*).

[6] черная пара с белым галстуком и цилиндр (*фр.*).

voilà les fameux «chameaux»! Tenes, nous prendrons ceci avec, et nous le ferons avec Vous chez les Witgensteins» [1]. Старик сложил ноты и — в карман. Как я ни уговаривал оставить эту мысль, доказывал, что написана только половина, что нельзя играть, не просмотрев... Старик сердился: «Ne me contrariez pas! Eh bien! nous allons taper dessus et dessous et ca se fera à merveille! et le reste Vous allez taper tout se!! [2]... Упрямый старик так и сделал: у Витгенштейнов половину пьесы мы сыграли в 4 руки, остальное я сделал один. Когда я ему показывал потом полное переложение и спросил об одном месте, немного неудобном для меня,— не изменить ли это? — «Laissez cela tel qu'il est! M-r Borodine ne le ferait pas, mais madame Borodine le fera très facilement, saluez la de ma part et dites lui cà» [3]. Надобно заметить, что когда он расспрашивал о моих домашних делах, я ему говорил, что ты хорошая пианистка. Я тебя вспоминал и вспоминаю часто и не за одной музыкой.

...Как ни хорошо здесь мне лично, но сердце болит по Вас всех; как-то совестно мне, что мне так хорошо, когда Вам там худо. Целую тебя, маму и наших!

Твой *А. Бородин*

30. Е. С. БОРОДИНОЙ

Веймар, 30/18 июня 1881 г.

...Как видишь, я поддался-таки соблазну, человек бо есмь слабый и немощный духом. Выбрал я себе гнездышко под крылышком у Листа и, несмотря на желание, не мог до сих пор выбраться отсюда. Живется мне здесь хорошо. Как в 1877 году Иена была моей главной квартирой и операционным базисом, так теперь Веймар. Отсюда делаю экскурсии и сюда возвращаюсь — в лоно если не Авраама, то другого старца — Листа. Думал я выбраться отсюда еще за неделю, да Лист, Мейендорф и листовская молодежь всячески удерживают меня, и я останусь здесь до 6 июля

[1] «Вот они, знаменитые «верблюды»! Постойте-ка, мы захватим это с собой и исполним у Витгенштейнов» (*фр.*).

[2] «Не противоречьте мне! Прекрасно! мы пробарабаним это и все выйдет чудесно! а остальную часть Вы сыграете один!» (*фр.*)

[3] «Оставьте это как оно есть! Г-н Бородин этого бы не в силах был исполнить, но госпожа Бородина это легко сыграет, кланяйтесь ей от меня и передайте ей эти слова» (*фр.*).

(нового стиля), до знаменитого Вурст-концерта (как в шутку называет Гилле концерты вроде того, что был в Иене в 1877, потому что после него все отправляются к Гилле и едят Bratwürstchen) [1]. Оттуда, т. е. из Иены, я направляюсь в Лейпциг, где мне бы хотелось пробыть до 12 июля (нового стиля), потому что 9-го, 10, 11 и 12 будет дана там в четыре вечера вся знаменитая тетралогия Вагнера «Niebelungen-Ring» [2] целиком, без пропусков и в превосходной обстановке. Пропустить такую редкую оказию можно музыканту только по поводу чего-нибудь очень важного. Вот почему я и прошу тебя, друг мой, не сердиться на меня, что загулял немножко дольше, чем думал. Если же почему-нибудь мое присутствие около тебя необходимо,— напиши сейчас же в Лейпциг; понятно, я брошу все тетралогии на свете и прикачу к тебе. Если же ты не напишешь мне, чтобы я поспешил, то я немедленно после тетралогии отправлюсь восвояси и остановлюсь только на сутки в Вильно, чтобы повидаться с Митей. Не церемонься и не жалей меня, напиши мне прямо, если тебе нехорошо или если я нужен в Москве. О Листе и моих музыкальных делах не пишу; расскажу все по приезде, тем более, что, по примеру 1877 г., пишу подробно мою Листиаду; не пересылаю только по почте, потому что все-таки скоро вернусь в Россию. Скажу только, что я познакомился с Бюловым, который теперь здесь для свиданья с дочерью Даньелой (внучкой Листа). Он довольно желчный, неприятный господин, а она — необыкновенно милое и симпатичное существо...

...Здесь, кроме нескольких немногих дней, стоит холодная погода; мне приходилось даже в начале два дня топить, ибо пар от дыхания был виден в комнате.

Целую тебя крепко и обнимаю. Маме и всем нашим...

31. А. П. и Е. Г. ДИАНИНЫМ

Житовка 3.8.81

Кто-то помнит, что скоро чье-то рожденье, и поздравляет кого-то очень, от души и желает кому-то всего хорошего. Вместе с тем, кто-то помнит, что давным-давно обещал кому-то купить маленькую кроватку для куклы; это было

---

[1] жареные сосиски (*нем.*).
[2] «Кольцо Нибелунгов» (*нем.*).

еще когда кто-то с кем-то жил в Голицынской больнице *«на квартире»*. Лучше поздно, чем никогда — гласит пословица. Поэтому дело еще поправимое, и потому — кроватка еще может подоспеть, когда будут куклы... О нашем житье-бытье, *взгодах* и невзгодах Катя, вероятно, пишет подробно. Письмо мое было бы повторением того же самого, если бы я занялся описанием нашей бедной событиями жизни. Предоставляю это Кате. О ней скажу только, что несмотря на все невзгоды, ей здесь так нравится, что она серьезно толкует о том, нельзя ли свить здесь прочное, *«свое»* гнездо. Лично мне, как нестрадающему от всяких *«паркостей»*, неимеющему ни *«ручьев»*, ни *«щенков»* в груди, живется здесь очень хорошо. Впечатления: свежие, разнообразные, полные содержания, интереса, жизни,— вынесенные мною из заграницы, отодвинулись так далеко под влиянием гипнотизирующего однообразия деревенской жизни, что мне кажется, будто я тут живу целые месяцы и за границею был когда-то очень-очень давно. Поездкой за границу я был и есмь очень доволен, несмотря на сравнительно небольшой район, который удалось объехать в сравнительно короткое время. Поездка эта меня очень освежила во всех отношениях. В химическом отношении вынес и вывез немного, в том смысле, что при нашем безденежье в Академии нечего и думать о введении у нас некоторых приспособлений и пр., которые удалось видеть. В музыкальном отношении, кроме еще более близкого знакомства с Листом и очень приятных, интимных отношений к нему, интересных знакомств — с Бюловым, внучкою Листа Даньелой, множеством музыкальных выдающихся личностей, учеников Листа и пр., я наслушался множества хорошей музыки и в отличном исполнении. В Лейпциге я очень сдружился и сошелся семейным образом с председателем Allgemeinen Deutschen Musikverein[1] профессором Риделем. Мне так было хорошо, *семейно* в его семье, что, казалось, не было времени, когда я не знал ее. Дочери у него — премилые девушки, наперерыв ухаживали за мною. Мне очень было *тепло* в этой семье. Общество пения Riedels Verein[2] нарочно для меня пригласило солистов и исполнило интересовавшую меня мессу Schütz'a[3], и после того как Ридель представил меня хору и солистам, ответило аплодисментами мне, а студенчество, представителей которого множест-

[1] Всеобщий немецкий музыкальный союз (*нем.*).
[2] Общество имени Риделя (*нем.*).
[3] Шюца (*нем.*).

во в хоре Общества, по обыкновению *топало ногами* вместо аплодисментов (как оно делает при овациях профессорам в аудиториях). И в Лейпциге, как в Магдебурге, мне приходилось писать мои музыкальные автографы на веерах барышням. Я даже попал в музыкальную журналистику весьма почетным образом; помимо разных хвалебных отзывов — о симфонии и пр.— в корреспонденциях, например, из Веймара, о музыкальном вечере у Stahr (где играли ученики Stahr) упоминается, что там присутствовал ареопаг почетных гостей и музыкальных судей — Лист, Бюлов и «профессор Бородин из Петербурга»; в отчетах о Магдебургских музыкальных празднествах упоминается, что среди публики присутствовал и «высокодаровитый Бородин» (der hochbegabte Borodin). Я Листу посвятил мою «Среднюю Азию», которая ему очень нравится. Здесь, в Житовке, я принялся за квартет № 2 и примусь за «Игоря». Любитель *«приспособлений»*,— я устроил себе отличное бюро, чтобы писать стоя, с приспособлением для свечей, лампы, чернильницы, шкафиком, этажеркой — словом: первый сорт! Но, как всегда бывает, я разойдусь в моей деятельности по части приспособлений как раз в то время, когда придется ехать домой.

Ну, милая голубятня, отпишите, как Вам живется, когда думаете ехать в Питер и пр. Поклон всем Дианииным от мала до велика и всем, кто меня помнит.

Ваш *А. Бородин*

32. М. А. БАЛАКИРЕВУ

25 сентября 1881 г.

Дорогой друг Милий Алексеевич, теперь в Ваших руках судьба Бесплатной школы. Откажитесь от нее — она умрет; возьметесь за нее — оживет. Момент критический в жизни Школы. Бога ради, не покидайте свое излюбленное детище, доставлявшее Вам немало хлопот и забот, труда и горя, но немало чести и славы, наслаждения и радости, а главное — пользы русскому музыкальному развитию. Школа занимает видное и крупное место в истории этого развития, и заслуги ее никогда не забудутся теми, кому дороги судьбы руского искусства. Много она сделала добра и много может еще сделать в будущем — если будет

спасена. Спасите же ее, возьмите снова в свои руки. Только Вы — Вы один — можете спасти ее.

Я хотел по этому поводу приехать сегодня к Вам и просить лично, но, к сожалению, утром служба царская не дает времени, а вечером — комиссия.

Горячо любящий Вас

А. Бородин

33. Л. ДЕ МЕРСИ АРЖАНТО

Звенигород Московской губ. Россия
3/13 сентября 1884 г.

Сударыня.

Только теперь, в этом маленьком уголке нашей обширной страны, получил я драгоценное послание, которым Вы соблаговолили меня удостоить. Мои постоянные переезды помешали мне получить его раньше. Было бы естественно начать мое письмо с извинений и выражений благодарности. Но все глаголы, все прилагательные, все превосходные степени, которыми в таком случае пользуются,— оказались бы недостаточными для того, чтобы выразить Вам мою признательность. Я имею все основания гордиться, быть польщенным и тронутым избытком доброты, которым Вы меня подавляете.

Что до вопроса об «установлении границ»,— я тут ни при чем, так как я начинаю с того, чем кончил мой друг Ц. Кюи: я почитаю себя весьма счастливым тем, что капитулирую перед властью столь же лестною для меня, как и великодушной. У меня есть перед моим другом то преимущество, что я — не инженер, подобно ему, и что поэтому от моей капитуляции не окажутся непригодными никакие «укрепления». Наконец, нет ничего более разумного и удобного, как сдаться перед женщиной умной и сердечной, которая Вам желает добра, и доброта которой не имеет «границ». Я спешу капитулировать «на милость и немилость», как говорят немцы, так как «немилость» — вещь невозможная.

Я Вас очень благодарю за присылку перевода моих романсов. Я его нахожу вполне удачным, за исключением, быть может, перевода «Фальшивой ноты», в котором, как Вы хорошо заметили, г. Коллен не воспользовался идеей «диссонанса», идеей, которая послужила основанием для

музыкальной иллюстрации русского текста. Дело не в том, что «женщина», «говоря нежные слова», «скоро изменила» и что, «значит, любовь была лишь сон пустой». Нет, дело в том, что в «нежных словах», равно, как и «в сердце» женщины, «постоянно звучала» эта «фальшивая нота» или «диссонанс», который женщина сама «отлично понимала». Может быть, можно было бы попросить г-на Коллена согласиться сделать исправления перевода, исходя из идеи «диссонанса», без чего постоянно звучащее Fa[1] («фальшивая нота»), вокруг которого сгруппированы изменяющиеся гармонии, потеряло бы всякое значение, и специальный эффект музыки был бы совершенно потерян. Что касается до названия «Диссонанс», то я нахожу его вполне подходящим к данной вещи. Что же касается до музыкальных издателей и мелочных лавочников, то можно с полным правом сказать, что если мелочные лавочники никогда не делаются издателями, то издатели почти всегда становятся мелочными лавочниками. Впрочем, нельзя за то на них сердиться; они, прежде всего,— коммерсанты. Я думаю, что мне удастся столковаться с моими издателями, выпустив, например, новое издание с русским и французским текстом. Меня очень радует, что Вам понравились отрывки из моей оперы и, по Вашему требованию, я обязуюсь Вам выслать их партитуру и оркестровые партии. Я также весьма доволен, что Вы одобряете мысль о переложении «Моря» для баса (с оркестром); я уже написал партитуру этого переложения.

Я приятно удивлен тем, что Вы предпочитаете мою вторую симфонию первой. Это — редкость. Обыкновенно в Европе предпочитают первую, носящую более европейский отпечаток и представляющую больше интереса в смысле работы, контрапункта и всех тех махинаций, которые привыкли считать серьезным родом музыки. Всецело разделяя Ваши соображения об организации концертов, которые Вы предполагаете дать этой зимой, и обо всех трудностях, какие придется преодолеть,— я взял на себя смелость порекомендовать господину Жадулю исполнить сначала в Льеже не вторую, а первую симфонию, чтобы не слишком запугать публику и чтобы иметь больше шансов на успех. Первая была исполнена с большим успехом в больших концертах — празднествах Всеобщего немецкого музыкального союза («Собраниях музыкантов») в Бадене (1880) и в

[1] Фа — нота.

Лейпциге (1882), затем в Дрездене (1883); нынешней зимой ее исполнят в Ростоке. Немецкие критики — Рихард Поль (автор музыкальных монографий о Листе и Вагнере), Лангханс и другие — высказали много лестного по поводу 1-й симфонии. Ф. Лист ее очень любит, и ему, главным образом, я обязан успехом этой вещи в Германии.

Что до моих «папок», то я пороюсь в них, хотя весьма сомневаюсь, что найду в них что-либо достойное Вас, сударыня.

Примите, сударыня, почтительнейший привет от искренне преданного Вам

А. Бородина

34. Л. ДЕ МЕРСИ АРЖАНТО

С. Петербург
6 ноября 1884 г. (25 октября ст. ст.)

До моей капитуляции я начинал свое письмо обращением «Графиня», после капитуляции просто с обращения «Сударыня». Теперь я начинаю еще проще, со слов «До моей и т. д.» Я вполне прав, поступая так, потому что Вы для меня более — не «графиня», не «сударыня», Вы для меня приблизительно то же, что ангел-хранитель для плохого христианина, которому он необходим, чтобы идти по пути спасения, или то же, что добрая волшебница в детских сказках для принца (обычно очень глупого).

Как настоящая добрая волшебница, Вы совершаете чудеса доброты; как настоящий принц из детской сказки, я только и делаю, что подбираю дары, сыплющиеся мне с небес, и — своим поведением, далеко не всегда безупречным,— причиняю Вам всякие известные Вам неприятности. Итак, мне не остается ничего другого, как благодарить Вас и извиняться. На этот раз, отбросив уже «графиню» и «сударыню», я отброшу также мои благодарности и извинения. Если бы я захотел выразить Вам мою признательность, которую Вы заслуживаете, и просить у Вас прощения, которого я не заслуживаю,— этому не было бы конца, и это доставило бы Вам много скуки. Оцените мою откровенность, запишите меня в неисправимые рецидивисты и берите меня таким, каков я есть.

Высказав все это, я осмеливаюсь наивно признаться во всех моих преступлениях.

У меня в руках три Ваших письма: от 30 октября, от 1 ноября и еще одно без даты, написанное ранее последнего. Что до четвертого, адресованного в Звенигород,— оно до меня не дошло. Я Вам очень благодарен, что Вы мне о нем сообщили; я произвожу поиски этого письма: оно, должно быть, пришло после моего отъезда из Звенигорода. Существование этого четвертого письма, мне неизвестного, объясняет мне некоторые вещи, оставшиеся для меня непонятными в трех следующих письмах. Во всяком случае, я виновен в том, что не отвечал в хронологическом порядке на все три письма.

Вы мне говорите: «Так как *Вы хотите* издавать в *Петербурге,* а не в *Париже...*» Я не могу поступить иначе: я должен уважать права моих издателей. Я постараюсь сговориться с моими издателями, чтобы *немедленно* получить новое издание — с французским текстом. (Каков именно и у кого должен быть склад изданий? Сообщите мне это.) Все, что Вы мне только что написали насчет газет, насчет «враждебных держав» и публики, которая везде *наивна,*— все это вещи хорошо известные. Это досадно, но — что делать! Надо на это смотреть философски! Лишь бы все это не причиняло Вам слишком много беспокойства.

Что касается до моей оперы «Князь Игорь», то здесь должно быть какое-то недоразумение. Я не помню, чтобы я обещал Вам партитуру всей оперы. Это — вещь невозможная, так как опера еще не окончена и существует только в черновых набросках. Инструментованы только отдельные номера, исполнявшиеся в концертах. Если я написал что-нибудь подобное, то я выразился недостаточно ясно; я, вероятно, хотел сказать, что, в случае надобности, могу Вам выслать *партитуру и оркестровые партии* трех номеров, которые есть у Вас в виде переложения для пения с фортепиано. Меня это весьма огорчает, но я не могу Вам прислать всей оперы. Я с большим удовольствием отправлю Вам еще несколько номеров, из которых один инструментован, а другие нет. Но мне придется их дать переписать. Пожалуйста, не сердитесь на меня, сударыня.

Про 2-ю симфонию я также не помню, чтобы я обещал Вам партитуру и оркестровые партии. Мне кажется, что я рекомендовал, по известным Вам причинам, 1-ю симфонию. Затем г-н Жадуль написал мне в одном из своих писем: «Обдумав дело, я прошу Вас прислать партитуру и

партии симфонии в mib» [1]. Я был в праве предполагать, что эти *«размышления»* исходили от Вас, сударыня. Я полагал, что, отправляя в Льеж мою 1-ю симфонию, я исполняю Ваши приказания. Но это легко поправимо, если только г-н Ламуре не будет слишком требователен по отношению к партиям, которые недостаточно чисты. Было бы слишком долго все это копировать; я предпочитаю отправить Вам партитуру как она есть (и, конечно, партии). Итак, относительно «Игоря» и 2-й симфонии я объявляю себя свободным от всякого преступления и невинным, как новорожденный младенец.

Что касается до *«Моря» с оркестром*... Увы! Я краснею. Говорят, что грех, в котором покаешься,— наполовину прощен. Хорошо же! Я стану каяться без всяких изворотов — на манер Жана-Жака Руссо. Партитура была кончена в сентябре месяце. Я уже хотел ее отослать. Но перед тем я подверг ее последнему просмотру. Вещь эта мне не понравилась. Я нашел инструментовку бедной и неэффектной, ибо, остерегаясь заглушить голос, я сделал оркестр слишком скромным. Затем в оркестровом изложении вещь показалась мне слишком короткой. В общем, пьеса эта оказалась неудачной. Я должен был уехать, и у меня более не было времени, чтобы вновь приняться за эту работу. По приезде в Москву, а затем в Петербург я был поглощен всеми моими обязанностями. У меня спешных дел по горло. Что прикажете делать! Это очень дурно, это очень глупо, я это прекрасно понимаю, но мне не остается ничего другого, как просить Вас о снисхождении и прощении. Я хочу несколько переделать эту пьесу. Я не хочу инструментовать ее в том виде, в каком она написана для фортепиано, но предпочитаю сделать нечто вроде ее транскрипции для оркестра, добавив к ней небольшое вступление и т. д. Это я сделаю при первом случае. Да послужит мне (сделанное в письме к председателю) перечисление моих *«достоинств»*, в связи с беспощаднейшим образом поглощающими мое время столь же многочисленными обязанностями,— чем-то вроде *«смягчающего вину обстоятельства»*. Ах! *«Море»*, *«Море»!* Напрасно я его сочинил!

Вот повод, чтобы Вам трепетать от гнева. В этом было мое первое преступление. Теперь идет второе преступление, хуже первого, и, конечно, новое откровенное и искреннее покаяние. Вы просите у меня все то, о чем Вы прочли в

[1] ми-бемоль.

списке моих сочинений. Я перечислил все сочиненные мною пьесы потому, что мне сказали так сделать. Но из этого не следует, чтобы все их сложить у Ваших ног. Большая часть их не заслуживает того, чтобы их переписывать. Пощадите мое самолюбие и не просите их у меня. Я слишком дорожу Вашим мнением и не хочу показываться перед Вами в дурном виде. Все эти сонаты для фортепиано с флейтами, для фортепиано с виолончелью, эти трио и т. д.— написаны очень давно и не достойны Вашего внимания. Это маленькие грехи моей юности, пьесы, написанные на какой-нибудь случай, более или менее неудачные и т. д. Нет, я их не пошлю! Впрочем, я даже не знаю, где их разыскивать! Наговорите мне лучше дерзостей! Я их вполне заслужил.

Вы говорите, сударыня: «Какие необыкновенные существа Вы там все в Ваших льдах».— Вы должны были сказать: «Какие же Вы чудаки!» И Вы были бы правы. Мы ведь, действительно, большие чудаки. Вы же сударыня, ангел доброты, Вы сумеете все понять и все простить. Не правда ли?..

...Мне кажется, что я покаялся во всех своих преступлениях. Но нет, остается еще одно. Вы мне пишете: «Есть одна вещь, которой мне очень хочется, которая составляет предмет самых честолюбивых моих мечтаний,— отгадайте же...» Вот загадка сфинкса, которую Вы мне задали!

Если Вы непременно хотите походить на сфинкса — фантастическое животное с головою женщины — то мне не остается ничего другого, как смиренно сознаться Вам в моем сходстве со знаменитым Мидасом — человеком с ослиными ушами. Да, я признаю себя виновным в том, что я — не Эдип. Это — мое последнее преступление. Лучше скажите мне откровенно, что Вы хотите. Для того, чтобы Вас ободрить, я скажу Вам откровенно, чего бы я хотел: разрешите мне посвятить Вам пьесу для фортепиано, но будьте снисходительны, так как я не пианист. Вы спросите меня, почему же непременно фортепианную пьесу? Это потому, что я честолюбив и немного ревнив; я хочу, чтобы эта пьеса могла быть исполняема Вами одною, без участия кого бы то ни было — певца, дирижера и т. д. Позвольте мне этот маленький каприз и окажите мне эту милость.

Искренно и сердечно преданный

Вам — друг Цезаря Кюи

А. Бородин

35. Е. С. БОРОДИНОЙ

По дороге из Веймара в Льеж. 4/16 августа 1885 г.

...Я тебе писал уже, голубка моя, что я приехал в Веймар. Вообрази, приехав туда, я был озадачен — собственным самочувствием. Ну, ничего-таки, ровно ничего, точно приехал в Любань или Вишеру. Я уже испугался за себя: неужели, отпустив седую бороду, я и нравственно поседел и состарился в такой мере, что уже остыл ко всяким впечатлениям? К счастью, оказалось, что это только была легкая усталость. При первом же свидании с Листом все прошло. Я тебе писал, что в тот же вечер был у Листа и оставил ему карточку. Старик был на обеде и должен был вернуться к 11 часам вечера. На другой день, рано утром, в девятом часу, возвратившись из кафе, где я завтракал, я нашел у себя карточку московского пианиста Зилоти, который приходил за мной. Старик как увидел мою карточку, сейчас же отрядил Зилоти, который у него работает. Неугомонный старик велел ему немедленно обойти с утра все отели, отыскать меня и притащить к нему сейчас же. Узнав об этом, я в 9 часов нанес визит моей *седой Венере*. Встреча наша была самая душевная. Лист постарел, конечно, стал немного ниже, пополнел; седая грива его отросла, стала еще гуще и длиннее. Говорит он с тем же одушевлением и юмором, но немного задыхается; стал немного туговат на ухо и еще более ослабел глазами,— не может так долго работать при огне, как прежде. Я застал его как раз за работой: по поручению моей *«Marraine»*[1] старик делал транскрипцию тарантеллы Кюи. У него, разумеется, остальное все по-прежнему, кроме, впрочем, черногорца *«Спиридиона»*, которого, наконец, старик прогнал, потому что наш брат славянин нагревал старика самым бессовестным манером. Старик терпел, терпел, но, наконец, потерял терпение и, воспользовавшись тем, что Спиридон женился, деликатно расстался с ним. Спиридон тотчас же *деликатно* в Веймаре открыл какое-то *заведение* на благоприобретенные деньги. Но старик все-таки долго не мог успокоиться, лишившись своей Катерины Егоровны, и переменил уже после того трех камердинеров. В остальном у него по-прежнему: с утра за работой, с утра же у него народ, музыка, толчея ужасная; корреспонденция, телеграммы, письма, посыльные, пианисты, пианистки, композиторы, певицы, при-

---

[1] Крестной (*фр.*).

глашения к обеду, к ужину etc, ets. По-прежнему старик без умолку болтает, бродит, топчется и прикладывается к стоящему на том же маленьком столике графинчику с коньяком и бутылке с великолепнейшим папским красным вином. Плотно покушав в два часа, ложится на боковую. В 4 часа у него уже целая орава учеников и учениц, играющих б. ч. плохо и невероятно злоупотребляющих временем и терпением добродушного старика. Только обедать к себе он уже не приглашает; ему тяжело теперь. В тот же день я был у баронессы Мейендорф; обедал в Erbprinz'е[1] у Зилоти *«с товарищи»;* познакомился с молодой, очень хорошей скрипачкой по имени «Arma Senkrah» (читай по-иностранному); получил приглашение к ней, был у нее; потом все вместе были у Листа на уроке, а затем я с Листом провел вечер у баронессы Мейендорф; проводив Листа домой, я тоже ушел к себе в отель и завалился спать. Мейендорфше я ничего не говорил о пьесах для Аржантихи и Жадуля, но Лист выудил у меня признание относительно существования пьес. Немедленно были вытребованы корректуры мои, и все проиграно у Мейендорфши. Я никак не ожидал такого успеха: и Листу, и ей они ужасно понравились, и она даже приговаривалась к ним; ей, по-видимому, хотелось, чтобы я посвятил их ей. Вчера (т. е. на другой день) опять у Листа, у Senkrah, ужинал с Листовской молодежью. При прощаньи Лист подарил мне свою последнюю фотографию и дал кучу рекомендаций в Антверпен. В 9 ч. 48 мин. я, сопровождаемый Зилоти, уехал в Льеж. Будь здорова. Целую тебя крепко. Твой *А. Б*.......

36. Е. С. БОРОДИНОЙ

Льеж [10/22—11/23] августа 1885 года

Ну, голубка моя, загнал я тебе вчера одно письмо, теперь шлю другое. Живу я — как сыр в масле катаюсь. Бельгия — совсем Москва, а бельгийцы — москвичи. Радушие и любезность здесь необыкновенные; притом любезность не сухая, так сказать, а *«сушиественная»*, как говорит Александра Андреевна. Каждый норовит тебя накормить и напоить, и на это они мастера; стол, вина, и пр.— все это первый сорт, не то что в Германии. Любезность

[1] отель «Наследный принц» (*нем.*).

бельгийцев приятна еще тем, что народ этот держит себя очень мило, вежливо и в то же время просто и сердечно. Немец, англичанин и француз бывают иногда даже изысканно любезны, но при этом дают тебе чувствовать свое превосходство над тобою и показывают тебе, что, мол, я — видишь какой, а все-таки любезен с тобою, так ты это цени. Бельгийцы, напротив того, стараются избегать всякого намека на превосходство их в том даже, в чем они действительно далеко выше нас. Большею частью это народ здоровый, веселый, живой, экспансивный, но в то же время несколько сдержанный и с большим тактом. Барышни у них б. ч. ядреные, здоровенные, кровь с молоком, и блондинки; между ними даже в народе встречается, однако, очень много брюнеток, красивых, с черными глазищами, длинными ресницами, густыми черными волосами — это остатки испанского элемента, который не изгладился еще и до сих пор. Чувство собственного достоинства и независимости во всех слоях общества очень развито. Меня здесь совсем замотали и затаскали; давая обеды, завтраки, выпивки и закуски и преподнося мне *русскую музыку*, б. ч. меня самого и Кюи. Все это исполняется б. ч. прилично, а часто даже очень хорошо, во всяком случае очень искренно. Я слышал не раз и обе симфонии в 4 руки, и «Азию», и романсы; моя «Petit poème d'amour d'une jeune fille»[1] (как я окрестил 7 пьесок для графини Аржанто) производит фурор, и многие играют оттуда отрывки разные по слуху. Барышням, всем без исключения, особенно по душе последний номер — «on est bercé par le bonheur d'êrte aimée»[2], они так и киснут. Жадуль играет мое скерцо уже наизусть.

Антверпен.
25 Августа 85 года (13 августа ст. ст.)

Оканчивать письмо приходится в Антверпене, куда я поехал на выставку, на которой мотаюсь уже второй день и устаю смертельно. Много есть интересного, но в общем мне московская выставка больше нравилась. Был тут и концерт с участием 500 мальчиков. Играли вещи неважные, но очень хорошо. Кажется, здесь хотят играть мою 2-ю симфонию, сегодня я получил письмо из Брюсселя от Гюберти, который намерен дать ее в своем концерте и выписал уже ноты из Льежа. Он просит свидания со мною, что-

---

[1] «Маленькая любовная поэма молодой девушки» (*фр.*).
[2] «Убаюкана счастьем быть любимой» (*фр.*).

бы переговорить лично об этом деле. Целую тебя крепко, друг мой, и наших поцелуй всех.

Твой А. Бородин

37. Е. С. БОРОДИНОЙ

По дороге из Антверпена в Лейпциг, т. е. восвояси.
21/9 Сентября 1885 г.

Ну, голубка моя дорогая, не вини твоего загулявшего мужа, ей-ей, не было возможности уехать от соблазнов, сильных соблазнов для меня грешного; было бы просто глупо, вредно для меня как музыканта и для всей русской музыки бежать отсюда; было бы грубо и неделикатно в высшей степени удрать, вопреки всем лестным и сердечным приглашениям, овациям и почестям, мне оказываемым в Бельгии. Я тебе писал уже, что мне прислали несколько приглашений официальных и неофициальных — управлять двумя концертами на Антверпенской выставке и большим фестивалем. Приглашения исходили от Union musicale d'Anvers [1] и от Комитета выставки и независимо от представителей и членов разных других музыкальных учреждений. Мне предоставляли самому назначить какие мне угодно условия относительно программы, числа репетиций, времени концертов и пр. и вознаграждения. Приглашения в виде писем и телеграмм рассылались мне не только туда, где я был: Льеж, Аржанто, Антверпен, Париж, но и туда, где меня не было, например в Спа, основываясь на слухах, что меня там ожидали. Управлять концертами я решительно отказался, ссылаясь на недостаток времени для подготовки к концертам, на отсутствие привычки дирижировать большими концертами, наконец, на то, что я вообще не дирижер по профессии. Отклонить от себя дирижерство я мог, но отклонить присутствие мое на концертах, где исполнялись мои сочинения,— я не мог. Ссылка на невозможность продлить отпуск повела только к тому, что передвинули весь порядок концертов, дней репетиций и т. д. Комитет выставки и Общество Музыкальное готовы были ходатайствовать перед официальными представителями русского правительства в Бельгии, чтобы мне разрешили продлить отпуск. Мне было сообщено, что множество лиц интересуется горячо моей музыкой и *нарочно* приехало для

[1] Антверпенское музыкальное общество (*фр.*).

того, чтобы познакомиться с моей музыкою и со мною лично; так, жена председателя выставки m-me Lynen — страстная поклонница моей музыкальной деятельности, бывшая ученица Листа,— нарочно, ради меня, приехала из Баден-Бадена; множество любителей музыки, композиторов, профессоров консерватории и пр.— нарочно, ради меня, собирались приехать в Антверпен — из Льежа, Брюсселя, Гента, Спа, из Голландии, из Франции. За моим отказом дирижировать, два бельгийских дирижера добровольно вызвались дирижировать моими симфониями: профессор Гюберти из Брюсселя назначил в свой концерт 2-ю симфонию, директор консерватории в Льеже Раду (некогда ярый противник моей музыки, ныне страстный поклонник ее) сам назначил мою 1-ю симфонию для фестиваля 19 сентября. Отмечу характерный факт: *немецкая партия* в Бельгии (составляющая там такое же зло, как и у нас) исчерпала все возможные и невозможные средства, чтобы воспрепятствовать исполнению моей 2-й симфонии в Антверпене! Не правда ли, что это крайне характерно? Тем не менее никакой дальнейшей помехи не было: 9 сентября исполнена была *«Средняя Азия»*, 16 сентября — 2-я симфония, а 19 сентября — 1-я симфония. Овации, сделанные мне в этих концертах, шли *crescendo*[1]: наименьшие были на 1-м концерте, наибольшие — в 3-м. Во всех случаях, впрочем, овации были весьма дружные и горячие со стороны публики, дирижеров, оркестра и комитета выставки. Я даже вынужден был обратиться к оркестру со словами: «c'est mon tour, messieurs, de vous remercier vivement pour un accueil aussi flatteux et l'honneur que vous avez bien voulu me faire; croyez, moi, messieurs, qu'il n'y a pas de récompense plus grande pour un compositeur, que d'entendre son oeuvre executée par un orchestre comme le votre!»[2] Эти слова вызвали новые шумные овации со стороны публики и оркестра. Вообще, я теперь так насобачился говорить и писать *прочувствованные слова* по-французски! 20-го сентября, т. е., вчера, отклонив от себя всякие приглашения, визиты и пр., я удрал из Антверпена. Милая «marraine»[3], приезжавшая нарочно на два последние кон-

[1] т. е. усиливаясь (*ит.*).

[2] «Теперь моя очередь, господа, выразить вам мою живейшую благодарность за лестный прием и за ту честь, которую вы мне оказали; поверьте мне, господа, что для композитора не существует более высокой награды, как слышать свое произведение в исполнении такого оркестра, как ваш! (*фр.*)

[3] «Крестная» (*фр.*).

церта, сияла от восторга при виде торжества русской музыки, проводницею которой она была в Бельгии; это премилая, *способная прелесть* во всех отношениях и вообще женщина крайне замечательная по разносторонним достоинствам и талантам. Не будь ей уже под 50 лет, ей-ей, можно бы врезаться в нее по уши. Мы с ней очень подружились... Итак, теперь я на пути восвояси, усталый от оваций, приглашений, визитов, обедов, завтраков, ужинов и всяких чествований. Спешу домой. Остановлюсь только на один день в Лейпциге, где надеюсь найти твои письма. До свиданья, голубка моя дорогая; я приеду в Питер и постараюсь немедленно взять отпуск в Москву на несколько дней. Ехать прямо в Москву теперь было бы невозможно. Целую и обнимаю тебя крепко. Будь здорова, друг мой. Маме и остальным...

38. Е. С. БОРОДИНОЙ

С. Петербург. 20 ноября 1886

Милая, дорогая, голубка моя, вчера вечером получил твое последнее письмо и несказанно благодарен тебе за него. Оно произвело на меня самое отрадное впечатление. Даже тяжелая сторона твоего письма: *тоска и скука,* о которой ты говоришь, и та меня огорчила только мимолетно. Мне, разумеется, тяжело, что ты хандришь и скучаешь, но я понимаю это как нельзя более. Я сам частенько хандрю, когда раздумаюсь о нашем *нескладном* складе жизни. Как часто мне хочется быть с тобою, около тебя, иметь тебя возле меня. Не раз нападала на меня тоска по тебе. Но тут стеною поднимается, как грозная туча, воспоминание об ужасном прошлом, пережитом нынешним летом. Туча эта заслоняет собою и твою, и мою тоску, и мысль о разлуке, и все настоящее. Тогда другое воспоминание о *чудесном* избавлении твоем от опасности наполняет все мое существо, и боязнь за тебя заставляет забывать все остальное.

Нужно ли говорить, что я хочу тебя видеть? Но скажу правду: ценою страшного риска, которому ты подверглась бы, приезжая к нам в Питер, я не хотел бы купить возможность видеть тебя. Как я вспомню про твою впечатлительность ко внешним условиям и окину взглядом те условия, в которые ты попадешь, приехав сюда, мне становится жутко. Боязнь за тебя, беспокойство, страх — вот те ощущения, которые заслоняют тогда все остальное. Нет, друг

мой, потерпи до моего приезда, бога ради, не рискуй ехать сюда! Если бы ты еще ехала в какое-нибудь Царское село, на *хорошие* условия,— ну, это еще меня бы не так пугало. Но приехать на берега Невы, в ту же самую квартиру, дышать тем же воздухом, напоенным сыростью, вонью из нижнего коридора!.. Это ужасно! Мысль, что, попав в прежние условия, ты понемногу начнешь входить в прежние привычки и соблазны, станешь вставать поздно, просиживать полдня в теплой постели, в духоте; ложиться на рассвете, начнешь курить, сохрани боже! И *чудо* выздоровления твоего начнет бледнеть в твоих глазах; ты станешь забывать его и, сохрани бог! наживешь ты себе новые напасти; найдется ли новое *чудо* для тебя вторично?! — Нет! друг великий, страшно становится мне, когда я подумаю обо всем этом! И умоляю тебя, бога ради, не отпускай от себя сестру. Я слишком хорошо знаю и твою натуру, и натуру Насти, чтобы быть покойным за тебя, если бы ты осталась без сестры. Что ни говори, но она, и единственно она, служит хорошим сдерживающим элементом и для тебя, и для Насти. Не будет сестры, Настя начнет нарочно потакать твоим слабостям, частью по невежеству и глупости, частью в пику сестре и из эгоизма. Ты начнешь снова вставать все позже и позже, чего доброго из любви к тебе подсунут тебе папиросы, и все войдет в прежнюю колею, которая довела тебя чуть не до края гроба. Прости, друг, что пою одну и ту же песню — не я пою, боль сердечная за тебя, голубку, поет эту песню, страх за тебя поет ее. Не вини меня, если надоедаю тебе этой песней! Хочу писать другое, а из-под пера льются те же и все те же строки. Но довольно! — Насчет денег не тревожься; живы будем — деньги будут!..

...Об музыкальных делах напишу тебе закулисную сторону злобы Гольдштейна и Бесселя. Корень зла — ненависть Бесселя к Беляеву за то, что последний явился конкурентом Бесселя по изданию русских композиторов; затем ненависть Гольдштейна к Корсакову за то, что последний содействовал изгнанию его из Певческой капеллы. Как бы то ни было, а спасибо Беляеву за эти 4 концерта, благодаря Беляеву, нам удалось услышать много нового и хорошего. 23-го, в воскресение, именины Беляева, и мы ему приготовили сюрприз: вчетвером написали квартет на тему Бе-ла-еф, Bélaeff; Корсаков сделал 1-ю часть, Глазунов — финал, Лядов — скерцо, а я, вместо andante,— испанскую серенаду, прекурьезную и очень удачную... Все

вышло очень мило, оригинально, остроумно. чрезвычайно и в то же время очень музыкально. А главное, сделано единым махом пера, очень живо. Сегодня вечером мы всем домом идем на репетицию концерта Бесплатной музыкальной школы. Концерт этот посвящен только листовским вещам. Вчера Есипова играла в концерте мою музыку C-dur [1]. В Брюсселе будут исполнять каватину Владимира Игоревича и «Среднюю Азию». В Голландии (где именно не знаю еще) будут исполнять: Квартет, 1-ю симфонию и «Азию». 1-ю симфонию будут исполнять еще в Кельне. Квартет исполняли еще в Америке. Бессель начал гравировать партитуру моей 2-й симфонии. Скоро выйдет четырехручное переложение моего квартета. Я кончил 2-й акт «Игоря». О «Гарольде» Направника ничего не пишу, еще не слыхал. Кюи написал 28 пьес за это лето! но б. ч. они очень бесцветны и не важны. Исписался он, как видно, да еще его обуяла страсть к популярности. Я с ним по-прежнему хорош, но у остальных наших отношения с ним какие-то натянутые. По правде сказать, при всех его достоинствах — он как-то и не *русский* человек и не *русский* композитор; собственно *русскую* музыку он не понимает, он любит ее только постольку, поскольку там есть хорошая музыка вообще; народной же жилки он не чувствует вовсе, не ценит и не понимает...

...Целую тебя, господь с тобою. Поздравляю тебя с наступающим ангелом. Сестрице милой — большой поклон. Остальным тоже поклонись.

Твои...

39. Е. С. БОРОДИНОЙ

С. П. Б. 12 января 1887 г.

Ну, голубка моя, пишу тебе сегодня самое *весеннее* письмо. Приближение весны, прежде чем сказаться на неодушевленной природе, сказалось на живых существах. Не говорю уже о собаках и кошках, которые страдают любовною тоскою и заняты жертвоприношениями Киприде. Весна сказывается и на людях, если не жертвоприношениями этой богине любви, то, по крайней мере, приготовлениями к жертвоприношению и тоскою любви, а рав-

[1] До мажор.

но и всею тою ерундою, которая оттуда вытекает логически. Для удобства, разделяю мои корреспонденции на два отдела: 1) корреспонденции по бракозаключительным делам; 2) по бракоразводным.

Отдел I: — a) Ариша (наших) выходит замуж за нашего казенного слесаря, живущего в подвальном этаже. Парню всего 23 года. Большой запас любви и ни гроша за душою. b) Курбанов Михаил Михайлович женится на танцовщице какой-то. c) Сашка Исполатовский женится на *«хористке»*, знакомой Гани. Она, между прочим, спрашивала Ганю о своем женихе, и Ганя рассказала всю правду, разумеется. Быть может, это спасет дуру от дурацкого брака.

Отдел II: Директор консерватории нашей Давыдов — втюрился в ученицу консерватории (класса проф. Штейна), некую Махарину; хочет развестись со своею женою и жениться на своем предмете. А в ожидании этого, под наплывом любовной тоски и веяния весны, натворил невообразимой ерунды. Большому кораблю — большое плавание! По тому самому и ерунда вышла большущая и самая скоропалительная. Все совершилось в промежутке между 1 и 5 января. Дело вот в чем: Давыдов, вдруг, без всякого видимого повода, взял отпуск, удрал за границу и подал в чистую отставку,— бросив семью и консерваторию, и свое новорожденное детище — Музыкальную школу, которую открыли 2-го января.— Все и все разинули рты и только развели руками — «что сей сон значит?» Как во все трудные времена Русского музыкального общества — прибегли к А. Г. Рубинштейну — «спасите, мол!» А Рубинштейн напоминает, как известно, щедринского Помпадура, у которого была говорная машинка в голове, произносившая только два слова: «не потерплю» и «раззорю!» Ну... и не потерпел, и пошел раззорять Начал со Школы. Объявил, что он этому не сочувствовал никогда и прежде, и что ее надо закрыть, что управляющим Школой надобно было назначить какого-нибудь Иванова или Петрова (т. е. русского!), а не Вельфля, не говорящего ни слова по-русски, и которого назначил Давыдов. Вельфль, оставивший уже консерваторию и не успевший еще вступить в отправление обязанностей по Школе, остался при пиковом интересе — между двумя стульями. Маренич, преподававший у Стоюниной в гимназии, назначенный инспектором Школы, тоже отказался, ввиду нового назначения, от занятий в гимназии, предоставив

их другому лицу, и — тоже остался при пиковом интересе и т. д., и т. д. Сегодня Антон Григорьевич появился в консерватории, чтобы принять ее и приняться за нее. Паника! Ожидание!.. Все напустили в штаны, с позволения сказать, потому: вдруг — «не потерпит и раззорит!»

Школа, по божьему велению едва родившаяся, имевшая всего 6 учеников! — внезапно — не *прогорела*, а буквально *сгорела*, да не от стыда, а от пожара, причина которого неизвестна. Да всего не *перекозать*, как выражается Па. А между тем, виновник всего — теперь в Лейпциге, один, без Махариной; хочет там остаться совсем и хлопотать о разводе с женою своею Александрою Аркадьевною.— Ну! Дела!!!...

...Кстати, в консерватории уже успела сложиться легенда по поводу текущих событий. Есть там старинный сторож *Антон*, которому приписывают следующее изречение: «ну! мы с Антоном Григорьевичем *вместе открывали* консерваторию, вероятно, вместе и *закроем!*» — Разумеется, этого Антон, наверное, не говорил о своем знаменитом тезке, но глас народа — глас божий! Вот сколько тебе настрочил весеннего вздора. Целую тебя крепко. Сестрице милой большой поклон. Нашим всем — по положению! Будь здорова и пиши поскорее.

Твой *А. Бородин*

40. Е. С. БОРОДИНОЙ

С. Петербург. 14 февраля 1887 г.

Итак, голубушка моя дорогая, я не приехал к тебе на масленицу! Сначала я все колебался, хотя и сознавал, что ехать на такой малый срок не стоит, но все-таки колебался. Когда же я получил от судебного следователя приглашение явиться для допроса в качестве свидетеля «по делу Аделаиды Николаевны Луканиной» и еще разных лиц, я остался. Дело вышло — пшик! т. е. собственно *«дела»*-то никакого и нет...

Завтра «у нас» танцевальный вечер; будет «grandement beau» [1] «il y aura de la bougie!» [2], как пишут в Vie en bohême у Murge [3]. Сегодня наняли *тапезу*.

[1] «необычайно прекрасно» *(фр.)*.
[2] «будет зажжено немало свечей!» *(фр.)*
[3] «Жизнь в богеме» Мюрже *(фр.)*.

Бал будет *костюмированный*. Не хочу до поры до времени разоблачать тайну и предоставляю описание более искусному перу прочих корреспондентов твоих. Бал будет в аудитории Сущинского...

...Прочти драму Л. Толстого «Царство тьмы» или «Коготок увяз — всей птичке пропасть!» Стасов говорит, что это просто шедевр, Шекспир! Целую тебя крепко.

Твой *А. Бородин*

«ЛИСТ У СЕБЯ ДОМА В ВЕЙМАРЕ»

(Из личных воспоминаний А. П. Бородина)

Конец февраля 1883 года.

I

С давних пор Лист имеет обыкновение проводить лето в Веймаре, куда он приезжает большею частью к 8-му Апреля — дню рождения гросгерцогини. К этому времени, вместе с весенними птицами, налетают туда с разных сторон света «Lisztianer» и «Lisztianerinnen»[1] — как там называют листовскую учащуюся молодежь. В это время, и в течение всего лета, поезда привозят сюда и отвозят обратно массу гостей, поклонников и друзей Листа, разных тузов музыкального и вообще художественного мира. Веймар — маленькие Афины Германии — оживляется. Вместо обычных чопорных гофратов «не у дел», в перчатках и цилиндрах,— на улицах появляются молодые лица самых разнообразных типов, полустуденческие, полуартистические фигуры. Вместо зимней мертвящей скуки и гробового молчания раздается веселый, иногда даже бесшабашный смех, говор и пение на различных языках: немецком, французском, английском, русском, польском, венгерском, чешском и т. д. Из открытых окон льются целые потоки фортепианных звуков — это «Lisztianer» и «Lisztianerinnen», несмотря на прелестную погоду и убийственную жару, с увлечением и упорством преодолевают разные виртуозные трудности фортепианной игры «высшей школы». Такие окна и потоки звуков встречаются все чаще и чаще по мере приближения к Wielands-Platz'у[2]. На этой площади стоит

[1] Листианцы и листианки.
[2] площадь Виланда *(нем.)*.

огромный Виланд с толстыми икрами и медным неподвижным лицом. Левая икра медного поэта обращена к Amalienstrasse[1], правая к Marienstrasse[2]. Обе улицы ведут к музыкальным знаменитостям: первая — на кладбище, к покойному во всех отношениях Гуммелю; вторая — к живому во всех отношениях Листу. Лист живет на самом конце улицы и города, около парка, в придворном домике, низ которого занят, кажется, главным садовником гросгерцога, а верх — Листом. Домик каменный, маленький, двухэтажный, окрашенный желтовато-серой краской, крыша высокая, черепичная. Фасад, выходящий на Marienstrasse, имеет в верхнем этаже всего три окна, из которых среднее— большое, широкое, боковые — маленькие; в нижнем всего одно окно настоящее и два фальшивых. На углу доска с надписью: «Marienstrasse 17-1». Боковой фасад, имеющий всего по два окна в каждом этаже, обращен к парку и до половины обвит виноградом.

Домик примыкает к решетчатым воротам, ведущим в большой сад, чистый, точно языком вылизанный...

...Как светский аббат, Лист носит все черное: черный долгополый сюртук, черную, низенькую, с широкими полями шляпу, черные перчатки и черный высокий галстук. Образ жизни Листа довольно правильный.

Встает он очень рано: зимой в 6, а летом в 5 часов утра, в 7 часов идет к обедне, станет куда-нибудь в уединенный уголок, нагнется на аналое и усердно молится. Чуждый всякого ханжества, отличающийся поразительно широкою веротерпимостью, еще недавно написавший второй «Вальс «Мефистофеля», Лист в то же время человек не только глубоко религиозный, но и католик по убеждению. Возвратясь от обедни, Лист пьет в 8 часов кофе, принимает своего секретаря-органиста Готшальга, толкует с ним о делах, а равно принимает и другие деловые визиты. Покончив с ними, Лист садится за работу, и с 9 ч. до часу сочиняет, пишет музыку. Обедает Лист не в час, как буржуазия немецкая, а в 2 ч., как и вся веймарская аристократия.

Обед у него всегда очень простой, но хороший. Несмотря на свой возраст, Лист может есть и пить очень много и совершенно безнаказанно, благодаря своей железной натуре. Замечу при этом, что он ведет образ жизни

---

[1] улица Амалии *(нем.)*.
[2] Мариинская улица *(нем.)*.

кабинетный, сидячий и никогда не гуляет на воздухе, несмотря на то, что у него под боком прекрасный сад и гросгерцогский парк.

После обеда он всегда обязательно спит часа два, а затем принимает к себе учеников и других посетителей, занимается уроками музыки или даже просто болтает о разных разностях. Вечера большею частью проводит не дома, а в кругу близких интимных друзей, в числе которых на первом плане стоит баронесса Мейендорф, урожденная княжна Горчакова, вдова бывшего посланника русского при веймарском дворце, а затем семья князя Витгенштейна. В 11 часов вечера Лист ложится спать, если только нет особенных причин просидеть долее.

Говоря подробно о внешней обстановке жизни Листа, нельзя не сказать и о его прислуге. Из женского персонала при нем состоит только некая Паулина, почтенная женщина, занимающаяся хозяйством, но не представляющая ничего особенного; зато у Листа есть слуга, о котором стоит упомянуть. Это нечто вроде Лепорелло, Санчо-Панса и тому подобное, т. е. камердинер-фактотум, все что хотите, горячо преданный старому маэстро, сопровождающий его во всех путешествиях и пользующийся громадным доверием. И тут выказались крайний космополитизм и веротерпимость маститого маэстро: венгерец, католик, аббат — облюбовал в качестве Лепорелло ярого черногорца, схизматика, православного славянофила Спиридона Княжевича или Спиридиона, как его называют во всем Веймаре. Выразительную черномазую фигуру его, с густыми черными усами и бакенбардами, знают в Веймаре все, и он пользуется там почетом и популярностью. Он со всеми беседует почтительно, но смело, без подобострастия и лакейских приемов,— даже с самим гросгерцогом. Не только ученики Листа, но и разные юстицраты и гофраты при встрече с ним подают ему руку. Его можно видеть в кофейнях и ресторанах, распивающим кофе в компании с учениками Листа и разными другими «господами». Дать ему на чай — значило бы кровно обидеть его, но маленькую вещицу на память, вроде мушкета для сигар, фотографической карточки и т. п., он примет с благодарностью, и в последнем случае готов даже подарить вам взамен свою фотографическую карточку, да еще с надписью. Как истый черногорец, он особенно симпатизирует русским.

Горячий патриот, славянофил и православный человек — во время войны за освобождение славян он особенно усердно посещал русскую церковь в Веймаре, ревностно клал земные поклоны за «Белого Царя» и горячо молился об успехах русскому оружию. Католик Лист со своим православным Лепорелло представляют крайне оригинальный пример возможности согласия западной церкви с восточной.

II

Упрямый, подчас даже капризный, Лист частенько выслушивает терпеливо советы своего Лепорелло. Лепорелло буквально боготворит своего барина и при всяком удобном случае с благоговением показывает всему и каждому большой портрет Листа, подаренный ему самим маститым маэстро и украшенный очень милою собственноручною подписью последнего. Портрет этот висит у Лепорелло в прихожей на самом видном месте. Вообще, гордый черногорец, видимо, дорожит своим положением у Листа, считает выше всех «своего» барина; на «остальных» господ смотрит только снисходительно.

Лепорелло, подобно своему барину, говорит свободно на нескольких языках, но между собою — венгерец-барин и черногорец-слуга разговаривают, обыкновенно, на нейтральном языке — по-итальянски. В разговорах со всеми прочими Лист, где только можно, предпочитает всегда французский язык; по-немецки или по-итальянски он говорит только по необходимости, хотя владеет всеми тремя языками в совершенстве. Говорит он вообще очень хорошо: свободно, красиво, образно, с увлечением, остроумно и умно. Рот его при этом широко раздвигается и крепко захлопывается, громко отчеканивая каждый слог и напоминая мне несколько дикцию покойного А. Н. Серова. Высказав, что ему было нужно, Лист захлопнет рот окончательно, откинет седую голову назад, остановится и вперит в своего собеседника орлиный взгляд, как будто хочет спросить: «А ну-ка! посмотрим, что ты мне теперь скажешь на это?» Впрочем, у него есть еще и другая манера говорить: едва шевеля губами, тихо, каким-то старческим и аристократическим шамканьем, напоминая мне дикцию другого покойника — Н. М. Пановского, известного когда-то фельетониста «Московских Ведомостей».

Много проживший, видавший, читавший, хорошо образованный, одаренный умом, наблюдательностью и самостоятельным критическим отношением к тому, о чем идет речь, Лист является всегда в высшей степени интересным собеседником.

Особенно интересны его откровенные беседы о музыкальных делах, на что его, однако, не все и не всегда могут вызвать. Как музыкант — Лист в противоположность Вагнеру, видимо, тяготеет более к музыке концертной, симфонической и т. д., нежели к оперной; и в оперной он по преимуществу интересуется более чисто музыкальною стороною, нежели сценическою. Новой немецкой школы, кроме Вагнера, он вообще не жалует. По его мнению, большею частью произведения ее бледны, бесцветны, утратили свежесть, интерес и жизненность. Симпатии его на стороне новой французской и, в особенности, новой русской школы, произведения которой он ценит высоко, изучает и знает основательно. Они не сходят у него с рояля; он играет их сам, играют и ученики его. Четырехручные вещи, которыми он увлекается или интересуется, он любит переигрывать чуть не с каждым учеником или пианистом, подвернувшимся под руку. При этом он разбирает музыку по косточкам и отмечает все выдающееся и оригинальное. Такой период увлечения какою-либо вещью продолжается у него довольно долго. Высоким интересом Листа к новой русской школе, симпатиями к ней и влиянием на другие музыкальные элементы Германии нужно объяснить то обстоятельство, что, например, такие, чуждые немецкому духу вещи, как моя 1-я симфония и «Антар» Римского-Корсакова, не только исполнялись на фестивалях в Баден-Бадене и Магдебурге, но имели там большой успех и встретили крайне сочувственное отношение немецкой прессы. Как явный пример симпатии Листа к новой русской школе, могу привести еще известное, необыкновенно сочувственное письмо Листа и печатное мнение его о пресловутых «Парафразах», вызвавших маленькую бурю в стакане воды среди наших рецензентов; далее еще то обстоятельство, что, узнав про эту бурю, Лист выразил желание «скомпрометироваться вместе с нами» и написал со своей стороны маленькую вариацию для помещения в виде интродукции к одному из номеров при втором издании «Парафраз», что и сделано издателем согласно желанию Листа. Лист очень любит эти «Парафразы» и даже возил их с собою из Веймара в Магдебург во время фестиваля,

заставляя всех и каждого — пианистов, певцов и пр.— играть их с ним. Еще доказательство: он очень любит и высоко ценит «Исламея» Балакирева и дает его играть своим ученикам; пьесу эту превосходно играла одна из самых любимых его учениц, наша талантливая соотечественница В. В. Тиманова; другой ученик его — Фридгейм — играл эту пьесу в своих концертах даже за пределами Европы. Наконец, это доказывают его собственные переложения, например вещей Чайковского, а также исполнение их в его концертах и т. д.

Кстати, об его игре: вопреки всему, что я часто слышал о ней, меня поразила крайняя простота, трезвость, строгость исполнения; полнейшее отсутствие вычурности, аффектации и всего бьющего только на внешний эффект. Темпы он берет умеренные, не гонит, не кипятится. Тем не менее, силы, энергии, страсти, увлечения, огня — несмотря на его лета — бездна. Тон круглый, полный, сильный; ясность, богатство и разнообразие оттенков —изумительные. Играть вообще он ленив. Публично он давно уже не играл, а только в частных обществах, и то немногих, избранных. Теперь даже знаменитые matinées[1] у него на дому прекратились. Чтобы заставить его сесть за рояль, нужно часто прибегать к маленьким хитростям: попросить, например, напомнить то или другое место из какой-нибудь пьесы, попросить показать, как следует играть какую-либо вещь; заинтересовать какою-нибудь музыкальною новинкою, иногда даже просто дурно исполнить что-либо. Тогда он рассердится, скажет, что так играть нельзя, сам сядет за рояль и покажет, как нужно играть. Теперь его можно иногда слышать на занятиях с учениками, где он нередко, начав показывать, как нужно играть какое-либо место в пьесе, увлечется и сыграет всю пьесу. Играя с кем-либо в 4 руки, он большею частью садится на secondo[2]. Читает ноты и партитуры он, разумеется, превосходно, но теперь он плохо видит и, не разглядев иногда какого-нибудь знака, сердится, и с досады черкнет карандашем на нотах чудовищный бекар или диез и т. д. Разыгрывая какую-либо вещь, он иногда начинает прибавлять к ней свое, и мало-помалу из-под его рук выходит уже не самая вещь, но импровизация на нее — одна из тех блестящих транскрипций, которые составили его славу как пианиста-композитора. Уроки у него бывают боль-

[1] утреннее собрание (*фр.*).
[2] вторая партия (*ит.*).

шею частью два раза в неделю, после обеда; начинаются с $4^{1}/_{2}$ часов и продолжаются часа полтора, два и более. Посторонним лицам, не получившим особого приглашения от самого Листа, трудно попасть на такой урок. Черногорский Лепорелло, обыкновенно, категорически отказывается даже доложить Листу о приезжающих в часы урока. На каждом уроке бывает около десяти, пятнадцати, даже двадцати человек учащихся, в числе которых перевес на стороне пианисток. Играют, обыкновенно, не все, а только часть из них, причем никакого определенного организованного порядка не соблюдается. Урок состоит в том, что ученики проигрывают Листу то, что они приготовили; он слушает, останавливает, делает замечания и сам показывает, как нужно играть то или другое... Ученики вежливо, но совершенно свободно обращаются к нему со всякими вопросами, от души смеются его шуткам, его умному и подчас едкому юмору, который при всем его добродушии проскальзывает в его замечаниях, всегда дельных и серьезных по существу, хотя и легких по форме. Как человек в высшей степени благовоспитанный и с тактом, Лист умел поставить себя так, что, несмотря на крайнюю разношерстность своих учеников, в их взаимных отношениях никогда не проскользнет ничего грубого, неловкого, резкого.

Нужно заметить еще, что Лист никогда и ни с кого не берет никакой платы за уроки.

Вообще же он неохотно принимает новых учеников, и к нему попасть не легко. Для этого необходимо, чтобы он сам заинтересовался личностью, или за нее ходатайствовали люди, которых Лист особенно уважает. Но раз допустивши кого-либо, он редко удерживается в тесных рамках исключительно преподавательских отношений, скоро привыкает к ученику и начинает принимать близко к сердцу частную жизнь его. Начинает входить иногда в самые интимные интересы и нужды его как материальные, так и нравственные; радуется, волнуется, скорбит, а подчас и не на шутку будирует по поводу домашних и даже сердечных дел своего ученика. Само собою разумеется, что при таких отношениях он всегда готов помочь во всем своему ученику и нравственно, и материально. И во все это он вносит столько теплоты, нежности, мягкости, человечности, простоты и добродушия. На моих глазах было несколько примеров подобных отношений, которые заставляют высоко ценить Листа как человека.

Помню я раз, как однажды Лист, проводив, по обыкновению, своих учеников после урока в прихожую и простившись с ними, долго смотрел им вслед и, обратившись ко мне, сказал: «А какой это все отличный народ, если бы Вы знали!.. и сколько здесь жизни!..»

«Да ведь жизнь-то эта в тебе сидит, милый ты человек!» — хотелось мне сказать ему. Он в эту минуту был необыкновенно хорош.

Как видно, ни годы, ни долгая лихорадочная деятельность, ни богатая страстями и впечатлениями артистическая и личная жизнь не могли истощить громадного запаса жизненной энергии, которою наделена эта могучая натура.

Все это вместе взятое легко объясняет то прочное обаяние, которое Лист до сих пор производит не только на окружающую его молодежь, но и на всякого непредубежденного человека. По крайней мере, полное отсутствие всего мелкого, узкого, стадового, цехового, ремесленного, буржуазного, как в артисте, так и в человеке, сказывается в нем сразу. Но зато и антипатии, которые Лист возбуждает в людях противоположного ему закала, не слабее внушаемых им симпатий. По крайней мере мне случалось встречать и у нас, и в Германии немало людей, иногда вовсе и немузыкальных, путем даже незнающих, кто такой и что такое Лист, но которые чуть не с пеной у рта произносят это имя и с особенным злорадством старательно пересказывают про него всякие небылицы, которым подчас сами не верят.

Впечатления, которые я передаю, вынесены мною, отчасти, уже из первого знакомства моего с Листом в 1877 году. Познакомился я с ним случайно, проездом через Иену и Веймар. Поводом к знакомству послужила моя первая симфония, как оказалось, давно и основательно изученная им по фортепианному переложению. Она же послужила и быстрому сближению с маститым маэстро, от которого мне суждено было выслушать по поводу этой вещи столько хорошего, сколько я не слыхал ни от кого во всю жизнь.

Теплый, истинно дружеский прием, оказанный мне Листом, и те немногие дни, которые я провел с ним вместе, останутся для меня навсегда одним из самых светлых воспоминаний в жизни. Покидая Веймар, я тогда, однако, не сразу оторвался от Листа. Я попал в Марбург. Здесь жила, умерла и похоронена св. Елизавета, поэтический образ

которой вдохновил великого маэстро. На месте, где она была погребена, стоит один из самых изящных готических соборов. Видал я этот памятник и прежде, но тогда он говорил мне только об одной Елизавете.

На этот раз с воспоминанием о ней связывалось воспоминание и о художнике, воспевшем ее. Женственный, светлый образ Елизаветы сливался для меня неразрывно с величавою фигурой седого маэстро. Да и немудрено. В них есть много общего: оба — случайно родом из Венгрии — занесены судьбою к немцам, стали достоянием католической церкви, но во всем, что в них есть симпатичного, не видно ничего ни венгерского, ни немецкого, ни католического, а только одно — вечно великое общечеловеческое.

А. Бородин

ПРИМЕЧАНИЯ

С. 14. *Екатерина Сергеевна Бородина* — жена А. П. Бородина.

С. 27. *Шуберт* Карл Богданович (1811—1863) — виолончелист, композитор, дирижер и музыкальный деятель. По национальности немец. С 1835 года жил и работал в России: солист оркестра оперного театра в Петербурге, с 1842 года — директор Петербургского филармонического общества, дирижер и один из организаторов Университетских концертов, профессор Петербургской консерватории. Автор ряда музыкальных сочинений. Игру, а также дирижерскую деятельность К. Шуберта высоко оценивали М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский, Д. В. Стасов.

С. 28. *Партитура* — нотная запись многоголосного музыкального произведения для хора, оркестра или камерного ансамбля, в которой сведены воедино партии отдельных голосов и инструментов.

С. 30. *Белоголовый* Николай Андреевич (1834—1895) — врач, общественный деятель.

С. 68. *Гаврушкевич* Иван Иванович — чиновник, виолончелист-любитель.

С. 69. *Боккерини* Луиджи (1743—1805) — итальянский композитор и виолончелист. В 1768 году поселился в Мадриде, где провел большую часть своей жизни, находясь на службе в капелле инфанта. Вынужденный из-за болезни и тяжелых условий придворной службы рано прекратить исполнительскую деятельность, Боккерини продолжал сочинять. Особую ценность в творчестве композитора представляют камерно-инструментальные и виолончельные сочинения.

Онслов Жорж Андре Луи (1784—1853) — французский композитор и пианист, по национальности англичанин; член Института Франции, почетный член Лондонского филармонического общества. Наибольшей известностью пользовались камерно-инструментальные произведения Онслова (10 трио, 36 квартетов, 34 квинтета и др.).

Гебель Франц Ксавер (1787—1843) — композитор, пианист и педагог; по национальности немец. С 1817 года поселился в Москве. Проявлял интерес к русской музыке, использовал в концертах собственные обработки русских песен. Большой популярностью пользо-

вались камерно-инструментальные ансамбли Гебеля (квартеты, квинтеты); их высоко ценил А. П. Бородин.

«Травиата» и *«Роберт»* — имеются в виду оперы: «Травиата» Джузеппе Верди и «Роберт — дьявол» Джакомо Мейербера.

С. 70. *Октет* — ансамбль из 8 исполнителей с самостоятельной партией у каждого из них. Слово «октет» происходит от латинского octo — восемь. Октетами называются также произведения для такого ансамбля, как, например, и в данном тексте («...октеты Шпора и Гаде»).

Шпор Луи (Людвиг) (1784—1859) — немецкий композитор, скрипач, дирижер и педагог. Основоположник немецкой скрипичной школы 19 века. Вместе с Э. Т. А. Гофманом положил начало немецкой романтической опере. Его опера «Фауст» (по роману Клингера «Жизнь Фауста») стала одним из первых образцов немецкой сказочно-романтической оперы. Оперы Шпора оказали влияние на творчество К. М. Вебера и Р. Вагнера.

Гаде Нильс Вильгельм (1817—1890) — датский композитор, скрипач, органист и музыкальный деятель. Основатель первой в Дании консерватории (1866), до конца жизни ее директор. Крупный композитор романтического направления, классик датской музыки. Однако стилю его произведений характерны черты академизма. В трактовке народного материала Гаде следует принципам школы Мендельсона, традиционно используя народный фольклор,— в противоположность композиторам следующего поколения (Э. Григ), искавшим в народной музыке пути к обновлению музыкального языка.

Фейт Венцеслав (1806—1864) — чешский композитор.

С. 72. *Гунке* Иосиф (Осип) Карлович (1802—1883) — музыкальный теоретик, композитор и педагог; по национальности чех. С 1823 года работал в России.

С. 88. *Andante* — анданте (*ит. буквально* — идущий шагом), в музыке умеренно медленный темп, а также музыкальная пьеса или ее часть, исполняемая в этом темпе. В данном тексте — часть симфонии Мендельсона.

С. 92. *Северцев* Николай Алексеевич (1827—1885) — русский зоолог, зоогеограф и путешественник. В 1857—1879 гг. исследовал центральную часть Тянь-Шаня, пустыню Кызылкум, собрал большой материал по флоре и фауне Памира. Создал богатую коллекцию птиц (около 12 тысяч экземпляров). Именем Северцева названы пик в хребте Петра I и ледники на Памире, а также некоторые животные и растения.

С. 95. *Фисгармония* — клавишный духовой инструмент, своего рода миниатюрный «домашний орган». Изобретен во Франции в начале 19 века.

С. 101. *Вовчок Марко* (*псевд.*; настоящее имя и фамилия Мария Александровна Вилинская — Маркович; 1833—1907) — украинская и руская писательница революционно-демократического направления; друг Герцена, Тургенева, Некрасова. В 1859—1867 гг. жила за границей.

С. 111. *Либих* Юстус (1803—1873) — немецкий химик; основатель научной школы, один из создателей агрохимии; иностранный член-корреспондент Петербургской Академии наук.

Кекуле Фридрих Август (1829—1896) — немецкий химик-органик, иностранный член-корреспондент Петербургской Академии наук.

С. 112. *Шишков* Леон Николаевич (1830—1909) — русский химик, профессор Артиллерийской академии в Петербурге.

С. 120. *Реньо* Анри Виктор (1810—1878) — французский физик и химик, директор Севрской фарфоровой фабрики.

Бернар Клод (1813—1878) — французский физиолог и патолог. Один из основоположников современной физиологии и экспериментальной патологии.

С. 122. *Романович-Славатинский* Александр Васильевич (1832—1910) — юрист, профессор Киевского университета.

С. 124. *Фильд* Джон (1782—1837) — ирландский композитор, пианист и педагог. В 1802 году приехал в Россию, работал в Петербурге и Москве как пианист и педагог. Среди его учеников — А. Верстовский, М. Глинка, А. Гурилев, А. Дюбюк и др. Фильд является создателем жанра фортепианного ноктюрна.

Рейнхарт Иван Иванович — известный в Москве в 1820—1850 гг. преподаватель игры на фортепиано.

Шульгоф Юлиус (1825—1898) — чешский пианист и композитор. В 1850-х гг. гастролировал в России и преподавал.

Шпаковский Тимофей Николаевич (1829—1861) — русский пианист и композитор; ученик Ф. Мендельсона и Ф. Листа.

С. 131. *«Фрейшюц»* — опера К. М. Вебера «Волшебный стрелок».

Лауб Фердинанд (1832—1875) — чешский скрипач, педагог и композитор. В 1866—1874 гг. профессор Московской консерватории по классам скрипки, оркестровки и камерного ансамбля. В камерном классе у Лауба занимался С. И. Танеев. Лауб возглавлял Московский квартет Русского музыкального общества, являвшийся первым исполнителем квартетов П. И. Чайковского. С Чайковским Лауба связывала творческая дружба (памяти Лауба русский композитор посвятил Третий струнный квартет).

С. 132. *Сорокин* Иван Максимович (1833—1919) — врач, профессор Медико-хирургической академии на кафедре судебной медицины; близкий друг А. П. Бородина.

С. 136. *Бортнянский* Дмитрий Степанович (1751—1825) — русский композитор, дирижер и педагог; по национальности украинец. Управляющий Придворной певческой капеллой в Петербурге. Выдающийся мастер хоровой культовой музыки, а также автор камерно-инструментальных и оперных произведений.

Дианин Сергей Александрович (1888—1968) — математик, музыковед; исследователь творчества А. П. Бородина. Сын А. П. Дианина — ученика и друга композитора.

С. 144. *Дубовицкий* Петр Александрович (1815—1868) — врач-хирург; в 1837—1841 гг. профессор Казанского университета; в 1857—1867 гг. президент Медико-хирургической академии.

С. 145. *...заказ на перевод книги Жерара и Шанселя.*— Имеется в виду книга французских химиков «Аналитическая химия Жерара и Шанселя», изданная под редакцией Д. И. Менделеева.

С. 146. *Доброславин* Алексей Петрович (1842—1889) — русский врач-гигиенист, один из основоположников экспериментальной и военной гигиены. В 1871 году впервые в России стал читать курс гигиены в Медико-хирургической академии, выделив гигиену в самостоятельную дисциплину.

С. 152. *Гумбольдт* Александр (1769—1859) — немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник; иностранный почетный член Петербургской Академии наук. Свои научные знания о природе Земли и Вселенной Гумбольдт обобщил в монументальном труде

«Космос» (5 томов). Этот труд — выдающееся произведение материалистической философии первой половины 19 века.

Бэр Карл Максимович (1792—1876) — русский естествоиспытатель, основатель эмбриологии, один из учредителей Русского географического общества. Участник экспедиций на Новую Землю и на Каспийское море. Их научными результатами явились географическое описание Каспия и специальная серия изданий по географии России «Материалы к познанию Российской империи и сопредельных стран Азии».

С. 154. *«Лир»* — музыка М. А. Балакирева к трагедии В. Шекспира «Король Лир».

С. 155. *Ломакин* Гавриил Якимович (1812—1885) — русский хоровой дирижер, завоевавший большой авторитет в кругу передовых русских музыкантов. Был также и композитором, перу которого принадлежат хоровые сочинения, обработки народных песен, церковных песнопений, романсы. Автор теоретических работ, в т. ч. «Краткой методы пения».

С. 164. *Алексеев* Петр Петрович (1840—1891) — русский химик; с 1868 года профессор Киевского университета.

С. 171. *...невероятными секвенциями из последовательностей нон или септим... Секвенция* — перемещение мелодического оборота вверх или вниз (от *лат.* sequentia — следование). *Нона* и *септима* — резко звучащие музыкальные интервалы.

С. 174. *Ипполитов-Иванов* (н. ф. — Иванов) Михаил Михайлович (1859—1935) — советский композитор, дирижер, педагог и музыкальный деятель. Ученик Н. А. Римского-Корсакова. В 1895—1901 гг. — дирижер Русского хорового общества, с 1925 г. — дирижер Большого театра. С 1893 г. профессор, в 1905—1918 гг. — дирижер, в 1919—1922 гг. — ректор Московской консерватории. Среди его учеников — С. Н. Василенко, Р. М. Глиэр, А. Б. Гольденвейзер и др. Автор воспоминаний об А. П. Бородине.

С. 176. *Кармалина* (*урожд.* Беленицына) Любовь Ивановна (1834—1903) — русская певица (сопрано). Музыкальным образованием Кармалиной руководил А. С. Даргомыжский, знавший ее с детства. В 1855 году певица познакомилась с М. И. Глинкой, оказавшим большое влияние на ее художественное развитие. С успехом выступала во Франции и Италии, горячо пропагандировала творчество русских композиторов. Музыканты Балакиревского кружка высоко ценили исполнительский талант Кармалиной, многие из них посвятили ей свои произведения.

С. 177. *Графиня Аржанто... — Мерси Аржанто* Луиза де (1837—1890) — бельгийская пианистка и музыкально-общественная деятельница. Горячая пропагандистка русской музыки во Франции и Бельгии.

Контрапункт — одновременное сочетание двух или нескольких самостоятельных мелодических голосов (от *лат.* punctum contra punctum — точка против точки).

С. 179. *Дианин* Александр Павлович (1851—1918) — русский химик, ученик и близкий друг А. П. Бородина. С 1880 года профессор Военно-медицинской академии. Автор воспоминаний о Бородине.

С. 180. *Асафьев* Борис Владимирович (литературный псевдоним: Игорь Глебов) (1884—1949) — крупнейший советский музыковед, автор многочисленных трудов по истории музыки; выдающийся критик-публицист и талантливый литератор; видный композитор. Исследователь творчества А. П. Бородина.

С. 181. *Клавир* или клавираусцуг (*нем.* Klavierauszug, от Klavier — фортепиано и Auszug — извлечение) — переложение музыкально-сценического произведения (*напр.* опера, оратория) для пения с фортепиано.

С. 191. *Секунды* — музыкальные интервалы.

С. 194. *Евтерпа* — в древнегреческой мифологии одна из 9 муз, покровительница музыки.

С. 197. *...в компании Чечотов...* — Чечотт Виктор Антонович (1846—1917) — музыкальный критик и композитор; автор очерка «А. П. Бородин».

Кологривов Василий Алексеевич (1820—1874) — виолончелист-любитель, музыкально-общественный деятель; один из учредителей и первых директоров Русского музыкального общества.

Заремба Николай Иванович (1821—1879) — русский музыкальный теоретик, педагог и композитор. Профессор Петербургской консерватории, в 1867—1871 гг. ее директор. У Н. И. Зарембы учились П. И. Чайковский и Г. А. Ларош (класс теории композиции). Заремба первый в России начал преподавать теорию музыки на русском языке. Однако его эстетическим взглядам был присущ консерватизм.

С. 201. *Бозио* Анджолина (1830—1859) — итальянская певица (сопрано). С 1853 года выступала в Петербурге и Москве, с 1856 года в течение 4 сезонов пела на сцене Итальянской оперы в Петербурге. Голос ее не отличался особой силой, но привлекал красотой тембра, изяществом фразировки. Наиболее ярко вокальное мастерство Бозио проявлялось в исполнении партий в операх итальянских композиторов (Дж. Верди, В. Беллини, Г. Доницетти).

Крылов Виктор Александрович (1838—1906) — писатель-драматург, журналист и переводчик. Автор либретто оперы-фарса «Богатыри».

С. 214. *Зейфриц* Макс (1827—1885) — немецкий скрипач, дирижер и композитор.

Гиллер Фердинанд фон (1811—1885) — немецкий дирижер, композитор и пианист; современник Шопена, Мендельсона, Шумана, Вагнера, Верди, с которыми был в дружеских отношениях.

С. 215. *Направник* Эдуард Францевич (1839—1916) — дирижер и композитор; по национальности чех. С 1861 года жил в России. С 1863 г.—дирижер, а с 1869 г.—главиый дирижер Мариинского театра. Под управлением Направника впервые были исполнены многие оперные и симфонические произведения русских композиторов (П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, М. П. Мусоргского и др.). Из произведений Направника известна опера «Дубровский».

С. 216. *Итальянское фиоритурное пение...* — *фиоритура* (*ит.* fioritura — *буквально:* цветение) — орнаментальный пассаж, украшающий мелодию. Применялась главным образом в вокальной музыке, особенно широко — в итальянской опере.

«Севильский цирюльник» — опера Дж. Россини.

С. 217. *...Бах и прочие посетители Бесплатной школы.* — Прозвище В. В. Стасова среди членов Балакиревского кружка.

С. 229. *«Прекрасная Елена»* — оперетта Жака Оффенбаха.

С. 236. *Кирша Данилов,* Кирилл Данилович — скоморох-импровизатор; вероятный составитель первого сборника русских былин, исторических и лирических песен, духовных стихов.

Киреевский Петр Васильевич (1808—1856) — русский фольклорист, археограф, публицист. Под влиянием А. С. Пушкина и Н. М. Языкова и при их участии начал собирать народные песни. Создал фольклорное собрание, насчитывающее тысячи текстов (исторические и лирические песни, былины и др.).

Рыбников Павел Николаевич (1831—1885) — русский фольклорист, этнограф. Записал много былин на берегах Онежского озера («Песни, собранные П. Н. Рыбниковым», 1861—1867 гг.).

Гильфердинг Александр Федорович (1831—1872) — русский фольклорист, историк. Записал 318 былинных текстов («Онежские былины»). Автор ряда исторических работ.

С. 238. *...две прелестные фуги Баха...* — имеются в виду фуги из «Хорошо темперированного клавира» И. С. Баха в 2-х томах.

С. 240. *Прихожу к Людме...* — Людмиле Ивановне Шестаковой, сестре М. И. Глинки.

Стасова Елена Дмитриевна (1873—1966) — племянница В. В. Стасова, впоследствии известная революционная деятельница.

С. 241. *Лодыженский* Николай Николаевич (1842—1916) — русский композитор и дипломат. Родственник и друг А. С. Даргомыжского, Лодыженский в 1866—1867 гг. сблизился с членами Балакиревского кружка. Его произведения, исполняемые в отрывках на собраниях кружка, в большинстве своем остались незавершенными. В середине 70-х гг. Лодыженский оставил музыкальные занятия и посвятил себя дипломатической службе.

Щербачев Николай Владимирович (1853 — год смерти неизв.) — русский композитор и пианист. В 70-х гг. сблизился с композиторами «Могучей кучки». О ряде его произведений одобрительно отзывались В. В. Стасов, Н. А. Римский-Корсаков, М. П. Мусоргский. Наиболее удачны фортепианные сочинения Щербачева — грациозные миниатюры, свидетельствующие о тонком вкусе автора.

С. 242. *Мейстерштюк* — буквально: от *нем.* Meister — мастер и Stück — пьеса.

С. 244. *Помазанский* Иван Александрович (1848—1918) — арфист, дирижер и композитор. Солист оркестра и хормейстер Мариинского театра.

С. 251. *Трубникова* (урожд. Ивашева) Мария Васильевна (1835—1897) — деятельница русского женского движения, публицист, переводчик. В 1860-х гг. вместе с Надеждой Васильевной *Стасовой* (1822—1895) и Анной Павловной *Философовой* (1837—1912) составила «женский триумвират», активно участвовавший в борьбе за высшее женское образование.

С. 252. *Бекетов* Андрей Николаевич (1825—1902) — русский ученый, один из основоположников эволюционной географии и морфологии растений; основатель русской школы ботанико-географов. Дед А. А. Блока. Автор первого русского учебника «География растений».

С. 269. *Вюрц* Шарль Адольф (1817—1884) — французский химик-органик; иностранный член-корреспондент Петербургской Академии наук.

С. 273. *Срезневский* Измаил Иванович (1812—1880) — русский славист, филолог и этнограф. Основатель школы петербургских славистов; среди его учеников — Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов. Создатель словаря «Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам».

С. 285. *Зарембский* Юлий (1854—1885) — пианист, ученик Ф. Листа; профессор Брюссельской консерватории.

С. 288. *Петровы* — семья артистов оперной труппы Петербургских оперных театров. *Петров* Осип Афанасьевич (1807—1878) — выдающийся русский певец (бас). С 1860 года солист Мариинского театра. Первый и выдающийся исполнитель партий Сусанина и Руслана в операх Глинки. Роль Сусанина, а также сложнейшую для исполнения партию Руслана Глинка написал в расчете на феноменальный голос Петрова. Голос певца отличался мощью звучания, широтой диапазона, богатством красок и задушевностью исполнения. *Петрова-Воробьева* Анна Яковлевна (1817—1901) — певица (контральто).

С. 290. *Васильев* Владимир Иванович (Васильев 1-й, наст. фамилия: Кириллов) (1828—1900) — певец (бас); пел на сцене Мариинского театра.

Кондратьев Геннадий Петрович (1835—1905) — певец (баритон); с 1865 года артист, с 1872 — главный режиссер Мариинского театра.

С. 297. *Ламм* Павел Александрович (1882—1951) — советский музыковед, текстолог, пианист. Профессор Московской консерватории. Под редакцией Ламма изданы многие произведения русских классиков, в том числе полное собрание сочинений М. П. Мусоргского, произведения А. С. Даргомыжского, А. П. Бородина, С. И. Танеева и др.

С. 301. *Меня тянет к пению, кантилене...* — *кантилена* (*ит.* cantilena; от *лат.* cantilena — распевное пение, напевание) — напев, напевная мелодия. С конца 17 века — песня, с также произведение с напевной мелодией.

С. 311. *Ларош* Герман Августович (1845—1904) — русский музыкальный критик. Окончил Петербургскую консерваторию у А. Г. Рубинштейна и сблизился с П. И. Чайковским. В 1867—1870 гг. и 1883—1886 гг. профессор Московской, а в 1872—1879 гг.— Петербургской консерватории. Среди его работ цикл статей о М. И. Глинке, многочисленные статьи о творчестве П. И. Чайковского, а также о других русских и западноевропейских композиторах. Глубоко профессиональные и оригинальные суждения Лароша нередко отличались противоречивостью, так, например, он недооценивал творчество композиторов «Могучей кучки».

С. 316. *Анненков* Павел Васильевич (1812 или 1813—1887) — русский литературный критик, мемуарист. Издатель первого научного издания сочинений А. С. Пушкина.

Пыпин Александр Николаевич (1833—1904) — русский литературовед. Автор фундаментальных трудов: «История русской литературы», «История славянских литератур», а также работ о живни и творчестве В. Г. Белинского, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. А. Некрасова.

Свенсен (Свендсен) Юхан Северин (1840—1911) — норвежский композитор и дирижер.

С. 325. *Ильинские* — семья *Ильинского* Владимира Никаноровича — врача, ученика А. П. Бородина. а также певца-любителя (баритон).

С. 328. *Беляев* Митрофан Петрович (1836—1903) — русский музыкальный деятель, нотоиздатель. Получил домашнее музыкальное образование. Богатый лесопромышленник, меценат Беляев способствовал развитию русской музыки.

Бессель Василий Васильевич (1843—1907) — русский нотоиздатель. В 1869 году совместно с братом Иваном Васильевичем Бесселем основал музыкальную фирму «В. Бессель и К°» и издательство, а в 1871 году — нотопечатню. Бессель также издавал и редактировал журнал «Музыкальный листок» (1872—1877) и «Музыкальное обо-

зрение» (1885—1888). Автор работ по вопросам нотно-издательского дела и истории нотопечатания в России.

С. 335. *Курбанов* Михаил Михайлович (1857—1941) — моряк, инженер и музыкальный деятель; участник Беляевского кружка. Автор воспоминаний об А. П. Бородине.

ПИСЬМА

«Многие письма А. П. Бородина равняются его музыкальным созданиям — столько в них таланта, художественности, мысли, грации, юмора, силы...» — писал В. В. Стасов. Кипучая и многосторонняя деятельность композитора, ученого, педагога и общественного деятеля не оставляла Бородину времени для дневников, мемуаров, очерков, хотя он, несомненно, обладал литературным дарованием. Дарование это проявилось в написанных им текстах к собственным романсам, в либретто к опере «Князь Игорь» и, конечно же, в письмах. Наиболее яркие страницы писем А. П. Бородина мы публикуем в книге с целью дополнить портрет этого незаурядного деятеля искусства и науки.

Письма даются по тексту четырехтомного собрания «Письма А. П. Бородина» под редакцией А. С. Дианина, но по современной орфографии и с учетом авторской пунктуации. Слова и отдельные фразы, подчеркнутые Бородиным, набраны в разрядку.

Письма печатаются в хронологическом порядке и с некоторыми сокращениями.

1. А. К. Клейнеке (С. 353). *Клейнеке* (*урожд.* Антонова Авдотья Константиновна (1809—1873) — мать Бородина.

Братья Успенские — товарищи Бородина по Медико-хирургической академии. *Успенский* Михаил Васильевич — доцент Московского университета; *Успенский* Николай Васильевич — довольно талантливый (популярный в свое время) беллетрист.

Братья Васильевы — Владимир Иванович и Петр Иванович Васильевы (*наст. фамилия:* Кирилловы). О В. И. Васильеве смотрите примечание на стр. 466.

7. Е. С. Бородиной (С. 358). *Руднев* Михаил Матвеевич (1837—1878) — профессор патологической анатомии в Медико-хирургической академии.

8. Е. С. Бородиной (С. 361). *...рад за бедного Алея...* — т. е. Алексея Сергеевича *Протопопова*, брата Е. С. Бородиной.

9. Е. С. Бородиной (С. 362). *«А те нобль тре же реконне тон сан...»* — то есть: «По твоим благородным чертам я узнаю твое происхождение».

Литольф Анри Шарль (1818—1891) — французский пианист, композитор, дирижер; основатель музыкально-издательской фирмы «Collection Litolff» (1850 г.). Упоминаемый здесь концерт на голландские темы значится под № 3.

«Святая Елизавета» — имеется в виду оратория Листа «Легенда о святой Елизавете».

...как было с моей симфонией... — речь идет об исполнении Первой симфонии А. П. Бородина.

Калинин Николай Иванович — тверской помещик, лесовод по образованию; муж *А. Н. Калининой* (*урожд.* Лодыженской) — близкой знакомой А. П. Бородина.

Серов Александр Николаевич (1820—1871) — русский музыкальный критик, композитор и общественный деятель. Сыграл большую роль в развитии научной музыкальной мысли в России (работы о М. И. Глинке, А. С. Даргомыжском, В. А. Моцарте, Л. Бетховене, русской и украинской песне и др.).

Фаминцин Александр Сергеевич (1841—1896) — историк русской музыки, музыкальный теоретик и критик реакционного направления.

Лешетицкий Теодор (Федор Осипович) (1830—1915) — польский пианист и педагог. Учился у К. Черни в Вене. В 1852—1878 гг. жил в Петербурге, занимался концертной и педагогической деятельностью. В 1862—1878 гг. — профессор Петербургской консерватории. Имел известность одного из крупнейших в Европе фортепианных педагогов. Среди его учеников — А. Н. Есипова, А. Шнабель, И. Падеревский, В. А. Сафонов, С. М. Майкапар и др.

Венявский Генрик (1835—1880) — польский скрипач, педагог и композитор. В 1860—1872 гг. жил в России. В 1862—1868 гг. — профессор Петербургской консерватории. Один из крупнейших скрипачей романтической школы, Венявский принадлежал, по выражению А. Г. Рубинштейна, к виртуозам, «двигающим вперед искусство». Внешней блестящей игре салонных скрипачей он противопоставил глубоко национальное искусство. Венявского называли «Шопеном скрипки».

Лавровская Елизавета Андреевна (*по мужу* кн. Цертелева) (1849—1919) — известная русская певица (контральто), артистка Мариинского театра, с 1888 года — профессор Московской консерватории.

Заварыкин Федор Николаевич (1835—1905) — профессор гистологии Медико-хирургической академии.

10. Е. С. Бородиной (С. 364). *Маша* — Мария Семеновна Ступишина, двоюродная сестра Е. С. Бородиной.

Михайловна — прислуга Бородиных.

«барыня на коридоре» — прозвище жены сторожа кабинета анатомии, жившей в квартире, дверь которой выходила в коридор Бородиных.

...консерватор... — т. е. сторож кабинета анатомии.

11. Е. С. Бородиной (С. 366). *Заблоцкий* Дмитрий Александрович — врач, знакомый А. П. Бородина.

«Кориолан» — увертюра Бетховена.

Рубинштейн Николай Григорьевич (1835—1881) — пианист, дирижер, педагог и музыкально-общественный деятель; основатель Московской консерватории (1866 г.) и в 1866—1881 гг. — ее директор.

Ласковский Иван Федорович (1799—1855) — русский композитор и пианист. Ученик Дж. Фильда. В 30-е годы занимал видное место в музыкальной жизни Петербурга. Выступал главным образом в домашних концертах и салонах, исполняя преимущественно собственные фортепианные пьесы.

...романс Чайковского... — имеется в виду «Романс» для фортепиано ор. 5.

...восточная фантазия Балакирева... — имеется в виду «Исламей».

Баронесса Раден Эдита Федоровна — фрейлина при дворе великой княгини Елены Павловны.

...пошли... к Донону... — известный ресторан в Петербурге.

Альбрехт Константин (Карл) Карлович (1836—1899) — виолончелист, педагог и музыкальный деятель; инспектор Московской консерватории.

Чистович Яков Алексеевич (1820—1885) — врач и историк медицины; в 1869 году — ученый секретарь Медико-хирургической академии.

14. Е. С. Бородиной (С. 370).

...пародии на «фальшивую ноту»... — «Фальшивая нота» — романс А. П. Бородина, написанный на его же слова.

«Псковитянка» — опера Н. А. Римского-Корсакова.

Азанчевский Михаил Павлович (1839—1889) — композитор; в 1871—1876 гг. — директор Петербургской консерватории.

Фим — имеется в виду Лодыженский Николай Николаевич.

Никольский Владимир Васильевич (1836—1883) — профессор русской словесности; пушкинист. Приятель М. П. Мусоргского.

...конец финала моего... — имеется в виду 4-я часть Второй симфонии А. П. Бородина.

15. Е. С. Бородиной (С. 373). *Лизутка* — Елизавета Гавриловна Баланина, воспитанница Бородина; впоследствии — жена А. П. Дианина.

Соколов Николай Васильевич, *Кондратьев* Михаил Павлович и *Шестов* Николай Александрович — профессора Медико-хирургической академии.

Вильмс Гавриил Иванович — врач, товарищ А. П. Бородина по Медико-хирургической академии.

Сариотти Михаил Иванович (1839—1878) — певец (бас); артист Мариинского театра.

Комиссаржевский Федор Петрович (1838—1905) — русский певец (лирико-драматический тенор), педагог. Первый исполнитель ряда партий в операх русских композиторов, в том числе Дон-Жуана («Каменный гость» А. С. Даргомыжского), Самозванца («Борис Годунов» М. П. Мусоргского). Выдающийся педагог, с 1882 года — профессор Московской консерватории. Комиссаржевский занимался со своими учениками не только пением, но и драматическим искусством. Среди его учеников — великий К. С. Станиславский.

Исполняли Тивбу... — то есть сочинявшуюся в то время оперу Ц. А. Кюи — «Анджело», в которой одно из главных действующих лиц носит имя Тизбы.

Фиф — имеется в виду Феофил Матвеевич *Толстой* (псевдоним: Ростислав) (1810—1881) — писатель, композитор, реакционный музыкальный критик.

Гартвинчсон Фриц (1841—1919) — датский пианист; в 1873—1875 гг. жил в Петербурге.

Дотр фамил онн де плезир и пр... — начало фразы, не раз упоминавшейся А. П. Бородиным в письмах к жене, которая имеет в переводе следующий смысл: «другие женщины пользуются удовольствиями, могут рассеяться, а у тебя нет ничего, кроме мальчика, который хочет тебя покинуть».

16. М. Н. Римскому-Корсакову (С. 376). Это шуточное письмо адресовано сыну Н. А. Римского-Корсакова, которому в тот момент было всего два месяца от рождения.

17. Е. С. Бородиной (С. 377). *Десмургия* — учение о наложении хирургических повязок.

Мария Алексеевна Богдановская — жена известного хирурга Евстафия Ивановича *Богдановского*.

...прототипа Оффенбаховского... — имеется в виду прекрасная Елена, персонаж одноименной оперетты Жака Оффенбаха.

Митя — Дмитрий Сергеевич Александров, брат А. П. Бородина.

Иринарх — Скворцов Иринарх Полихроньевич — гигиенист. В 1873—1874 гг. жил в Петербурге, где защищал при Медико-хирургической академии диссертацию на степень доктора медицины. В 1874 году женился на воспитаннице Бородиных — Раиде Александровне Сютеевой.

Катерина Егоровна (Бельцман Е. Е.) — экономка А. К. Клейнеке.

Франц — служитель химической лаборатории.

Avec le pied — имеется в виду болезнь ноги.

Маша и Надя — двоюродные сестры Е. С. Бородиной.

«Благонамеренные речи» — книга М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Феокрит (конец 4 в.— 1 пол. 3 в. до н. э.) — древнегреческий поэт. Создатель жанра идиллии — сцена из сельской (обычно пастушеской) жизни.

18. Л. И. Кармалиной (С. 379). *Бюффон* Луи Леклерк (1707—1788) — французский естествоиспытатель. В основном своем труде — «Естественной истории» (36 тт., 1749—1788 гг.), Бюффон описал множество животных и выдвинул положение о единстве растительного и животного мира.

«Notre Dame de Paris...» — «Собор Парижской богоматери», роман В. Гюго.

19. Е. А. Куломзиной (С. 383). *Куломзина* Елизавета Александровна — жена помещика Аполлона Александровича Куломзина, в имении которого Бородины жили на даче летом 1874 года.

...в комнате Марьи Александровны... — то есть Миропольской М. А., врача первого выпуска Женских врачебных курсов, знакомой А. П. Бородина.

Хо-холок — прозвище А. П. Дианина, данное Е. А. Куломзиной из-за его густых, высоко взбитых волос.

Лиза и Раида — воспитанницы Бородиных.

Мы с Александром Павлычем неистово купаемся... — имеется в виду Дианин А. П.

20. Е. С. Бородиной (С. 387). *Шабанова* Анна Николаевна (1848—1932) — детский врач, в то время слушательница Женских врачебных курсов.

Александра Андреевна — то есть Столяревская А. А., одна из многочисленных приживалок Е. С. Бородиной.

Мельников Иван Александрович (1832—1906) — известный оперный певец (баритон), дебютировавший в концертах Бесплатной музыкальной школы. В 1867—1892 гг.— артист Мариинского театра.

21. Л. И. Кармалиной (С. 390). *Модест Петрович* — то есть Мусоргский.

Цезарь Антонович — то есть Кюи.

Николай Андреевич — то есть Римский-Корсаков.

Шопоров Владимир Алексеевич — врач, ученик и друг А. П. Бородина.

23. Е. С. Бородиной (С. 397). *...мы с Александрушкой — вдруг!..* — то есть с Дианиным А. П. Эту поездку А. П. Бородин предпринял с целью устроить за границу двух своих любимых учеников, А. П. Дианина и М. Ю. Гольдштейна, для получения ученой степени.

Гейтер — профессор химии Иенского университета.

Узнал от него все необходимые сведения — то есть сведения о порядке получения степени доктора философии в Иенском университете.

Шпейзициммер — столовая.

Несс-Эзенбек Христиан Готфрид фон (1776—1858) — известный немецкий ботаник и натуралист.

...*«мойсн»* — южно-немецкое произношение слова «морген», то есть «guten Morgen» — «с добрым утром».

24. Е. С. Бородиной (С. 399). *Виланд* Кристоф Мартин (1733—1813) — немецкий писатель эпохи Просвещения. Его роман «Агатон» — первый в Германии образец просветительского «романа воспитания». Прогрессивное значение для развития немецкой культуры имели его переводы Лукиана и У. Шекспира.

Гердер Иоганн Готфрид (1744—1803) — немецкий философ, писатель-просветитель. Как литературный критик, выступал за национальное развитие немецкой литературы, широко пропагандировал народное творчество. Оказал значительное влияние на молодого Гете и литературное течение «Буря и натиск» (Ф. Клингер, Я. Ленц, молодые И. В. Гете, Ф. Шиллер и др.).

Тиманова Вера Викторовна (1855—1942) — русская пианистка и педагог. Имела славу одной из лучших пианисток мира. Концертную деятельность продолжала около 70 лет. Сыграла важную роль в популяризации русской музыки за рубежом. Искусство Тимановой высоко ценил П. И. Чайковский, посвятивший ей «Юмореску» — скерцо для фортепиано.

...*на духовную особу вовсе не походит.*— В 1865 году Лист принял сан аббата.

Лассен Эдуард (1830—1904) — немецкий композитор и дирижер (по национальности датчанин), с 1861 года дирижер в Веймаре.

...*очень похож на Петрова...*— имеется в виду О. А. Петров (см. стр. 466).

Пианиссимо — очень тихое звучание.

Терции — музыкальные интервалы.

...*пока готовили стол в шпейзезале...*— то есть в столовой.

...*как говорит Павлыч...*— то есть Дианин А. П.

Гилле Карл (1813—1899) — юрист, друг Ф. Листа, учредитель Иенских академических концертов.

«Маккавеи» — опера А. Г. Рубинштейна.

«Псковитянка» — опера Н. А. Римского-Корсакова.

Анна Lankow (Ланков) (1850—1908) — немецкая певица (меццо-сопрано), артистка Придворного театра в Веймаре.

Науман Карл Эрнст (1832—1877) — немецкий композитор, дирижер и органист; руководитель Иенских академических концертов.

...*«Венерина гора» («Venusberg») в «Тангейзере»* — сцена в опере Р. Вагнера «Тангейзер», действие которой происходит поблизости от Веймара.

25. Е. С. Бородиной (С. 412). *Таузиг* Карл (Кароль) (1841—1871) — польский пианист и композитор. В 1855—1859 гг. учился у Листа в Веймаре. Любимый ученик Листа, Таузиг — один из крупнейших мастеров в истории пианистического искусства.

Секста — музыкальный интервал.

Кранц Альвин (1834—1923) — владелец музыкального издательства в Гамбурге, сын основателя фирмы.

26. Е. С. Бородиной (С. 418). *Штандпункты* — «опорные пункты» *(нем.)*, то есть основные взгляды.

Геккель Эрнст (1834—1919) — немецкий естествоиспытатель, эволюционист, сторонник и популяризатор учения Ч. Дарвина; профессор Иенского университета.

Соре Эмиль (1852—1920) — французский скрипач и композитор. Игра Соре, одного из крупнейших скрипачей Европы, отличалась исключительной виртуозностью, блеском и элегантностью. Автор большого количества скрипичных произведений.

...суетливости Гольдштейна... — имеется в виду русский дирижер, пианист, композитор и музыкальный критик *Эдуард Юльевич Гольдштейн* (1851—1887); двоюродный брат А. Г. и Н. Г. Рубинштейнов. Учился в Лейпцигской консерватории. С 1874 года жил в Петербурге, где давал уроки музыки и сотрудничал в качестве музыкального критика во многих газетах, показав себя горячим сторонником «новой русской музыки». В 70-е годы часто бывал в доме А. П. Бородина.

...Св. Елизавета, вдохновившая великого Мастера... — то есть Ф. Листа. Имеется в виду его оратория «Легенда о Святой Елизавете».

27. Е. С. Бородиной (С. 422). *...пошел сначала осматривать специальности...* — то есть учреждения, интересующие Бородина как химика.

...тощие «миссы» и «мистрисы»... — то есть англичанки, жившие в пансионате Гофмана.

28. Е. С. Бородиной (С. 427). *Динстман* — носильщик.

29. Е. С. Бородиной (С. 427). *«Фауст»* — опера — имеется в виду опера Ш. Гуно.

Девриент Отто — немецкий драматический актер, артист Придворного театра в Берлине, лучший исполнитель роли Мефистофеля в «Фаусте» И. В. Гете.

Никиш Артур (1855—1922) — венгерский дирижер, яркий представитель романтического направления в исполнительском искусстве. Был одним из первых мастеров, дирижировавших по памяти. Сыграл важную роль в пропаганде творчества П. И. Чайковского в Западной Европе и США.

Ридель Карл (1827—1888) — немецкий музыкальный деятель; президент Всеобщего немецкого музыкального союза, председатель Лейпцигского Вагнеровского общества, один из основателей Бетховенского фонда.

Шарвенка Ксавер (1850—1924) — немецкий композитор, пианист и педагог. В 1881 году основал собственную консерваторию в Берлине и руководил ею до 1891 года. В 1891—1898 гг. возглавлял основанную им же консерваторию в Нью-Йорке (консерватория носила его имя).

30. Е. С. Бородиной (С. 431). *...чтобы повидаться с Митей...* — то есть с братом Александра Порфирьевича — *Дмитрием Сергеевичем Александровым*, служившим в то время в Вильно (название г. Вильнюса до 1939 года).

Бюлов Ханс Гвидо фон (1830—1894) — немецкий пианист, дирижер, композитор и музыкальный писатель. Ученик Ф. Листа. В 1860—1880 гг. в качестве пианиста и дирижера неоднократно посещал Россию и содействовал распространению русской музыки за рубежом, особенно произведений Чайковского. П. И. Чайковский посвятил ему знаменитый Первый концерт для фортепиано с оркестром.

31. А. П. и Е. Г. Дианиным (С. 432). *...скоро чье-то рожденье...* — 6 августа был день рождения Е. Г. Дианиной.

...купить маленькую кроватку для куклы... — Бородин обещал подарить Е. Г. Дианиной кроватку, когда у нее родится ребенок.

...в Голицынской больнице на квартире... — летом 1875 года Бородины жили в пустовавшей квартире главного врача Голицынской больницы.

мессу Schütz'а... — *Шюц* (Шютц) Генрих (1585—1672) — немецкий композитор, органист и педагог. Предшественник И. С. Баха, крупнейший немецкий композитор, Шюц — один из создателей ораториально-кантатного жанра, основоположник немецкого музыкального театра.

33. Л. де Мерси Аржанто (С. 435). *Коллен Поль* — французский поэт, переводчик текстов романсов А. П. Бородина.

Жадуль Теодор (1848— д. см. неизв.) — бельгийский дирижер, пианист и композитор. Был пропагандистом русской музыки, особенно творчества А. П. Бородина; один из основателей «Русского музыкального клуба» в Льеже. В 1885 году дирижировал в Льеже организованными Л. Мерси Аржанто двумя русскими концертами, в программе которых большое место было отведено произведениям А. П. Бородина.

Поль Рихард (1826—1896) — немецкий музыкальный писатель, друг Ф. Листа.

Лангханс Фридрих Вильгельм (1832—1892) — немецкий композитор и музыкальный писатель.

34. Л. де Мерси Аржанто (С. 437). *Ламурё* Шарль (1834—1899) — французский дирижер, скрипач, музыкально-общественный деятель; исполнитель произведений А. П. Бородина.

35. Е. С. Бородиной (С. 441). *Зилоти* Александр Ильич (1863—1945) — русский пианист, дирижер, педагог и музыкальный деятель. Обучался игре на фортепиано у знаменитых русских педагогов Н. С. Зверева и Н. Г. Рубинштейна. С 1883 года совершенствовался у Ф. Листа в Веймаре. В 80-х годах приобрел европейскую известность как пианист. В 1888—1891 гг. преподавал в Московской консерватории, среди его учеников — выдающиеся русские пианисты С. Рахманинов и А. Гольденвейзер.

...по поручению моей крестной... — имеется в виду Л. де Мерси Аржанто.

...старик делал транскрипцию тарантеллы Кюи. — Фортепианная транскрипция Ф. Листа оркестровой «Тарантеллы» Ц. А. Кюи посвящена Л. де Мерси Аржанто. Это последняя транскрипция Ф. Листа.

...не мог успокоиться, лишившись своей Катерины Егоровны... — то есть также, как Е. С. Бородина не могла долго успокоиться после увольнения своей экономки К. Е. Бельцман.

«Arma Senkrah» — Зенкра Арма (1864—1900) — венгерская скрипачка.

36. Е. С. Бородиной (С. 442). *...как говорит Александра Андреевна...* — Столяревская А. А., одна из приживалок Е. С. Бородиной.

«Азия» — то есть симфоническая картина «В Средней Азии» А. П. Бородина.

...7 пьесок для графини Аржанто... — имеется в виду «Маленькая сюита» для фортепиано.

...особенно по душе последний номер... — то есть ноктюрн.

...московская выставка больше нравилась... — Всероссийская художественно-промышленная выставка 1882 года.

Гюберти Гюстав Лион (1843—1910) — бельгийский композитор, дирижер и музыкальный теоретик.

37. Е. С. Бородиной (С. 444). *...m-me Lynen...* — г-жа Линен — пианистка, ученица Ф. Листа, жена бельгийского композитора Вильяма Линена.

Раду Жан Теодор (1835—1911) — бельгийский композитор, дирижер, педагог, музыкальный писатель; директор Льежской консерватории.

38. Е. С. Бородиной (С. 446). *Настя* — прислуга Е. С. Бородиной.

Бе-ля-еф — названия нот, которые составляют фамилию Belaeff (Беляев).

Есипова Анна Николаевна (1851—1914) — русская пианистка и педагог. Окончила Петербургскую консерваторию в классе Т. Лешетицкого. С триумфом гастролировала во многих странах Европы и США. В 1871—1892 году жила главным образом за границей, часто выступая с концертами в России. В поздний, «петербургский» период (1892—1914) Есипова посвятила себя педагогике. С 1893 года она — профессор Петербургской консерватории, где создала крупнейшую школу русского пианизма. Среди ее учеников — С. С. Прокофьев, М. В. Юдина и др.

О «Гарольде» Направника — опера «Гарольд» Э. Ф. Направника была впервые поставлена в Мариинском театре 11 ноября 1886 года.

Твои... — подпись в оригинале заменена чертой, продолжающей букву «и» в слове «Твои».

39. Е. С. Бородиной (С. 448). *Ариша* — няня у Дианиных.

Сашка Испалатовский — сын Клеопатры Исполатовской, одной из многочисленных приживалок, окружавших Е. С. Бородину.

Ганя, то есть Агафья Литвиненко — воспитанница Екатерины Алексеевны Протопоповой (матери Е. С. Бородиной). Жила у Бородиных.

Штейн Федор Федорович (1819—1893) — пианист, с 1872 года — профессор Петербургской консерватории.

...«не потерплю» и «раззорю!» — из «Истории города Глупова» М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Вёльфль — преподаватель по классу фортепиано в Петербургской консерватории.

Стоюнина Марья Николаевна — владелица частной гимназии в Петербурге.

Па — прозвище Прасковьи Тимофеевны, прислуги Екатерины Алексеевны Протопоповой (матери Е. С. Бородиной).

40. Е. С. Бородиной (С. 450). *Луканина (урожд.* Рыкачева) Аделаида Николаевна (1843—1908) — доктор медицины; с конца 70-х гг. занималась литературной работой под фамилией Паевская. С Бородиным подружилась с конца 60-х годов, занималась под его руководством химией.

...наняли тапёзу... — пианистку, играющую на танцевальных вечерах (*буквально* — «колотильщицу»).

Это последнее письмо А. П. Бородина, написанное за день до смерти. 15 февраля 1887 года во время шутливой беседы на костюмированном балу Бородин внезапно упал, потеряв сознание, и скончался около 12 часов ночи. Вскрытие показало, что венечные артерии сердца были почти совсем разрушены склеротическим процессом.

«ЛИСТ У СЕБЯ ДОМА В ВЕЙМАРЕ»
(Из личных воспоминаний А. П. Бородина)

С. 451. *Гуммель* Иоганн (Ян) Непомук (1778—1837) — австрийский композитор (чех по национальности), пианист, дирижер и педагог. Ученик Моцарта, а также А. Сальери. Творчество Гуммеля яви-

лось важным звеном в развитии фортепианной музыки от венских классиков до романтиков и оказало влияние на многих музыкантов-романтиков. Один из крупнейших пианистов своего времени, получивший прозвище «Наполеон фортепиано».

Готшальг Александр Вильгельм (1827—1908) — немецкий органист, музыкальный писатель и педагог.

Лепорелло — слуга Дон Жуана в «Каменном госте» А. С. Пушкина.

Санчо-Панса — слуга Дон-Кихота в одноименном романе М. Сервантеса.

...во время войны за освобождение славян...— то есть Русско-турецкой войны 1877—1878 года.

Транскрипция — свободная виртуозная обработка произведений, написанных в оригинале для других исполнительских средств. Известны фортепианные транскрипции песен и романсов Ф. Шуберта, Л. Бетховена, Р. Шумана, Ф. Шопена, Ф. Мендельсона, а также русских композиторов (Алябьева, Булахова, А. Рубинштейна и др.), сделанные Ф. Листом. Помимо того, Лист обрабатывал для фортепиано и отдельные сцены из опер Моцарта, Вебера, Россини, Беллини, Вагнера, Верди и др.

СОДЕРЖАНИЕ

ПИСЬМА

Ильин М., Сегал Е.

И 46 Александр Порфирьевич Бородин. Письма / Сост. писем и прим. Л. Ю. Шкляревской; Ил. В. В. Гамаюнова.— М.: Правда, 1989. 480 с., ил.

Настоящее издание знакомит читателя с жизнью композитора, ученого, педагога, общественного деятеля Александра Порфирьевича Бородина (1833—1887). Авторы книги создали «цельный образ живого Бородина, каким его знали друзья и соратники».

$И\frac{4702010200-1850}{080(02)-89}$ 1850—89 84 Р 7

Литературно-художественное издание

М. Ильин, Е. Сегал

АЛЕКСАНДР ПОРФИРЬЕВИЧ БОРОДИН

ПИСЬМА

Составитель писем
Лидия Юрьевна Шкляревская

Редактор
Г. Н. Захарова

Оформление художника
Г. А. Раковского

Художественный редактор
Г. О. Барбашинова

Технический редактор
Л. Ф. Молотова

ИБ 1850

Сдано в набор 12.12.88. Подписано к печати 06.04.89.
Формат 84×108 1/32. Бумага книжно-журнальная.
Гарнитура «Академическая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 25,20. Усл. кр.-отт. 25,41. Уч.-изд. л. 26,75.
Тираж 200 000 экз.
Заказ № 4516. Цена 2 р. 20 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865. ГСП, Москва, А-137. улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии изд-ва «Ворошиловградская правда» Ворошиловградского обкома КП Украины. 348022, г. Ворошиловград, ул. Лермонтова, д. 1 б.

2 р. 20 к.